ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР®

11

2003

11 НОВЫЙ МИР 2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

ДО КОНЦА 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. **Кандидат** (повесть);

ОЛЕГ БОРУШКО. **Класс «А»** (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. **Кавказский лабиринт** (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. **Гость случайный** (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. **Отвращение** (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. **Новая повесть;**

АННА ВАСИЛЕВСКАЯ. **Книга о жизни** (предвоенные главы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. **Мария из Магдалы** (повесть);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. **Я помню;**

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. **Мурзилка** (повесть);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. **Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме;**

ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. **Фармацевт** (повесть);

БОРИС ЕКИМОВ. **Рассказы и очерки;**

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. **Возвращение в Кандагар** (повесть);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. **Вниз по реке Теснин** (исторический роман);

ОЛЬГА ИВАНОВА. **По линии отрыва** (стихи);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. **Новые рассказы;**

ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ. **Негаданный привал** (стихи);

АНАТОЛИЙ КИМ. **Сеть** (повесть);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. **Нежный театр** (шоковый роман);

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. **Вечный календарь** (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. **Дом без адреса** (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. **Пейзаж из криков** (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. **Новый роман;**

АННА МАТВЕЕВА. **Небеса** (роман);

ВЛАДИМИР НОВИКОВ. **Моншер** (роман);

(См. на обороте)

ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина;**

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);

ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы;**

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);

МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);

ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);

РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батарейках** (повесть);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза;**

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Этюды из «Литературной коллекции»;**

МАРИНА СТЕПНОВА. **Хирург** (роман);

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Бабушкин спирт** (повесть);

АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Искренне ваш Шурик** (роман);

АНТОН УТКИН. **Крепость сомнения** (роман);

ОЛЕГ ЧИЛАП. **Мой старший брат** (рассказы);

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. **Пушкинский бульвар** (сюжеты);

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Спальный район** (рассказы);

ГУСТАВ ШПЕТ. **«Я пишу как эхо Другого...»** (письма к жене);

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ. **Военная тайна** (стихи);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Новая повесть;**

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ, статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара *за пределами Российской Федерации и стран СНГ,* могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» *без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.*

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир"» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 и 2004 годах: $ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: $ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир"» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража *за счет редакции,* обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры *за счет редакции,* немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я *(фамилия, имя или название организации)* _____

_____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ *(месяц, год)* на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ *(число месяцев* x *число экземпляров* x *$ 10).*

Дата оплаты *(Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты)* _____

_____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала *(почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя)* _____

_____

_____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17.30 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: http://www.kubon-sagner.de/ksinfo)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir». Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб. Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. № 11 (943) Ноябрь, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ — **Герб и дата,** стихи 7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — **Боржоми,** рассказ 11
ЕЛЕНА УШАКОВА — **При свете и впотьмах,** стихи 28
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов.** Очерки изгнания. Часть четвёртая (1987 — 1994) 33
АННА ГЕДЫМИН — **Легкомысленное окно,** стихи 98
ЕЛЕНА ИСАЕВА — **Первый мужчина.** Театр.doc 103
АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ — **Поле сердца,** стихи 121

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

НИКОЛАЙ ЛИТВИНОВ, АНАСТАСИЯ ЛИТВИНОВА — **Антигосударственный террор в Российской империи.** Исторический очерк 124

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ — **Мандельштам и Пушкин.** Статья вторая. Лирические сюжеты 152

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Марина Абашева. Биография свободы. Свобода биографии 172
Ольга Иванова. «Неоспоримой кровью...» 174
Татьяна Касаткина. Метафизический статус: апатрид 181
Михаил Эдельштейн. Олонецкая культура и петербургская стихия 187

(См. на обороте)

МОСКВА 2003

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА 190
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ 195
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО 199

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко) 206
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков) 209

SUMMARY 240

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В ЯНВАРСКОМ И ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРАХ
НАШЕГО ЖУРНАЛА ЗА 2004 ГОД
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ РОМАН
ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ.

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

© Журнал «Новый мир», 2003.

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

*

ГЕРБ И ДАТА

* *
*

Листья узкие, как рыбки,
серебристые с изнанки,
глянцевые на зеленом,
весь усыпали газон.

Даже влажный запах прели —
точно запах свежей рыбы,
серебра на пестрой гальке,
чешуи на сапогах.

Но они уже не бьются
и почти не шевелятся:
яркой грудой снулой рыбы
возле ивы полегли.

Их серебряные души
затрепещут в теплых тучах,
порезвятся на просторе,
соберутся в косяки —

и умчат туда, где ждут их
с распростертыми ветвями,
где их помнят поименно,
знают каждую в лицо.

Сон

Пред небесной медкомиссией
стоит мой жалкий дух:
Зренье дрянь, неважно с мышцами,
на троечку слух.
Голый, взвешенный, измеренный —
дурак дураком,
На него глядит сощуренный
архангел-военком.

Бородицкая Марина Яковлевна родилась в Москве. Окончила ГПИ иностранных языков. Поэт, переводчик, автор лирических книг и стихотворных сборников для детей.

Сам воинственный, таинственный
святой Михаил
Задает вопрос единственный:
— Усердно ль служил?
— Я старался... всеми силами...
дудел... пробуждал...
Гавриила вон спросили бы —
награды не ждал...

— Ты слонялся, ты повесничал,
валял дурака,
Дрых на травке, лоботрясничал,
глазел в облака,
Высоты не взял завещанной,
не отнял у тьмы, —
Ты опять проснешься женщиной
в начале зимы.

* *
*

Оказывается, можно
послать молитву по факсу
в Иерусалим:
там ее свернут в трубочку,
отнесут к Стене Плача,
сунут в щель — и порядок.

Если так, почему нельзя
просто закрыть глаза,
мысленно встать у Стены,
уткнуться лбом
в шершавые гладкие камни
и молча сказать:

Отче наш, Адонай,
Наму Амида Будда,
ради тьмы несмышленых
и нескольких просветленных —
пощади,
разожми кулак!

* *
*

У тебя все схвачено, милый:
на запястье приручённое время,
ты летишь сквозь дикое пространство —
в одомашненном, на толстых колесах,
прямо в уши тебе льются звуки
дрессированного эфира,
потому что высоко во вселенной
кроткий спутник бегает по кругу.

А на мне только джинсы и рубашка,
из которых выросли дети,
и ни музыки вокруг, ни эфира,
ни штампованного железа, —
две-три строчки в уме, но их не видно,
даже книжку, погляди, я закрыла.

У тебя все схвачено, милый,
что же ты отдергиваешь руку,
не коснувшись меня, и так сердито
дуешь на ушибленные пальцы,
будто натолкнулся на преграду?

Песенка предвесенняя

Ох, подружки, удержите от греха:
Лезет в голову такая чепуха!

Огурец ли очищаешь иль морковь —
Как скаженная бежит по жилам кровь.

То ли правда молодой весны гонцы
Как послали, так и прут во все концы,

То ли жизнь, как эта зимняя пора,
Не уйдет не покуражась со двора...

Ох, подружки, ох, старушки, караул!
Мне петрушки корешочек подмигнул.

Всюду в мире небывалые дела,
В холодильнике картошка родила.

* *
*

Детскую книжку дарю по привычке врачу.
Доктор, не думайте, это не умысел низкий:
Знаю, что даром не лечат, и я заплачу
По прейскуранту, а это — судьбе на ириски.

Детские книжки дарили когда-то врачам,
Учителям, воспитателям: песни да сказки,
Что рождены не от гулкой тоски по ночам,
А от нечаянной радости, транспортной тряски.

Как начинали застывшие лица мягчать!
И у чиновников были же малые дети:
Пишешь, бывало, «От автора мальчику Пете» —
Глядь, к вожделенной бумажке прижалась печать.

Взятка ли хитрая, пропуск ли сквозь оборону —
Яркий, как яблоко, хрусткий ее переплет?
Детскую книжку подсуну при встрече Харону:
Вдруг покатает *за так* — и домой отошлет!

* *
*

Эту кружку мне когда-то
В турпоездке, в час заката,
Улыбаясь виновато,
Подарил один поэт:
Посредине герб и дата,
По бокам, отдельно сняты,
Принц Уэльский и Диана —
Давний свадебный портрет.

Купленная в год разрыва
Молодой четы счастливой,
Кружка выжила на диво,
Прослужила много лет —
И все та же, что когда-то,
Только чуть поблекла дата
И в живых принцессы нет.

Эту кружку снявши с полки
В Норидже на барахолке,
Усмехнулся продавец
И сказал: «Фаянс, однако,
Продержался дольше брака,
Проживет и дольше века», —
И ведь угадал, шельмец!

Эту желтенькую кружку,
Венценосную старушку,
Перемою после кофе,
Уберу наверх, в буфет,
И уже не строну с места:
Пусть себе глядит с насеста
Молчаливым *невермором,*
Как сказал другой поэт.

* *
*

Книжки вам всем подпишу,
свой телефон припишу:
буковки, цифры, слова...
В переводе на взрослый
это будет: *ау!*
А на всеобщий — *уа!*

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

БОРЖОМИ

Рассказ

ОТ АВТОРА. Автор просит у читателя снисхождения за свою непоследовательность в процессе публикации. О последних днях (о годах) славного постсоветского старикана Петра Петровича Алабина повествуется выборочно. С некоторым нарушением хронологии. В особенности это касается рассказа «Боржоми». Рассказ должен был быть первым. Он должен был подсказать, как постепенно Петр Петрович открыл свою «лунность». Рассказ должен был ОТКРЫВАТЬ, однако является только сейчас. Но уж так написалось.

Начало (которое почему-то оказалось не в начале) невольно тяжелит самые обычные фразы. На подошвы слов налип дотекстовый (дособытийный) метафизический свинец. Но кое-что автору в радость... Есть возможность увидеть героев заново и отстраненно. Уже не осторожничая с ними. Уже не жмясь к ним в текст.

Итак, Подмосковье... Дачи... Июльской ночью поселок тих. Все спят. За день воздухом надышались. А все же в запас на каждой даче открыта веранда, пусть летний воздух ломится к нам в постель. Мы спим, а воздух сам ломится к нам!.. Коротко русское лето.

На скамейке, где чета старых берез, сидят полуночники — старики Петр Петрович и Петр Иваныч. Тоже чета... Уже и переговорено у них все. Уже молчат... Петр Петрович, он поинтеллектуальнее, покурил и поднял голову к небу. Смотрит. Припоминает созвездья. (Петр Петрович и поведет наш рассказ. От «я».)

Зато Петр Иваныч чувствительнее. Затосковав, он слегка прихрапывает. Сидя всхрапнуть — это сладко!.. Формально стариков связывает сейчас бутылка портвейна. А портвешок в поселке совсем неплох. Также и в портвешке лучше понимает чувствительный Петр Иваныч. В бездонном (в левом) кармане брюк Петр Иваныч обычно носит бутылку, но вычислить или углядеть там ее силуэт не может никто. И откупоривает бутылку Петр Иваныч просто великолепно. Ему нет равных. При его стремительном откупоривании интеллектуал Петр Петрович всегда волнуется. Петр Петрович (мысленно) очень хочет успеть досчитать до трех. Но где там!.. Как правило, он не успевает досчитать до двух.

Сейчас бутылка на земле, возле ноги посапывающего Петра Иваныча. Портвешок в прохладной ночной траве.

1

Не пить — а только его подразнить. Пользуясь полутьмой, я протянул (ме-е-е-дленно) руку к горлышку бутылки.

— Но-но! — тотчас подхватился Петр Иваныч.

Из книги «Высокая-высокая луна». (См. также: «Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10; «Неадекватен» и «За кого проголосует маленький человек» — 2002, № 5; «Без политики» — «Новый мир», 2003, № 8; «Долгожители» — «Новый мир», 2003, № 9; «Могли ли демократы написать гимн...» — «Новый мир», 2003, № 10.)

И дрема с него слетела.

— Ладно... Пошли, пошли!

Петр Иваныч недолюбливал сидеть на этой скамейке. Слишком близко к нашей речушке. (Сыроват воздух.) И слишком близко к звездам. За счет открытости места. (Вон они. Куда ни глянь!.. *Твои звезды. От них уже некуда деться!)*

Всем звездам на свете мой приятель Петр Иваныч предпочитал экран телевизора. А если не экран, если на природе, то пусть взамен — чье-нибудь окно... Окно с нехитрой занавеской... Приманивает!

— А?

— Я говорю: чужое окно — это как телевизор. Как сериал. Если посматривать туда каждый вечер.

Петр Иваныч хохотнул:

— Еще бы окошки кнопкой переключать!

Наши с Иванычем пьяненькие разговоры в последнее время все чаще кружили возле окон дачи 12/3, по нашей же улице. Дачка из обыкновенных, небольшая — сейчас там жила семья Сусековых... Красивая Вика. Плюс пара ее стариков... А также Викин сожитель Борис Гущин, симпатичный хвастливый рыбак. Итого — четверо.

Но была и пятая. Мы (Иваныч и я) обнаружили арифметический факт случайно. Мы *ее* засекли... Через окно... Жила, как оказалось, у Сусековых еще и некая Максимовна, нет, нет, Глебовна — тетка красивой Вики. Женщина уже в возрасте. С припухшим лицом. Когда-то сильно выпивавшая, как мы считали.

Интерес наш в том, что «тетю» держали взаперти. Никуда не отпускали. Никому не показывали.

Лишь изредка эту женщину можно было углядеть в окнах первого этажа... На какой-то миг... И уж совсем редко она вдруг мелькала в глубине сада. (Похоже, это был недосмотр, что Глебовна в саду. Она быстро-быстро ела яблоки прямо с дерева!) Была ли она родной теткой красивой Вики или просто пригретой ее родственницей... Не важно!.. Мы ей сочувствовали. Кем бы она там ни была.

Томившуюся взаперти Глебовну мы всего-то и хотели осчастливить выпивкой. Хотя бы раз-другой. По капле!.. Проникнуть на дачу и познакомиться, когда надзирающих родных рядом нет. Поболтать с ней... В планах было разное. А в каком-то варианте, если возникнет симпатия... Если взаимная!.. В варианте, как выражался чувствительный Иваныч, *можно и подружиться.* Женщине на пользу... Даже самая малость человечьей любви.

То есть один из нас войдет с ней в контакт. (По-соседски. По-простому.) Смягчить ее душевное одиночество. Не узница же!.. И ведь ни единого, конечно, глотка! Ни даже пива! Ни стопки! Да еще таким жарким летом!.. Посиживая бок о бок на скамейке, мы и сами сильно разгорячились. С нашей точки зрения, запертая красноносая тетя была еще молодушкой — неполные 50. Возможно, даже 48, считал Петр Иваныч. Он оптимист относительно нравящихся ему женщин. Я считал, там все 55.

Сколько-то и поспорить о ней было приятно! О ее, скажем, возрасте. В такой теплый вечер... Два поддатых старикана... Обсуждалась, скажем, несколько пышная ее фигура. (Иваныч всякую пышность находил аппетитной.) А эти полные, такие белые руки! И, само собой (с юморком), поминался великолепный нос Глебовны — наш, собственно, повод, чтобы сойтись с ней поближе. Наш маяк, можно сказать. За таким красным носом не могли не присматривать!

Петр Иваныч был недоволен своей и моей малой активностью. Что за идея прохаживать мимо окна Глебовны, покачивая в руке авоськой, где перекатывается красивая бутылка вина. Это грубо. (Не хватало еще, бродя под ее окнами, украдкой подмигивать и щелкать себя по горлу!) Эти наме-

ки впустую. *Она* — не из таких. Она другая. После суетных жестов красноносая будет держать нас за алкашей!

Мы, правда, издалека ей улыбались. Но даже наскоро переговорить с затворницей пока что не удавалось. Это летом-то, в жару! Когда женщины так просты и болтливы. Когда мужики, выставив пивной живот, топают меж яблонь прямо в трусах и запросто (через просвечивающий забор) кричат тебе: «Эй!.. Как дела?»

Ситуация улучшилась, когда Борис Гущин, сожитель красивой Вики (она собиралась за него замуж), стал с вечера уезжать — на всю ночь, а то и на сутки. Рыбак! С соседом по даче... Они заладили ездить вместе на Шатурские озера. На машинах оба, с ветерком. В отсутствие Бориса нам с нашими замыслами, конечно, проще — без мужика дом!.. Тем более вечером... Комната Глебовны совсем отдельная. Если зайти с веранды, там никого. В конце концов, поболтать по-соседски. О телепередачах. О жизни... Иваныча особенно доставало, что сам-то Борис на рыбалке наверняка попивал — еще и на природе, на свежих воздухах!

В прошлую субботу, садясь в машину, Борис словно бы почуял. (Сожители очень чутки.) Он глянул вдоль забора и — сразу, недобро — стрельнул взглядом в нашу сторону. «Эй, мужики. Опять вы здесь!.. Ну-ка топайте дальше!» Он, конечно, предполагал самое простое: два поддающих старикана. С портвейном. Не нашли себе местечка получше!

А Бориса поддержал появившийся из полутьмы Серг-Сергеич.

— Опять оба здесь?.. Шумно от вас!.. Идите на ту скамейку.

Этот мрачный Серг-Сергеич нас тоже гоняет. Его дом рядом.

— Да мы обсуждаем... Сергеич! Мы ж тихо!

— Там и обсуждайте. И вообще — не мельтешите здесь. Не засвечивайте!

То есть не засвечивать его дом — место, где мы покупаем выпивку (когда уже затемно и магазинчик закрыт).

— Ладно, Сергеич, — сказали мы покладисто. — Линяем... Но вынеси нам еще портвешку. Мы наскребем. Мы найдем, чтоб без сдачи.

— Одну?

— Одну! Одну!

— Смотрите. А то спать ложусь.

Скамейка под уличной сиренью, на которую мы с Иванычем пересели, шаткая. Но обзор с нее ничуть не хуже... Хотя и вполоборота, виден фасад и весь левый бок (левый фланг) дома Сусековых. Панорама... Как заснувший вражеский лагерь.

Окна к ночи прочитывались легко... У Бориса и красивой Вики темно (уже легли).

Темно у ее стариков. (Викины старики ложатся раньше всех.)

Темна и кухня...

И только у красноносой тети теплился ночничок. «Читает», — буркнул Иваныч. Похоже, что и правда бедной женщине взаперти навязывали книгу за книгой. (Нет, нет, это не телевизор. Это именно чтение... Окна все расскажут.) Как-то поутру ей несли (мы приметили) целую связку чтива. Несомненно же с умыслом... Вперед, Глебовна! Читай и читай очередную постылую книжонку. Чтобы забыться.

Уже с утра мы отмечали темные круги под ее глазами. (Едва она мелькала в окне... Не только же ее нос.) И какие набрякшие круги! И скучный взгляд. Может, она попросту больна?..

Ко мне, недоверчивому, Петр Иваныч в ту же субботу подвел заикающегося типа, что жил у самой станции. Заика будто бы неплохо знал все семейство Сусековых... Знал не по нынешней дачной, а еще по московской жизни.

— Вот он тебе подтвердит про ее нос. Любит, любит она винишко!.. Пьет.

И заика кивнул:

— К-к-как губка.

Во тьме, вечером — и по-тихому — пробраться в дом! К ней!.. Когда светит только единственное ее окошко... Во всяком приманчивом плане есть фишка: ее и тычут пальцем вперед. У нас главенствовала бутылка, которую Глебовне надо показать чуть ли не с порога. Дать ей понять сразу. Как только войдешь к ней в комнату (и как только она отложит в сторонку читаемую книгу и подымет на вошедшего глаза). Поздороваться, конечно. Извиниться, конечно. И как бы случайно встряхнуть, чтоб в бутылке булькнуло. Звук — это важно. Звук пробивает подсознание.

Я, правда, опять высказал свое сомнение — есть, мол, название: *болезнь сосудов носа...* На латыни. *Хрупкость мелких сосудов.* Заболевание (аллергическое) увязывалось, насколько я помнил, с путешествием женщины по Африке. Но Иваныч возмутился. Он даже обиделся. Что ты несешь? Какая Африка, какая на хер латынь! Красноносость несомненно была и есть славного российского происхождения!.. Другое дело — сколько ей дать в первый раз глотнуть? Тут ты прав. Много ей нельзя. Ни в коем случае!

В наших сердцах (это важно!) билось сострадание. Мы жалели ее! Однако ни мне, ни Иванычу как-то не приходило в голову, что может подуматься зрелой даме, когда в полутьме (ближе к ночи) она увидит одного из нас, тихо крадущегося к ней. С портвейном в руках... Когда в своей спаленке она увидит вдруг занюханного старикана, криво улыбающегося и под сильным шофе.

Сначала с нами, третьим стариком, был в намеченный вечер Василий Гудков. Но этот очень скоро уронил голову себе на колени. (К нашим замыслам он отношения, конечно, не имел. Просто пьянь.) Он было всхрапнул, когда раздался вопль его жены: «Васек! Васи-иилий!.. Где ты шляешься!» — тут же Гудков со скамейки поднялся и довольно резво ушел. Мы с Иванычем выпили еще... Молча курили.

Небо было никакое. Ни луны, ни звезды... А Иваныч уже тыкал пальцем вперед. Уже показывал мне рукой на единственное светлое в том доме оконце — Иваныч, я вдруг заметил, был в сильном возбуждении. Он даже трясся от сочувствия. Сколько, мол, дней и ночей *она* взаперти! Сколько же книг ею прочитано!.. Договоренности у нас заранее не было. Вынув из кармана монетку, Иваныч просто сказал: «Моя — решка!» — и подбросил вверх.

Петр Иваныч забыл, что когда-то уже рассказывал мне, хвастал, что у него есть замечательная монета, без промаха выпадающая каждый раз решкой. (Так что он нацелился идти к Глебовне сам. Это как дважды два. Вот откуда его трясун. Его возбуждение!) Но выпал орел. Иваныч охнул. И такая долгая-долгая пауза... И как теперь?..

Не могу сказать, что я обрадовался или там растерялся. Нет. Я не ожидал, вот и все. А Иваныч только подавленно буркнул:

— Иди.

А затем Петр Иваныч уже ровным голосом (скрыл огорчение) мне говорил: «А что?.. Она сейчас сидит и скучает. Иди... Все спят. Борис уехал на озера. Чего тебе еще?» — безликий был его голос.

Я произнес: «Ладно. Пусть бы так... Но бутылки-то нет». А Иваныч завел руку под скамейку и извлек оттуда, из травы, портвейн. С еще одним горьким вздохом. Держи...

Мне бы отспорить, мне бы сказать про его монету *низко подбросил* или *бросают до трех раз.* Что-нибудь в этом роде. Он бы согласился. Он бы с радостью перебросил монету заново. Явно же хотел пойти сам!.. Но пошел я, а не Иваныч. Так получилось. Нелепо. Я шел, а переволновавшийся

Иваныч, сам не зная зачем, шел со мной рядом и мой путь как бы отслеживал. Не давал отступить.

Тем окончательнее вышло, что и одет на выход я был в тот вечер (уже в ночь) лучше его — приличный пиджак, свежая рубашка!

Иваныч шел со мной шаг в шаг. Все нервничал. (Когда я открывал калитку, он глотал слюну.) Но в саду я уже был один. *Обогнуть дом и войти внутрь со стороны веранды — там легко открывается дверь.* Мы много раз это прикидывали. Мы всё знали наизусть. (Знали через открытые и просматриваемые днем их окна.) Мы похохатывали, экзаменуя друг друга, что и как расставлено у этих людей в доме. Тем удивительнее, что в реальности я там сразу же врезался в угол и спутался. Споткнулся о порожек... И еще стул... И немыслимая тьма.

Я еле двигался... Вверху, на втором этаже, спали их старики. И помню, как смиренно подумалось — почему бы не пойти сразу к ним? (Мое место там). Мне бы просто поспать. Мне бы с ними. Где-нибудь там, на втором, как раз и ждет меня теплое вонюченькое стариковское одеялко!

Но был на первом... Когда в темноте я прошагал вперед — там угол и оказалась почему-то кухонная плита. Кухни здесь (по расположению левой стороны) план наш не предусматривал. Откуда-то появилась лишняя комната. Я недоумевал... Вышагивал осторожно. (Я ведь еще и бутылку нес.) Уже должен был выйти в большую комнату с хорошей мебелью.

Но вот (пусть с другой стороны!) я увидел заветную дверь. Ага!.. Вот она дверь... на восточную сторону! Столь манившая нас с Иванычем (в разговорах), она была шагах в пяти. Не более чем в пяти-шести... Дверь с тонкой, тончайшей полоской света внизу. За ней (за дверью) читающая Глебовна. Без единой капли спиртного. Узница... Сердце мое стучало.

Пять-шесть шагов в темноте — не пустяк. Именно из-за яркости этой полоски света под манящей дверью я ничего не видел. Ни на чуть! Первый шаг... Полоска-бритва распиливала мои глаза пополам. Но уже второй шаг неверный. Меня качнуло в сторону... Качнуло сильнее... не устояв на ногах, я с маху уселся на что-то чрезвычайно мягкое.

Оказалось — постель. Я перевел дыхание: все-таки не на пол... Не рухнул, не наделал шума... И тут чья-то рука вдруг коснулась меня сзади, со спины. Я едва не уписался. Но рука оказалась мягкая — и теплая-теплая!.. Мягкая женская рука залезла мне под рубашку, провела по лопаткам и — погладив — устало отпала в сторону.

Я оглянулся, напрягая зрение, как только мог. Но видеть не видел... Эта желтенькая ленточка под дверью, эта бритва продолжала резать глаза. Я все же сообразил, что попал скорее всего в спальню Вики и Бориса (я не должен был идти вкруговую! сто раз это обговаривали!). Всё, однако, тихо... Наконец очертания комнаты выступили из тьмы... Спальня... С двумя окнами. С широченной безбрежной кроватью, на краю которой я и сидел.

В голове моей еще удерживался наш человеколюбивый план: я ведь должен идти к Глебовне... К читающей книгу за книгой. К одинокой... А мягкая теплая рука еще раз тронула меня со спины. Прикоснулась. И голос — голос Вики, — знакомый, но смягченный сном и непривычно нежный, попросил:

— Боржом...

Она так и сказала: не БОРЖОМИ, а по-домашнему БОРЖОМ. На что я, тотчас углядев у ножки кровати светлую бутылку, взял и ей передал. Из руки в руку... Сердце било боем. Но ко мне вернулась отвага. (С первым же житейским, домашним движением.) Я даже заулыбался во тьме... В некоторой панике я ведь вполне мог дать ей глотнуть из моей бутылки. Викочке сонной... Портвешка!

Она вернула боржоми... И как раз чуть посветлело: луна?.. А Вика сонно — но слышно — дергала меня сзади за рубашку, *какая луна*, раздевайся скорее, *что ты так долго...*

Вика среагировала просто, как реагирует давняя подруга или жена: она раскрылась. Едва я придвинулся... При том, что она продолжала свой вполне спокойный сон. Я... я как бы навис, а не налег. Я хотел избежать узнавания (вернее, неузнавания) моего тела. Но зато я не стал спешить. Как чудо! С первой же минуты всякое волнение отступило. Я получал радость по высшему разряду. В моем возрасте радость особенна. (Все равно завтра инсульт или что-нибудь еще.) Так что я все взял. И когда миг уходил, миг кончался, мой миг уже не вернуть, я даже дал себе слегка вскрикнуть, хотя и сдавил в горле ликующие звуки. Вика тоже пискнула и тоже негромко. Сдавив свою радость сном.

Но прежде чем провалиться в сон совсем, она вновь попросила, уже сладко и хрипло:

— Боржом...

И я вновь дал ей — подал машинально, легко! Дважды глотнув, она сразу вернула. Я ставил боржоми на место... Осторожно коснулся донышком пола. А Вика уже спала.

Кажется, я даже расслышал, как там (за дверью с желтой внизу полоской) мучительно перевернули очередную страницу. Красноносая читала... Страдалица... А я, уже на ногах, заново застыл перед ее дверью. Придерживая, я поглаживал непочатую бутылку с портвейном... В моих мозгах зациклилось. Стоял и тупо смотрел. Как будто все еще слышал приказ: иди!.. Но зачем мне была теперь Викина тетя? *На хер мне Глебовна?* Желтое лезвие давило на глаза. Как наваждение. Однако я оторвал взгляд... Я ушел... Зато я счастливо оглянулся на постель, где спала красивая Вика.

Я только-только успел отойти от их дачи. Издали машины. Фары... Возможно, вернулся Борис. Возможно, с уловом... Рыбак!

— Не сумел?.. Эх ты! — посетовал дождавшийся меня Петр Иваныч. И вздохнул. (Но я тотчас почувствовал, что опечален он не слишком.)

Оправдываясь, я нес что-то несуразное про то, как я кружил и кружил в темноте. Заблудился... Там, мол, не учтенная нами комната...

— Такой план был, а ты! — продолжал свое Иваныч. И все отчетливей я слышал его довольный смех. Мечтательная стариковская смешинка! Я оправдывался, а он уже мысленно был там. Во тьме... Я рассказывал, а его тянуло к той желтой полоске под той дверью.

— В другой раз ты сам, Петр Иваныч. Попытайся... В субботу Борис опять уедет.

— Гм-м.

— И орел-решку кидать не надо, — как бы незаметно подсказывал я. Я был щедр.

И лишь нарочито трусовато я озаботился — выдержит ли печень Глебовны наш портвешок.

— Еще как выдержит! — Петр Иваныч откупоривал невостребованный портвейн — и расспрашивал. Он хотел знать. Какой-никакой опыт! Ему на будущее...

Так что я опять рассказывал о желтой полоске под дверью и о неожиданной путанице комнат. О повороте (левом, а не правом) на их кухню. Рассказывал — а сам думал о ней... Ее ласковые руки... Ее спящее тело.

На другой... нет, на третий вечер я топтался возле Викиной дачи. Туда-сюда. Вот где оказалось наваждение. Вот где бритва! Я уже не мог без нее... Хотя бы увидеть. Просто увидеть.

Но сначала из окон выглядывали встревоженными рожами ее старики. В чем дело? Чего им-то надо?.. Не окликал их, не звал. Я просто-напросто прошел мимо. Спокойно прошел. Ну да, возле их забора я прошел не в первый раз. Ну да, в пятый.

А вечер был так тих. Запахи... Настоявшихся трав... Я только-только поравнялся опять с их домом — как вдруг старенькая дверь: скрип!.. И по ступенькам крыльца, всего-то три ступеньки, сходит Вика. Она... Этак ровно, этак меланхолично молодая красивая женщина сходит по ступенькам. Идет к забору. Ближе... Затем уже явно в мою сторону и что?.. — и манит к себе пальцем. Меня бросило в жар. С ума сойти!

Ее летнее платье... Цветастое легкое платье было ни на чем — только на ней. На прохладном (из дома) теле. Вика и не подумала прикрыть вырез на груди ханжеским бабьим жестом. Дух ее тела заколыхался совсем рядом и завис. Одуряющий, под стать травам вокруг!.. Задрожал в моих ноздрях. Дух молока и сена.

Не знаю, что мне грезилось за эти десять быстро сближающихся наших шагов. Да я и не помнил себя. Шел... На ее зов.

Однако новость от нее узналась неожиданная и печальная: нет больше Глебовны. Бедная читающая женщина умерла. Сегодня в обед... Оказывается, болела она уже с полгода. В своем уголке... Да и отболела.

Умерла — и надо бы помочь им с похоронами.

Бездельники, как известно, насчет похорон шустры. С этим меня и звали. С этим меня и манили пальчиком, как манят старого поселковского бездельника. Как манят старого мудака, который топчется о летнюю пору меж чужих дач. Вика пообещала и выпивку. А голос строг. Я плохо ее слышал. Только дурел — от мгновенно узнаваемого (после той ночи) запаха молодого тела.

Возвращаясь, я наткнулся на возбужденного Петра Иваныча, и мы обменялись информацией. Старикам приятно остановиться и поболтать. Застыть вдвоем прямо посреди дороги... Ему тоже сказали про Глебовну (точно так же поманили пальцем шляющегося старого мудака) — и тоже предложили озаботиться похоронами. Но, в отличие от меня, Петр Иваныч услышал все внятно и, кажется, обещал.

Хотя ему сразу было ясно, что мы сами с гробом не справимся. И что надо кого-то в помощь.

— Кого?

— Как «кого»?.. Шизов из *Кинобеева.*

Вообще-то поселок (в пяти километрах от нашего) звался Конобеево. Однако у многих в головах уже угнездилось *Кино,* так как была там захудалая богадельня, где дожевывали свою последнюю кашу забытые старики-киношники. Тихонькая и такая симпатичная старость! На стенах крупные фотографии! Былых лет!.. Даже поклонники с цветами изредка... Приезжали!.. Но и там перемены: лет пять назад киношников неожиданно доукомплектовали целым взводом крепких молодых шизофреников. Тоже люди. Тоже нужна крыша. Их родная больница попросту сгорела.

Петр Иваныч и меня зазывал пойти с ним в Конобеево. (Было известно, что наши соседи-шизы подрабатывают тем, что хоронят.) Пойти к ним сейчас же! Не откладывая!.. Петр Иваныч был слишком возбужден. Он никак не мог смириться со смертью Глебовны.

— Не сделав и глотка! Взаперти!.. Так ведь и померла. А?.. Разве мы люди? Скажи честно... Разве мы — люди?!

Но в Конобеево я с ним не пошел... Лицо Вики... Я не мог думать. Ни о чем. Я как мальчишка! Ее лицо... Ее бескрайняя постель... Ее ритмично качающиеся (при луне) груди... Сейчас в соседней с Викой комнате лежала в гробу уже прибранная ее тетка (недопившая в своей жизни Глебовна). Но не волновало меня ни на чуть. Лежит и лежит. И пусть! Уже не читает... Ну да, да, она умерла. Ну пусть. Все умрем... Я начисто забыл ее. Спокойно, по-мужски.

Зато мой Петр Иваныч был сам не свой. Распалился. Он вдруг сказал, что у меня нет сердца.

— Не пойдешь? — переспросили.

— Не.

Иваныч не сомневался, о чем Глебовна день и ночь думала. Особенно по ночам, одна! Такая женщина!.. Ей бы хоть четвертинку! Этот Борис без конца клюкал и клюкал! Рыбак долбаный! Себя не забывал!.. Четвертинку — и она встретила бы последний свой час с достоинством. Как человек. На хера ей книги? Жизни ей оставалось — с воробьиный член. Какое, собственно, здоровье эти засранцы собирались ей сберечь?!

В середине следующего дня разбудил шум... Я продрал глаза и высунулся на улицу, там званые шизы как раз несли на плечах гроб. Рослые! Четыре здоровенных лба монументально надвигались *прямо на меня*. Не сворачивая... Со сна это воспринималось круто. Стриженные наголо, суровые молодые мужики. Был какой-то нечитаемый вызов в их жестких взглядах. Шли и в упор смотрели... *Как на следующего.*

Не сразу, но я сообразил — им всего лишь надо было обойти трудное место. И у моего Осьмушника с гробом развернуться... Косогор... А на той стороне непролазного овражка их уже ждала грузовая.

Позади гроба родня, зеваки... Там же плелся мой Петр Иваныч. Скорбный. А вот Вики не видно. Мне стало легче, оттого что ее близко нет. Сердце (мое) хотело от нее отдыха... Сейчас бы ее не видеть. (Вероятно, она уже в машине.) А четыре лба торжественно несли домовину теперь не на меня — мимо меня. Но что за лица! Какова поступь. Я так и вспомнил *звездное небо над головой.*

Я мог бы поклясться, что за мою долгую жизнь это впервые, когда несущие — соответствуют. Когда на моих глазах!.. Когда живые люди (не киношные) несут на плечах гроб... Исполняют долг. Когда все четверо величественны и достойны гроба.

2

Отслеживая, я ходил в темноте кругами. Кругами — это самое простое в любовной маете (самое понятное). Если ночь не спишь. Если всё тихо... Можно уйти довольно далеко... Простор завораживает.

При луне шаг нетороплив, но мало-помалу я уходил за пределы поселка. Иногда слишком далеко. Аж до соседних перелесков. (Можно было упустить дорогу из виду. Хотя нет... Отъезжающую машину Бориса я уже умел узнать с расстояния. Легко! По шуму мотора.) А затем вольные круги моих шагов быстро-быстро стягивались. Убывая, круги сходились вновь — сжимались к одной точке. К ее даче.

В темноте я подошел совсем близко. Они не спали... Или прервали сон... На веранде с убавленным светом, отчетливо видные, сидели Вика и Борис. *Никуда не уехал. И не собирался сегодня!..* На ночь глядя парочка крепко выпила. Курили. Маленькая лампа светила им едва-едва. (Им хотелось быть в полутьме. На простеньких плетеных креслах.) Транзисторный приемничек вопил:

Я са-аам себе и небо и луна-а! —

но и звук приглушили. Им было великолепно. Это чувствовалось! В куполе мягкого света... Тихие ночные минуты, когда мужчина и женщина вдвоем.

Если не считать, конечно, меня. За штакетником, дыша сырой ночной крапивой, я стоял и вглядывался. Изгибающиеся пласты их сигаретного дыма... В темное небо... Дым всплывал. Взгляд мой прицельно замер — так и держался. На ее лице... На ее голых коленях. На огоньке ее сигареты.

Но долго я не выдержал — ушел. Можно сказать, я убежал. Во всяком случае, быстрым шагом меня опять унесло за поселок. А уже там полегчало. Сердце расслабилось... Впереди — огромный кусок ночного неба... Я шел и шел.

Как вдруг из-за деревьев выскочила грузовая. Фары ее, ярко вспыхнув, воткнулись в меня. Машина мчала не сбавляя хода!.. Прямо!..

Я резво отпрыгнул в сторону. Это самосвал. Это здесь не впервой. Машины, в основном малаховские (бывает, и московские), сбрасывают по ночам свой смрадный груз. Далеко вывозить хлам им не хочется. Куча! Еще куча! А зачем далеко?.. Ночью-то! (Это как помочиться у ближайшего забора.) Они свинячили с какой-то пещерной радостью.

Свидетелей все же побаиваясь, шоферня завела лихую практику: пугать случайных прохожих. На всякий случай. Знай свое пешее место!.. Мчат прямо на тебя, слепя фарами! Поберегись! Психологический давёж. Где уж тут углядеть и запомнить номер!.. Заставляют-таки отпрыгнуть в кусты. А то и в придорожный ров с лягушками.

— Сука! Сучара! — кричал я шоферюге вслед, выбираясь из столетних лопухов.

А гул машины уже стих. Ночь... Луна в тучке. Но светло. Я один.

Петр Иваныч мог бы мне мешать. Однако после смерти Глебовны он стал на время угрюм и редко выходил вечерами. Он даже не настаивал, чтобы посидеть вместе на скамейке за портвешком. Предпочитал с женой... Дома... У телевизора. Вечер за вечером. С ума сойти!

Но тем удивительнее было наткнуться на моего Петра Иваныча однажды ночью.

И где!.. Кружащий мой шаг (отслеживающий вечер за вечером машину Бориса) случайно завел меня пройти мимо кладбища. Это получилось нечаянно. Я благоразумно свернул в сторону. (Люди съеживаются, едва припахивает смертью. Трусим слегка!) Но даже свернув, я успел кое-что увидеть. Нет, нет, мертвецы из могил не встали. Ничего такого... Однако же там был мой приятель. Среди ночи... Наш Петр Иваныч!

В одиночестве. Он сидел на земле... Возле свежей могилы, что с самого краю. Возле *той самой* могилы. Я сразу узнал... Камня (или креста) не было, но оградка там уже стояла. Я разглядел всю картинку издалека. (Луна. Видимость отличная.) Я приостановился.

Я даже разглядел его руки, бутылку. Лунный блик бутылки. Но я не подошел. Не хотел его смутить. Вот ведь как! Газетка!.. Перед Петром Иванычем была расстелена газетка, с кой-какой на ней закуской. Он таки навестил ночью красноносую страдалицу. (Увы, уже усопшую.) Он выпивал с ней *напоследок*.

Иваныч чувствителен. Я вновь им восхитился. Чтобы так скорбеть, надо быть поэтом. Или шизом. (Одним из тех лбов, что так славно несли ее вчетвером.) Я ушел... Хоть было мне любопытно... Интересно же! Беседует ли он с ней? Говорит ли чего умершей? *А вот, мол, и я со стаканом!..* Еще забавная, хотя и гнусная мысль: настучать его старухе. Ревнуют ли в таких сомнительных случаях? В ярости... Примчится ли его скучная ведьма сюда — пошуметь среди могил?

О бедной Глебовне я вспомнил лишь впромельк... Возможно, был ее особый день. Ее девятины?.. Не знаю. Не считал.

На их даче кой-какие перемены. Не стало Глебовны — и почему-то сразу съехали старики Вики. (Смерть, как водится, перетряхивает наш быт.) Зато ее Борис жил теперь здесь запросто. Не сожитель — хозяин. Как у себя дома. Красивая Вика и он — им было отлично вдвоем!.. Целая дача... Никаких теперь ни о ком забот. Никого! Никого — кроме самих себя, молодых и по-летнему жадно сексуальных.

Я ждал... Я следил за приготовлениями. (Старик, когда бродит по улице, все видит.) Борис прикупил новый спиннинг. Рыбацкая страсть свое возьмет! Вот-вот и он отправится с соседом на Шатурские озера. За судаками! Вот-вот...

Конечно, иной раз он возвращался с рыбалки прямо среди ночи, но чаще... но гораздо чаще, когда уже светало! Он словно бы дразнил меня.

Однажды его машина уже было всерьез выползла к вечеру. Уже шумела за воротами... В полутьме я не видел, пронес ли Борис в машину спиннинги. Но по сборам была полная уверенность, что он едет рыбалить. Сосед, его приятель, уже с обеда уехал. Все совпадало! (Ах, какой был бы промах.) Однако я не поленился пройти мимо шумящей машины. Ухо тугое!.. Но все-таки я оказался возле и расслышал вялое Викино недовольство. И в ответ — его слова:

— Вика... Не вяжись. Я через сорок минут вернусь.

— А если там очередь?

— Какая ночью очередь! — Борис засмеялся. Он ехал всего лишь в автосервис, что на далеком от нас шоссе. Что-то насчет запаски — запасного колеса.

Утром я подстерег Вику в нашем магазине. Просто повидать. Я не мог без нее... Повидать, слегка прикоснуться. Это ведь так немного!

Небогатые дачники, семь-восемь человек... Маленькая очередь поутру, где я тотчас встал за Викой и ей на ушко что-то болтал. По-поселковски пошучивал. По-стариковски пускал слюну. Это ведь утром! Летним бездельным утром. Когда еще у нас поболтаешь!.. В магазине привоз молока. А красивая Вика покупала плохонький сыр.

Вика моим шуточкам смеялась, она охотно смеялась (снисходительно, конечно!), а я, стоя сзади, этак легко-легко трогал ее плечики. Вроде бы для ее же равновесия. Вроде бы она могла от собственного смеха все больше и больше раскачаться и упасть.

— Но-но! — Вика по-поселковски же, по-простецки оглядывалась на меня: чего, мол, *этот за меня держится.* И опять смеялась. И опять плечиками подергивала: *эй, не слишком, не слишком!*

Я подумал, как это правильно. Как кстати!.. Руки мои должны были стать не только смелы. Но и знакомы... Ей знакомы... И сколько-то привычны ее чутким плечам. После этой магазинной прикидки. (Вика не удивится. Мои руки будут сама нежность. Руки заскучавшего пианиста. Руки крадущегося ночного вора.) Ведь ночью... Как только она попросит боржоми.

Борис в ночь уедет, а я опять окажусь в том доме. В той спальне. Первый шаг всегда труден... Но это ровно одна минута! Две!.. Однако надо же дать ей заснуть... Ее ночная жажда? Я ведь помню, где стоит бутылка с боржоми. (В реальности я прошагал к ней в темноте даже скорее, чем за минуту. Я пролетел... Прямо к ее постели. Я все уже здесь знал. И выждать я умел... И я сразу поискал глазами под кроватью боржоми, но боржоми не оказалось... Я (помню) удивился. Я растерялся. Как же так! Я даже нагнулся поискать к ножке кровати. Лунные полосы... Луна была, а боржоми не было. Я сунулся к другой кроватной ножке... Не было. А Вика уже буркнула мне, *что ты так долго!*. Сонным голосом. И я вдруг сообразил, что слова ее относились не к боржоми.)

На четвереньках она была изящна, с прогнутой юной спинкой. Вика сама и почти сразу приняла эту покорную позу... Вероятно, обычную у них с Борисом в предыдущие ночи. Почти сразу и прогнулась спиной, едва я бережно (едва дыша) коснулся руками ее бедер. Ах, как взыграла в окне луна! Луна взревновала, клянусь! Смуглая (при луне) попка Вики уже

сама по себе (и отдельно от Вики) ритмично поддавалась. Она уже и подыгрывала... Скромно... Слаженно... В конце только легкий сбой... Но сбой так понятен. Я же не все знал!

Разумеется, я был деликатен — хотя бы потому, что был осторожен. Но неполное и приблизительное знание (уже нажитых ими ласк) привело в финале к слегка грубоватому пришлепу — к нарочито отбиваемому такту в ночной тьме: шлеп! шлеп!..

— Мягче, мягче... Сколько раз тебе говорить! — сквозь сон пробурчала Вика.

Она, уверен, и не разлепляла глаз. Ловила кайф в полусне.

Мы отдохнули. Всё тихо. И даже луна притихла... Я был счастлив. Но я колебался: открыться ли сейчас? или нет?.. Не знаю, зачем мне это. В ночной тьме что-то меня теперь давило. Тьма не могла быть вечной. Сказать ей? Или нет?.. Акт (ночной и с моей стороны очень осторожный) давал мне в ту минуту обе возможности. Гуляй, Вася. Свое получил — можно уйти.

Но, видно, в том и заноза, что полученное счастье казалось мне слишком малым. Слишком тихим... Ведь не хотелось, чтобы это исчезло. Чтобы ушло в ночь. Чтобы растаяло в космосе. И в вечном перестуке колес. (Как у мужчины и женщины, которые вдруг сошлись в пустом купе поезда Москва — Пенза.)

Я возомнил!.. Возомнил о вдруг найденной в эту ночь любви. О большом чувстве... У стариков бывает. (Луна луной — а женщина женщиной. Я не хотел ее терять. Похоже, я просто жадничал.)

И тронул сонное плечо... Я будил, как бы проверяя теперь наши с ней отношения на прочность. (Что от них останется?..) Теперь я ласкал и ласкал ее плечо, ее грудь. Я отгонял тьму. Настойчиво... Хотя и мягко.

Она вяло отыграла ласку. Провела мне ладонью сначала по ключице, а пальцами к горлу, к моей сонной артерии. Я приготовился. Горло мужчины и кадык — самые, я думаю, узнаваемые на ощупь места. Ее теплые пальцы ползли... Я притих. Узнает?.. Чужая женская рука — не шуточки.

Она хотела, и я начал снова. Теперь уже лицом к лицу. Отваги хватило. Вот только зря я чуть заспешил. Именно от спешки новый акт уже сразу (я чувствовал) шел сколько-то под откос... Руки не так. Живот не так... Вот-вот должно было обнаружиться нечто меня разоблачающее, *не в их формате*. Я взволновался. И боялся поменять позу. А она, Вика, как раз ждала... Чего-то... Привычного ей.

И потому я вслух сказал. (Надо быть первым...) Я как бы обнародовал свое некоторое удивление:

— Что у тебя с голосом нынче? Простыла?

Вопль ее вырвался сразу. И уже не стихал. «Оооо-Уиии!..» Реакция! На мой голос! (На чужой голос в своей постели.) Она мгновенно, сильно отбросила меня и мгновенным же щелчком включила настольную. Глянула... На меня! И снова: «Оооо-Уиии!.. Оооо-Уиии!» — вопила! Она еще и откинулась всей верхней половиной тела. Откинулась, сколько могла! От меня подальше — вот-вот порвется пополам.

Я, само собой, тоже показательно отпрянул и даже вскрикнул:

— Где я?..

Мы отпрянули друг от друга телами, но ноги наши под простыней соприкасались. До ног еще не дошло. Ноги нас не понимали. Ноги только заскользили невнятно одна о другую и третья о четвертую. Кто из нас двоих выдал ногами этот липкий, скользкий, прохладный пот испуга — пот взаимного страха! — трудно сказать. Возможно, мы оба.

Торопясь (я все еще удивляюсь первый), я ее перекрикивал: я продолжал кричать, кричать, кричать, — я ведь пришел... я пришел к своей!.. к своей подружке! Что за кино! Что за дьявольщина! Как я сюда попал?!

Я даже тер глаза кулаком — мол, не сон ли какой?

Она не верила, кричала:

— Подонок! Подонок!.. Ты куда пришел?.. Я тебя сдам ментам. Сейчас же! Сволочь! Старая сволочь!

— Ошибка! Ошибка!.. — кричал и я. — Вышла ошибка!

— Ошибка?.. А если пять! Если восемь? Если восемь лет схлопочешь — ошибка?

Мы оба вопили. Особенно она. И больно (для меня) дергалась ногами. Дело в том, что ноги наши под простыней так и терлись, обливаясь непонятно чьим потом.

Я решительно откинул простынку, схватил одежку:

— Не нужны вы мне, дорогая. Не нужны!.. У меня своя есть! Иду! Иду, блин, к своей бабе. (Уже раньше мне следовало выругаться. Брань искренна. Брань выручает!)

— Сво-олочь!

— Тс-с. Не орите на весь поселок!

Притихла. Наконец-то на минуту она притихла. Перевела дых. И немного опомнилась. (Возможно, вспомнила-таки о соседях на другой половине дачи, о слышимости. И очень важно, что я на «вы». На «вы»!)

Я уже надевал брюки.

Понимая, что я сейчас уйду (и как тогда меня достанешь!), красивая Вика сменила тональность — уже не слепая ярость. Уже не возмущение, а жесткий спрос. Она зло шипела:

— Ка-аак? Как вы сюда прошли-и?

— Как и всегда. Всегда к ней хожу.

— Ка-ак?

— Через веранду... Она не запирает веранду... Как и вы свою не запираете!

— И не сты-ыдно?.. Не юнец же с соплями! Старый уже! Как это можно поверить, что вы пришли — и не поняли? Легли — и женщину не узнали?!

— А как вы?.. Почему не узнали?

— Я-ааа?

— Вы! Вы!.. Почему вы меня не узнали? Когда я только лег? Когда мы вместе... Когда... Когда на четвереньках. — Я всерьез разозлился. (Но я выбирал слова.) Я даже вскрикнул: — Да и как узнать! Кайф был. Еще какой кайф!

Она осеклась, вспомнив.

Она заправила прядь волос за ухо. В глазах сонное припоминание. Вязкий, запинающийся ее голос произнес:

— К-к-кайф?

Я стал чуть спокойнее. (Отыграл очко.) Теперь я объяснял ночную ошибку уже уверенно:

— Я пришел к своей женщине. В темноте... Такая же калитка. Веранда. Такая же тьма в комнате. Выпил?.. Ну да... выпил. Суббота!.. Выпивший мужик может узнать, а может и не узнать свою женщину. А вы?

— Я?

— Вы, вы... Вам хоть бы что... Мы уже час трахаемся!

— Нет.

— Уже больше часа мы лежим! Бок о бок... Греемся!

— Нет.

— Не нет — а да.

Она на миг смолкла. Возможно, вчера выпивала, провожая Бориса.

— Тс-с. Давайте разбираться, — говорил я. — Но разбираться потише... Тс-с. Ваши соседи! Они нагрянут на шум. Я не хочу им показываться. Мне тоже светиться ни к чему.

Я все повторял «светиться», «засвечиваться» — в чужой ситуации (в напряженной) жесткое слово как якорь. И сам собой на языке возникает спасительный сленг, а то и мат.

И словно бы я накликал — в эту самую минуту нам засветило, и как! В окна!.. Свет! Вплоть до веранды. Насквозь! И даже в настенном зеркале, что в глубине спальни, запрыгали шаровые молнии. (Фары. Вот оно что!)

Машина. Подъехала прямо к забору.

— Я пропала! Пропала... Борис! — пискнула все еще голая Вика.

Я... осторожно... к окнам. Она за мной. Голая. Оба слепо глядели в окно. Не соображали...

Однако ее киношный вскрик: «Я пропала!» — или, может быть: «Я погибла!» — вдруг придал мне хладнокровия. Я остыл. А сердце стучало мощно.

Да, машина стояла прямо под окнами. Да, фары искосясь били в нашу сторону — ярко, светло!.. Но я вгляделся. Это был кто-то... Не Борис... Из машины вышла пара.

— Вика! — крикнул из ночи мужской голос. — Не спишь?

Ага, соседи. Сосед-рыбак... Всего лишь сосед!.. Я сказал ей тихо: «Откликнитесь... Скажите — *легла*. Будет лучше, если вы им сразу откликнетесь».

— Уже легла, — откликнулась Вика (в окно), имитируя сонный голос.

— Спишь?

— Да.

Женский голос оттуда (из ночи) крикнул:

— Борис велел передать, что вернется позже. Он с рыбаками! На озере! Большой костер развели. Сказали: такой клев! клев! А по-моему, заглатывают без счета пивко!.. — И хохотнула: — Хочешь, Вика, мы зайдем? Пиво у нас тоже есть!

Я ей негромко: «Скажите, *нет, я уже сплю*», — и как завороженная она повторила:

— Нет... Я уже сплю.

Машина проехала к соседней даче. Фары ушли, отвалив в сторону. Погасли. После шума двигателя и ночных криков все разом стихло. Как задернули занавес. Тишина.

Минуту мы с ней стояли у окна молча.

Я сказал — мне, мол, Вика, надо уходить. До свиданья.

— Открыть дверь?

— Не надо. Дверь у вас открыта.

Я осторожно шел к выходу. Она набросила плащ... Она шла следом. Всё молчком. Похоже, после встряски ей полегчало. (Мне тоже.)

Я открыл дверь и, выходя, завел витиеватую, вежливую речь: «Простите меня... Я, в общем... Но я благодарен своей ошибке... Вика, я думаю, что... Вика», — да, да, мягко и деликатно я ей говорил. Красиво говорил. После такой встряски речь нам кстати.

Я даже потянулся к ней... Чтобы на прощанье. Чтобы с любовью... Коснуться пальцами ее щеки...

Она оттолкнула:

— Я для чужих — Виктория Сергеевна! — и отбросила мою руку. (Строга! Но меня всегда грела женская строгость.)

От фонаря упал сильный свет, и тотчас Виктория Сергеевна меня узнала. Были уже у калитки. «Чумовой дедок» — именно так она и Борис меня называли. Меж собой... Слышал не раз их разговоры на веранде.

— Ах, это вы! — возмутилась она с новой силой. — И еще уверяет, что ошибка! Не верю! Скотина!.. Лучше бы Борис застал и прибил вас!

— Дачи такие похожие...

— Не верю! Не верю! Не верю!

Я еще успел сказать:

— Ошибка... Но я не жалею... Я...

Выпроваживая за калитку, она больно ткнула меня кулачком в спину:

— Он не жалеет... Он, оказывается, ни о чем не жалеет. Старый к-кретин! К-козел!

Теперь я бродил без всякой цели... Как только луна!.. Без смысла... Без надежды... Зайдя далеко, я уже не возвращался к даче, где Вика. Я просто тосковал. Я хотел любви. Кружил и кружил по дорогам.

И опять я мешал шоферюгам втихую избавляться от бытового хлама. Один из них прямо у дороги сбросил сдохшие холодильники. Аж три остова! С грохотом... Сбросил старый матрац... Столкнул тумбу... Сам-один залез в кузов и сталкивал. Как он на меня орал! Среди ночи!.. Зачем?..

По той скучной возне, что шла за их забором, было понятно, что вот-вот съезжают. Лето кончилось.

Красивая Вика выскочила из калитки, возможно завидев меня в окно. Но, скорее всего, мы попросту наткнулись друг на друга. На улице... С тех пор, как меня выпроводили, тыча мне кулачком в старые мои ребра и в спину, мы с ней не общались. Мы даже не очень-то здоровались. (То есть я интеллигентно и отчасти виновато кивал ей при встрече — она нет.) Теперь вот стояли друг против друга.

Она заговорила первая. Да, они съезжают. Да, летний отъезд — всегда хлопоты и всегда с какими-нибудь потерями. Но сколько же барахла собралось! Лето кончилось, точка. Они съедут, как только Борис сговорится с московским грузовичком.

Уверен, это был ее женский экспромт — уже лицом к лицу, уже при встрече. Вика надумала вдруг... Как с разбегу... Улыбалась, обнажая прекрасные зубы, много-много белых зубов:

— А все-таки вы чудной старик! Знаю, знаю. Слышала...Чудной, но ведь интересный!.. Хотите, сегодня чаем напою? *Вечерком.*

Я так и подхватился: да, да!

А она добавила... С этой своей многозубой улыбкой:

— *Лето, если жаркое, кажется долгим.*

У нее оказался напористый язык ближнего Подмосковья.

— У нас с вами секретов нет... Люблю, Петр Петрович, вечерком на веранде. Люблю сварить мужику кофе.

— Гм-м.

— И конечно, люблю секс. Обожаю. Балдею! Но только секс — вместе со словами. От хорошего словца какой кайф! Верно?

— Верно.

— Два-три хороших слова — *до.* И пара кой-каких словечек *в процессе.* А?

— Как это?

— Ну-у... Начинается! Ты, Петр Петрович, темный... Ну что-нибудь этакое. С перцем. Чтоб при этом ты мне говорил. Чтоб не молча!

Я кивнул:

— Само собой.

Кивнул, но *сказать до* — как раз и не мог. Не получалось. Я оказался заторможен — по сути, мы с ней общались с глазу на глаз впервые.

Это смешно. Старый козел онемел! С моей речью что-то случилось. *Сказать до* (до близости) — я был не в силах. («А если немного помолчим... Если молча?» — «Нет, нет!..» — и Вика отпрянула в сторону. Она настаивала.)

Я даже, помню, завертел головой... За поддержкой. За помощью. По рисунку вечерних облаков (в окне) я старался угадать, будет ли луна хотя бы к ночи.

Луны не было.

Но зато было так много великолепного нагого женского тела. Красивая Вика!.. Возможно, я просто ослеп. От этой ее открытости. От ее щедрости!.. Ведь прошлые наши ночи были защищены тьмой и воровской опаской... Те ночи... Две. (Как ими ни восторгайся.)

— Нравится? — спросила. Стояла передо мной... И ждала слов. Слов, которые мне не давались.

Я еще больше отяжелел. Ни в какую...

— Петр Петрович!.. Ну?

А Петр Петрович (мысленно, сам с собой) все еще был как пришедший сюда ночной украдкой... Я все еще был вор. Я все еще пребывал в лунных потемках. (Где Вика лунное существо, фантом...) А меж тем — передо мной стояла в рост красивая женщина, готовая к любви. Вся ясная. Молодая, *как день!*

Когда званый (теперь уже званый!) я шел сюда, я думал, что вот-вот и начнется великое любовное действо. Мне думалось, я поимею море.

Меня прорвало чудовищными кусками фраз. Каких-то немыслимых. Кретинских!.. Но все-таки. Как-никак я их выдал и удостоился любви. Удача — однако, едва сказав слова, я их уже не помнил. Я тут же их опять растерял. Забыл...

И после некоторого заслуженного отдыха все началось снова:

— Скажи, скажи еще. Скажи что-нибудь...

— Что? — Я не знал. (Пытался вспомнить.)

— Ну-уу?!. — она вспылила. — Что? Опять облом?!

Негодовала! Красивая свежей, смелой, ничуть не ханжеской красотой. Она ждала нарастания! Это естественно!.. Но я-то оставался прежний. Я за ней не поспел. (Я так и подзадержался в тех двух лунных ночах. Я там застрял.)

Она улыбалась:

— Молчишь?.. Почему?

А я все еще протягивал боржоми, чтобы утолить жажду *той* Вики... *То* чувство... *Та* луна... Бутылка с боржоми все еще холодила мне руку. Стекло мерцало.

Она улыбалась:

— Почему молчишь?.. Ну, для разбега... Для начала скажи что-нибудь.

— Что?

— Скажи. Я, мол, тебя сейчас...

И она сделала ощутимую паузу ожидания. Ждала.

— Я...

Она шла навстречу, она помогала:

— Я, мол, тебя сейчас...

— Отдрючу? — Старый мудак не нашел сказать ничего лучше.

— Фу!

Я почувствовал на лбу испарину. Бедная моя лексика!.. Да что же! Да как же ей сказать?

— А ты придумай. А ты смелей... А для чего тогда фантазия?

— Матом... выругаться, что ли?

— Фу, фу!

И, уже поворачиваясь, уже в любимой ею позиции, она насмешливо на меня покосилась:

— Ну-ну, говори что-нибудь. Развяжи фантазию! Придумай!.. Сколько слов!

И сердилась:

— Тысячи же слов! Тысячи, когда человек хочет сделать другому приятное!.. А ты?.. Не будь же убогим трахальщиком, ну, веселей! Веселей!.. Неужели придется тебя учить, Петр Петрович!

Она и в третий раз хотела слов. Я уже думал — сойду с ума.

В любимой боевой позе, вся готовая к действу, она зазывно улыбнулась. Повернув ко мне красивую голову!.. Еще и метнула глазами маленькие бешеные искорки. Ух какая!

И этак снисходительно (не сердясь) объясняла:

— Сейчас для разбега скажи так: я тебя затрахаю.

— А?

Посерьезнела:

— Ты, Петр Петрович, второй раз говоришь: *А?..* Ты что-нибудь умнее сказать можешь?

Объясняла:

— Медленно мне скажи: Я... ТЕБЯ... ЗАТРАХАЮ. А я мысленно это себе представлю. И напрягусь. И взволнуюсь. Ты понял?.. Слова очень и очень на женщину действуют. Возбуждают... Ты не знал?

— Когда я должен сказать?

— В начале.

— В самом-самом начале?

— Темный какой! Ей-богу!.. Ну, ты же понял — прежде! Прежде чем вставить. Скажи: *я сейчас тебе вставлю.*

— Я и так вставлю.

— Само собой... Но ты скажи. Ты произнеси. Медленно и с этакой, мол, подначкой: СЕЙЧАС... Я... ТЕБЯ... ЗАТРАХАЮ.

— А?

— Блин! Ты что-нибудь слышишь? Ты соображаешь?!.

Она сердилась. А я как онемел. Тупость в мыслях... И тяжко, чугунно неповоротливый язык.

— Я ж тебе объяснила. Петр Петрович! Ты как с дуба рухнул!.. Сколько мне еще стоять на четвереньках?!

Я тоже разъярился:

— Так давай же!

— Э, нет. Сначала ты скажи... Говори медленно... Очень медленно...

Из идиота — хоть что-то выжать.

Однако чем ближе (чем темнее) к ночи, тем меньше Вика требовала — тем меньше на меня давила. И тем вольготнее я себя чувствовал. (Я уже вспомнил, вспомнил!.. Ночью-то слова ей не так обязательны. Ага!)

И вдруг я раскололся — выдал ей себя и свою прошлую воровскую ночную влюбленность (а не хотел!). Я все выложил.

Я выболтал, как из-за нее мучился. Ночь за ночью... Как кружил и кружил лунными дорогами возле ее дачи. До изнеможения.

В четыре утра по пустынной поселковской улице возвращался я настоящим инвалидом. Подагриком!.. Левое колено не сгибалось. Да и правое тоже. Только прямой ногой. С обеими прямыми... Надо думать, больной старик выглядел торжественно. Парадно!.. Если издали... Как кормленый солдат. Я мог бы нести венок. (На виду у толпы.) Дорога на подходе к поселку кремнистая. Я звучно цокал.

— Так ты, Петр Петрович, не ошибся! Не ошибся той ночью! — Она смеялась, она счастливо смеялась. — А ведь врал! врал!

Вика заметно подобрела, когда мой язык ожил. В принципе она уже согласилась на слова попроще. (Люди хотят ладить.) Смягчилась:

— Да хоть что-нибудь. Хоть простое!.. Ну, скажи: трахну... ну, отдрючу. Ну, вгоню кол.

— Вика... А если я один раз молча?

— Дразнишь?

— Ладно, ладно. Что именно ты хочешь?.. Вгоню кол. Трахну.

— Только не так вяло.

Мы вышли в сад к колодцу. Уселись там на могучее бревно. Когда уже совсем-совсем стемнело... Курили медленно. Вика дурачилась, крутя и лаская мне ухо свободной от сигареты рукой.

А я на прохладной колодезной крышке нащупал кружку. Крупная старомодная — на цепочке, конечно. Цепка длинная и нетяжелая. Кружка

погружалась медленно. Можно было вести счет. Я сравнивал... Кружка уходила в глубину... А луна (на тот же счет) выходила из мглы.

Я выпил половину этой огромной кружки. Глоток за глотком — не отрываясь глазами от ночного неба. От выползающего желтого светила.

Когда вернулись к постели, я явно повеселел... Постель имеет свой почерк! При луне... Я легонько подтолкнул туда Вику. В дачной постели всегда присутствует деревенская поэтика: там и тут разбросанное! Как легкая озерная рябь.

Но радость нашей ночной и молчаливой (без единого слова!) любви была недолгой — разве что полчаса.

Зазвонил телефон. Нелепый такой дребезжащий ручеек звука. Вика взяла трубку. Лежа...

— Ага-а! — протянула она легким (и лишь чуть неправдивым) голосом. — Уже едешь. Ага!.. Уже свернул с шоссе? Отли-ично!

Мы лежали бок о бок. Она шевельнулась... Нагая, прохладная, только-только остывшая после близости. «Борис», — шепнула мне.

Я кивнул. Я и сам сообразил.

— Ага-а! Сварить тебе кофе. Черненького?.. Отли-ично! — пела она ему в трубку. Чуть неправдиво (опять же), но с задором и с отвагой.

Поскольку я молчал, Вика легонько толкнула меня локотком. Может, я не все понял?.. Подтолкнула мою сообразительность. «Это он... Петр Петрович!» — шепнула. И для начала перемен она села в постели.

А затем Вика встала. Нет, нет, никакой спешки. Она легонько зевнула — и пошла к плите, чтобы сделать любимому человеку кофе. Он войдет — а кофе уже горяч.

Она еще говорила ему:

— Ну, все. Все. Пока... Иду к станку! — и передала трубку мне, мол, дай отбой. И подмигнула.

Последнее, что я видел (я уже одевался), — как красивая голая женщина готовит кофе, стоя у плиты.

Когда Вика подмигнула, была в этом кой-какая насмешечка над подъезжающим и торопящимся к постели Борисом. (К еще дымящейся постели.) Но женская смешинка не была обидной — была человеческой. Все, мол, мы люди!.. Я это видел. Шепотком еще раз напомнила мне: «Положи. Положи там трубку».

Убавила пламя до малого... Доставая банку с кофе, ложечку, сахар, то да сё, она перетаптывалась, шаг туда, шаг сюда... И все время невольно играла ягодицами. Как бы гримасничала. Стоя у плиты... Спиной ко мне. Так и подумалось, что ниже поясницы открылось ее второе лицо.

Это подвижное лицо хихикало в равной мере... И над Борисом... И надо мной... И над самой собой. (Над первым своим лицом.) Это было совсем не зло. Это было равнодушно. Ах, мол, сколько суеты. Ах, мол, люди-людишки!.. Равнодушно... Второе ее лицо все знало и посмеивалось.

Приняв из Викиных рук, я аккуратно переправлял телефонную трубку через постель к столику. (Трубка должна быть на своем месте.) Я как раз нес в руке. А Борис еще договаривал последнее. Он жарко и басовито рокотал мне в самое ухо:

— Сейча-ас... Сейча-ас я тебе кааааа-аак вста-аавлю.

Я даже выронил трубку.

ЕЛЕНА УШАКОВА

*

ПРИ СВЕТЕ И ВПОТЬМАХ

Два стихотворения в свободном размере

1

Неужели кто-то на самом деле
верит в эти фальшивые сцены,
ненатуральные разговоры,
непрошеные исповеди,
подстроенные встречи?

Ну, приехал из-за границы молодой князь,
ведет себя как порядочный, интеллигентный человек...
Почему все принимают его то за святого, то за юродивого,
называют идиотом?
Вываливают подробности интимной жизни,
втягивают в сомнительные истории?

Почему его-то влечет к этим людям, людишкам?

Это во-первых.
А кроме того — назойливый один и тот же прием:
поцелует и тут же плюнет; плюнет, а потом поцелует, и так — все! —
в припадке гордости, в истерике безобразной и жалкой.

А эти понятия о «чистоте»!
Женщина живет на содержании у покровителя,
но его к себе не подпускает. Это честно?

И если прибавить к этому
стилевое неряшество, торопливую неразборчивость:
«...не выскакивая слишком эксцентрично из мерки» (ч. 1, гл. 4),
«...он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя» (там же)...

И непростительное невнимание
к растительному миру,
вообще к обстановке —
одни разговоры и рассуждения!
Не догадывается даже
усадить героя,
вошедшего, как всегда, внезапно...

Ушакова Елена Всеволодовна — поэт, постоянный автор нашего журнала. Живет в Петербурге.

Читатели, вы — как дети. Детское, в сущности, восприятие.
Слова-концепты не соотносятся с жизненным опытом.
Странное, знаете ли, простодушие — поистине, хуже воровства!

«Язык порождает в уме, — говорит ученый, —
огромное количество дифференцированных моделей
(особенно в детстве),
однако глубокое понимание этих моделей
наступает лишь после их адаптации
к личному жизненному опыту».

Но вот что замечено:
тот, кого легко обмануть в искусстве,
в быту проявляет недюжинную смекалку,
знает свою выгоду,
не упустит,
а тот, кого не проведет даже Федор Михайлович,
наделен рискованным бескорыстием,
беззащитен,
и обмануть его нетрудно —
он *сам обманываться рад!*

2

Визит в Америке

Он выглядел молодым человеком,
а она — стареющая,
толстая, маленькая,
сильно накрашенная,
глупо хохочущая собственным словам,
в мятом, до пят, коричневом платье.

Нас было четверо за длинным столом
в огромной столовой.
Ножи и вилки обменивались тихими блестящими репликами
с фарфоровыми тарелками.
Он помалкивал
и с прилизанными волосами на косой пробор
походил на Молчалина.

Я подумала: деньги?
Но оказалось, что она на пенсии,
а он — преуспевающий физик
и занят в престижной фирме.

Когда мы уходили, в прихожей
она стала совать мне в руки
старый мохеровый шарф
и клеенчатую потертую сумку.
Но не успела я открыть рот — только подняла брови,
как он подскочил, шепча:
«Возьмите, возьмите!» —
и выражение лица было такое,
как будто жизнь зависела от того,
приму ли я эти непрошеные дары...

Мы вышли на светлую еще улицу,
чудное облако неподвижно висело.
Вдруг показалось... кто-то смотрит неизвестно откуда:
впалые щеки, борода
и глубоко посаженные
маленькие,
печальные
два уголька в темноте...
Достоевский!

* *
*

Жизнь, скажи мне, что же ты такое?
Теплый сумрак комнаты спрошу,
Снежный саван за окном, левкои
В вазочке, глаза на них скошу —
Что-то знают, прячут... Не довольно ль
Этого молчанья в полутьме?
Жарко, зябко, радостно и больно,
Мышью стих копается в уме.

Чтобы видеть — мало, мало зренья,
Португальцем сказано одним, —
Философские предрассужденья
Надо отменить, рассеять в дым,
Перепутать слух и обонянье
(«Слышать запах» — верно говорят),
Осязанье, нежность, упованье,
Горечь, радость, страх поставить в ряд
Неразрывный...
Смысл — в неразберихе,
В суффиксах, в сугробах, в облаках,
В расплывающемся блике,
В капле меда на губах.

* *
*

Отзывчивости вид, верховной тишины!
Будь я священником — католиком, допустим,
Я знала б, как внушить смирение: нужны
Морская рябь, рассвет и под балконом кустик.

Как называются те красные цветы?
Такие круглые, огромные, как блюдца,
Краснознаменный хор: они раскрыли рты.
«Собачьи розы» — так у нас они зовутся.

И в затаенный час рассвета из-за гор,
Найдя в их контуре удобную ложбинку,
Как будто плавится и льется (до сих пор
С картиной той живу сияющей в обнимку)...

Разоблаченное, без бахромы лучей —
Самсон остриженный! — в ребристые бороздки
Морской поверхности зарылось славой всей
И нежной кротости разбрасывает блестки.

На крышах хвойные иголки, а не мох.
И тень узорная то упадет, то встанет.
Не знаю, любит ли и помнит ли нас Бог —
Он тенью на стене танцующею занят.

Не мы, понурые, а пляшущая тень!
Не мысли бедные, а лепет, бормотанье,
Блаженства признаки — смотреть бы целый день, —
И нет сомнения в Его существованье!

* *
*

Отель на берегу, на пляже, белопенной
Волнистой линией очерчен и лежит
Как высший замысел, жемчужина вселенной,
Узорной шапочкой солярия накрыт.

Проходим холл — диван и греческие вазы,
В кадушках деревца с двуцветною листвой,
И пятнышки на ней, как счастья метастазы,
Живучей зелени и жизни отпускной.

Ступени мраморные, красные колонны,
Бассейны хлюпают в двуместных номерах...
Здесь роскошь лишняя живой, одушевленной,
Смотри, становится при свете и впотьмах:

И эти лестницы, и эти коридоры —
Не часть обители, а словно бы жильцы,
Фантомы прошлого, в компанию которых
Мы чудом приняты, как ниши и торцы.

Чтоб, может быть, в краю, где правил некто Минос
(А Минотавр был сын — побочный, говорят),
Мы коммунальный быт забыли бы и примус,
И неолитовое племя октябрят.

* *
*

Все происходило, как в печальной
Сказке андерсеновской известной
В день, когда он к берегу причалил
Этой жизни, времени и места.

Пожелали мужества и силы,
Приходя по очереди, феи
Новорожденному — спящий, милый,
Запредельным сном еще овеян.

Пожелали разума и чести,
Подарили доблестную память,
Рисовали этот облик вместе,
Словно приготовились обрамить.

Снарядили конницу-удачу...
Но одна (ее не приглашали)
Пожелала ко всему в придачу
Слезы, беспричинные печали.

И осталась выморочной тенью
Жизнь — согласно каверзной поправке,
Маленькому как бы добавленью,
Превращенью страшному, по Кафке.

* *
*

Ползет по мокрому стеклу
Осенняя слепая муха,
И тень ее снует в углу,
По занавеске — там, где сухо.
Ее двойник размытый от
Цветка к цветку переползает
Так аккуратно, словно шьет,
Как Андромаха вышивает.
Казалось бы, не может быть
Ни символом, ни сообщеньем,
Ни образом — лишь удивить,
Привлечь внимание движеньем.

Но мне — мне эта тень и ряд
На полках книг моих согласно
Сквозь пыльный бортик говорят,
Что будет жизнь еще прекрасна:
Я прочитаю, я пойму,
Увижу, получу, поеду,
Проснусь, услышу, обниму,
Во вторник обниму и в среду...
Смешной для месседжа предмет?
Но тем вернее, чем ничтожней,
Способен отразить весь свет,
И тот — с надеждой внеположной!

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

(1987 — 1994)

Глава 14

ЧЕРЕЗ НЕПРОДЁР

От того *тёплого ветерка* — ой, долго-долго ещё пришлось ждать.

Перекатывались по Советскому Союзу «освободительные перемены», пропагандировалось «новое мышление», — и что-то же, правда, серьёзное происходит там? Вот — не за поход ли против «закрытых распределителей» и других партийных привилегий — снят с московского горкома бурный Ельцин? А Горбачёв произносит обещательные речи, но судорожно держится за власть Партии и за ленинское знамя. И, похоже, искренно. А Министерство иностранных дел вверил главе грузинского пыточного КГБ. Перспективка...

Всё та же шарманка о торжестве социализма и об «интернациональной помощи» Афганистану. Вот — для Запада (интервью NBC): «Когда мы отняли всё у царя и отдали всё народу...» А уж как Горбачёва на Западе все вознесли, и восторженней всех — М. Тэтчер. Ну, после 80-летних глухих инвалидов — кому он не покажется? И кончил Холодную войну!

Только — не на равных условиях: поспешными, услужливыми государственными дарами.

Для такой необъятной страны — не та голова, не та. (Да откуда ж *той* взяться?)

Что он протрубил первое, и от души, это — «Ускорение» (производственной работы всех трудящихся). Но — не взялось, не перенялось, и очень вскоре этот лозунг власть стыдливо сняла, не повторяли.

Второй лозунг — «Перестройка» — заявлен сверху громчайше, — но и подхвачен со встречной надеждой, тысячеусто. А в чём именно она состоит — кажется, и в Союзе никто точно не понял. Вознесли кооперативы (верная и плодотворная форма, самобытно и успешно процветшая в дореволюционной России) — но вскоре же начали их крушить. Разрешили мелкую сельскую деятельность (самое насущное! самое первонужное, верно!) — а на местах тут же кинулись топтать, громить малые, частные ого-

---

© А. Солженицын.

Окончание. Первая часть «Очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире», № 9, 11 за 1998 год, № 2 за 1999 год, вторая часть — № 9 за 2000 год, третья часть — № 12 за 2000 год, № 4 за 2001 год.

родные парники — как «нетрудовые доходы»... То объявляли демократический выбор заводских директоров и какой-то странный «социалистический рынок», — явно разрушали скрепы прежней системы, — однако ничем живучим не заменяя, — а малым бы предпринимательством, мелкими мастерскими, швейными, сапожными, пекарнями, лавочками, чтоб народ очнулся, наелся, оделся!

Как тревожно от этих метаний.

А с несомненностью оставляли на местах всю прежнюю номенклатуру, да ещё дозволяя ей и обращаться деньгами за счёт народного достояния. Всё — ничтожные и партийно корыстные оглядчивые шаги. Да неострый край — всеобщему обласканцу Горбачёву искать пути плодоносных реформ, когда восторженный Запад посыпал ему любые кредиты.

Вкус подлинной новизны реальнее проступил в третьем элементе — объявленной Гласности. (Да приспособлен ли к Гласности сам Горбачёв, если тут же утаивал чернобыльское отравление?)

Но всё-таки — гласность? В самом деле? Гласность, когда-то нами лишь мечтаемая, — и вот начинает осуществляться? Неужели?? Люди сами ещё не верят своей смелости, своим языкам: о чём вчера можно было только шептаться на кухне — и вот открыто, вслух?

Конечно, в печатности ещё очень с оглядкой, ещё в несомненно коммунистических строгих рамках — но можно? неужели можно?.. (Ведь по-прежнему — «освободившиеся» советские газеты клеймят распорядителя нашего Фонда Сергея Ходоровича «ординарным уголовным преступником». А провинившийся в партийном диссидентстве Лен Карпинский вынужден так выражаться в газете: он благодарит за восстановление его в КПСС с сохранением партийного стажа и всю вину за исключение берёт на себя.)

Правда, вот первые реабилитации большевицкого прошлого: Бухарин, Рыков — медленная сдвижка с краю. (Я бы извёлся там сейчас — доказывать опять, что не в одном Сталине дело, нельзя всю жизнь повторять одно и то же. А может, с разгону пройдут и этот рубеж?) Но и: обсуждается восстановление храма Христа Спасителя! — это уже большая перемена в атмосфере.

А в печатности — сперва мелькают, конечно, социально-близкие; потом осторожно о лагерной теме — Владимов; потом о лагерях смелей, смелей в газетах, наконец допущен и Василий Гроссман — и даже Шаламов! Это уже далеко покатило. А всё равно держат жёстко: пока ещё — нигде, никто, ничего против самой-то коммунистической власти.

Но вот уже: п у с к а ю т через границу! Начались свободные визиты! — сперва свежие третьеэмигранты, наведаться назад, в СССР; затем и — первые советские на Запад.

И от того — чьи-то встречи, встречи, рассказы, рассказы, рассказы, волна живых впечатлений, — к нам в Пять Ручьёв они прорываются в возбуждённых телефонных пересказах, и в участившихся «левых» письмах из Москвы, да что-то же отражается и в парижской «Русской мысли», и во франкфуртском «Посеве». А увидишь в любительской видеоплёнке или в кадре телевизионном — живые, вот сегодняшние русские лица, кусок улицы, дома́ — сердце так и ополоснёт горячим.

И вырастает: на родине (больше в столицах, конечно) — пиры человеческого общения! говорят! говорят! Ещё бы! Изголодались, после десятилетий молчания — все упоены этим правом! И говорят — обо всём совершенно свободно!

Но и такое: говорят-то говорят, да кто же что-нибудь *делает?* что закрепляется *на деле?* Все события — пусть сами собой теперь льются? Ещё ж и Запад благосклонный нам во всём поможет. Поскорей бы у нас стало всё «как у них», как у взрослых!

Общество кипит сочувствием к Горбачёву — но находит, кажется, единственную форму поддержки: соучастие в Гласности. (Да пойди найди эффективные формы действия — после десятилетий задавленности.) Так и протекает в говорении.

А кто-то — вывинчивается из вынужденного аскетизма — к коммерции: надо ловить, пока плывёт! И такое наблюдение дотекает до нас: прежнее среди интеллигенции «лучше беден, да честен» — что-то уже начинает блекнуть, не котируется.

И прямые письма от наших московских друзей доносят эту тревогу: общество — больно! общество — жалко барахтается, и даже тонет, несмотря на гласность.

И как же это всё мне знакомо из Февраля Семнадцатого! И бескрайний восторг общества. И пьянящий туман надежд. И эта безоглядность выражений. Сколько счастливого долгожданного упоения! — но в нём теряются, искажаются все масштабы. И — небрежение к историческим путям России, бесчувствие к её особенностям, безмыслие о каких-либо задачах сбережения их.

А между тем по всему Западу — и Перестройка и Гласность советские вызывали неутихающее ликование. И осенью 87-го затревожились и в западной прессе, вослед эмигрантскому хору (начала «Вашингтон пост», за ней другие): *а почему Солженицын молчит?* такие грандиозные события в СССР — а он молчит? *что это означает?* да впрочем, что он может сказать — «монархист, реакционер и мистик».

Ну да, естественно было ждать от меня восторга от *Гласности*, которую я же призывал двадцать лет назад. Но если я вижу, что все *остальные* перемены ведутся обвально? Мне — страшно смотреть на эти катящие события. Что я могу? С одной стороны — счастье, что хоть что-то, хоть что-то под коммунизмом начало сдвигаться. Значит: *против* «перестройки» говорить не время. А с другой стороны, всё *делаемое* (кроме раскачки Гласности) — так несущественно, или недальновидно, или уже вредно, — ясно видно, что заметались, пути не ведают. Так и хочется остеречь Горбачёва: «Не пори, коли шить не знаешь».

Но если нельзя ругать и трудно хвалить — что остаётся? Только — молчать. Вот и молчу. (Однако в эйфории восторгов и этого изъяснить нельзя.)

Пора перехожа, а всё не гожа...

А большие события на родине если не начались, то — начинались, вот-вот разразятся. Давно-давно я ждал их (да ещё с наших лагерных мятежей 50-х годов) — и давно же готовился, «Красным Колесом». Чем больше я охватывался им, тем пронзительнее понимал всю грядущую опасность оголтелого феврализма. Я надеялся и готов был — хотя какими тропами? — «Мартом Семнадцатого» *заклинать* моих единоземцев: во взрыве вашей радости только не повторите февральского заблудия! только не потеряйтесь в этой ошалелой круговерти!

Но как же мне подать на родину голос о том главном, что я, в розысках, потрясённо обнаружил, — об острых опасностях безответственного Февраля? Да вот — и благоприятный поворот. «Голос Америки», который в киссинджеровское время не осмеливался читать «Архипелаг» для советского слушателя; который даже не смел никогда имя Ленина произнести осудительно («советский народ боготворит его»); который, вот в 1985, пострадал от сенатской грозы за передачу в эфир столыпинских глав «Августа», — летом 1987, в зарницах новой горбачёвской политики, предложил мне прочесть серию отрывков из «Марта Семнадцатого», чуть опоздав к 70-летию Февраля.

Как я обрадовался! Потянется живая ниточка в Россию! Вот теперь, когда перестали глушить, — огненную бестолковицу Февраля да живым голосом — прямо в сегодняшний бурлящий СССР.

Только — не «серию отрывков» бессвязных хотел бы я прочесть, а составить для передачи по радио — содержательный, сжатый сгусток всего «Марта Семнадцатого». Новый, немыслимый уровень плотности. Очень заманчиво: перенести на родину по эфиру всю суть затоптанной, забытой Революции, погубившей Россию. Дать представление о спотычливом и разлагательном х о д е её. А что для этого придётся? Да резать свою книгу,

четыре тома, — как по живому. Составлять текст не то что из отдельных глав, но даже из малых долей глав, даже из абзацев, пёрышко к пёрышку, собирать только самое существенное.

Очень трудно. Это — как заново ту же книгу писать, много работы. А иначе — не поместиться.

Сел работать. Работа оказалась ёмка, трудна и отняла едва ль не полгода. Как достичь цельной картины столь малым объёмом? Над множеством страниц взвешивать: что взять? чем пожертвовать? Как протянуть несколько самых важных линий и самых важных действий? Да, но и — настроений же людских, без этого утеряется воздух. И каждая же отдельная передача должна иметь свою законченность смысловую — и точно же уместиться в 23 минуты. (Лишние минуты прочтёшь — могут обрезать, но и своей живой секунды отдать зря не хочется.) Подготовленное — замерял на время, прочитывал вслух. Учился неслышно перелистывать страницы перед микрофоном. И удачная музыкальная заставка сама в голову пришла: из 2-й симфонии Чайковского — вообще спокойной, но *эти* такты поразительно передают революционный напор.

Бригада для записи приезжала к нам из Вашингтона дважды: в октябре 1987 на первую половину, в апреле 1988 на вторую. Записывали на старую технику больших кассет, но с повышенным качеством звука, мне же сделали копии на стандартных малых кассетах, похуже. Так хорошо было подготовлено и отлажено, что ни разу не потребовалось переписывать никакого куска вторично.

И — потекли мои передачи на родину с ноября 1987. Я слушал каждую и ликовал: что — а вдруг? — всё же успеваю и к опасностям нынешним. Что сколькие услышат!

...Однако отзывы что-то долго не приходили к нам. Хотя «Голос Америки» дал липовую справку, будто мои передачи «слушало 33 миллиона», — но мы вскоре поняли: да в наступающую Эру Свободы кто там будет, разве по старой привычке, слушать «Голос Америки»? Теперь люди заняты другим: на их глазах совершается ход *сегодняшней* русской истории.

Так что — все мои старания пошли под откос, зря. «Март Семнадцатого» — опоздал-таки к *новому Февралю.*

В сентябре 1987 — повезла Аля Ермолая и Игната в Лондон, каждого на своё ученье. Игнату вот-вот 15, Ермолаю подходило под 17, и было нам грустно: уезжают, по сути, навсегда, в самостоятельную жизнь, уже не будут с нами, под крылом. Но потекли теперь письма от них, хотя и переменчивые по настроениям, но всегда содержательные, чаще от Игната, остро впечатлительного и нередко тревожного.

На первый год устроили Игната жить в британской семье, чопорной и очень стеснительной по распорядку. («Это даже как бы не единая семья, в русском понимании, — писал домой Игнат, — а живут вместе как по заключённому договору, но строжайше выполняемому».) На второй год выпросился жить один, снимая комнату. Но упивался уроками у Марии Курчо, впервые влился в жажду, в наслаждение многочасовой самостоятельной игры на рояле. Само собой — поступил в лондонскую музыкальную школу, на другой год и закончил её. В тот период Ростропович немало бывал в Лондоне, Игнат не раз сиживал на его дирижёрских репетициях, многому учась. Но нелегко выдерживал одинокую жизнь в незнакомой стране, на первую же Страстную неделю прилетел в Вермонт, не пропустил ни единой в нашем приходе страстной и потом пасхальной службы. Следующей зимой и на Рождество.

А Ермолай в Итоне хотя отчасти бунтовал против строгостей распорядка (и за то бывал наказываем) — но, в вермонтской школе постоянно

пригнетённый двухлетним возрастным превосходством одноклассников, притом их сплочённой, в себе уверенной заурядностью, — в итонской интеллектуальной атмосфере Ермолай распрямился, стремительно развивался, стал получать высшие отметки, а по истории — первый в школе среди одновозрастных. Успел попрыгать и с парашютом, продолжал заниматься карате. — А Митя, уже перебравший, буквально своими руками, немало покинутых автомобилей и мотоциклов и с успехом развернувший свою моторную мастерскую в Нью-Йорке, — к 18 годам подарил Ермолаю сильно подержанный, но ещё весьма крепкий «бьюик» — и взял его в летнее путешествие своими колёсами через континент, в Калифорнию. Мальчики очень сжились. Ермолай жадно укреплялся от старшего брата, которого и всё нью-йоркское окружение любило за весёлую храбрость, за русское радушие, за неизменное ко всем дружелюбие.

Потёк следующий год.

Митя, ему уже перешло через 25, часто наезжал к нам из Нью-Йорка своим гоном (5 часов езды, он же управлялся за 4), стал привозить друзей и подружек. И только один Стёпа оставался жить с нами в Вермонте постоянно. Он всегда деловит, равномерен в настроении, равнодушен к телевизору, кроме главных новостей. Со мной уверенно кончал работу по моему словарю. И пишущая машинка ему уже ничто — он первый в нашей семье получил компьютер, накинулся его изучать. Меньше всего он берёт от здешней школы (и там не тянется быть «как все», и терпелив к насмешкам), но с мамой занимается русской грамматикой, сам с наслаждением — французским, тянется к латыни. («Какой это пир! — узнавать, узнавать, узнавать!») В приходе составил и расписал по голосам — службы ко всем праздникам церковного года. Пресловутого «переходного возраста» Стёпа нам как будто и не явил, лишь изредка столбово заупрямится.

Подал Ермолай в Гарвард и Принстон со следующей осени. Приняли оба, выбрал Гарвард. Одновременно и Игнат рвётся вернуться в Америку, учиться дальше здесь. Ну вот, все опять будут неподалеку, в Штатах, хоть и разлетелись из дому.

И все четверо — с острым вниманием, с волнением, как за своею истинной судьбой, — следят за новостями с родины, слушают от нас пояснения и добавки и отвечают своими соображениями. До сих пор — русские по духу. Пока — удалось сохранить.

Но затянись наше пребывание здесь ещё?.. Почти невероятно, чтобы детям, всему роду моему, не пришлось весомо заплатить за моё изгнание.

В октябре 1987, как условились через моего благожелательного немецкого издателя, приехала к нам большая редакционная команда «Шпигеля» во главе с главным редактором Рудольфом Аугштейном — и беседовали мы несколько часов, очень содержательно, при хорошем переводе, — об исторических путях России, прямо в связи с «Колесом». Хотя между нами с Аугштейном уже не было никакой сердитости от конфликта 1974 года — но разговор сперва шёл в большом напряжении: не исключаю, что и ныне журнал не прочь бы изобразить меня безысходным мракобесом. Однако в ходе часов напряженье спадало и обе стороны оставались удовлетворены.

Прошло несколько недель от публикации* и, видится, явно от впечатления со «Шпигелем» — вдруг и «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс» заказали писать статьи обо мне — с заданием: жив ли ещё Солженицын

---

* «Der Spiegel», 1987, 26 Oktober. Полный русский текст — Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах, т. 3. Ярославль. Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997, стр. 285 — 320. (Далее ссылки на это издание даются с указанием названия, тома и страницы. — *Прмеч. ред.*)

или уже принадлежит прошлому? (Какой-то «исторический путь России», глубина времени, — а где же горбачёвская Перестройка? где же внятная современность?) «Нью-Йорк таймс» настойчиво добивалась и интервью от меня, я не дал.

На всякий случай заранее меня похоронить, до выхода «Колеса»? Ничем их не насытить. А мне, нутряно, совсем безразлично: что они обо мне думают, скажут, напишут. Я знаю: хоть когда-то, хоть после моей смерти, «Красному Колесу» время придёт — и той картины Революции никому не оспорить.

Впрочем, у «Вашингтон пост», при доле подмухлёвок и шпилек, — получилась статья как бы реабилитационная после травли 1985: вроде я — и не антидемократ, вроде — и не антисемит... («Нью-Йорк таймс» и год спустя, к моему 70-летию, опять предлагала интервью, я отказался.)

А в СССР моё имя всё так же запрещено. Гласность для кого и повеяла, чьи имена и книги вытягивали наконец из тьмы забытья — да только не мои: для советской власти я оставался заклятым и опасным врагом, и в цекистской «Советской культуре» меня продолжали травить.

И куда прочь отнесло то неуверенное заявление Залыгина в марте 1987, что он намерен печатать Солженицына? Что ж, терпели дольше, потерпим. Таков уровень официальной «Гласности» спустя три года, как её даровали.

А — не официальной, общественной? Нас поразила мелкость достигших нас разномнений. Одни: вот Солженицын приедет и возглавит «Память» — и это приведёт к диктатуре русского шовинизма в СССР. Другие: нет, он приедет — и обессилит её, отнимет у неё умеренные здоровые элементы. Рассуждали обо мне, как о политической игрушке, а не о писателе. И даже по этой плоскости зрели только леденящую «Память» — а Коммунизм как будто уже и не высился.

А год кончался.

Неожиданно президент Рейган сделал несколько попыток вставить меня в советскую действительность. На новый 1988 год уговор у них был с Горбачёвым обменяться краткими видеоречами — встречно, к советским и американским телезрителям. Рейган сказал: по словам вашего русского писателя: «Насилие не живёт одно, оно непременно сплетено с ложью». (Вырезать из передачи нельзя. Но обошлись советские с речью так: не объявили вперёд, в какой час будет передача, — и пустили её ранним часом 1 января, когда все ещё спали.) — Затем в апреле в одной из своих речей Рейган прямо предложил Советам «печатать Солженицына». (На ту речь советская пресса накинулась: «банальные вымыслы», «не содержит положительной атмосферы для диалога». В том же апреле, в одном из гарвардских обсуждений, успел и Р. Пайпс: «Если не Горбачёв, то победит реакционное направление Солженицына».) — В конце мая, во время визита в Москву, в Даниловом монастыре, как раз в Духов день, Рейган процитировал отрывок из моей крохотки «Путешествуя вдоль Оки». Московская «гласная» пресса проигнорировала этот пассаж. — Тут же вослед Рейган назвал меня перед писательским собранием в ЦДЛ. (Американские корреспонденты проворно бросились за отзывом к братьям-писателям, и получили, от Гранина и других: скучный писатель, реакционный, что его с нами нет — не потеря). И немедленно откликнулась «Нью-Йорк таймс»: «Даже и те советские интеллигенты, кто раньше защищал его [Солженицына] право печататься», — и для тех «он неприятен, прямой духовный потомок реакционной породы русских националистов, который предпочёл мистическое убежище в укреплённой изоляции [это — мои Пять Ручьёв] от секулярных зол Запада».

Опять и опять! Нет, нам до конца света не помириться. Когда касается меня — до чего же дружно, согласно мелют эти два жёрнова: что кагебистский (а хоть и образованский), что госдепартаментский да ньюйорктаймский.

Несмотря на все взвихри настроений от событий на родине — наша с Алей работа не слабнет ни на день, никогда. Я уже расставался с «Мартом», с 88-го перешёл в «Апрель», больно влекущий его поспешливой новизной — и неоглядным сползаньем России всё дальше в пропасть. Всякую очередную главу Аля набирает на машине IBM — и всякую же сопровождает на обширных полях своими оспорами, советами, предлагает перестановки, ужатия, порой — выбросы. Эти заметки её — неусыпный контроль качества, иногда меня раздражающий, иногда восхищающий, — но всегда зоркая помощь и всегда неутомимый подпор в неохватной, по задаче и объёму, работе. Затем Аля перегоняет текст (ах, спасибо новой технике: при наших объёмах и темпах мы бы с пишущей машинкой погибли), иногда выдвигает ещё новые возражения, я снова принимаю по ним решения — и она выбеляет главу начисто. От удачи этого совместного движения мы оба молодеем. (Но и так, говорила Аля: испытывает она угнетение, многолетне следя в подробностях — неостановимое в 1917 крушение России. Да не следя — прямо живя в нём.)

И так мы плотно, погружённо работаем, что досаднейше приходятся нередкие поломки и неполадки в машине, вызывать мастера за много миль — и не во всякий день приедет, и на наших холмах дорога часто — одна гололедица, и ещё как скоро справится, и ещё все ли детали найдутся у него. От перерывов наборной машины работа не останавливается: Аля тут же берётся за редактирование рукописей Мемуарной библиотеки — ведь размахнулись мы ещё и на эту непосильщину. Легче всех прошёл Кригер-Войновский, последний царский министр путей сообщения — высокая достойная культура ума, государственный опыт, от того и перо, — такими людьми наш век всё менее избалован. — Уже гораздо больше потребовала рыхловатая рукопись Сергея Евгеньевича Трубецкого, младшего члена знаменитой интеллектуальной семьи. — И гомерическая работа свалилась по интереснейшим мемуарам москвича Окунева за первые советские годы. Беда была в том, что досталась нам самиздатская перепечатка с сотнями ошибок в цифрах, датах (перепутана была и последовательность записей), географических названиях и личных именах, которыми пестрит дневник. Приходилось проверять по многим энциклопедиям, разным случайным источникам, а больше всего — по газетам того времени, микрофильмы которых у меня и были. Но редактура, вероятно, и стоила того: под гнётом раннесоветского времени таких свидетельств почти ведь и не сохранилось. Они тоже — ещё не для сегодняшней Гласности. (Ещё подобную книгу мы в «Имке» выпустили — И. И. Шитца, «Дневник „Великого Перелома"».)

Но бывал ли у Али хоть один день без вторжения внешних помех? То и дело телефонные звонки — и от настырных корреспондентов, всегда порывистых найти какой-то сладкий выклев, и от эмигрантских любителей поговорить, и вообще от неожиданных лиц (номер нашего телефона както всё шире растекался). И многие эмигранты — с просьбами, бедами, Аля помогает безотказно. — А то ещё и самые внезапные звонки в ворота: два раза прибраживали явно душевнобольные женщины с жалобами, что их измучило зомбирование от КГБ, — и чтоб я защитил и выручил. Непогода, а то и мороз, и идти ей вроде некуда, значит везти её в ближнюю гостиницу, устраивать, кормить, успокаивать. И одна уедет, а другая останется бесчинствовать в округе — и соседи корят нас, какие к нам посетители «эти русские». — А раз, на своём автомобиле, а наши ворота нараспашку, приехал третьеэмигрант из Торонто, тоже тронутый: привёз «идеологическую бомбу» — проект, как спасти мир соединением Дарвина, Маркса и Фрейда. Приехал — в мороз 25°, но у него в машине — жарко, и он не уедет, пока мы не прочтём и не одобрим. — А то, углядя в «Новом русском слове», как пройти к нам по лесной дороге, — жена некоего московского художника, пешком, с чемоданом: тут, в чемодане, образцы его ра-

бот, а вообще он написал три тысячи картин и все их подарил Соединённым Штатам; но американское посольство в Москве что-то медлит принять бесценный дар — так чтобы я повлиял на американское правительство, ускорил. И её с чемоданом — везти в обратную дорогу. — А ещё же, не так редко, гудит в ворота проезжий американец, или семья, или экскурсионная компания: «Только на полчаса! пожать руку!»

А помощь Фонда семьям зэков — надо же в Россию лить. С Перестройкой оживилась связь — письма, деньги, посылки.

Слишком много груза — и сразу вместе, и всегда, постоянно. Уплотняется время, чтоб не пропадала минута — и никогда. К вечеру: откуда брать силы? А это ещё — не конец дня, ещё и за полночь работа длится. И потом — короткий, малый сон, не всегда и глубокий. А никто за неё не сделает.

Тяжко — но что́ мы смеем остановить? чего — не делать?

От «перестроечного» размораживания усиляется и внешняя тряска. Ещё не знаем толком последнего события или текста — уже звонки прессы: ваша реакция? И Аля — отговаривается. (Да что ж я — ежедневный комментатор, что ли?)

Одно облегчение явное: к весне 1988 кончилась моя 40-летняя работа над словарём. В Нью-Йорке Лена Дорман начала набор, мне присылала гранки на корректуру.

Теперь получаем прямо из Москвы по подписке — «Новый мир». Над страницами его, ещё такими оглядчивыми и несмелыми, — дивное ощущение *возврата.* — Свободней потекли книги, теперь и «Имка» рискнула допечатать 500 экземпляров «Красного Колеса», и «малышек» добавила, разбирают приезжие.

Да, невообразимое состаивалось: открытые людские связи. Вот в Копенгагене собрали первую встречу «деятелей культуры». Приехали ещё робкие и ещё подобранные в отделах кадров советские — и ринулись туда наперерез энергичные третьеэмигранты. Из первых там возгласил Эткинд: «Солженицын — сеятель ненависти!» Не он один. Ужас перед Солженицыным, уже накачанный Третьей эмиграцией на Западе, теперь перекачивали в советский образованный круг. А там — и не возражали: «Нам не нужны пророки!» (Обидновато всё-таки, что сегодняшние новизны, и многое сверх них, я высказал вслух ещё 15 лет назад? Кому нужно такое опережение...)

Не дожил до этой обнадёжливой поры Митя Панин, в ноябре 87-го скончался в Париже в свои 77 лет: вставленные на помощь сердцу стимуляторы перестали тянуть.

Так завершилась его трагическая жизнь. Перенеся тяжёлое следствие, ещё и в голодном лагере военного времени (лагерный срок его удлинял прежний 5-летний до 13 лет), в лагерном и тюремном стеснении вырабатывая философские и политические принципы для государственного и жизненного устройства, — он должен был таить их и на советской «воле» уже и за свои 50 лет, потом надеялся найти широкое признание на Западе, но не нашёл его и не обладал сцепляющей передачей убеждать в своих принципах, множить сторонников, так и остался непо́нятым утопистом. Мешала ему и прямолинейность мышления: «Созидатели и разрушители» назвал он один из своих главных трудов — в представлении, что все люди и делятся на две такие отчётливые категории, и нет между ними ни промежутков, ни переходов. (Главных разрушителей он предлагал сослать на безлюдные острова и тем одномоментно спасти человечество.) Из эмиграции подпольно слал в СССР призывы к стачкам и силовому сопротивлению властям. — В эмиграции разрабатывал он, идя от философии, и труды по физике, о которых судить не берусь, а признания они тоже не получили.

Приходя в отчаяние, Митя просил меня — то устроить продвижение этих трудов в Соединённых Штатах; то найти ему в Штатах какую-нибудь оплату его будушей публицистики, — невыполнимая задача. Тогда он со-

гласился наконец на нашу прямую помощь. А все призывы его, обращённые к обществу Востока и Запада, к папскому престолу, — остались тщетны, и тоже были практически неисполнимы.

Для меня это текла и поучительная, и трудная дружба — на протяжении 40 лет, от марфинской шарашки. Со смертью Д. М. закрылась одна из личных эпох.

По традиции — служили мы под старый Новый год, 13 января, общую панихиду и за 1987. Тут были, кроме Панина: прекрасный поэт Иван Елагин, всю жизнь которого перекорёжили эмигрантские бедствия; продолжатель Белого дела Борис Коверда, известный варшавским выстрелом в большевика Войкова в 1927; и красный генерал Пётр Григоренко, самой своей жизнью и грудью своей пробивавшийся к правде.

* * *

А события в Советском Союзе, хоть и с трудным перевальцем, но всё ж подвигались. В 1988 готовились вывести наконец войска из Афганистана, после бессмысленной 8-летней войны. В июне показало американское телевидение демонстрацию в Москве — «Земля народу! Долой КГБ!» (Но в конце июня конференция КПСС: разумеется — сохранить контроль партии!)

Как и предсказывали мы ещё в «Из-под глыбах»: советская «дружба народов» — мираж! ждут нас национальные взрывы. Они и зачередили. Но с безропотным безучастием отнёсся к ним Горбачёв: откуда кого изгоняли, как грузинских месхов из Казахстана, а Грузия отказывалась принять их в родные места, — Горбачёв и тут уступал. Дошло до ужасной армянской резни в Азербайджане — Горбачёв и тут не вмешался, никого не наказал, с безмятежной либеральной миной делал вид, что ничего особенного не происходит, — а уже тогда трещали скрепы его государства. — Горбачёв был занят более важным делом: закрепить своё большинство в Политбюро. Изгнал бессмертного Громыку, и Демичева, погнал Лигачёва на сельское хозяйство, а идеологию передал Вадиму Медведеву, на КГБ поставил надёжного Крючкова, — и? И — ничего. Всё так же принимал сладкие ласки с Запада и также продрёмывал идущий развал государственной жизни.

А настроение столичной общественности — всё дальше разогревалось. Смелела устная гласность и прорезáлась в печати, касалась сегодняшних болевых точек. И в газетах там и сям уже появлялись статьи в память репрессированных — и о лагерных ужасах. И С. П. Залыгин, видимо, не отступился от своих усилий. Спустя год от его первого пробного шара — достиг нас, 11 мая 1988, и то косвенно, телефонный запрос из «Нового мира»: от имени Залыгина спрашивают, согласен ли я напечатать у них «Раковый корпус», а впоследствии и «Круг», — и можно ли об этом теперь же объявить публично? В июне Залыгин был в Париже и гласно подтвердил своё намерение.

Но теперь этот запрос передержанный не вызвал у нас с Алей прошлогоднего — и только от слухов одних тогда — волнения, *тёплого ветерка*. С тех пор нам уже выявился мутный ход Перестройки, показные (часто и бессмысленные) её шаги и корыстный расчёт партийных кругов как стержень её. Так не было ли в этом предложении *через* Залыгина политического трюка? Вот анонсировать «Корпус» ко встрече Горбачёва с Рейганом?

А сожжённые в Союзе «Иван Денисович», «Матрёна», «Кречетовка» — почему не предлагали восстановить их? Сделать вид, что их и не сжигали? А сразу — «щедрый шаг», печатаем «Раковый»?

По сути — чем это предложение 1988 года отличалось от гебистского предложения сентября 1973 через Решетовскую: напечатать «Раковый корпус», а в обмен чтоб только я не двинул «Архипелаг»?

Да, год назад, когда о том впервые промолвил Залыгин, — публикация «Ракового корпуса» была бы событием знаковым. Но, уже упущенный на

20 лет, — многое ли он составит в нынешней обстановке — закружливой, нервной, многословной, да уже и многопечатной? Он только затуманит, что для сегодняшней Гласности я всё ещё неприемлем (и не только властям, но и массиву культурного круга: их опасенья перед моим возвратом явны в публикациях Померанца, Эткинда, да многих).

Залыгина я знал по прежним годам и верил: он предлагает от чистого сердца. Но нет ли тут *игры,* которой он сам не охватывает?

Нет, надо решать по-крупному.

«Архипелаг» — причина моей высылки. За тайное чтение «Архипелага» людей сажали в тюрьмы. «Архипелаг» — пронижет Перестройку разящим светом: хотят действительных перемен — или только подмалёвку.

И решили мы с Алей: — верно ли? нет? — нет!! Согласиться сейчас на «Раковый» — только отдалить появление «Архипелага», если не вовсе закрыть его.

Если мне возвращаться в советское печатанье — то полосой калёного железа, «Архипелагом».

И Клод Дюран прислал из Парижа такой же совет. (Он уже не раз показал, что — подлинный фехтовальщик, понимает цену выдержки и вкус боя.)

В 1962–63, вопреки Твардовскому, я рвался: скорей печататься! любой мой текст! использовать каждый благоприятный момент для расширения плацдармов! И вот теперь, через 25 лет, почти и не напечатавшись в СССР, — теперь сам замедляю...

А если этим «Архипелаг» отложится ещё на 15–20 лет? И так ли он будет нужен тогда — какое-то упущенное давнее-давнее прошлое?..

Нелёгкое наше решение уже сложилось к тому дню, когда пришло первое прямое предложение от самого Залыгина. Это была телеграмма — «телеграмма»? — от 27 июля, она пришла к нам из Бостона в простом конверте пятью днями позже. (Сколько же прошла цензурных рук и мук?) Не желали власти дать Залыгину связаться с нами. В латинских буквах мы прочли: «Намереваемся публиковать Раковый Корпус Круге Первом Ждём вашего согласия предложения Новый Мир Сергей Залыгин». (А для Залыгина его телеграмма — как провалилась: почему я *ничего* не отвечаю? Наивно веря в почту, он уже вообразил, что я не хочу с ним и переговариваться!)

На другой день я ответил заказным письмом **[1]**[1]. А какая надежда, что и заказное дойдёт? Нет, надо объясниться как-то прямей и быстрей. А как? По опасности связи с нами никто из Москвы не звонил нам уже двенадцать лет — соответственно и мы никому. Но, может быть, сегодня уже не так опасно? И Аля решилась позвонить Диме Борисову, близкому другу нашей семьи, соратнику в боях 1972–73 годов, тогда бесстрашному против КГБ и постоянно единомышленному с нами. И — удалось, разговора не прервали, — прочла Диме, с просьбой пересказать Залыгину. (И хорошо, потому что само письмо не пропустили в «Новый мир» и за две недели. Залыгин тщетно запрашивал Министерство связи.)

Можно себе представить огорчение, уныние Сергея Павловича — от тяжести, которую я на него навалил, — и перед непробивной цекистской стеной. Но в тех же днях он решился поставить вопрос об «Архипелаге» на обсуждение редакции. (И Дима теперь тоже естественно был привлечён в её состав и горячо подкреплял Залыгина быть твёрдым.)

А мне Залыгин ответил 26 августа экспрессом: «А лучше бы, всё-таки, «Раковый корпус»! Ну, хорошо, — будем пробовать». (Мы тоже узнали текст по телефону от Димы, а письмо получили через месяц в каком-то грубейше вскрывавшемся и заклеенном конверте, даже напоказ, фарсовое исполнение.)

---

[1] Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце. *(Примеч. ред.)*

Западная же медиа, не в силах больше выносить горбачёвское топтание, нахлёстывала события прямыми выдумками. Французское радио сообщило: Горбачёв предлагает Солженицыну вернуться — и тогда напечатает «Архипелаг». — А то взмотали и похлеще. Баварское радио объявило ещё в июле, что будто Горбачёв написал мне два письма, и притом *собственноручных:* вернуться в СССР — и напечатает все мои книги. И что уже договорено: в конце года мы с Алей едем в Москву «подписать все контракты». Сведения эти — от их нью-йоркского корреспондента, который *сам разговаривал по телефону с женой Солженицына,* и она подтвердила ему, что такие письма Горбачёва — да, получены. Аля вскипела, стала дозваниваться в Мюнхен, опровергать: никаких писем от Горбачёва не было! и никакого разговора с корреспондентом не было! Баварский лжец однако настаивал: нет, был! Даже больше того: у него якобы прямое письмо от Солженицыной, но показать его он не имеет права. (Почему ж не показать? — покажите!)

Но что! Вмешался солиднейший лондонский «Экономист» — ему-то что нужно? Он рассудил: такие письма Горбачёва — несомненно были. Хотя жена Солженицына и отрицает, но такой разговор несомненно был. — Аля рассердилась не на шутку, нельзя оставить так! И досталось ей три недели через адвоката добиваться от «Экономиста» опровержения — каковое и появилось уже в середине августа с малым извинением. (Я-то считал, что всё это — лишние беспокойства, махнуть рукой, само загаснет. А баварский зачинатель сплетни не получил даже порицания от своего союза журналистов — иначе как жить прессе?..) — Теперь подхватилось и агентство Ассошиэйтед Пресс: ему известно, что в советском посольстве в Вашингтоне уже оформили и все нужные бумаги для возврата Солженицына в СССР. (Только нас о том забыли уведомить...)

В начале августа сдерзили властям и «Московские новости», сперва на английском языке, вослед на русском: напечатали статью «Здравствуйте, Иван Денисович!» (Какой такой Иван Денисыч?)

И в те же дни Люша Чуковская, собственным независимым замыслом и движением, поддала бурной волны: опубликовала 5 августа в «Книжном обозрении» требование, чтобы начали печатать Солженицына, и — вернуть гражданство! (И как главред газеты Аверин решился? публикация эта тут же обошлась ему едва ль не в инфаркт.)

Статья эта прозвучала сенсационно, вызывающе. Прорвалась пелена общественного напряжения. Уже в день выхода номера — возбуждённые читатели звонили в редакцию, и сами приходили, долетели и первые телеграммы в поддержку. У стендов газеты на улицах густо толпились. Международные агентства подхватили новость.

В следующие дни — сотнями писем — обрушился страстный отклик читателей в редакцию, — и газета посмела те письма печатать, в двух номерах, на полных разворотах. Отважные голоса полились теперь на страницы отважной газеты.

«Писатель, художник, любой человек имеет право на бесстрашную мысль. Мы это выстрадали всем народом». — «Надо же, против какой махины пошёл! Это пострашней, чем против танка, пожалуй!» — «Солженицын предвосхитил многое из того, что сегодня живительным ветром проносится по нашему Отечеству. Он служил ему больше, чем все его хулители, объявлявшие себя патриотами». — «Пришло время отменить противозаконный акт, снять с человека клеветническое обвинение в измене Родине, которой он не изменял, [это] нужно прежде всего нам самим. Для очищения нашей гражданской совести. Для утоления нравственного чувства справедливости». — «С произведениями А. И. Солженицына подлинная интеллигенция никогда и не прощалась, они всегда были с ней». — Солженицына «необходимо вернуть стране, судьба которой всегда была и его личной судьбой». — «Простите нас, дорогой А. И., что в своё время мы не

вступились за Вас, смирились как с неизбежностью с теми мерзостями, которые о Вас писали, с Вашей высылкой из пределов Отечества».

Были и такие, кто призыв Е. Чуковской называл «оскорблением участников войны»; вернуть ему гражданство? — нет! — «на выстрел не подпускать Солженицына к СССР!».

В редакции уже не считали писем, а мерили на вес — и позже прислали нам отборку из них, сотни три.

(Та крупная пачка не напечатанных «Книжным обозрением» читательских отзывов на публикацию Люши Чуковской достигла меня в начале 1989. Вот для меня был отзыв реальной России. Какое обширное вдруг знакомство с соотечественниками! Но вот что. Читал я их, читал с захватом — и создалось у меня впечатление удручающее. До сих пор, до сих пор я не представлял, до какой же степени и как методично опорочила меня советская пропаганда за десятилетия, и как это внедрилось в головы, что звучит даже во многих доброжелательных ко мне письмах. Почти никто и сегодня не представляет меня в подлинности, а уж тем более — в объёме написанного мной. Если «за» и больше, то не намного. И нельзя поверить, что всё это пишется об *одном и том же* человеке. Разделяющий меня с читателями порог так высок, что его нельзя преодолеть одним усилием — одной большой публикацией или фактом приезда. Сколько же усилий — и, опять-таки, лет — надо, чтоб эту ложь отмыть? — В тех читательских письмах вопрос обо мне ещё так перекосился: не «печатать ли его?», а: «возвращать ли ему гражданство?», ещё сто́ит ли? Много там писем было и меж-двух-стульных, у многих писавших — нечётки контуры мысли, полная неопределённость мировоззрения. Так простым людям, может, и было бы верней поскорей получить «Ивана Денисовича», «Матрёну», а кому поразвитей — «Корпус» и «Круг»? Так, может, и зря я упёрся с «Архипелагом»? — упускаем важнейшее время для возврата моих книг? Или на этот рубеж не поздно будет отступить и через год-два? Кто рассудит верно? — А вот — из самых поздних свидетельств, дошедших до меня. Когда в 70-е годы всюду-всюду шли против меня митинги, в Приморьи один осторожный, от расстрелянного деда и загубленного в лагерях отца, сам бывший фронтовик, спросил лектора невинно: «А почему не издали вовремя брошюры, *как именно* Солженицын клеветал на советских людей?» Лектор ответил с уверенной лёгкостью: «Партия сочла недопустимым, чтобы наш народ учинил ему самосуд».)

Вдруг 8 сентября «письмо по телефону» от Димы: состоялось решение редколлегии «Нового мира»: в № 12 за 1988 — напечатать мою Нобелевскую лекцию с амортизирующим удар предисловием Залыгина, а в № 1 за 1989 — «Архипелаг»!!

Мы — и не верим, и потеряли добрый сон. И не смеем радоваться. Я потрясён смелостью обычно мягкого Сергея Павловича, как я его помнил по давним встречам в «Новом мире». И чтоб облегчить ему — разрешаю снять из публикации несколько глав, самых невыносимых для советского уха, — «Голубые канты» (о чекистах), о власовцах...

Но, по словам Димы, «почти вся» московская интеллигенция не поняла моего упрямства: ну, зачем требовать сразу «Архипелаг»? Ну, и пусть бы печатали старые вещи, и хорошо.

Но из Эстонии — пришёл запрос именно на «Архипелаг». И доселе неведомый «Литературный Киргизстан» — хотел сразу «Архипелаг»! Журнал «Наше наследие» просил главы из «Колеса». «Книжное обозрение» тем более имело теперь право что-нибудь напечатать, за свои пострадания. «Нева» желала печатать «Круг». В Ленинграде неизвестный нам артист выступал в клубах с чтением моих рассказов, кто-то — с лекциями обо мне. Вышел фильм «Власть соловецкая» — в нём несколько раз читаются отрывки из «Архипелага», но боязливо не называя источника. А всё ж ручейки прорываются...

И стало грозить анархическое самовольное раздёргивание моих текстов — и ещё, может быть, искажённых? не проверенных никем. Прослышав о решении «Нового мира», другие рванулись тоже печатать что-нибудь моё: кто рассказы, кто крохотки, кто старую публицистику. А решительный критик В. Бондаренко, да где — в издательстве «Советская Россия», уже запускал сразу целый сборник по своему личному отбору, без «Архипелага» (и уже отметился в американской прессе как «первый публикатор Солженицына»). А кто брался самовольно «театрализовать» «Ивана Денисовича». Так — мог, навыворот, потечь отвергнутый мною путь.

Ещё никакого разрешения на меня не было — а временный глава Союза кинематографистов Андрей Смирнов звонил из Нью-Йорка: хотим устроить в Доме кино в декабре, к 70-летию, вечер. А я — что ж? не смею возражать, но ведь и приехать не могу.

Мы потрясены. Какое-то тревожно-рассветное марево. И каких внезапностей ещё ждать?

А прикатила такая. Пока я медлю с «Архипелагом» (я ли медлю?), в Москве создался «Мемориал» — и шлёт мне телеграмму с приглашением быть членом их Совета. Оставаясь в Вермонте? (Впрочем, первую их телеграмму возвратили: «Адрес недостаточен». Эпизод попал в «Нью-Йорк таймс», тогда вторую телеграмму пропустили.) Шестнадцать подписей, во главе Сахаров. — Но нельзя же с неснятой «изменой родине» как ни в чём не бывало — да через океан — включаться в реальное дело? Что отвечать? И за верхушкой Совета может быть растёт масса, пытливая молодёжь, не обидеть её. Ответил телеграммой **[2]**.

А общественный напор — такой необычный, непривычный для властей, да и для самих людей, напор, сотканный из решимостей, сознаний и воль, — он рос. И в пользу возврата моих книг, и самого меня — тоже. С лета и в осень 1988 лились потоком письма в редакции газет и журналов, звучали голоса на собраниях, митингах, вечерах: «Хотим знать правду! И что именно пишет Солженицын? Опубликуйте его книги!» (Многое мы узнавали из быстроотзывчивой тогда парижской «Русской мысли», другое — с большим иногда опозданием.) Недавно рождённая московская «Экспресс-хроника» и рижский самиздат ещё в январе 1988 требовали издать «Архипелаг» массовым тиражом и «провести солженицынские чтения к его 70-летию».

Но Партия неуклонно стояла на страже. В июле на высоком инструктаже в ЦК говорилось: «Мы не знаем, что Солженицын сейчас *думает* [это из-за моего молчания о Перестройке], если выскажется — может нарушить баланс сил». И теперь, после решения редколлегии «Нового мира», — твёрдо сказали Залыгину *на самом верху:* печатать «Архипелаг» нечего и думать, «не тот момент».

Но уже стоял Залыгин на гребне общественной поддержки. — От Союза кинематографистов обратился Андрей Смирнов к Председателю Президиума Верховного Совета (в тот момент — Громыко): полная беззаконность высылки Солженицына, такой статьи в Уголовном кодексе давно нет! Просим отменить Указ о лишении гражданства и восстановить в ССП. — 4 октября Совет Мемориала — к Горбачёву: «Крайне озабочены, что в „Новом мире" публикация глав из „Архипелага ГУЛага" задержана на неопределённое время. О нём, прочитанном во всём мире, должен наконец вынести суждение тот народ, судьбе которого эта книга посвящена. Своей многострадальной историей он заслужил это право». — 6 октября 27 писателей — в секретариат ССП: восстановить Солженицына в Союзе писателей и просить Президиум Верховного Совета отменить Указ о лишении гражданства.

Промелькнуло от главы КГБ, почему-то украинского, Галушко: «О возвращении Солженицына вопрос не ставится». (Но уже — не «враг народа»?)

А через две недели, как в насмешку, под его же носом, в Киеве, в «Рабочем слове» железнодорожников, — напечатали полный текст «Жить не по лжи»! — как бомбу. (От них сразу пытались перепечатать другие, другие — такие же малые газетки.) Вот в этот день, 18 октября, и совершился мой первый настоящий шаг на родину.

Тут в ЦК донесли, что Залыгин отважился поставить на обложку октябрьского номера «Нового мира» одну строку анонса: мол, в 1989 журнал напечатает *что-то* (неназванное) Солженицына. Вызвали Залыгина в ЦК и строго указали, что его затеи недопустимы и что он тащит в печать «врага», а в типографию дали прямую команду: остановить тираж! содрать обложки с уже готовых экземпляров (а их уже было чуть ли не 500 тысяч) — и пустить под нож, большевицкий размах!

Но и времена новéли: возмутились и сопротивились типографские рабочие: не хотели сдирать! А куда им жаловаться? Надумали: в Мемориал. (В октябре от Димы пришло к нам и первое письмо, так мы узнавали подробности. Сергей Павлович тяжело пережил удар со сдиранием обложки. Дима с большой настойчивостью и выдержкой поддерживал Залыгина в его решимости. И главное — не ослабевал общественный напор.)

Зато, услужливо, 19 советских писателей, «сторонников перестройки» (надеюсь, имена их сохранятся), в коллективном письме в ЦК именно и просили: не время печатать Солженицына, это разрушит Перестройку! А известный «шестидесятник» добавлял отсердечно: не только не надо печатать «Архипелаг», но и не надо Солженицына как человека возвращать на родину: «принесёт вред стране, монархист, вокруг него сгруппируются тёмные силы»...

Обложки, конечно, содрали: советские — расходов не считают! Но именно от этих обложек и скандал разразился — всемирный. И ксерокопии содранной обложки — ходили по Москве как самиздат.

Нет, времена у нас наступали не лизоблюдные. Протесты — катили. 21 октября группа из 16 писателей и академиков — Горбачёву: публикация Солженицына остановлена, но «творчество его всё равно дойдёт до отечественного читателя с непреложностью физического явления. Сегодня появления на родине произведений Солженицына ожидают не только как крупного литературного события, но и как несомненного свидетельства полноты общественного обновления, необратимости идущих в стране преобразований». — Тут же вослед, тому же Горбачёву — ещё 18 учёных, художников, писателей: «Мы крайне встревожены... Запрет публикации может подорвать доверие к идеям перестройки». — 24 октября, с вечера в Доме медицинских работников — в Президиум Верховного Совета: отменить Указ о лишении гражданства — 291 подпись (с их адресами!).

И в последних числах октября — заседала в Москве в Доме кино конференция всесоюзного Мемориала, съехалось немало бывших зэков с разных концов страны. И внесли предложение: голосовать за отмену «измены» Солженицына и Указа о лишении гражданства и высылке. И неминуемо было, что — конечно примут сейчас.

А змеиному гнезду — не дремать! Из президиума — высунулся на трибуну заместитель Чаковского по «Литгазете» Изюмов. Этак застенчиво: «Может быть, я разглашаю редакционную тайну, но скажу: у нас уже набран материал, что Солженицын долгие годы сотрудничал с МГБ, — и вот скоро «Литгазета» напечатает разоблачение», — ну коммунистические-то их сердца бьются же от негодования!

Тут Люша побежала к сцене, вырвала микрофон и стала кричать: «Вон отсюда!» Чтó поднялось мгновенно! — буйный гнев всего зала: «Долой! Вон! Прочь! Негодяи!» Один из двух микрофонов сломали. Кряж Доброштан, вожак воркутинского восстания, кавалерийским голосом кричал: «Не верьте им! Не верьте их бумажкам — это всё фальшивки! Мы знаем человека этого не по бумажкам, а по делам!» Потянулись стащить клеветника

из президиума и выкинуть из зала. Сдуло его. (Думали враги опять печатать тот «донос»? — всё ту же свою затрёпанную подделку, которую я сам 12 лет назад, в 1976, опубликовал и разоблачил? [3] — Удивительно, до чего ж нужна им против меня та фальшивка! — к чему б и цеплялись они без моего рассказа в «Архипелаге»? Но махлюжники, видимо, струсили перед ветром Эпохи.)

Тут же — проголосовали единодушно резолюцию: отменить обвинение в измене Родине; вернуть гражданство СССР; скорейше издать «Архипелаг ГУЛаг»! И Сахаров, за столом президиума, тянул руку столбом к потолку. (Но даже в январе 89-го в мемориальской газете с отчётом об этой конференции — пункт об «Архипелаге» не допустили напечатать, так и осталось белой строкой.)

Агентство Франс Пресс передало 21 октября (напечатал и Лев Тимофеев в тогдашнем своём «Референдуме»): Горбачёв топал ногами на Залыгина при посторонних. Л. К. Чуковская писала нам: «Залыгин вёл себя потрясающе стойко». 2 ноября он написал Горбачёву решительное письмо. 9 ноября в ЦК на совещании редакторов газет который раз было втолковано: запрещается вообще что-либо из Солженицына. «Он враждебен нам. И вообще такие фигуры не нужны нам в нашем обиходе». (У Залыгина в конце ноября, к его 75-летию, был спазм сердца. Тяжело досталась ему вся эта канитель.)

12 ноября в Риге на Идеологическом совещании немало говорил про меня новый идеолог ЦК Вадим Медведев — о неприемлемости Солженицына «для нас». Через западные телеграфные агентства его слова утекли, но он не уклонился и снова повторить на пресс-конференции 29 ноября: «Печатание Солженицына подрывало бы основы, на которых покоится жизнь нашего общества. Его атаки на Ленина недопустимы».

Но этот Медведев на меня, по крайней мере, нисколько не клеветал и не извивался лукаво — в отличие от Синявского, Войновича, Коротича и сотни неперечислимых.

А с 19 по 26 ноября в Доме культуры Московского электролампового завода была проведена «Неделя Совести» и в фойе устроена «Стена памяти», на ней макет СССР с картой расположения лагерей, стенд с фотографиями репрессированных, портреты Шаламова и мой; на ней же вывесили «Жить не по лжи» из киевского «Рабочего слова» и предложили желающим высказываться письменно. Только за первые три-четыре дня набралось больше 1000 записей — за немедленную публикацию Солженицына и возвращение его на Родину. Потом число их нарастало. Этих записей нельзя читать без волнения.

Все эти препятствования, но и весь ход Напора — ещё и ещё подтверждали нам правильность: начинать — именно с «Архипелага»! Раскачивать, не ждать, пока горбачёвские цензоры сами продрыхнут.

В дни нашего поражения я написал (1.12.88) Сергею Павловичу: «Приношу Вам мою сердечную благодарность за ту настойчивость и ту отвагу, с которой Вы пытались дать путь в печать исторической правде о наших страданиях, а также и моим книгам. Я уверен, что этих Ваших усилий история русской литературы не забудет. Не Ваша вина, что они теперь неуклонно прегражденны — да ведь всё равно только на измеримый срок, куда же деться от правды?»

Участие Сахарова в Совете всесоюзного Мемориала было одним из естественных его шагов: и по сердечному сочувствию к этой теме, и по общему его движению — возврату в общественную жизнь страны после ссылки. Хотя несомненно томясь о научной работе, с которой его разлучи-

ли годы кары (правда, в этих же неделях избрали его и в президиум Академии наук, но это ещё не был реальный возврат в научную работу), — он отзывно ощущал на себе и груз общественных запросов и продолжал своё прежнее заступничество: за последних немногих ещё не выпущенных политзэков; за крымских татар: особенно горячо и не раз — за освобождение Карабаха; и ещё — со своей своеродной идеей сокращения вдвое срока службы в армии. Но шире того — либеральная общественность влекла его и в свои тогдашние публичные начинания: в коллективный сборник «Иного не дано» (в страстную поддержку горбачёвской программы — а в *чём* она, та «программа»?), в дискуссионный клуб «Московская трибуна», где возникла уже и критика той программе — справедливая защита удушаемых кооперативов; против возможных ограничений прессы, собраний и митингов; и против всегда мнящегося «опасного сдвига вправо». (Что под этим подразумевалось? Партийные «право» и «лево» у нас уже совсем запутались.)

А по проблемам внешним — Сахаров в июне 88-го на пресс-конференции, которую ему устроили в МИДе, отвечал удачно, находчиво, государственно умно. Эта ли его позиция — побудила власти с ноября отменить запрет на выезды его за границу. И в ноябре-декабре Сахаров совершил поездку в Соединённые Штаты, где имел важные встречи в верхах и публично поддержал советские возражения против американской программы СОИ (противоракетной обороны); затем — ещё более триумфальную поездку в Париж, где имел случай, напротив, отгородиться от советской точки зрения: не безусловная поддержка Горбачёва Западом, а лишь до тех пор и поскольку осуществляется Перестройка.

За те несколько недель И. А. Иловайская виделась с Сахаровым и рассказала нам: А. Д. быстро утомляется, выглядит много старше своих лет. Мучим многими сомнениями. Спросил у неё наш телефон.

Но вот не звонил.

Позвонил 8 декабря, из Бостона. Сперва разговаривала Аля (пока меня звали из другого дома). Был с ней Андрей Дмитриевич любезен, но без тени теплоты. А когда трубку взял я — он сразу же стал выговаривать самопоставленную тяжкую задачу. «Чтобы всё было сказано. Я очень обижен на вас за то, как изображена Елена Георгиевна в „Телёнке". Она — совсем другой человек».

За те две-три строчки. И вот — уже 14 лет.

Я вздохнул: «Хотел бы верить, что это так».

И ещё несколько фраз сказал он — того же одностороннего выговора.

А я — тоже на душе имел, что́ ему сказать: как в марте 1974 он напал на меня из-за «Письма вождям», даже, видимо, и не прочтя его внимательно, да и слогом не вовсе своим. И торопился передать по телефону в Нью-Йорк, когда Аля с детьми ещё не приземлилась в Цюрихе. Разве — это похоже на него? Разве не просвечивает тут властное влияние?

Он тогда взгромоздил на меня обвинений в «опасном воинствующем национализме» — первый он, отначала, со всем авторитетом — и на многие годы, да на те же, вот, пятнадцать — подорвал мою позицию на Западе — как это? зачем? К выгоде ГБ и ликованию нью-йоркских радикалов. Он был — первая и самая высокая скрипка, склонившая западную образованность не слушать меня, не принимать от меня ничего, кроме «Архипелага».

Но что-то сейчас удержало меня упрекнуть его. Всё равно уже — упущенное, и он сам уже не тот, после горьковской ссылки.

Голоса его, если не считать отрывков по радио, я не слышал те же пятнадцать лет. Он показался мне слабей, чем раньше, и с призвуком болезненности. Я спросил о здоровьи. Он ответил: «В пределах моего возраста — удовлетворительно».

И, как тяжкую повинность отбыв, положил трубку.

А через три минуты, я ещё от телефона не успел уйти, — опять звонок: «Да! поздравляю вас с 70-летием!» Из-за чего и звонил, забыл.

Я сидел над телефоном с тяжёлым чувством. Обо всём и всегда — надо объясняться до конца. Теперь — другой раз когда-нибудь?

А оказалось — оказалось, что тот разговор наш был и последним в жизни: ровно через год Андрей Дмитриевич умер.

Тогда, в декабре, к моему 70-летию, — да, затеяли в Москве несколько самовольных вечеров. Тогда для этого требовалась смелость. — Дому медработников такой вечер запретили — но они как-то провели на свой страх. — Кинематографисты — настояли, устроили многолюдный (но с негласным обязательством «не переступать границ»). В ораторах там был горяч Юрий Карякин, убеждённо-настойчив Игорь Виноградов — но вёл вечер, как ни в чём не бывало, недавний мой язвительный поноситель В. Лакшин. — Дому архитекторов вечер запретили, однако с опозданием в две недели они всё же смогли устроить. (Нам потом привезли любительскую киносъёмку этого вечера.) Выступали Анатолий Стреляный, Игорь Золотусский, Вячеслав Кондратьев, Дима Борисов, Владимир Лазарев; со сцены горячи — мать и дочь Чуковские: Лидия Корнеевна с воспоминаниями, Люша — с чтением из писем, не поместившихся в «Книжное обозрение», и называла, кто из писателей меня прежде травил. — И ещё: в незвонком клубе завода Баумана провели такой вечер затеснённые *обществом* патриоты — но не те националисты, кто уже прежде проклял меня.

А многие в обществе присудили: зря я требовал сразу «Архипелаг»; надо было соглашаться на перепубликацию старых вещей, потихоньку — и до «Ракового».

Итак, за эту четырёхлетнюю оттепель — в СССР успели напечатать и всех запрещённых умерших, и всех запрещённых живых, — всех, кроме меня*.

Да я и не удивлялся. Я так и понимал, что в *эту* Гласность — не вмещаюсь.

Да не только запрещали к печатанию, но всё так же ловили мои книги на границе, на таможнях.

Под новый 1989 я записал: «Не помню, когда б ещё было так расплывчато в контурах событий и моих ожидаемых решений, только в 72–73-м, перед изгнанием. Беспокойная, сотрясная предстоит мне старость».

И жене сказал: «Ох, Ладушка. Не проста была наша жизнь, но ещё сложней — будет конец её».

А Диме и его жене Тане, тоже активно помогавшей, мы писали в «левом» письме в декабре: «Хотя кончилось всё как будто внешним поражением, но на самом деле нет, и Ваш вклад и черезмочные усилия Залыгина не пропадут. С годами, и может быть недолгими, это ведь снова попадёт в Ваши руки».

А пока что ж? — только больше времени оставили мне на окончание моих работ.

А грустно.

---

* Ныне есть публикации (напр., «Общая газета», 10.12.98, стр. 8), объясняющие тактические расчёты Горбачёва в торможении возврата моих книг в Россию. Тогдашний помощник Горбачёва Черняев пишет, что в 1988–89 Горбачёв не желал вернуть мне гражданство, чтобы я не стал объединяющим лидером оппозиции, — вот чего боялся... *(Примеч. 1999.)*

Глава 15

НЕПРИНЯТЫЕ МЫСЛИ

И в начале 1989 Горбачёв повторял и повторял (хотя, может быть, уже без внутренней уверенности): «Критики заходят слишком далеко. Наш народ однажды выбрал путь коммунизма и с него не сойдёт». И хотя именно из Москвы текли свидетельства, что за год положение с бытом, едой, водой стало резко хуже, эпидстанция предупреждала не покупать молочного, в Рязанской области картошка перетравлена химией до розовости среза, выбрасывается; москвичи боятся голода или крупных аварий (с Южного Урала на всю страну прогремел пожар двух встречных пассажирских поездов, унесший 600 жизней); и в самой Москве уже замелькали демонстрации и плакаты, угрожающие забастовками (это мы видели даже по американскому ТВ), — несмотря на всё это, столичное, московско-ленинградское *общество* более всего тревожилось не о том, оно страстно жило фантомами русско-еврейской распри. (Даже о Пастернаке стали говорить «недостойный сын достойного отца» и не прощали ему православных мотивов в поэзии; даже академика Лихачёва подтравливали за православие, а уж слово «деревенщики» употреблялось в Москве только как ругательное, отъявленным фашистом клеймили и Валентина Распутина.) Сильно затеснённые патриоты пытались отбраниваться, кто и грубо. Такой резкости раскола — и эмиграция никогда не знавала. (Впрочем, остальная бытийная страна этим столичным психопатством как будто не затронулась.)

Неблагоприятное впечатление и в СССР и на Западе от расправы с обложкой «Нового мира», явного загорода пути моим книгам — советские власти искали перенаправить испытанным приёмом: дискредитировать меня. И немедленно нашлись исполнители, добровольные или вызванные к тому. В первые дни 1989 не упустил включиться, уже на московской сцене, Синявский. Хотя, кажется, приехал он на похороны своего подельника Юлия Даниэля, но постоянным лейтмотивом его выступлений и интервью оставалось, как и все годы на Западе, злословие против меня. Самым слабым из его обвинений было: «Солженицын — против перестройки». (Ещё к тому времени ни звука я не вымолвил о перестройке, а с Синявским мы и вовсе никогда не обменялись ни письменной строчкой, ни телефонным звонком — но он достоверно *знал*.) Корреспондент «Нью-Йорк таймс» не переспросил, откуда Синявский такое взял: раз мэтр говорит — значит, знает. Сейчас трудно вообразить, но в недавние годы перестроечного ажиотажа такое обвинение звучало поражающе тяжёлым: значит, до чего ж этот Солженицын неисправимый злобный реакционер! — Это было любимое клеймо мне ото всей той Рати. — С ними сливалась и твердолобая коммунистическая «Правда»: «„Синтаксис" Синявского — хороший журнал» (*не поздоровится от этаких похвал...*), различать эмигрантов положительных, как Синявский, и враждебных, как Солженицын, он несовместим с советским обществом, он хочет вернуть (?) самодержавие.

В унисон тому в Америке высказывались обо мне что «Нью-Йорк таймс», что «Бостон глоб». — В тиражном читаемом журнале «Ю-Эс-ньюз энд уорлд рипорт» главный редактор Роджер Розенблат внедрял американцам, что Солженицын — это и означает возврат к монархии в России. — А в «Нью-Йорк таймс бук ревью» некий Ирвинг Хау (Howe) печатал невежественную и заплевательную рецензию на «Август Четырнадцатого». (Ведь в наше время художественные книги оценивают не литературные критики и не литературоведы, а ходкие газетные журналисты, и на том — припечатано.) В «Вашингтон пост» к нему, разумеется, тотчас же пристраивался в затылок *мой биограф* Майкл Скэммел. Но вот удивительно: четыре года назад, в 1985, ещё тогда не читанный в Штатах «Август» — единогласно клеймился как антисемитский. Однако вот вышел английский перевод: и

будто где-то взмахнула невидимая волшебная палочка — все эти критики мгновенно как обеспамятели, как онемели, и никто уже не вспомнил ни Богрова, ни «Змия», ни «Протоколов», — дирижёрское мастерство!

Эта соработка двух жерновов за годы и годы уж до того была мне не нова, уж до того привычна. А между жерновом советским и западным — Третья эмиграция была безотказной связью, перемалывающей образ «монархиста, теократа, изувера».

Но несмотря на все заклинанья, партийная плотина выказывала себя всё ж дырявоватой: там да сям просачивались самовольные струйки, хотя порой и некдельные. В. Конецкий исхитрился, очень спеша быть первым, напечатать моё письмо съезду писателей как кусок *своих* мемуаров. Вдруг — московский, да политический, журнал «Век XX и мир» напечатал... «Жить не по лжи». А рижский «Родник» — «Золотое клише» (хотя наляпал ошибок, поправляли рижане мою неграмотность: вместо «отобрание», такого же слова нет, — «отображение», вместо «втолакивание» — «втолкование» и другие подобные облагораживающие поправки. — Но читают. На родине. И радостно, и досадно: вот так и потечёт лавина в обход «Архипелага». — Григорий Бакланов просил «Круг» и «Корпус» для своего журнала «Знамя» (но они уже прежде обещаны были Залыгину). — А новое глянцевое «Наше наследие» настаивало отдать им «Телёнка», — все как не слыша воли автора: сначала — «Архипелаг».

В марте поразил нас искусительный, тревожный звонок с Ленфильма: «Разрешите ставить „Раковый корпус"!» Искусительный — потому что это ведь не печатность, а — кино. Так — не разрешить ли?.. Нет, уже заклялись. И я отклонил режиссёру: «Не черёд, не черёд».

А сдвигалось в СССР с моим именем что-то неотвратимо.

Тут ещё и в Московском авиационном институте изобрели повод для вечера: 15-летие моей высылки из СССР. — И, видя такой утекающий грозный поток, запасливый Рой Медведев предостерегал в «Московском комсомольце»: да, возможно, Солженицына и следует печатать, но только не «Архипелаг», а если уж дойдёт до него — то печатать с серьёзными пояснениями и комментариями, — то есть перевесить и погасить точку зрения автора. По-нашему, по-партийному.

Залыгин же стойко держался, публично подтвердил: да, будет печатать именно «Архипелаг».

В феврале 89-го мы с Димой — в размин, случайно, обменялись письмами с одинаковой мыслью. Я — ему: хотелось бы знать Ваши соображения; в предвидении возможного в будущем бума, когда меня разрешат, — нужно ли и возможно ли на то время официально уполномочить кого-то представлять мои литературные права в СССР? И — кого бы? А Дима мне, почти в тот же день: в связи с «моими хлопотами об „Архипелаге" — „слух обо мне прошёл по всей Руси великой"; и ко мне всё равно обращаются... как к Вашему литературному представителю». И предложил мне: написать, что я доверяю ему разрешать или запрещать публикации. — И как только его письмо достигло меня — я тут же, в марте, послал ему доверенность, скреплённую местной вермонтской администрацией, и: «Душевно признателен Вам, что Вы берёте на себя этот огромный, хлопотный труд... Полагаюсь на Ваш литературный и общественный вкус и на наше единомысленное понимание». (Позже, по просьбе Димы, я послал ему и более официальную доверенность, визированную уже и в Госдепартаменте США.)

Все эти прорывы и переливы принесли нам много лишних досадных волнений. Не без влияния их, в такой густоте притекавших из Советского Союза, весной 89-го возобновилась после двух лет моя стенокардия, да частыми приступами, едва не через день, а два жестоких, даже по полному

дню. Это, наверно, были микроинфаркты, но я и не доведал. Усугубилось тем, что я не вник во все прямые последствия стенокардии для сердца, в здоровьи которого никогда не сомневался, — потому не выдерживал лекарственных приёмов и режима, и даже, неуч, не принимал нитроглицерина: по своему общему, давнему отношению к болезням, считал, что боли нужно «перетерпеть», и вообще как можно меньше лекарств. Стал двигаться осторожно, хрупко. А в хорошую больницу можно было обернуться съездить часа за четыре, но при моём устойчиво домоседном образе жизни я не поддавался ехать.

Что ж, сделано в жизни уже много. Может быть, я и на последнем плёсе, и река не обещает мне впереди никакого ещё локтя. В начале мая я кончил «Апрель Семнадцатого», последний узел «Красного Колеса», как и наметил. Работа — заняла ровно двадцать лет. И через два дня сказал Але: «А знаешь, хоть и ждёт меня могила под Парижем, но теперь нет смысла туда ложиться, временно, когда начались такие передвижки в России. А положи-ка меня пока вот здесь, — показал на участке хорошее место, у великанских сосны и берёзы. — Отсюда прямо в Россию и перевезёшь».

Но не покоряется сердце последнему плёсу.

«Колесо»-то я, вот, кончил, да. Но — воистину ли кончил? За полвека (с 1936) моих поисков, сборов и размышлений собрались по всем задуманным Узлам — обильные материалы, эпизоды, сюжетные линии, и в голове состроился цельный план, как передать пятилетний переход от 1917 до 1922 года — к миру советскому, через Гражданскую войну и военный коммунизм. Описать это подробно, как я всегда предполагал, уже невозможно по ограниченности и моей жизни, и читательского времени. Но — Конспективный том? Каркас можно бы передать, если опустить все сочинённые персонажи, оставить только исторические, и реальные важнейшие события, — однако их не только перечислять, а углубить и окрасить той цепью изменчивых сиюминутных мнений, которые сопутствовали каждому избранному Узлу. От обзора только событий — к обзору и взглядов.

С увлечением я погрузился в эту новую работу: лето Семнадцатого, осень Семнадцатого, Октябрьский переворот, потом сильно затменные, затемнённые ближайшие недели после него, — многое прикрыто, нелегко найдёшь. И от каждого месяца заново ознобляешься: поразительной психологической похожестью того времени — на наше, когда в радости освобождения, но так же и в легкомыслии проносятся решающие для будущего России дни.

Работа оказалась ещё объёмистее, чем я ожидал, гораздо дольшей. Пришлось читать и ещё много газет того времени — в поисках деталей и настроений. Конечно, рядовой читатель не будет в такой сжатой форме читать, но — любознательные к истории. Зато — ощущение доконченности Постройки.

Аля же в соработе над «Колесом» когда по 12 часов в день, а то доходило и до 16, понимая весь этот труд наш как «расколдованье заклятия» в нашей истории, — теперь рубеж окончания испытывала не меньше меня. Её первое касание к «Колесу» зародилось от самого начала моей работы, это совпало с началом нашей близости. Двадцать лет мощным полем книга пронизала нашу с ней жизнь. (Знакомые спрашивали: «Да как вы переносите такое лесное одиночество?» Она отвечала: «Когда так одиноки — тогда-то и работается, ощущение постоянно бьющего гейзера».)

Но нет, для Али «Красное Колесо» на этом не кончилось: теперь, не медля, надо было готовить к печати многолетний «Дневник Р—17» (Революция Семнадцатого), сопровождавший мою работу эти двадцать лет. А вот сделаю Конспективный том — так и его. А там — и «Невидимок», ещё не готовых, и — через океаны и границы — сколько же надо к тому запросов к участникам, согласований, о чём можно печатать, о чём нельзя, и всё ж это через «левую» почту, — включаюсь и я, шлю Люше вопрос за вопросом.

К ежедневной работе дополёгу добавилось Але насыщать рассвободив-

шиеся теперь каналы связи с СССР. Потекли к нам отчаянные просьбы о лекарствах, — покупать их и искать оказии для пересылки. Вот кому-то в Москве срочно нужен недостижимый сердечный клапан, — купить его в Цюрихе, заочно переслать в Париж, а из Парижа пациенту. На запущенный рак — отправить швейцарские ампулы. А то — по присланной из Ленинграда медицинской карте уха — изготовить и переслать слуховой аппарат. — Нашла нас, просит о помощи белорусская «Лига Чернобыль» — нельзя не помочь. — Чуть всплыла на поверхность церковная катакомбная группа — помочь и им. Но — и радиостанции «Голос Православия». Но и — в Бразилию, старческому дому домирающих эмигрантов. А известные пострадавшие диссиденты один за другим появляются на Западе накоротке — подкрепить тут и их. — И при летящих теперь в Москву друзьях, знакомых — уже не чемоданами, а коробками, багаж по сто килограммов и больше, — Аля пакует лекарства, канцелярию и — еду́, еду́. А все для того поездки за рулём — по нашим холмам, при частых снежных штормах, неразгрёбном снеге, то — оттепели, дождях и гололедице, а три недели весной и три осенью — всегда по плывучей грязи. — А чем больше связей — тем больше и сопроводительных писем. (Аля уловчается писать их по фразам — рядом с наборной машиной, пока та монотонно выстукивает главную её работу, наш отредактированный текст.)

Но и постоянно же радовала Алю, и мне передавалась, тесная связь с сыновьями — хотя живём на чужбине и разбросаны по миру, а все — в добром верном росте. С кем — частые плотные письма, с кем — приезды и телефон. — Ермолай в 89-м закончил Итон с круглыми пятёрками, звали его поступать в Оксфорд или в Кембридж — но рвался назад в Америку, пошёл в Гарвард. (И сразу перескочил там на курс выше. Тем высвободил себе впереди целый год на Тайване для совершенствования в китайском.) После первого курса остался на лето в Бостоне, работал в грузоперевозочной компании, на 40-футовых грузовиках по узким бостонским улицам. — Игнат уже два года пробыл в Англии и тосковал там. Уже досталось ему играть в лондонском Queen Elisabeth Hall, и на Эвианском фестивале у Ростроповича. Влёк его и знаменитый летний фестиваль в Марлборо, у Рудольфа Сёркина. Ростропович теперь стал переключать его: «Какие ни великолепные уроки ты получаешь у Марии Курчо, пора дальше в мир. Сам я вырос — на общении с Прокофьевым, Шостаковичем и Бриттеном». Летом 1990 вернулся Игнат в Америку, был представлен 84-летнему Клаудио Аррау, играл ему Шуберта и Бетховена, удостоился приглашения сопровождать Аррау в предстоящих мировых гастролях, — но вскоре, тою же осенью, великий чилиец заболел и скончался. — Степан же давно превзошёл программу местной школы, но долго сопротивлялся родительским попыткам перевести его на последние два года в сильную частную школу («не хочу быть избранным»). Всё же, посетив для знакомства школу Св. Павла в Нью-Хэмпшире, гуманитарную гимназию, был очарован её дружественной и яркой атмосферой и с осени 89-го поддался перейти туда. Там у него была и желанная латынь, и французский, и вёл он школьное радиовещание. — А Митя на новый 1990 год — первым из семьи поехал в Москву, незабытую свою родину, к незабытым друзьям и родным. (Тот новый 90-й — мы встречали с большими надеждами...)

О Москве — по рассказам частых теперь выезжантов — у нас создавалось смутное представление. Какой-то вихрь толковищ, взаимонепониманий, косых сопоставлений, перпендикулярных сшибок. Уже и Аля сама

звонит в Москву друзьям, — всякий раз с огромным волнением концентрируясь, — и потом пересказывает мне. У москвичей уже заклубились самые мрачные и отчаянные настроения последнего распада. А вот приходящие письма из провинции, которые стали пробиваться к нам по десятку в неделю (и ещё сколькие отметала цензура?), — больше добрые, а иногда душевно прохватывающие. Чередуясь с воззывами о защите от властей — также дерзкие интеллектуальные, культурные, экономические проекты. И в провинции — ни волоском не бывали задеты вихрями образованских столичных сражений.

И где-то там, сквозь московскую зыбь, Залыгин стоял натвердо на невероятном, невозможном решении печатать «Архипелаг». И нисколько не ослабела людская поддержка. И в цекистских коридорах что-то же менялось. Тут, пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич (столько налгавший обо мне в «Советской России» в брежневское время) из моих гонителей сметливо перекинулся в непрошеные благодетели — и без разрешения и ведома Димы Борисова в начале июня 89-го напечатал в «Огоньке» «Матрёнин двор». (С ядовитым предисловием Бена Сарнова, что, начав печатать, открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, — как будто 15 лет чем другим на Западе занимались.) Сорвал-таки Коротич первоочерёдность «Архипелага», было у меня смурное чувство, хотя же: в трёх миллионах экземпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю.

А Залыгин, сколько мог, потихоньку двигал и двигал дело: запрещённый в прошлом декабре, теперь отпечатывался тираж июльского номера с Нобелевской лекцией, номер уже лежал в Главлите, и ждался разрешительный сигнал. (Внутри редакции уже сверяли вёрстку первых глав «Архипелага» для следующих номеров.) Внезапно утром 28 июня звонком из ЦК срочно вызвали Залыгина к секретарю по идеологии Вадиму Медведеву. Ясно было, что вызов не к добру. Залыгин поехал в большом напряжении. Медведев подтвердил ему: публикация «Архипелага» в ведущем журнале страны с полуторамиллионным тиражом — невозможна! снять его с набора! (Как уступку выразил согласие ЦК пропускать эту книгу из-за рубежа, и даже где-нибудь в республиках напечатать ограниченным тиражом — но только не в «Новом мире»!) А Залыгин имел твёрдость заявить: «В таком случае — я и вся редакция, мы останавливаем журнал — и завтра же об этом будет известно на весь мир». Медведев — час ломал, душил Залыгина — и отпустил с угрозой: завтра утром поставить вопрос на Политбюро. Дима рассказывает: в полном мраке вернулся Сергей Павлович в столь же мрачную редакцию. С утра 29-го комнаты «Нового мира» были полны прослышавшими друзьями, все в торжественно-мрачном настроении. Вдруг, среди дня, после телефонного ему звонка, возбуждённый и помолодевший Залыгин вышел и объявил: Политбюро отказалось обсуждать вопрос о публикации, «поскольку это не входит в его компетенцию»! и поручило секретариату Союза писателей самому «экстренно рассмотреть»*.

---

* Ныне («Независимая газета», 12.2.2000) Вадим Андреевич Медведев сам рассказал эту историю со своей стороны. В октябре 1988 он совещался с видными гебистами и другими чинами власти. Начальник 5 Управления КГБ Абрамов, как и пресловутый потом патриарх партии Лукьянов высказались «за продолжение разоблачительной работы в отношении Солженицына». Другие — убедили Медведева отгородиться от «правовых аспектов выдворения», не имевших законного основания. В те-то недели Медведев и засел читать мои книги. Да, он де высказывался публично, но «никаких запретов на публикацию не налагал».

Они, наверху, испытывали «давление общественности» в конце 1988, а затем весной 1989. В апреле снова настаивал Залыгин, а Медведев предложил ему повторить прежние новомирские публикации, плюс «Корпус» и «Круг» (к тому моменту уже вынутые из спецхранов), — но не «Архипелаг». «Почему вы должны подчиняться его условиям? Надо постараться убедить автора». Однако в последний разговор, 28 июня, «позиция Сергея Павловича оказалась ещё более жёсткой» и «повернуть вспять уже готовящуюся публикацию „Гулага" было невозможно». Давление читательское нарастало, и 29 июня вопрос обсуждался на Политбюро. «По отдельным репликам и выражению лиц было видно, насколько мрачная реакция у многих моих коллег по Политбюро». Решения — *так сказать* — не вынесли: «Имелось в

Совершенно невероятное решение! — да впрочем, по составу секретариата ничего хорошего и не обещающее. Но тут возникла идея: из «Нового мира» стали обзванивать журналы и издательства с настоянием: выразить в ССП телеграфно или личной явкой свою позицию. И многие так сделали, не отказались. 30-го с утра в секретариате уже была пачка обращений — а прознавшие нетерпеливцы толпились у входа в Правление, в сквере с Поварской улицы. Прошли внутрь приглашённые новомирцы.

Знойный день. Председатель (В. Карпов) снимает свой пиджак на спинку стула. И открывает коллегам, что «нам нет смысла придерживаться старой запретительной тактики по отношению к Солженицыну. Почему, собственно, нам не подходит „Архипелаг ГУЛаг"? Там всё честно, документально. Мы поддерживаем эту инициативу». — И затем — кто вполне искренно (как А. Салынский, ещё с 1966 года), кто сквозь зубы — согласились без возражений. И председатель заключает: «Давно не было такого единодушия секретариата». И постанавливается: «Архипелаг» — печатать. Отменить исключение из ССП. Просить Верховный Совет отменить лишение гражданства.

Заседание не заняло и двух часов. (А ещё спустя час начался ликующий праздник в редакции родного журнала.)

И уже через несколько дней в «Новом мире» появилась моя Нобелевская лекция, а ещё через месяц — первый массивный кусок из «Архипелага», — тиражом журнала 1 миллион 600 тысяч. Жаждали мы этого, бились за это — а сейчас неохватимо: такая скрытая лютая правда — полилась-таки по стране!

Тотчас несколько советских издательств обратились с запросом печатать «Архипелаг» вослед «Новому миру» — и все между собой согласны на одновременность. — Впрочем, телевизионную передачу об «Архипелаге», с рассказом об аресте моём и высылке, с моим кличем 69-го года о Гласности, — станция затеснила на 1 час 30 минут ночи. *Силы* всё ж не дремали. — А ещё через месяц появился в «Литгазете» и отрывок из «Красного Колеса».

Ничто не приходит поздно для того, кто умеет ждать.

Лишь бы смогли меня прочесть на Родине широко, не только Москва с Ленинградом.

Так возникал вместо устойчивого пассата проклятий — переменчивый муссон славы? О, тут поосторожней: как этим кратким размахом славы послужить России точно и верно.

Да ведь всё ещё висит на мне — «измена родине» и лишение гражданства...

Однако от появления «Архипелага» — терзающая тревога охватила чету Синявских. С новой неутомимостью эссеист кинулся в международные гастроли на борьбу со мной, не пропуская ни одной возможности. На конференции в Бергамо: Солженицын — вождь русского национализма! Вот скоро он вернётся триумфатором и возглавит клерикальный фашизм! (На собравшихся произвёл впечатление одержимости, так неистово заговорился, что итальянцы дали ему отпор.) — В вашингтонском Кеннан-институте: «Солженицын — расист-монархист, через 5 лет будет правителем России!» (И Кеннан-институт рассылал выступление Синявского в виде листовки.) — В Вильсон-центре — ещё дальше, ржавая труба беспроигрышного «антисемитизма» не должна же подвести! — и хлопают мягкие уши американских славистов.

виду, что писатели сами примут». А на следующий день писатели, кто рассвобождён, а кто вынужден, и приняли. Одновременно согласившись, что «не следует поднимать большой шум и превращать в сенсацию». *(Примеч. 2000.)*

А уж радио «Свобода» — там-то никогда против меня не дремали. Теперь надрывались тот же Сарнов, «получивший право критики», и Б. Хазанов, и иже, иже — о несомненном антисемитизме «Красного Колеса», — вот она, главная опасность, сейчас покатится на страну. И чем же быстрей забить советские уши? Да в третий раз завели целиком передавать шарманку-фантазию Войновича «Москва—2042».

Кому что по силам. В Москве — «Советская Россия» перепечатывает старое (1971) враньё обо мне из «Штерна». А «Знамя» напечатало резкий отклик Сахарова 1974 года на моё всё ещё не напечатанное в СССР «Письмо вождям». (Хотел я, для мирности, не печатать пока публицистику, не разжигать страстей, — нет, втравляют.) А «Правде» что по силам? Открыла серию статей против «Архипелага», с рогатиной — и Рой Медведев.

А нам? Как Гёте когда-то ответил Шиллеру в письме: «Будемте продолжать нашу работу и оставим их мучиться их отрицанием».

К нам? — потекли сотрясённые отзывы читателей на «Архипелаг». Довольно с нас.

В том счастливом году казалось, что прорвётся в бытие и мой сценарий «Знают истину танки». Ещё в июле 1988 И. А. Иловайская сообщила мне из Парижа, что живущий там в эмиграции прославленный польский кинорежиссёр Анджей Вайда хочет ставить «Танки»: раньше боялся, что его за это лишат гражданства, а теперь, кажется, можно рискнуть. Так вопрос его: буду ли я согласен? — Ещё бы! с радостью. — В январе 89-го И. А. сообщила: звонил ей Вайда, дела с фильмом движутся, решили снимать в Польше и ждут разрешения властей. Когда получат его — тогда надо будет встретиться. — Летом 1989 Вайда прислал мне письмо с готовностью ставить фильм: «Тот факт, что Вам угодно было доверить мне реализацию фильма по Вашему сценарию, — это самая великая честь и радость, которая могла мне выпасть в жизни». Правда, его несколько задерживал «страх перед трудностью возвращения в Польшу после такого шага». Однако «думаю, что подошло время, когда... фильм можно будет снять в Польше, и с актёрами, говорящими по-русски, на языке оригинала. Я работаю над таким решением вопроса и смиренно прошу у Вас ещё немного терпения».

Блистательное предложение! Когда-то калифорнийская группа затевала, — то был бы несомненный провал. А поляки — да, поляки могли поставить этот фильм, накал Гулага был им открыт, доступен, — и в славянском типаже массовых сцен не было бы неправды. Так я мог косвенно, через Европу, прорваться в советское происходящее.

Я с радостью ответил: «Не сомневаюсь, что Вам блестяще бы удалось, с полным пониманием духа этих событий». Но предложил, что ему естественней ставить по-польски, а потом переозвучить и по-русски. И предупредил, что к декабрю мой сценарий будет напечатан в СССР, в одном из журналов.

К концу года Вайда написал, что пока занят съёмкой фильма о Корчаке, а идея сохраняется: «Съёмки провести в Польше, где мы легко найдём соответствующую натуру», но «было бы идеально, если бы фильм удалось сделать в русской версии, то есть пригласить русских актёров, которые приехали бы из СССР в рамках совместного производства», даже — этот вариант для него «единственно приемлемый».

Однако время шло, дело затягивалось, потом, как-то не совсем для меня понятно, и вовсе отложилось, и замысел не состоялся*.

Полежал мой сценарий без движения 30 лет — полежит ещё 20—30?

---

* Спустя 11 лет вдруг читаю в «Московских новостях» интервью Вайды (6—12 марта 2001 г.: «Анджей Вайда, изгоняющий дьявола»): «Раз в жизни у меня был шанс сделать рос-

В сентябре 1989 Дима Борисов приехал к нам в Вермонт по командировке «Нового мира», прожил у нас недели три. Мы встретились с прежней неутерянной высшей теплотой. Казалось, он не изменился и за пятнадцать тяжких лет. Несмотря на такую разлуку — мысли его оставались наиближайшие к нам. В обстановке московской резкой литературно-политической распри — *линию* нашу, во всех ответах прессе, он провёл безукоризненно. Обсуждали теперь предстоящие в СССР дела.

Уж сколько месяцев, опережая события, слали и мне и ему запросы об Узлах «Красного Колеса» — теперь подошла возможность начать и журнальное печатание. Но «Новый мир» уже столько моего будет печатать подряд — решили раздавать «Колесо» разным журналам, по Узлам, и даже по частям Узлов. (Практика довольно вредная: как читателю уследить за этим необозримым разбросом, если хочет прочесть «Колесо» подряд? А в *одном* журнале печатать — растянется на 5 лет.)

Главное-то, Диму заботило: началось уже книжное печатание. Он брал у нас для репринтного воспроизведения готовые Алины макеты рассказов, «Круга», «Корпуса», «Архипелага» и сделанный в Нью-Йорке набор Словаря. Жалел, что придётся отдавать всё это госиздательствам («они все запачканы»), делился планами создать при «Новом мире» издательство своё, и — что́ бы стал в нём печатать. (За время его отсутствия в «Советском писателе» вышел 1-й том «Архипелага»: типографы — *сами* ускорили выпуск, напечатали за две недели! Вот это — народное чувство!)

В Москве предстоял Диме долгий шквал издательских запросов, корреспондентских вопросов и читательских писем. Но и в голову нам не вступало как-то пунктуализировать наши деловые отношения — они оставались в температуре прежних подпольных.

А уехал Дима — и пропал... Спустя два месяца, не дождавшись, пишу: «Откровенно сказать, тревожусь: Вы уже взяли на себя столько нагрузок, помимо моего представительства, что Вам будет трудно охватить всё равномерно. Пошли Вам Бог сил и сосредоточенности». И опять прошу — открыть полный зелёный свет всем *областным* издательствам — с «Архипелагом», а потом и со следующими книгами: «Затеваемое при „Новом мире" издательство — дело долгое, сложное, Вы встретитесь ещё с проблемами и хлопотами, которых не представляете сейчас. Я прошу Вас настоятельно, чтоб эти дальние планы никак и ни в чём не мешали бы тем издательствам, которые хотят что-либо моё печатать. Прозу — *всем желающим* и без задержек».

...Отныне, когда стало безопасно писать мне письма, — усилился их прямой поток в Вермонт из Советского Союза — уже и по два-три десятка в неделю. Но напрасно было ждать от хлынувшего теперь большинства — выражения мыслей, чувств; а верней, эти чувства были — просьбы, всклики и крики из самых разных дальних мест: пришлите денег! денег! шлите мне регулярные посылки! устройте печатанье на Западе моей поэмы! моего романа! запатентуйте в Штатах моё изобретение! помогите выехать в Америку всей нашей семье, вот и вот наши паспортные данные!

сийский фильм, и я им не воспользовался. И до сих пор меня мучают угрызения совести... Продюсеры сделали мне заманчивое предложение... чтобы я поставил фильм по сценарию [Солженицына] „Знают истину танки". Это была история подавления бунта в советском лагере. Сценарий был великолепен: выразительные мужские и женские образы, взрывная динамика действия. Одним словом, мечта режиссёра. К тому же я был польщён, что великий писатель выбрал именно меня. Правда, я понимал, что Солженицын, будучи в эмиграции, как свободный человек увидел во мне другого свободного человека. Но я был не свободен от своей страны, для зрителей которой привык работать. А после такого фильма о возвращении в Польшу нечего было и думать. На эмиграцию я решиться не мог, как не мог представить себя вне Польши. Разве мог я хотя бы предположить, что при моей жизни рухнет вся система? Я часто потом думал: может, надо было всё бросить и делать этот фильм? Мне всё время кажется, что он сыграл бы важную роль в моей жизни». *(Примеч. 2001.)*

Определительно выявляли эти письма уже начавшийся огромный процесс: бегство России из России. Сперва побежали учёные, артисты, витии — но вот и из глубины масс вырывалась та же жажда бегства. Страшное впечатление.

Позже обильными пачками пересылали мне Люша и Надя Левитская письма, приходящие в «Новый мир», — эти были действительно читательские, и через них надышивались мы: что ж за годы-годы-годы наслоилось в России.

С перетёком на 90-й год родина дала нам знать себя. И — бешеным звонком от ворот: рок-группа «Машина времени» предлагает устроить мою поездку по Советскому Союзу! И размеренным звонком из Вашингтона от советского телевидения: пора мне выступить у них, и вообще в прессе.

Да ведь только-только начали меня читать. И — что сказать раньше и важнее моих накопленных книг?

Вот — книги, книги пусть и льются.

Однако о ходе печатания, журнального и книжного, — я обнаруживаю себя в изводящей темноте. Дима, на беду, не очень справляется с нахлынувшим на него и никогда им не испытанным темпом.

Стал он завязать, завязать с сообщениями: как продвигаются дела? какие он принимает решения? Не отвечал на многие наши вопросы, задаваемые уже по второму и по третьему разу, не объяснял возникающих недоумений, путаниц, — да самих писем не писал по два и по три месяца, изводил долготами молчания. И по телефону Аля не могла добиться от него ясности.

Не находит оказии для *левого* письма? В январе 90-го прошу: «Думаю, что Вы иногда, потратив 10-15 минут, написали бы и *правое* письмо: всё ж за 2—3 недели оно дойдёт и что-то донесёт. А так — мы и по месяцам ничего не знаем». — В марте: «Зачем же Вы молчите так долго и так беспросветно?» Уже 3 месяца «от Вас ни письма, ни пол-записочки... вот Вы и не звоните уже больше месяца... Димочка, я отлично представляю, какая нагрузка на Вас ложится, да ещё как Вас раздёргивают звонками, письмами, запросами, визитами, глупыми предложениями, да к тому же Вы этой зимой и болели... Но просто: по сравнению со всей этой нагрузкой — одно бы в месяц плотное информативное письмо ко мне не много нагрузки добавило бы Вам, но многое осветило бы мне. Пожалуйста, не пренебрегайте этим».

Между тем притекающие к нам, с опозданием на месяцы, мои публикации иногда поражали небрежностью выполнения, равнодушием к качеству, даже и к простой грамотности. (Отъезжая от нас, Дима энтузиастически собирался даже лично корректировать тексты — да где уж! Потекли грубые недогляды. «Танки» печатали с нарушением моей сценарной формы, да Дима только от нас и узнал с опозданием, что сценарий уже напечатан. «Пленников» нашлёпали уж просто с разрывом строк, потерей ритма и рифм и многими опечатками, — ясно, что никто вообще не держал корректуры. А в одном московском журнале — опубликовали полностью бессмысленное сочетание отдельных глав из «Колеса».)

Ну что делать. просто — русская натура, беспорядлив в работе?

Для убыстрения связи послали ему домой факсовый аппарат и в «Новый мир» ксерокс. Вместе и с телефонными звонками — облегчилось дело, но не намного.

Жаловался, что не успевает заключать договора с областными издательствами. Что возникли трудности с бумагой для журнала. Оттого задерживаются номера, идёт война с типографией «Известий». И не удаётся пока выпустить подписной купон на задуманный им «новомирский» семитомник. И трудно найти развозчиков в обмин Минсвязи. И почём теперь бумага, почём картон... Да что такое?.. Разве *этим* Диме заниматься?

Но уже вскоре затем, летом 90-го, Дима прислал большое письмо с перечнем всего ныне печатаемого и разработанным планом: как будет печа-

таться дальше. За это время издательский кооператив, взявший название «Центр „Новый мир"», но от журнала независимый, получил полноту издательских прав («мы не нуждаемся больше ни в чьей издательской марке»), — и отныне, мол, все договоры от моего имени Дима будет заключать только с Центром, а уж Центр станет издавать книги с партнёрами, имеющими бумагу, переуступая им за определённый процент авторские права. Дима настаивал, чтобы я дал согласие на «эту схему».

Хотя Центр разделял наименование «Нового мира», однако это настояние меня поразило. Что ж, всякий, кто хочет издать Солженицына, должен прежде *купить* это право *у Центра?* Зачем ещё такой посредник-монополист? И я написал Диме (10.7.90): «Предложение передать все мои книги вашему издательскому центру — *начисто* не подходит мне: это значит — всё остановить и задержать. Нет — именно *всем* желающим издательствам надо давать, и в *этом* я вижу смысл Вашей деятельности для меня, и именно об *этом* прошу настойчиво, и главное — для областных издательств. Провинция для меня — важней всего. Ваш Центр только начинает дышать, посмотрим, как он будет работать, тогда и поговорим». — И через месяц: «Я прошу Вас: до всех выяснений как-нибудь не начать непроизвольно притормаживать приходящие к Вам заявки от издательств, надо их *все* удовлетворять сейчас, *никак не откладывать* «на будущее», у будущего будет своя издательская пища... *Каждое* областное и центральное издательство, которое хочет издавать, — и пусть издаёт, не задерживайте их. Может быть, через год-два в стране будет такая обстановка, что людям будет не до чтения».

Дима был сильно недоволен моим отказом передать исключительные права Центру, ему казалось, что это «простое и ясное решение всех проблем», особенно *качества* изданий, гарантом которого будет Центр; да ведь будем в Центре издавать хорошие книги! — Нет, возражал я, хорошее дело так не строится, «для меня никак невозможно принять идею монопольного центра, как Вы её выдвинули. Контроля Центра над другими издательствами (и уже существующими по много лет, когда Центр ещё себя ничем не показал) — я принять не могу. Что областные издательства могут допускать опечатки и ляпы, ну что делать, это отражает уровень страны сегодняшний... Центру никто не мешает действовать самостоятельно, *наряду* с другими — не взамен их, не обуздывая их в свою пользу».

На том посчитал я тему закрытой. Но сколько, в самом деле, трудностей переходного времени ещё вырастало и клубилось. Дима писал о бумажной блокаде журнала, о трудной судьбе семитомника, о развале всей системы книгоиздательства на родине.

А на Родине! — на родине чтó только не закипало — и всё грозное, и всё быстросменное. 1989-й был насыщен катастрофами. На многих окраинах Союза (впрочем — нигде в самой России) лилась кровь — и от национальных раздоров, и от войсковых подавлений. А весна та ещё была наэлектризована — первой после коммунистического режима грандиозной имитацией свободных народных выборов. Имитацией и потому, что отступлено было от всепринятой формы «справедливого равенства» общего голосования, вдвинуты *разнарядки* от организаций (в первую очередь — от ЦК КПСС), от академий, от творческих союзов, кому места обеспечивались по квотам. Правда, на остальные места были сенсационно разрешены выборы из нескольких кандидатов, однако фильтруемых искусственными «окружными собраниями». Принят был вид «свободных» выборов, но направляющая рука компартии действовала всюду насквозь.

Затем состоялся двухнедельный Съезд «народных депутатов», он сплошь транслировался по телевидению, захватив всё внимание миллио-

нов. Это было ошеломлённое счастье: видеть и слышать непредставимое, немыслимое за всю жизнь. Да не для того сидели перед телевизорами, чтобы познать истину о своём положении — ещё бы им её не знать, — а в отчаянной надежде, что, может быть, от этого Съезда жизнь стронется к лучшему.

Академик Сахаров, ведомый как личным, так и групповым воодушевлением, принял жаркое участие в борьбе за право быть избранным на Съезд, выступал в избирательных собраниях сразу нескольких округов и само собою боролся в Академии наук. Тут он и прошёл, но вопреки многим препятствиям и махинациям: горбачёвские власти не без основания опасались Сахарова.

Далее во всём течении Съезда (как и в остатке всего 1989 года) Сахаров проявил выдающуюся энергию (удивительную при его тогда физическом состоянии), и в соединении с постоянной же принципиальностью. Выступал он и на массовых митингах в Лужниках. Он становился опасным оппонентом Горбачёва.

Правда, Сахаров не единожды выразил о нём вслух, в том числе и на Съезде: «Не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной». (А собственно, почему? чем Горбачёв так отменен? И не государственной дальновидностью, и не волей, и не привлечением народной любви. Разве вот — по инерции компартийного преемства.) Да никто в тот год в конкуренты и не выдвигался. Но Сахаров, своими усилиями, как бы хотел *поднять* Горбачёва до принципиальной высоты. От первого шага на Съезде: добиться дискуссии о программах и принципах ранее выборов председателя Съезда (это Сахарову, конечно, не удалось) — до личного разговора с вождём в драматические дни Съезда и до своих отчаянных попыток вновь и вновь получать слово с трибуны, где Горбачёв уже напросто грубо его отключал. Сахаров в ходе Съезда завоевал себе роль фактического главы оппозиции, не упускал многих важных вопросов, приходилось ему и перекрикивать шум зала, и подвергаться гневному гулу и обструкции. И, как верно выводит он: «На всех тех, кто смотрел передачу по телевидению... эта сцена произвела сильное впечатление. В один час я приобрёл огромную поддержку миллионов людей, такую популярность, которую я никогда не имел в нашей стране». И популярность эта — сохранилась во все последние месяцы его жизни, и до похорон: народ зримо увидел своего гонимого заступника.

Ещё и в последний день Съезда Сахаров напорно добился 15-минутного выступления; в его составе зачитал и «Декрет о власти» (он объясняет: «перестройка — это революция, и слово „декрет" является самым подходящим»), где потребовал отмены ведущих прав КПСС, и закончил ленинским лозунгом Семнадцатого года: «Вся власть Советам!»

Так 1989 год стал вершинным годом Сахарова.

Вот и бастующие воркутинские шахтёры звали его к себе. Он не поехал, изнуряясь в боях Верховного Совета.

Быстропеременная и всё новеющая обстановка в стране — для верной оценки её, верной ориентировки в ней, верных, и в точный момент, государственных движений — требовала очень многое — почти сверхчеловеческое, не проявленное у нас за эти годы никем.

И кто бы тогда предвидел, что так жадно ожидаемые у нас освободительные реформы (да ещё — скорей! скорей!) — приведут к ещё дальнейшему грандиозному обрушенью и ограблению России?

В последующие за Съездом месяцы Сахаров стал душой тогдашней (минучей) «Межрегиональной группы» — и из неё призывал всё население СССР к политическим забастовкам. И, уже перед самой смертью, с удовлетворением отмечал, что «забастовок было достаточно много», в том числе в Донбассе, в Воркуте, «во многих местах», «это — важнейшая политизация страны», «народ нашёл наконец форму выразить свою волю». (И в чью пользу выразил?..)

Нет, *народ* не дал себя увести от повседневного здравого смысла, великодушно согласился не замечать слабости сахаровских проектов. Он полюбил Сахарова не за суть этих проектов, а — за вмещающее сердце.

Ещё разрушительней был — проект Конституции СССР, предложенный Сахаровым в конце 1989: отныне Союз должен был составиться из равных во всём *республик* (в каковую степень возвышались и автономные области и даже национальные округа, так что насчитывалось бы всех много больше полусотни, — и никакой другой структурной единицы, кроме *республики*. Создание нового государственного Союза предполагалось начать с его полного развала: возглашения *независимости* каждой из тех больших или крохотных республик (суверенных государств!), — а затем они могли выразить или не выразить желание объединяться в Союз. Каждая республика имела бы своё гражданство; свою денежную систему; свои вооружённые силы; свои правоохранительные органы, независимые от центрального правительства; приоритет её конституции перед законами Союза (но законам Мирового Правительства, напротив бы, все подчинялись); *ей бы* принадлежали вся её земля, недра и воды; и республиканский язык был бы в ней государственным. — Один раз в проекте сиротливо упомянута «республика Россия», без какого-либо пояснения, из каких же оставшихся клочков и каким географическим способом она могла бы быть составлена, а по правам своим становилась бы равна хоть и Таймырскому округу? То есть: доконечное раздробление и ослабление России, живейшая мечта всех враждебных нам дипломатий. Где тут была хоть частица сознания исторической России и её духовного опыта?

С таким лихим разгоном — что бы дальше предложил, к чему бы призвал Сахаров в последующие месяцы и годы? — даже страшно и подумать.

Однако же и уравновесим: разрушаемую страну никто и не укрепил больше Сахарова: его ядерное наследство надолго поддержит её мощь и в разрухе. Теперь Запад, опасаясь у нас ядерного хаоса, *боится* мгновенного развала России, в общем-то желанного ему.

В несколько месяцев доведённый непосильными для него напряжениями и столкновениями, Сахаров скончался на 69-м году жизни.

Да в его христианской улыбке и в печальных глазах — и всегда отражалось что-то непоправимое.

Гроб с телом Сахарова провожал по Ленинскому проспекту нескончаемый поток из сотен тысяч людей. Москва не помнила такого множества — и по сердечному влечению. Стоял оттепельный декабрьский день, люди шли по щиколотку в мокреди. Ещё накануне и в тот день прошли многолюдные траурные митинги во многих советских городах.

На похоронах был и мой венок: «Дорогому Андрею Дмитриевичу с любовью Солженицын».

Но когда-то же должны соотечественники прийти в ясную мысль о себе?

В начале февраля 1990 я записал: «Каждый день, каждый вечер и утро по-новому разбираю, перекладываю, гадаю: мой долг и мои возможности по отношению к происходящим в России событиям. Ясно, что моё разъяснение Февраля практически опоздало: уже тот опыт никого не научит к нынешнему Февралю. (Но хоть написано будет о Девятьсот Семнадцатом! Кто б это *сейчас* взялся потратить на то 20 лет?) А зато я опоздал к событиям сам? А — что б я там сейчас изменил? много ли сделали Блок или Бунин в 1917? И даже Льва Толстого, доживи он до Семнадцатого, — кто бы в той суматохе слушал? Короленко же не послушали. Моё место — заканчивать мои работы. Когда-то раньше, в тюрьмах, мне представлялся конец коммунизма как великое сотрясение, и сразу новое небо и новая земля. Но это было в самой сути невозможно, и стало вовсе невозможно

после того, как коммунистическая система прогноила всё тело нашей страны, всё население её. И вот — отход от коммунизма проявляется в искорченных формах — не меньшая нечистоплотность, а где и мразь, и в возглавьи страны, и в слышимых её голосах... А пути — всё равно надо искать».

И — к а к ж е?.. Смутно росла мысль: написать публицистическую работу, обобщающую — и что сейчас есть, и что бы необходимо? В этот момент имя моё в России стояло (на краткое время) высоко. Сразу после прорыва «Архипелага» — должны б моё слово услышать? Опыта из политической истории России в XX веке у меня более чем хватало.

Мысли к работе — как обустраиваться России после коммунизма? куда и как бы двигаться? — копились у меня уже лет восемь-десять, да даже уходили корнями в послевоенные тюремные камеры, в тамошние споры 1945–46 годов. (В лагерях — никогда нет столько времени и свободы на размышления и споры, как в тюрьмах.) Выстраивалась не целостная государственная программа, это — непосильно издали, да и без экономики, в которой я не сведущ, — но всё же посильные советы, основанные на долгих годах моих исторических розысков.

И оказалось: гораздо легче было бы ту работу выполнить прежде 1985 года: начинай с ноля и крои, и строй. А теперь, когда вся страна пришла в бурное смятение, — о, гораздо трудней.

Но тем и необходимей.

Конечно, подлинное возрождение России не в темпе, а в качестве, — однако всё кипит сегодня, оно не ждёт. И всё трудней понять: к чему ж идти?

А при таких бурных переменах — пока напишешь, опубликуешь — и г д е? — так ещё и устареет.

Всё же с начала 1990 уже сами наплывали у меня фрагменты текста, фразы. И я отложил другие работы, сел за эту. Теперь подгоняло, что я — опаздываю? слишком долго медлил?

К тому понуждали столичные воззывы о близком, полном, окончательном крахе материального бытия (столичного). И мы тоже не могли не поддаться этому густо притекающему настроению: что Россия — уже на горячем краю немедленной гибели. (А ещё главный-то скат в гибель — тогда был весь впереди, впереди.)

Но всё равно, моя мысль уставлялась так: разумно ли — гнаться только за моментом? Надо дать более спокойный, дальновидный разбор — намного вперёд? Невозможно дать «абсолютный» какой-то проект, но хотя бы вдвинуть охлаждающие и озадачивающие идеи.

Из того и другого сложились соответственно 1-я и 2-я части «Как нам обустроить Россию?».

Писал без зараньего строгого плана, само неудержимо вязалось, звено за звеном. Кончил за месяц. Потом работали с Алей. Уже и сыновья смышлеют, уже и с ними советовался. И, для пробы, отослал на совет нескольким эмигрантам. (Важные поправки дали Ю. Ф. Орлов, М. С. Бернштам, А. М. Серебренников.)

Писал я брошюру для периода как будто и «гласного», но ещё далеко не свободного в мыслях. Ещё нельзя было поднимать многие проблемы во всей их полноте и масштабе, как они не вмещаются в «перестройку», и высказывать со всей прямотой: мало того, что миллионы читателей не подготовлены к такому разговору, но и власти — всё та же номенклатура — не напечатают, да и всё. (По приходящим публикациям видел же я, как, как боялись затронуть Ленина или большевизм *в целом*. Из писем в «Книжное обозрение» тоже выступали закостенелые обломки и даже массивы коммунистического воспитания.) И вот надо было настаивать на преемственности *государственного* сознания, без чего невозможна мирная эволюция, — но отклонить же «преемственность» ленинской партийной власти. И надо было, пока не поздно, остеречь от безответственных черт парламентских демократий — но разве наших истосковавшихся и голод-

ных людей напугаешь возможными пороками демократического общества? казалось им: дай только демократию! — и сразу наедимся, приоденемся, разгуляемся!

Наконец, и сам *язык* статьи. Нельзя отдаться затрёпанному газетному языку, к которому уже так деревянно привык советский читатель политической литературы. Пишу сочней и ярче, в духе того волнения, без которого нельзя говорить о сегодняшней советской обстановке, — и слишком увлёкся выразительностью лексики. «Мы на последнем докате» — настолько катастрофичным уже тогда казалось и мне, как многим, состояние страны, — я ещё не предполагал, какие же запасы развала нам предстоят.

Одним из главных движений развала виделся мне уже вполне созревший распад Советского Союза. Многое вело к тому. И острота национальных противоречий, хорошо знакомая мне ещё по лагерям 50-х годов (а в советской повседневности заглушаемая трубами «дружбы народов»), — и тот безоглядный развал экономической и социальной жизни, какой повёлся при близоруком Горбачёве. Мне этот близкий распад страны был явственно виден, — а как внутри страны? видят ли его? Крушение Советского Союза необратимо. Но как бы не покрушилась и Историческая Россия вслед за ним, — и я почти набатным тоном хотел о том предупредить. Однако поди предупреди — и власти, и общество, и особенно тех, кто мыслит державно, гордится мнимым могуществом необъятной страны. А ведь государственный распад грохнет ошеломительно по миллионам судеб и семей. В отдельной главе «Процесс разделения» я призывал заблаговременно создать комиссии экспертов ото всех сторон, предусмотреть разорение людской жизни, быта, облегчить решение множественных переездов, кропотливую разборку личных пожеланий, выбор новых мест, получение крова, помощи, работы; и — гарантии прав остающихся на старых местах; и — болезненную разъёмку народных хозяйств, сохранение всех линий торгового обмена и сотрудничества.

И обнажал, как бесплодно, бессмысленно для народа (и очень выгодно для партийной номенклатуры) потрачены 6 лет «перестройки», и как *уже* мы расхаживаем в «балаганных одеждах Февраля», — между тем общество необузданных прав не может устоять в испытаниях.

И выше того: политическая жизнь — не главный вид жизни (а именно так всюду увлечённо булькало по поверхности страны), и чистая атмосфера общества не может быть создана никакими юридическими законами, но нравственным очищением (и раскаянием скольких и скольких крупных и малых насильников); и подлинная устойчивость общества не может быть достигнута никакой борьбой, а хоть и равновесием партийных интересов, — но возвышением людей до принципа *самоограничения.* И умелым трудом каждого на своём месте.

Отдельными главами разбирал я фундаментальные вопросы: местной жизни, провинции, земельной собственности, школы и семьи. И острейшую трудность представлял разговор на темы национальные, особенно имея в виду украинских националистов — главным образом галицийских, то есть проживших века вне российской истории, но теперь активно поворачивающих настроение всей Украины. Я знал, что «москали» прокляты ими, но взывал к ним как к *братьям,* в последней надежде образумления. Я испытывал их в самом слабом их месте: якобы антикоммунисты — они с радостью хватали отравленный дар *ленинских границ*; якобы демократы — они более всего боялись дать населению свободное право родителей определять язык обучения своих детей. — Я предлагал немедленно и безо всяких условий дать свободу отделения 11 союзным республикам, и только приложить вседружественные усилия для сохранения союза четырёх — трёх славянских и Казахстана.

И это была — только первая часть брошюры, о *сегодняшнем* моменте. (Сознаю, что в ней, в эмоциональном изложении, — а спокойный тон о

бедах был бы воспринят как равнодушие издалека, — я не вполне чётко допустил тройственное употребление слова «мы»: мы — как *все* люди, человеческая природа; мы — как жители СССР; и мы — как русские.)

А затем — шла безэмоциональная, в методичной манере, вторая часть, сгусток всего, что мне за много лет занятий историей удалось собрать из исторического опыта. — Виды государственных устройств вообще. — Демократия как способ избежания тирании — и обречённость же демократии в её парламентарной форме определяться денежными мешками. — Как избежание этого порока — «демократия малых пространств», земство и вырастающие из него четырёхступенчатые выборы. — «Сочетанная система управления» — твёрдой государственной вертикали сверху вниз — и творческой земской вертикали снизу вверх. — Разные системы выборов (пропорциональная, мажоритарная, метод абсолютного большинства) — и как избежать изматывания и трёпки народной жизни от выборов.

И всё это я дал не как уверенный рецепт, а как *посильные соображения* — и с вопросительным знаком в заголовке брошюры.

А дальше? Старт был стремительно обещающим. Едва Аля позвонила в «Комсомольскую правду», что вот существует моя статья такого-то объёма, — редакция отважно приняла её сразу — даже не читая! («Комсомолку» мы избрали за её огромный тираж, да она и только что напечатала «Жить не по лжи».) Узнав про то — немедленнно взялась печатать и «Литературная газета», не чинясь, что будет не первая, на день позже. И всё это — по одному моему имени, ещё никто не прочтя и не разобравшись. И так в сентябре 1990 — в короткие дни напечаталась моя брошюра на газетных листах невообразимым тиражом в 27 миллионов экземпляров. («Комсомолка», однако, обронила мой вопросительный знак в заголовке, это сильно меняло тон, вносило категоричность, которой не было у меня.)

Вот уж не ждали мы такой удачи.

Так — все основы для широкого, действительного всенародного обсуждения?

А — как бы не так.

Началось, вероятно, с Горбачёва. Он так яростно возмутился моим предсказанием о неизбежности распада СССР, что даже выступил, на погляд всему миру, в Верховном Совете. Якобы прочёл брошюру «внимательно, два раза и с карандашом» — но ударил, со всего маху, мимо: Солженицын «весь в прошлом», проявил себя тут *монархистом* (?? — вот уж ни звука, ни тени; всё та же залётная кличка, перепархивающий кусок сажи, рождённый ещё кем? да пожалуй Киссинджером), — и поэтому брошюра *нам* целиком не подходит, со всеми её мыслями. — В поддержку вождю выступили и два депутата-украинца, выразившие гнев «всего украинского народа» против моих братских инсинуаций, и один депутат-казах. В самом Казахстане бурней: в Алма-Ате демонстративно сжигали на площади «Комсомолку» с моей статьёй. И публично — этим и завершилось всё «обсуждение».

А не публично, нет сомнения: «Комсомолке», «Литературке» и вообще всей прессе была дана команда не печатать отзывов на мою брошюру, вообще не обсуждать её и замолчать. Успели нам из редакции сообщить: повалили сотни писем, будем печатать из номера в номер! — но лишь в одном-двух номерах проскочили густые, горячие, разнообразные читательские отзывы — и тут же оборвались. (Через два месяца, в конце ноября, обсуждения недосмотренно вдруг всплыли ещё раз и опять угасли.) Лапа Партии по-прежнему лежала на Гласности. Ещё в декабре самодовольно надутый «Коммерсант» изрёк плоско-близорукую рецензию. (Месяцем позже дошли до нас отклики украинских газет — эмигрантских и советских. Слитно: бескрайняя ярость и непробивное невежество.) А Горбачёв («я демократ и радикал») как раз испрашивал себе у парламента «особых полномочий».

Не точней Горбачёва оценили брошюру и на Западе. Например, Би-би-си присудило: «нереальный план возврата к *прошлому* (?)», Солженицын не может освободиться от *имперского сознания»* (это — предложив сразу отпустить 11 республик из 15, а остальным трём тоже не препятствовать). «Нью рипаблик» изобразила меня на своей обложке в ленинской кепочке — мол, приехал на Финляндский вокзал. По унылой однонаправленности «разнообразной» западной политической прессы — и другие на этом же уровне. (Не мог не внести своего пошлого отзыва и Скэммел: как ему промолчать? он же «первый специалист по Солженицыну», и все его спрашивают. Так вот: о «гласности» Солженицыну нечего сказать, вероятно он считает, что она зашла слишком далеко, — позабыл *биограф,* что именно я выкликнул эту «гласность» в 1969 году, когда никто этим словом и не поперхивался. А, мол, теперь Солженицын выявляется как «патриархальный популист со славянофильской страстью ко всеобщему согласию» — каковое, разумеется, вредно. И ещё же: Солженицын «наркомански склонен к „большим вопросам" жизни». И вот по такой дребеденской умноте — учатся бедняги-студенты славистских отделений.) — В Германии и во Франции обрывки моих мыслей передали наскоро и искажённо. — Третьеэмигрантский журнал «Страна и мир» отозвался на мою брошюру взрывом негодования, а дежурный Войнович — ещё четырьмя передачами по «Свободе».

Ясно, что моя брошюра возмутила националистов-сепаратистов Украины и Казахстана. Националисты же русские и державные большевики — и слышать не хотели о предстоящем развале Империи. А поверхностные парламентарные демократы не могли и на дух принять глубокого взгляда на суть демократии, уж не приведи Бог истинного народоправства. Те, кто разгорячён политической каруселью: зачем нам эти подробные размышления о возможном государственном устройстве, когда вон на той и вон на той площади гудят актуальные политические митинги?

Но ведь были же ещё миллионы и миллионы «простых» читателей, и статья сама лезла в руки за три копейки. Пусть этим миллионам не открыли пути высказаться печатно — но они *прочли?* и — что подумали? и — как отнеслись?

Прошли месяцы — получал я разрозненные письма от них в Вермонт (много писем в те годы и пропадало на советской почте). И кто писал с большим пониманием, а кто — с полным недоумением.

А публично — почти и ни звука даже от тех заметных публицистов, журналистов, на кого не действовал запрет высказаться. Зато несколько гневных и развёрнутых больших статей против моего «Обустройства» — то почему-то от эстонского видного писателя Авро Валтона (эстонцев — ни волоском я не зацепил): нет, так дёшево Россия не отделается! пусть теперь она всем — и за всё, за всё, за всё заплатит! Или разливистая, язвительная, почти клокочущая статья публициста Леонида Баткина, сразу в нескольких изданиях, да ещё к тому же построенная на недобросовестном передёрге цитаты.

А остальное *Общество?*

Удивлялись и моим набатным предупреждениям, — с чего это я? И моей тщательной разработке государственных структур, — кому это сейчас нужно?

Вот это равнодушие многомиллионной массы — оно ощутимо и ответило мне. В том, что я — за океаном, оторвался от реальной советской жизни? не толкусь там на митингах? Или в том, что со всем сгустком моего накопленного исторического опыта и красноречия — я пришёл со своим «Обустройством» слишком р а н о?

Да, не опоздал, а — рано.

В 1973, из гущи родины, я предложил («Письмо вождям») своевременную и, смею сказать, дальновидную реформу. Вожди — и не пошевельнулись. Образованщина накинулась с гневом. Запад — с насмешками.

Прошло 17 лет изгнания. Теперь, через океан, я предложил национально спасительную, а государственно — тщательно разработанную программу. Власть — легко заглушила обсуждение, националисты республик и российская образованщина накинулись с яростью. А Народ — безмолвствовал.

Ох, долог ещё путь. И до нашего — далеко.

Уже немало лет жил я с невесёлым одиноким чувством, что в тяжком знании забежал от соотечественников вперёд — и нет нам кратких путей объяснения.

Между тем — вот это и была моя реальная попытка *возврата* на родину. Заодно и проверка — нужен ли я там сейчас? услышат ли меня? спешить ли вослед — развивать и воплощать сказанное? — Ответ был: нет, не нужен. Нет, не услышали. Государственные размышления — это что-то слишком преждевременное для нас.

Ещё в декабре 1989 горбачёвская власть милостиво процедила, что «лишённые советского гражданства могут подавать заявления на возврат» («Нью-Йорк таймс» сразу же сунулась к нам: буду ли я подавать? — то есть стану ли виновато на колени, прося советскую власть о прощении?..). — В январе 1990 вернули советское гражданство Ростроповичу и Вишневской. (Они не были расположены возвращаться, ответили: «Не вернёмся раньше Солженицына», то есть упиралось, опять-таки, в меня.) — В апреле 1990 «Литгазета», когда-то прилепившая мне «литературного власовца», теперь с запоздалым бесстрашием (да наверно и тут по команде сверху) потребовала: «Вернуть Солженицыну гражданство!» По отношению к высланному с таким грохотом это бы имело смысл и означало бы признание режимом своей, ну хотя бы, «ошибки». Но, всегда двусмысленный и нерешительный, Горбачёв не мог отважиться на такой шаг. В июне 1990, — по заявлениям или нет, не знаю, — вернули гражданство А. Зиновьеву, В. Максимову и Ж. Медведеву. А дальше — дальше, в августе 1990, состроили так: набрали список в две дюжины эмигрантов, из которых почти все уехали собственною волей, подавши в ОВИР просьбу о визе на выезд, вставили туда и меня и Алю — и объявили: перечисленные лица могут получить снова гражданство. И тут же вослед сорвался зав. отделом помилований Верховного Совета (Черемных), публично соврал, что у меня были контакты на высоком уровне с советскими властями и я уже дал предварительное согласие. — Ну зачем же так лгать? Не было никаких контактов! — А все агентства звонят. Аля опровергла. — Тот Черемных всё равно на своей побаске настаивает. Корреспонденты опять же звонят, сенсация! Аля веско ответила через агентства и в «Нью-Йорк таймс»: лишение Солженицына советского гражданства (канцелярская бумага, в Америке и 18 лет прожил без гражданства) — было *одним из трёх* незаконных действий. Тяжче того — обвинение *в измене родине* и Указ о насильственном *изгнании:* лишении родной земли, друзей — и обреченье сыновьям расти на чужбине. Так пусть начнут с тех двух.

Но на это — Горбачёв идти не хотел, не пошёл.

Вскоре за тем, очевидно вразрез горбачёвской нерешительности (но уже в решительности ельцинской, да Ельцин тогда мнился самостоятельным русским голосом в советском многоголосьи), премьер РСФСР И. С. Силаев в том же августе 90-го опубликовал в «Советской России» (одной из самых злобных клеветниц за годы на меня и наш Фонд) приглашение мне приехать в Россию *его личным гостем:* «Теперь, когда противоречия [русской жизни] достигли высоты, чреватой новым расколом... Вы не будете связаны по приезде сюда никакими обязательствами, касающи-

мися Вашей дальнейшей судьбы. Программа же Вашего путешествия будет названа Вами, а моя миссия заключается в оказании Вам содействия».

Сильный момент. «Программа путешествия»? — ведь как в воду смотрит: значит, по моей давней задумке, могу и через Сибирь?

Но ведь это — явная политическая игра. Ельцинская сторона играет мою карту против Горбачёва. И — мне в это сейчас ввязаться? А что изменилось в Системе? Пока ничего.

Если отдаться целиком политике — то конечно ехать, и немедленно!

И толкаться на московских митингах? на трибунках между Тельманом Гдляном и Гавриилом Поповым? (Стиль Семнадцатого года, так знакомый мне...) Я политическую роль сыграл в то время, когда глóтки были совсем одиноки. А теперь, когда их множество?..

Я — как раз кончил «Обустройство». Это — самый большой и глубокий вклад, какой я могу сделать в современность. На него и была моя надежда.

И ответил Силаеву: «Для меня невозможно быть гостем или туристом на родной земле... Когда я вернусь на родину, то чтобы жить и умереть там...»

Тут вослед ревниво прочнулся секретариат Горбачёва. От их имени главред «Комсомолки» Фронин позвонил к нам в Вермонт. Мнение секретариата: «Важно, чтобы Президент и великий писатель сохранили добрые отношения!» И — как же их *сохранить,* если ещё никаких и не было?

Двумя днями спустя — прямой телефон от Силаева — с предложением сотрудничать. Ещё вослед — живая курьерша от него в Вермонт с брошюрою «500 дней»... (Аля тут же для проверки сотрудничества попросила о начале легализации нашего Фонда помощи в РСФСР.)

В декабре 1990 объявили мне литературную премию РСФСР за «Архипелаг». Я ответил: в нашей стране болезнь Гулага пока не преодолена — ни юридически, ни морально; «эта книга — о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почёт».

Само собой, в осенние месяцы 1990 года, в одной из последних крепостей большевицких зубров, «Военно-историческом журнале», печатались надиктованные гебистами ложные «воспоминания» обо мне бывшего власовского журналиста Л. Самутина, у которого в 1973 и был изъят «Архипелаг», — печатали, пока вдова Самутина не разоблачила фальшивку публично, потом и в суд на них подала. Тогда журнал стал вколачивать костыль всё того же заржавленного, уже 14 лет как опровергнутого «доноса». И ведь — не новая какая бумажка, ну состряпайте новую! — нет, всё та же, всё та же. До чего ж они кипят на меня! И до чего же тупы.

Короткое время — год? два? — мнилось, что общественная волна, митинговая воля людей — может направить ход событий. Но нет, пока ещё нет.

В России и прежде — а в нынешней заверти особенно — влиять на события, вести их, может только тот, в чьих руках поводья власти. И для всякого — и для меня, если б я сейчас нырнул туда мгновенно, — единственный путь повлиять — пробиваться к центру власти. Но это мне — и не по характеру, и не по желанию, и не по возрасту.

Так — я не поехал в момент наивысших политических ожиданий меня на родине. И уверен, что не ошибся тогда. Это было решение писателя, а не политика. За политической популярностью я не гнался никогда ни минуты.

Вот если бы «Обустройство» обещало переменить страну — то немедленно! для самого этого Обустройства.

Однако оно прошло непринятым, ненужным.

Чего не достиг пером, того горлом — не наверстать.

Глава 16

К ВОЗВРАТУ

Переход на 1991 в СССР шёл очень будоражно. Многохитрый Шеварднадзе (про себя уже решивший уйти на Грузию?) — после всего, что он напутал и сдал во внешней политике Союза, — в декабре внезапно (и как бы угрожающе) заявил о своей отставке и мрачно предупреждал о каких-то *тёмных силах,* которые что-то страшное готовят. Общественность сразу заволновалась, и были оглашены воззвания не допустить диктатуру. Да не Горбачёв был адресат для таких воззваний. Хотя за шесть лет успел он двусмысленными манёврами изрядно растрясти и разладить жизнь в стране — но не собрался бы духом ни на свою диктатуру, ни — противостать чьей-нибудь. В общем настроении глубокого падения очередной беспомощный шаг Горбачёва был — мартовский референдум о сохранении СССР, — нервический поиск народной поддержки.

Однако при расшатанной всей обстановке в стране — что мог весить, какую опору представить референдум? Как поверхностно провели его — так за полгода результат его и смыло.

Год за годом мне всё больше виделся в происходящем даже не повтор Февраля Семнадцатого, а некая пародия, — настолько сегодняшние вещатели мельче, безкультурней и непорядочней прежней цензовой публики. (В феврале 91-го Давид Ремник, более других американских наблюдателей проникший в суть происходящего, — напечатал в «Нью-Йорк ревью оф букс»: Когда Солженицын в «Обустройстве» написал, что Перестройка ничего не дала, — эти слова казались жестокими. А сегодня — похоже, что так.)

А тем временем сложил-таки я с себя в 1990 полувековые доспехи «Красного Колеса», кончил!!

Что дальше?

Оглянулся, приотпахнул — а неоконченной работы сколько! Своего неразобранного!

Начать — с массива тамбовских собранных материалов, и сколько ездил за ними по области, — ведь всё это я прочил для «Красного Колеса». А теперь уже видно, отрезано — не войдёт. Кузьмина Гать, несравненный крестьянский поход на Тамбов — с вилами, под колокольный звон встречных сёл! Восстание в Пахотном Углу. Повстанческий центр в Каменке — уже так тщательно подготовленный в «Октябре Шестнадцатого». Мятеж в Туголукове (его ещё с «Августа» захватил размашисто) и партизанские окопные и летучие бои. Партизанство по Сухой и Мокрой Панде и в урёмах Вороны. И сам же Тамбов уже начат в «Октябре» — отец Алоний, Зинаида — и повстанческое Каравайново. И как Арсений Благодарёв стал командиром партизанского полка. Штаб Тухачевского в Тамбове. Семьи повстанцев — в концлагеря, недоносительство на повстанцев — расстрел! И Георгий Жуков в отряде подавителей. Отца Михаила Молчанова котовцы вывели с литургии и зарубили на паперти. И весь накалённый сюжет с Эго. Да что теперь!

А разлив Освободительного Движения аж с 1901 года? Гнездование либеральных партий и группок, разлив амбиций и претензий. Нарастающий гремучий поток. Как либеральная ярость *общества* оттеснила работоспособное, скромное творческое земство. А ещё: история позднего русского либерализма туго переплетена с борьбой за еврейское равноправие в России, всё обострявшейся. И с начала же 900-х — эсеровский террор. За годы и годы — этих всех материалов взгромоздилась гора.

Сколько же накоплено — и оставлено за ободом «Красного Колеса». Отжимал, обрезал — чтобы обод держал, не распёрло. И куда это всё теперь? вовсе покинуть, выкинуть? — жаль.

Может быть, что-то, из того же Тамбова, спасу в отдельных рассказах. Давно я задумал и томлюсь по жанру рассказов *двучастных*. Этот жанр — просто сам просится в жизнь. Мне видится несколько типов или видов таких рассказов. Простейший: один и тот же персонаж, или два-три их, в обеих частях-половинках, но разделённых временем — хоть малым, хоть годами. (Да это само собой, и незадуманно, встречается во многих литературных сюжетах.) Второй тип: половинки связаны общей темой или идеей, а персонажи — совсем разные. Третий тип: связь половинок может состоять в каком-либо предмете, событии, коснувшемся обеих. Четвёртый тип: вариантный. Идёт единый рассказ до какой-то точки, оттуда раздваивается; от этого развилка могло пойти вот так (и что из этого получилось), а могло эдак (и что получилось). Правда, это уже рассказ скорее трёхчастный.

И хочется такие рассказы попробовать! Ведь никогда не живёшь без *следующей* задачи, это неизбежный закон: она поселяется в тебе даже раньше, чем закончена предыдущая. Это — и сильная помеха окончанию каждой книги, крадёт время, сбивает. Но это же обещает и негасимость движения.

В конце мая 1991 достиг нас телефонными путями из новосозданного, пока неуверенно призрачного Министерства иностранных дел РСФСР запрос: Ельцин (ещё тогда не избранный в российские президенты, но вот изберут на днях), спешащий в конце июня первым же своим визитом представиться Президенту Соединённых Штатов, хочет приехать часа на два ко мне в Вермонт. Готов ли я его принять?

Очень было неожиданно для нас. А по сжатым срокам американского пребывания Ельцина выглядело даже и авантюрно: где ж выкроить время? Из Вашингтона до ближнего к нам аэродрома — в лучшем случае два часа, да оттуда к нам — почти час. Стало быть, всего ему нужно часов семь, откуда ж он их наберёт? Но — ждут моего ответа.

С такой прямотой — физической через океан, и ответственной по посту приезжающего, — вдруг живая и требовательная рука из России протянулась ко мне в Вермонт. Из одного сердечного порыва не мог Ельцин затеять такую сложность — ясно, что из расчёта политического, и ясно какого: выставить меня своим союзником против Горбачёва.

Ещё в «Телёнке» был такой пóмельк: а вдруг зовут на встречу с вождями? Западные рецензенты объясняли эти строки мелко, как им доступно: честолюбием, мегаломанией. Ничего они не поняли: я отвергал и встречи с испанским королём, с двумя американскими президентами, — а советских вождей и вовсе ставил нижайше, какая мне честь с ними встречаться? Но если можно повлиять на оздоровительный ход в моей стране? И вот теперь — российский Президент едет ко мне сам?

Аля позвонила Козыреву в Нью-Йорк, передала согласие на намеченный день: встретим на ближнем к нам аэродроме, а потом, без большой свиты, к нам домой — и часовая беседа у нас.

Что же я скажу Ельцину наедине? Ох, много чего. Начиная с этого опрометчивого кувырка с «суверенитетом России», «днём независимости России» — *от кого* независимости? А миллионы русских в остальных республиках? их что, сбросим? — как же это у него в голове укладывается? И что это за мираж «конфедерации государств» из союзных республик? И — с в е ж и й тогда (майский) закон с бескрайними правами Госбезопасности, — что ж это делается? А ещё...? А...?

Я понимал, что у всех деятелей, всплывших на Перестройке, нет ощущения долготы исторической России, нет сознания ответственности перед протяжённостью Истории, — откуда б набраться им в их партийном прошлом? И не пополнить же в политической суматохе. Однако в разговоре наедине, может быть, можно что-то веско передать. Издали Ельцин был мне симпатичен, и я верил, что в чём-то важном сумею его подкрепить.

Нуждается, нуждается он в подъёме уровня мыслей и действий; это так видно по его промахам.

В начале июня нам подтвердили, что Ельцин — условия встречи принял и рад ей. Ожидается в Штатах к 20 июня. Сопровождать его к нам будет охрана от Госдепартамента.

Однако сам этот шквальный приезд и эта необходимость немедленных политических заявлений — для меня, многолетнего неподвиги, — был резкий, внезапный удар. Вот так сразу вдвинуться в самую гущу российской политики? Ведь — дни, и недели, и месяцы, и годы проходили у меня в равномерной работе над рукописями, над книгами, в переходе от одного письменного стола к другому, — и хотя сердце моё выколачивалось от страстного отзыва на политические события, попрашивалось к бою, — но вот когда так прямо вдвинулся в Пять Ручьёв призыв к политическому действию — я почувствовал себя не готовым, совсем не в том темпе. Да ведь только начни? После Ельцина, откройся эта дорожка, начнут приезжать и другие? И что останется от моей работы?

Но уже 15-го позвонил из Москвы благорасположенный к нам чиновник МИДа РСФСР: «Не всё можно сказать по телефону, но в Москве — некоторые колебания. Есть противодействие — и вообще поездке в Америку, и особенно визиту в Кавендиш». (Аля так и ждала: как только план Ельцина ехать ко мне выйдет из круга тесных советников — ему сразу начнут перечить и постараются не допустить поездки.)

И мы испытали облегчение.

А через несколько дней напряженье и вовсе снялось. Приехал Ельцин в Вашингтон — сутки никакого к нам звонка не было. Ближе к полночи позвонил Козырев: не приедет, не помещается в график. Аля дерзко спросила: «Что, не пустили? Было давление?» Козырев мялся: «Да, было. Но Борис Николаевич так переживал». Аля: «Передайте, пусть не переживает». И поспешила втиснуть: «Только, как бы ни давили, пусть не принимает программу „гарвардской группы" и Международного Валютного Фонда, закабалят». Тон Козырева стал заинтересованным: «А почему? Тут все очень настаивают». Аля, достаточно вооружённая, изложила ему всю вредность затеи и обречённость России на долговой капкан. Да всуе... Кто ж тогда предвидел всю трясину, *куда* этот ещё никому не известный Козырев погребёт?

Ещё сколько б там я своими советами Ельцину помог, — а вряд ли.

И я освобождённо погрузился в свою работу.

Ещё в эти как раз дни, благодарный соседнему Дартмутскому колледжу за многолетнюю его помощь во всех моих библиотечных заказах по всей Америке, принял у них почётную степень. Каждый год куда-нибудь звали за степенью — неизменно отклонял. А тут не мог, — как бы я работал все эти годы без них!

Я в те недели и сильно болел. Из-за прохода желчных камней пришлось оперироваться, был и опасный момент.

А дальше — загорелось в Москве 19 августа, и мы все, с сыновьями, загорелись от него.

Создание ГКЧП легковесными языками было названо «путчем». Название это — никак не оправдано. «Путч» — это всегда переворот: какая-то кучка свергает существующую власть и занимает её место. 19 августа 1991 уже сидящая на власти кучка попыталась укрепить своё ослабшее положение. (И даже — власть в полном своём составе, ибо лукавый сокрыв Горбачёва в Форос никого не мог обмануть: он, по своей неизбывной нерешительности, просто страховался на случай провала.) Такими рывками по закручиванию гаек была полна история СССР на всём своём протяжении, десятки были подобных актов, они никогда не встречали народного сопротивления, и никто не называл их «путчами». Вся новизна была именно в том, что проступило сильное общественное сопротивление, а Ельцин

вовремя его возглавил. А коммунистическая власть, — и в этом-то и был Знак смены эпохи, — власть потеряла ту решительность подавления, какую всегда имела, и застыла в растерянности. Общественная раскачка Гласности уже оказалась по амплитуде так велика, что собирала к Белому дому тысячи и тысячи добровольных защитников — безоружных, но одушевлённых не уступить коммунизму вновь. Туда стянулись и все возрасты до мальчишек, и пенсионерки, и студентки, агитирующие танкистов не подавлять, да и сами воины за годы Гласности стали не прежние, уже тронуло их сомнение, допустимо ли действовать против толпы. (Не стану тут писать, чего не знаю твёрдо, но как будто американцы подпитывали Ельцина в эти дни и информацией о действиях противника и какими-то мерами поддержки.) Воодушевление москвичей перед Белым домом было вполне революционное. В меньшем числе оставались и на ночь, разводя костры и тревожно вскакивая при каждом подозрительном шуме.

Когда увидели мы по телевизору, как снимают краном «бутылку» треклятого Дзержинского — как не дрогнуть сердцу зэка?! В «Архипелаге» я уже признался, как, принципиальный противник Больших Революций, я всем сердцем увлекался мятежным зэчьим порывом. Так и 21 августа — я ждал, я сердцем звал — тут же мятежного толпяного разгрома Большой Лубянки! Для этого градус — был у толпы, уже подполненной простонародьем, — и без труда бы разгромили, и с какими крупными последствиями, весь ход этой «революции» пошёл бы иначе, мог привести к быстрому очищению, — но амёбистые наши демократы отговорили толпу — и себе же на голову сохранили и старое КГБ, и КПСС, и многое из того ряда.

Утёсные события! Мне казалось (короткие сутки): такого великого дня не переживал я за всю жизнь. Наше с Алей высокое волнение уже делили и трое сыновей. (Им было от 16 до 19, они как раз были ещё с нами: Ермолай — перед отъездом на Тайвань; Степан — после школы и перед Гарвардом; Игнат — после трёх лондонских лет и перед филадельфийским Институтом Кёртиса. Они всё горячо обсуждали, Митя возбуждённо звонил из Нью-Йорка, а Ермолай-то отмлада и навсегда кипел политикой.)

Но я, из исторического опыта, хорошо знал *минутный нрав революций:* направления целых потом эпох определяются короткими часами, получасами решений и действий участвующих лиц. И я тревожно отсчитывал эти получасы и ждал определяющих деяний от победителей.

Упускались минуты, за ними — часы: отменить юридическую силу за Октябрьским переворотом 1917 — тем сразу очистить строительную площадку для обновлённой России, с правом наследовать всё лучшее из России исторической.

Нет! Оказалось, что главные действия их — мелочный захват себе престижных помещений в Кремле и на Старой площади, не забыть и автомашин власти.

Краеугранный момент! — а Ельцин не разглядел никакого дальнего исторического смысла, ни великих перспектив, которые открывал удавшийся переворот, а, кажется, единственный смысл его увидел в победе над ненавистным ему Горбачёвым. И когда вся будущность России была как воск в его руках, поддавалась творческой лепке ежечасно и ежеминутно, и можно было быстро и безо всякого сопротивления начисто оздоровить путь России, — захватывали кабинеты и имущество... Вот их уровень.

Но 48-часовой переворот не просто расплылся в словесную пену — она тут же твердела и новыми острыми рёбрами рассекала тело России. Безопасно пережив вдали московские события, убедясь в их окончательном исходе, коммунистические хозяева «союзных республик» — Кравчук, Назарбаев, Каримов и другие — в эти 48 часов обернулись в ярых местных националистов и один за другим возглашали «суверенитет и отделение» по фальшивым ленинско-сталинским границам.

Мой толчок был — немедленно опубликовать открытое короткое письмо Ельцину: не признавать административных границ между республиками за государственные! оставить право их пересмотра! И не принимать в поспешности пособия от Международного Валютного Фонда!

Аля — стеной заслонила, отговаривала меня: я этим — не помогу Ельцину, но могу вмешаться неумело, а то и бесцельно. И что громогласность советов через океан будет выглядеть бестактно. Ложный довод: помогать надо было не Ельцину, а народному сознанию — и в нужный час. Но я — уступил ей. И, упустя время, очень сожалею: я бы как раз подкрепил заявление президентского пресс-секретаря Павла Вощанова, последовавшее двумя сутками позже. Из окружения Ельцина единственный Вощанов осмелился высказать трезво, что «Россия оставляет за собой право на пересмотр границ с некоторыми из республик» (то есть — право на политическую память, переговорные напоминания, дипломатическое давление). — Боже! какой сразу поднялся гневный шум о «русском империализме» — не только в заинтересованнейших Соединённых Штатах, но ещё больше — среди московских радикал-демократов сахаровской школы (Е. Боннэр, Л. Баткин, и иже, и иже). И Ельцин сразу испугался, что он будет «империалист» и рвётся к диктатуре, — и взял назад сказанное своим помощником — и срочно послал Руцкого в Киев и в Алма-Ату немедленно капитулировать, что тот и выполнил. Слабы проявились русские нервы перед украинскими самостийщиками и азиатским настоянием. (И какой там Крым? — а ведь никогда украинским не был. Севастополь? А о Черноморском флоте и думать даже забыли.)

И вот э т а общественность в те дни действительно ждала от меня громкого заявления, да не такого — а какой-нибудь восторженной приветственной телеграммы к «победе над путчем». Да уже изумлялись, да уже гневались: как я *смел* не выразить публичного восторга? Что я год назад предложил программу «Обустройства» — шут с ней, кому она нужна, её читать долго, — а вот короткое горячее заявление — где оно??

Это точно повторяло прежнюю ситуацию — как я смел молчать о Перестройке? не восторгнуться ею?

А — не только не в моём характере отдаваться буйной радости, — момент радости я тут же перешагиваю, как уже несомненно свершившееся, и ищу глазами: а что дальше? Теперь я с тревогой отсчитывал, отсчитывал часы, упускаемые Ельциным и его ближайшими, — и душа затмевалась. (Настолько не хватало и в Америке моего восторженного заявления, что и самая дружественная ко мне «Нейшнл ревью» вдруг напечатала отрывки из «Как обустроить...», сменив, где нужно, времена глаголов — как если б я это написал не год назад, а вот сейчас, в отзыв на августовские события.)

Я не предугадывал сочинского отдыха Ельцина, что он искал только двух-трёхнедельного пьяного торжества на берегу Чёрного моря — на малом клочке оставшегося российского побережья, а всё остальное море, за выход к которому Россия вела два века подряд восемь войн, да в придачу и с Азовским, — с лёгкостью подарил Украине, вместе с полудюжиной русских областей и 11—12 миллионами русских людей.

Я же, поскольку он вот недавно собирался со мной встречаться, считал себя вправе крикнуть ему о главных опасностях момента. И написал ему тревожное, уже не «открытое» письмо. Что «есть решения, которых не исправить вослед» **[4]**.

Аля послала текст в Москву 30 августа факсом — прямо в руки Козырева. (И опять — не тот конь...)

Прошёл безотзывно почти месяц. В конце сентября от Ельцина пришло письмо в напыщенных тонах, с благодушными заверениями, что Россия — на верной дороге. (Да она-то, матушка, «вынесет всё», вынесет всё — но до каких же пор?) И — ни слова в ответ по сути моего письма **[5]**.

Из этого ответа увиделся мне совсем другой Ельцин — не тот, недавний будто бы борец за справедливость, и не тот, которого я недавно ждал в Вермонте с наивными и тщетными советами.

А ещё прежде ельцинского отклика в том сентябре случись такой шутейный довесок: празднуется 200-летие штата Вермонт, в разные дни по разным городкам. Назначен день и для нашего Кавендиша, и меня зовут присутствовать. После Англии не выезжал я никуда уже 8 лет — ни в дальнюю, вот, Корею, ни даже по Штатам, — но как не почтить наших гостеприимных соседей в их скромный праздник. Поехали с Алей, Катей и Стёпой. И очень милый был праздник, со своим разнообразным, прелестным парадом по главной улице. А на церемонию приехал вермонтский сенатор Лихи (и привёз мне личное письмо от президента Буша) — а значит, и пресса, и телевидение, NBC. А значит — нельзя не ответить и на телевизионные вопросы.

А вопросы — какой глубины! (Ну надо знать эфирно-газетные средства XX века, и особенно американские.) «Согласны ли вы на переход России к рынку?»

Боже мой! Надо было мне полвека обдумывать «Красное Колесо» и неразгибно просидеть над ним двадцать лет. Пропустить через себя весь объём российской истории и российских проблем с конца XIX века. Прочесть наших мыслителей XX века. Издать два своих тома публицистики; когда-то «Письмо вождям», одна программа; теперь «Обустройство», вторая программа. И в дальнем бессилии изводиться от смутных шараханий российской обстановки. Но — кому это нужно, интересно? Вот — знаменитая американская деловитость: согласен или не согласен на рынок?

Американцы искренно не знают, что этот чаемый *Рынок* был в России ещё до великого Октября, и был он здоровый (даже когда не на юридических бумагах, а на честном купеческом слове), и люди здоровы. Чего другого — а Рынок был. А вот какой будет *сейчас?* Чьи неопытные руки запустят этот волчок крутиться, и каким кувырком он пойдёт? И ещё малое сомнение: кроме Рынка — существует ли ещё какая-нибудь характеристика, свойство, сторона народной жизни? И вот всё это, весь этот объём и всю протяжённость — желательно покороче, лучше «да» или «нет».

Да, согласен. Но (сужу по строчкам газет, сказал): после 70 лет коммунизма и 6 лет полностью проигранной «перестройки» — предстоящая зима, с возможной нехваткой продуктов, будет проверкой нового государственного порядка.

Вот и исчерпана проблема.

А через три дня объявил в Москве новый генпрокурор — снятие с меня обвинения в измене родине: «За отсутствием состава преступления дело Солженицына аннулировано».

Вот теперь, впервые, — действительно можно возвращаться.

Так едем! — Когда? — На пустое место — не поедешь. Теперь, отведав глубокого рабочего уединения, я тем более уже не могу жить, не выживу в городской тесноте и колготе. И куда-то же — все огромные архивы за 17 зарубежных лет, библиотеку?

Значит, Аленька, ехать тебе на разведку. Но не вглубь же осени, — теперь ближайшей весной? Искать загородный участок. Покупать или строить дом. (От нашей высылки это будет уже третий кардинальный переезд. А говорят, и два переезда — пожар.)

Куда? Много манящих мест по России, которых просит душа. Всю жизнь я жил от столиц подальше. После «Ивана Денисовича» уж как зазывали в Москву — не поехал. Ну а сейчас, для конца жизни, пожалуй, можно и под Москвой. Проще будут все связи, практические дела. (Аля же — коренная и страстная москвичка, любит Москву всякую, и сегодняшнюю, со всеми новизнами.)

И возвращаться — ведь непременно весной: чтобы Сибирь и Север проехать летом. А к осени — успеть и на Северный Кавказ, в родные места. Получается, значит, — весной 93-го?

А пока — работать, как и шло. В российской круговерти и в разрыве требований — многого не допишу. (Мы и здесь, за 15 лет, так и не успели разобрать архивы, привезённые из Цюриха.)

Тут неожиданно пришло предложение — первое такое — от нового директора останкинского телевидения Егора Яковлева: дать для них, здесь в Вермонте, обширное интервью.

Обратиться — прямо, прямо к соотечественникам? Затеснятся мысли: что первое сказать, что главней всего?

А — кто это такой будет говорить? С чего вдруг его слушать? 17 лет запрета на родине — не мелочь. Целые поколения выросли, ничего меня не читавши. Всегда представлялось, что книги мои — придут раньше, наладят мне с читателями понимание. Теперь — да, уже два года меня печатают, но при нынешнем беспорядьи — книги вязнут, не продвигаются вглубь страны. Нестоличная Россия ещё мало меня прочла. Уже, вослед книгам, и публицистика моя печатается, — но и она либо опоздала к страстям, либо обгоняет понимание. И теперь — изустно излагать всё от исходного? от начала начал?

Отодвинул интервью на весну 92-го. Дать время книгам ещё.

Однако — нет, не помолчишь! В октябре 91-го вспыхнул кровоточащий, кричащий повод высказаться: назначенный на 1 декабря референдум о независимости Украины. И как же бессовестно был поставлен вопрос (впрочем, не бессовестнее горбачёвского за полгода до того): хотите ли вы Украину независимую, демократическую, преуспевающую, с обеспечением прав человека — и л и н е т? (То есть *не* благоденственную, *не* демократическую, с подавлением прав человека и т. д.) Я — не мог не вмешаться! Откол Украины, в её русской части, — историческая трагедия, и раскол моего собственного сердца! Но — как крикнуть? Через какой рупор? Напечатали моё обращение* в «Труде» — самом распространённом в народе, прочтут и донецкие шахтёры, и крымчане. (Я предлагал подсчёт результатов по областям, может, оттянется к России хоть часть русских областей?) Но нет — проголосовали за отделение.

Вот и обратился... Впустую. (Оказалось: весь месяц до референдума все украинские газеты и ТВ были закрыты для голосов о единстве с Россией. И Буш перед референдумом не постеснялся открыто вмешаться: он, видите ли, за отделение Украины.)

Одурачили наших. Так потеряли мы 12 миллионов русских и ещё 23 миллиона, признающих русский язык своим родным. Какая ужасающая, разломная трещина — и на века?.. (Месяца два спустя пришлось Але побывать в Нью-Йорке и там случайно встретиться с делегацией донецких шахтёров. «Как же вы могли так проголосовать?» — спросила она. «А потому что вы нас объедаете. Приезжают целыми автобусами за нашими продуктами. Отделимся — нам сытней будет». — «А что ваших детей лишат русского языка, насильно в украинскую школу?» — «Ну, это ещё будет ли, и когда?..»)

Сколь же многие, многие в нашей стране растеряли под коммунистами и национальный дух, и чуть не всё выше простого выживания.

А Ельцин со своим правительством — на фальшивый украинский референдум даже бровью не повели. Зазияла независимость Украины — Ельцин доверчиво держался на поводу у Кравчука, умечая свою единственную цель: сокрушить Горбачёва до конца, выдернуть из-под него трон. Так потянули они на Беловеж — и скрыли замысел от Назарбаева (боялись его вдруг неподатливости?). Тем самым Ельцин махнул рукой ещё на 6—7 миллионов русских в Казахстане, поехал на лихой беловежский ужин и подписал декларацию, не получив от Кравчука *никаких* гарантий будущего

---

* «Публицистика», т. 3, стр. 357 — 358.

реального федеративного союза с Украиной. Кравчук, победив в референдуме, попросту обманул Ельцина (как он обманывал его и во *всех* последующих встречах): Украина тотчас враждебно оттолкнётся ото всяких связей с Россией (кроме дешёвого газа).

Так за короткие месяцы, от августа до декабря, Россия всем своим неповоротливым туловом вступила в Смуту, не назовёшь иначе, — в Третью Смуту: после Первой, 1605 — 1613, и Второй, 1917 — 1922. Размеры событий проступали неохватимые.

От Беловежа заволновались вожди остальных республик, — тогда тройка славянских лидеров сляпала иллюзорное, хилое СНГ взамен разломанного Советского Союза. Для России обманка на время, ярмо, и прикрытье, что бросили без защиты 25 миллионов своих соотечественников. — Так шаг за шагом наобум и с горячностью ступал Ельцин, — и каждый раз нельзя было ступить и поступить хуже для России.

Между тем у Ельцина не было мужества признать неотклонимые последствия Беловежа: что никакого «СНГ» не склеить вместо СССР — ведь бывшие партийные республиканские управляющие уже обратились в национальных властителей, со всеми тамошними складами оружия, аэродромами, базами, да даже и воинскими частями. — Потом (28 февраля 1993) претенциозное заявление: «Россия должна быть гарантом безопасности в пределах СНГ» — зачем? что за почесотка державная? Тотчас Шеварднадзе вскричал, что мы хотим уничтожить Грузию; с Украины голоса: «Не надо нам старшего и никакого брата!» (нельзя было напугать их медведистей), и правительство Украины тут же пожаловалось в ООН на державные притязания России. — А потому что (глубокомысленное новогоднее заявление Ельцина к 1994): «жить нам [СНГ] отдельно просто не дано, *наши народы этого не простят*». Если «народы не простят» — то думали бы прежде, в Беловеже. (Позже Ельцин как-то похвастал «эффективной защитой русского населения в ближнем Зарубежьи», — только и пальцем к тому не пошевелили.)

А — внутри России? Избранный Президентом в июне 1991, Ельцин издал первый же свой указ — «Об образовании», какое благородное начало! — только ни одной строки его в последующие три года не было выполнено. — Вослед своему сопернику Горбачёву Ельцин так же дал вскружить себе голову похвалами, что он — демократ, «предан общечеловеческим ценностям», — и, единственный изо всех вождей «союзных республик», предпочёл не национальные интересы своего народа, а расплывчатый «общий демократизм».

И вот теперь, когда отвалилось 14 республик, — сохранял ли он чувство ответственности за цельность оставшейся России? Нет! «Берите суверенитета, сколько проглотите!» Извращённо понимая так, что надо бросать экономические подачки каждой автономной республике, которая угрожает отделиться от России, — дал им распустить аппетиты до права не платить никаких налогов Центру — пусть всю Россию содержат только чисто русские области. Дальше Ельцин принялся заключать особые договоры с областями. (Целого с частью! — в каком государстве это возможно??) А ещё больней пронзали уколы сибирского сепаратизма: того и гляди, отвалится вся махина (ведь были такие попытки и в 1917)? Американская радиостанция «Свобода» из передачи в передачу злорадно, гнусно подстрекала сибиряков: отделяйтесь! отделяйтесь!

А едва отпраздновав беловежский разлом, Ельцин слепо, безумно погнал больную Россию в ещё новый п р ы ж о к — ещё усугубляя Смуту оголтелым разорением, окрестивши это миллионное разорение долгожданными экономическими «реформами», притом отдав Россию в руки случайных и происковых молодых людей.

Вот когда привалила Главная Беда! А я-то, из отдаления, в «Обустройстве» с последним отчаяньем описал степень обрушенья, уже тогда проис-

шедшего. То было, значит, только предчувствие моё — чему ещё быть, наступить. Тогда-то, до Смуты, ещё можно было жить. Оказалось: всё, что до сих пор, в горбачёвское время, в России происходило, — это был только канун главной беды: авантюрной, жестокой гайдаровской «реформы» — и от неё обвала народной нищеты.

С готовой кабинетной схемой в голове, но без знания сути дела — пустились отчаянно резать и сечь скальпелем по беззащитному телу России. («Отпустить цены» при монопольности производителей! — можно ли урядить беспутнее? И с какой проницательной силой предвидения Гайдар предсказывал падение цен «через 2—3 месяца»?)

Мне, прожившему 55 лет жизни на советские копейки, этот необузданный гигантский рост цен пришёлся невместим — а уж куда невместимее он был моим соотечественникам, падающим в бездну. (Привезли мне новый советский металлический «рубль» — монетку 1992 года, размером с прежние 2 копейки — а копеек и вовсе теперь не стало! — я чуть не прослезился: в этой жалкой безвесной монетке от прежнего тяжёлого николаевского серебряного рубля — вся глубина нашего падения... Да не вся, не вся: падение ещё и теперь только начиналось, нисколько не беспокоя вершины власти...)

С 1992 года разворачивалась гигантская историческая Катастрофа России: расползались неудержимо народная жизнь, нравственность, сознание, в культуре и науке останавливалась разумная деятельность, в уничтожительное расстройство впадало школьное образование, детское воспитание. Ходом пошедший развал России я воспринял как катастрофу моей собственной жизни: я отдал её на преоборение большевизма, и вот свалили его — а стало что?? Я и опасался же, я и «Обустройство» тем начинал: «Как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами».

Предвидел ли я всё это? Именно *эту* форму разрухи — нет. Но что дело может свихнуться в новый Февраль — более всего и боялся давно. Об этом — и всё «Красное Колесо», не успевшее в Россию. Да, Горбачёв развязал именно новый Февраль. А Ельцин покатил — крушительно и стремительно.

Что же за человек Ельцин? Во мне всё ещё гнездилась изначальная симпатия к нему. (От надежды — что нагонит упущенное Горбачёвым?) В его облике, в речах и поступках я теперь видел много неуклюжего, медвежьего, замедленного — но не чувствовал в нём личной корысти, лишь долю довольно примитивного честолюбия да наивность, а ни коварства, ни двоедушия. И за эту его предполагаемую честность я был, по сути, его сторонник, несмотря на растущий список его чудовищных промахов, губительных ошибок, непоследовательностей, за которые за все расплачивался — кто же? никак не он — а Россия, своей территорией, своими жителями, своими богатствами и своим нравственным состоянием. Ущерб от этих потерь был почти неописуемый, неохватный — но никакой ущерб не был, я надеялся, причинён по злому умыслу Ельцина, а только по недомыслию? Хотелось верить, что не было тут расчётливого бесстыдства. (На упречно возмущённые частные письма о Ельцине я отвечал: что поделать? Вот это и есть наш русский характер: размахнись рука! а — лень мысли, нераскачка на дело, царь-чурбан. Какие мы есть — то и расхлёбываем.)

Из-за того что Россия — так неожиданно?? — и с такой быстротой стала падать в разбой и нищету — пережил я с 1992 года такую ломку мироощущения, какую нелегко выстоять, когда ты старше 70 лет. А придётся сильно отклониться ото всей прежней жизни, от той эпохи, в которой я до сих пор жил, от всех моих потраченных — как будто впустую? — усилий, и суметь войти в новую жизнь страны. (Да и — после восемнадцати неподвижных, погружённых лет разве сменишься так быстро на искромётное движение? Из лесного логова — и сразу в толкучку? Как-то должен повернуться во мне и мир внутренний.)

А — где же были в России русские патриоты? О, горе: нынешнее патриотическое движение безнадёжно переплелось с коммунизмом, и, видимо, им не расплестись. «Фронт Национального Спасения» возгласил в октябре 1992 — «историческое примирение белых и красных», «подведём черту под Гражданской войной». За кого мирились? и где средь них были *белые?* А «черту подвела» ЧК уже к 1921 году.

Целебный, спасительный, умеренный патриотизм придётся — если придётся... — строить совсем на чистом месте и на новых основаниях. А как? Ещё сам не понимаю, но ясно, что: 1) из провинции; 2) исходя как из неизбежной данности, что наш народный характер расплывчат, ненастойчив, плохо сознаёт ответственность и плохо поддаётся самоорганизации.

Весной 1991 миновало два года, как я поручил Диме Борисову свои литературные права. А каждую весну должна была Аля посылать в Швейцарию годовой отчёт Фонда: сколько во всём мире заработано «Архипелагом» и сколько из того — и как — потрачено Фондом. В 90-м «Архипелаг» уже издавали в СССР, да не одно издательство, и цифры эти должны были войти в мировой отчёт, — тормошила Аля Диму ещё с осени. Однако и до сих пор Дима не прислал ни единой копии: ни договоров ни на какую из книг, ни справок о заработанном, ни о потраченном, — только перечни текущих журнальных публикаций и готовящихся книжных изданий. (Тут ещё начал разгораться скандал вокруг подписного «новомирского» 7-томника, включавшего всеми жданный «Архипелаг»; Дима поручил его какому-то коммерческому ИНКОМу-НВ, а результат — взрыв негодующих писем: качество издания непотребное, а цена с доставкой в 3 раза выше обещанной!) Аля настаивала срочно прислать договоры и справки на издания «Архипелага», да теперь уж и на все издания вообще. Дима и прежде всякий конкретный от нас вопрос принимал с обидой. Теперь мы писали ему: Димочка! наше полное доверие к Вам не может автоматически распространяться на Ваших соиздателей и партнёров, особенно по нынешним временам. — Дима тянул, откладывал, но всё же тут, в апреле 1991, начала проясняться картина.

С долгим опозданием узналось, что уже в марте-мае 90-го Дима подписал без моего ведома два десятка договоров со своим «Центром», отдав ему на 3 года *исключительные* права на мои книги (а «Центр» тогда же — заключил договора с партнёрами, ибо сам издавать не имел сил), — но лишь в июне предложил мне *рассмотреть* такую схему действий *как проект.* И когда я сразу же её отверг решительно — Дима не признался, что она уже действует, и о тех договорах не вымолвил ни слова, ни ещё целый год потом. (А он и сам входил в тройку возглавителей «Центра».) И в августе 90-го, уже имея мой твёрдый отказ, Дима по той же схеме подписал договор с этим ИНКОМом, теперь, к его же отчаянию, надувающим подписчиков. (И по всем этим договорам «Центр» вёл двойную бухгалтерию: с бумажниками, печатниками, торговцами — по коммерческим ценам, и лишь с автором — по старым государственным.) Так что и «Архипелагу» (Фонду) даже от 3-миллионного тиража ИНКОМа причиталась бы смехотворная сумма. Под ливнем отчаянных просьб и нужд бывших зэков — принять эту резкую несправедливость невозможно. И вовсе немыслимо представить такой отчёт швейцарскому аудитору, — плутовство налицо. Аля начала изнурительные распутывания и передоговоры в пользу Фонда, в ходе которых обнажилось и всё остальное. (И всё равно обманули, не получил Фонд от миллионных изданий «Архипелага» на родине практически ничего.)

Дальше — горше. Случайно, из писем читателей, всплывала то одна, то другая моя книга, изданная под маркой «Центра» то в Петропавловске-

Камчатском, то в Херсоне, — а ни следа тех книг не было ни в прежних Диминых перечнях, ни нынче в той папке, которую наконец прислал он с уверением, что теперь уж тут договоры — все. (И ни в одном из этих договоров не поставил «Центр» ни единого пункта о защите качества издания и защите автора от произвола, но в каждом — непременный пункт о материальной ответственности автора перед издательством. Ну точно, как в своё время у Карлайл...) Да что! — тем летом, во время отлучки Димы за границу, обнаружились в редакции сразу 10 договоров на мои книги, о которых он нам не упоминал. (И так никогда, ни при встрече с Алей, не мог Дима этого объяснить.)

Непостижимо. Изводились душой от невозможности оторвать Диму от хватки деятельных коллег. Настроение в нашем доме было — как семейное горе. Ошибку — можно простить и миллионную. Обмана — нельзя перенести и копеечного.

Добило нас письмо из Новосибирска. Молодое издательство «Гермес» в ноябре 1990 обратилось в Димин «Центр» с предложением издать «Архипелаг» для Сибири. Они «связались лично с В[адимом] М[ихайловичем] Борисовым», сообщили, что имеют запасы бумаги на тираж в 300 тысяч в твёрдом переплёте, и «провели с ним серию телефонных консультаций, в которых, как считали, было достигнуто соглашение» об издании, сроках и проценте «Центру» за предоставление прав. Затем «В. М. Борисов направил к коммерческому директору» своего Центра, а тот «сообщил, что издавать „Архипелаг" нет необходимости, т. к. „Новый мир" выпускает его трёхмиллионным тиражом». Но добавил, что издание возможно при отчислении «Центру» процента в 3 раза большего. — «Здесь уже оказались в замешательстве» сибиряки.

Да как это вывернулось? Да разве не умолял я разрешать «Архипелаг» немедленно — каждому, всем, особенно в провинции? *Мой представитель* с компаньонами — пресекают «Архипелаг»? оттого что недоплатили их самозваному «Центру»??

...А то столичное издание, из-за которого отвергали провинциальные, вызвало у подписчиков «Нового мира» гневное возмущение — нечитаемым тесным шрифтом, на отвратительной серой бумаге, в тетрадной обложке. При первой же партии тиража — 10 тысяч читателей отказались выкупить гадко изданный том. Писали, да со множественными подписями, куда же? — в ИНКОМ да в безвинную редакцию журнала, чью марку взял «Центр», и ошеломлённому Залыгину, и прямо ко мне в Вермонт.

«Получили первую книгу „Архипелаг ГУЛаг" и просто возмущены, складывается впечатление, что эта подписка устроена ради чьей-то наживы» (18 подписей). — «Разве знали подписчики на А. Солженицына, что... на такой книге, на таком авторе вы решили нажиться... Ваша коммерция не знает границ совести» (Смоленск). — «Являясь постоянными подписчиками вашего журнала, всецело вам доверяя, мы с радостью подписались на собрание сочинений А. И. Солженицына. Наша радость была преждевременна. Мы столкнулись с фактом чистого надувательства» (9 подписей, Пермь). — «Нас обманули; бумага плохая, переплёт мягкий, заранее не поставили в известность об увеличении цены в 2 раза, да столько же за доставку. Вот и живи не по лжи». — «Подписчики „Нового мира" попались на коммерческую удочку. Ваша организация, как лабазник, сбыла с рук дрянцо по завышенной цене» (Студент). — «Сколько было радостных ожиданий при объявлении подписки... Прекрасно помню те времена, когда поливали грязью Солженицына на всех углах и во всех изданиях. А теперь решили крупно заработать на его имени» (Ленинград). — «Обман и предательство... За это жалкое издание платить из пенсии обидно и больно» (Орёл). — «Такого „надувательства" от такого солидного журнала я не ожидала. Прошу сообщить адрес Солженицына, чтобы мы могли известить его, как, используя его имя и популярность, обманывают людей» (Яро-

славль). — [Солженицыну и Залыгину:] «Неужели не ведаете, что творите? — Вы, страстно желающие и советующие, как нам обустроить Россию?» (Рязань).

Стыд и боль какая: *во что* превратился возврат моих книг на родину?..

Щемит. Писал я свои книги — слишком рано. А придут они к читателю — слишком поздно. И — ничего не могу поделать.

И какая неожиданная симметрия Запада и Востока. Как прежде из Советского Союза, через Железный Занавес, я не имел сил управить движением моих книг на Западе, — так теперь, перед возвратом, через разрисованное колыханье, не мог управить движеньем моих книг в России.

Конечно, когда я передавал полномочия Диме — никто ещё не представлял, какая жестокая, беспощадная полоса — вот налегает на Россию. И сколькие, сколькие собьются с толку, потеряют себя в разыгравшихся соблазнах «Рынка».

В эту струю — изневольно? беспомощно? — угодил и наш давний друг. Перестали совпадать наши сердечные биения.

Боль — и за него, и за всё — за всё, что стало твориться на родине.

В начале 1992 приезжал в Штаты, в один из университетов, Залыгин. Мы пригласили его к нам в Вермонт и радушно приняли, он провёл у нас дни как раз в начале масленицы.

Прорыв его с «Архипелагом», хоть и в ослабленной форме, но повторял прорыв Твардовского с «Денисовичем».

Сергей Павлович как-то мало изменился от прежнего простодушия, тепло мы с ним поговорили, рассказывал он о своей экологической борьбе, немало на неё положил, и с риском. Сочно рассказывал обо всей нынешней российской жизни. Обсуждали и издательские дела. Залыгин многого и не подозревал о делах «Центра», носившего новомирское имя.

А приезд его ко мне использовал и горбачёвский штаб. Ещё раньше к нам из Москвы донеслось, что «найдены военные дневники писателя и будут ему возвращены», шум по прессе. Я бы дико обрадовался, если б мог поверить, если б думал, что не сожжены? (Да на минуту и вознадеялся.) И вот, «по поручению Горбачёва», Залыгин вручил мне изъятия из моего лубянского дела. И что ж? Оказалась, конечно, липа: один блокнот моих политических записей на фронте, несколько писем и фотографий из фронтовой переписки. Одна только дорогая находка: среди записей — подлинник той самой «Резолюции № 1», которую мы с Николаем Виткевичем в январе 1944 сдуру сочинили и вывели своею рукой, каждый — по экземпляру для себя, и которая, вдовес к нашей переписке, определила нам тюремную судьбу.

В конце апреля от «Останкина» приезжала к нам телесъёмочная группа во главе со Станиславом Говорухиным, снимали фильм-интервью. Что-то мне удалось там сказать, а что-то важное потом урезалось — объёма ради. Более всего отрезвительно возразил мне Говорухин, когда я понёс бредовую мечту, что *кто-то, кто-нибудь* из палачей, насильников, номенклатурщиков — хоть *в чём-то* раскается. И — прав он был, конечно. А значит — нечистый, неискупленный, ползуче извилистый предстоит России путь. (А фильм показали в России — ещё четырьмя месяцами спустя.)

В приехавшей телегруппе меня с первого взгляда поразил — быстрым смыслом, юмором и тёплой доброжелательностью — кинооператор Юрий Прокофьев. Три дня они у нас работали, и на последнем застольи на его предложение «в чём угодно помочь» я ему ответил: «А — понадобится». (Сверкнула мысль — привлечь его к сибирскому путешествию.) Никак более не объясняясь — крепко ударили по рукам.

А в мае приезжал к нам в Вермонт мой давний друг писатель Боря

Можаев (Ермолай примчал его из Нью-Йорка, где отбился Боря от своей делегации). Это была — радостная дружеская встреча. Сроднились мы с ним не просто через Рязань, но особенно через совместные поездки в его родные места на Рязанщине, а потом — в Тамбовскую область, где сильно помог он мне собирать материалы о крестьянском восстании 1920—21. Прямодушие, открытость, готовность к доброму движению — всегда светом излучались от него. Не виделись мы с ним 18 лет — от их с Ю. П. Любимовым посещения меня в переделкинской осаде перед высылкой. Восемнадцать лет — а как один день, всё как прежде, и будто мы не изменились.

Теперь с ним первым обсудил я и план моего возврата через Дальний Восток — как я думал, весной 93-го, — чтобы помог он мне во Владивостоке, Хабаровске, хорошо ему известных, служил там флотским инженером. Проведав о существовании во Владивостоке Океанологического института — особо просил сговорить мне с ними встречу, очень уж своеобычное заведение.

А Боря между делом сказал мне: «Тебе бы в России газету выпускать!» Я как-то и ухом не повёл, скорее удивился. — А через месяц вступило мне в голову — как своё и как наитие: а отчего бы, правда, не газету? И эта мысль — сразу додала мне сил, рисовала динамичным возврат в Россию. (Пригодится и мой большой опыт чтения русской дореволюционной, ещё не разнузданной, печати.) Замелькали мысли. Хотелось бы — направить её как «народную газету», «газету русской глубинки» — именно *для неё* газета, и *её* чаяния выражать. Небольшая, четырёхстраничная, но плотная по содержанию, два раза в неделю. Без рекламы. А — на чьи же деньги? Какие деньги огромные нужны, ещё и для рассылки по разбитой стране, — где найти таких жертвователей? и такие кадры? — Нет, непосильно и затевать.

В том же июне 1992 пишет мне российский посол Владимир Петрович Лукин (уже лично знакомый, побывал у нас в доме, очень светлоумый деятель и теплосердечный человек), что в Штаты опять едет накоротко Ельцин; хотел бы меня посетить, но опять не будет времени. Не приеду ли я в Вашингтон к вечеру 15 июня? если нет — то поговорить по телефону.

И в голову бы не пришло мне ехать на знакомство, да ещё потерять три рабочих дня. А по телефону — не избежать, хотя за минувший год я в Ельцине сильно уже разочаровался: по общему ходу допускаемой им разрухи. Той весной Ельцин обещал ошарашенному народу: «Если к сентябрю не будет лучше — лягу на рельсы» (это запомнил ему народ навсегда). Надо думать — и сам верил? Что ж вся гайдаровская команда предвидела?

Наш телефонный разговор был сорокаминутный. Ельцин занимал время хлебосольным, разливистым приглашением в Москву. Мне — в динамике хотелось бы ему многое внушить, но разве это возможно? (Разговор у нас и походил на разговор напорного Воротынцева с медлительным генералом Самсоновым в Остроленке.)

О гибельном пути гайдаровской реформы. (Но ведь Ельцину через несколько часов — беседы на верхах Америки, что ж ему подбивать коленки?) Сказал я: Гайдар оторван от жизни, делает — не то. Ельцин: «Он сейчас растёт; зато смелый». — О границах с Украиной и Казахстаном — ещё раз. (Бесполезно: Ельцин тут выразил настроение *дружить* с Кравчуком. И додружился...) — Как защититься от террора кавказцев на юге, Чечню — не удерживать, а, напротив, отгородив границы, изолировать от России. И хотят от нас уходить — пусть уходят, только без казачьих терских земель. — И как избежать воровской приватизации, не дать расхватывать лакомые кусочки! (Ещё и тут не представлял я масштабов Разграба!) И как нужна крепкая власть, и — жестоко наказывать тех, кто расторговывает богатства России. — А меня Ельцин спросил: можно ли отдать те Курильские четыре острова (тогда шла острая дискуссия), и очень был удивлён, что я не выдвинул возражений. (Если *можно* отдать десяток дей-

ствительно русских областей Украине и Казахстану, то держаться ли так страстно за маленькие — и правда не наши — острова с ничтожно малым населением? локальный вопрос, а Япония многим отблагодарит.

Не убедил я его ни в чём. Без прямой встречи — действительно, друг друга не понять. А если бы и прямая — надолго ли закрепятся в нём мои слова? или только до следующего собеседника?

В начале июля в Москве он добросердечно принимал Алю, я через неё послал ему недавно опубликованные материалы: как можно бы защитить Россию от бесконтрольного экспорта-импорта, утечки русских капиталов за границу, — он обещал непременно прочесть — да, конечно, всё впустую. Коменданту Кремля дал распоряжение помочь найти мне для покупки дачу под Москвой — непросто пошло и это. Аля уже месяц колесила в Подмосковьи с нашим другом Валерием Курдюмовым, где только не искали; теперь появилась надежда, — но так и вернулась домой, с участком обещанным, но не утверждённым и не оформленным. А на том участке — ещё дом построить? с кем? как? Казалось — невподым. (И уж никак — к следующей весне.)

И ещё была в Москве наиважная у Али забота: довести до ума начатую ещё при Силаеве в 1990 легализацию нашего Фонда в России. В эту поездку 1992 — много ходила по учреждениям, продвигала, чиновникам такое дело было внове, — но с переходом на 1993 Фонд уже легально действовал в России.

Все эти годы, от роспуска Горбачёвым политического Гулага, — искала Аля новые формы работы нашего Фонда. Теперь появилась возможность помогать и прежним, сталинским зэкам, с «моего» Архипелага, а к Фонду потянулись и бывшие раскулаченные, и дети репрессированных, и даже трудармейцы, — ведь наши беды неисчерпаемы. Оказий для пересылки лекарств уже не хватало, обычная же почта не обеспечивала сохранности, а то и самой доставки посылок. Помогла опять Люся Торн: сначала нашла путь защищённых отправок через Минздрав США, потом отыскала и надёжного получателя — Социально-правовую коллегию РСФСР, они получали наши коробки и передавали в Фонд. И весь 91-й и 92-й год Аля слала многочисленные посылки старым зэкам, доживающим в нищете, — лекарства, витамины, кубики супов, чай. Давала адреса и для американских благотворительных фирм, желающих слать помощь в Россию. Купила Соловецкому монастырю моторный катерок, у них не было своей связи с побережьем. — А в 93-м весь наш приход, отца Андрея Трегубова, включился в сбор тёплой одежды, обуви; Фонд закупал консервы, растительное масло, сухофрукты, бельё, прихожане во главе с матушкой Галиной всё это паковали, — и теперь уже мы посылали из Америки целые контейнеры с сотнями тяжёлых коробок — в Москву, Томск, Владимир.

Летом 1992 Аля с Ермолаем и Степаном прожили в России несколько недель (сыновья ездили и на Юг, в мои родные места, на тёплые встречи). Аля же за эти шесть недель много видалась в Москве и со старыми друзьями, и с новыми знакомыми. Повидалась и с Юрием Прокофьевым и открыла ему суть нашего с ним условного сговора: мой возврат через Сибирь и просьбу участвовать в нём. Он горячо взялся, не ошиблись мы в этом человеке.

Аля вернулась — уже вся в России, здесь смотрела на всё глазами невидящими.

Да в России — и я всеми мыслями, я из неё ни одного дня и не отсутствовал. А последние два года такая болезненно острая заинтересованность в ходе русских событий, что порой от них сжимает грудь стенокардия.

А приходило ко мне из России немало и прямых писем (ещё больше пропадало в пути), — и в них неизвестные мне люди обсуждали мой возврат-невозврат. Сильно перевешивали отговоры: «Надеемся, вы не будете торопиться в Россию»; «не спешите с переездом!»; «Россия сейчас — стра-

на пороков всех времён и народов; молодое поколение вас не знает»; «вы больше полезного сделаете *там,* чем если вернётесь»; «по-прежнему ощущаем тиски старой власти, повремените с возвращением!». А один бывший зэк-уголовник, дружески: «Как бы тебе тут башку-голову не свернули бы твои доброхоты».

А другие напротив: «Приезжайте, не упустите время!»; «все, кто стремится к лучшей будущности России, должен жить здесь»; «кто-то должен сплотить безгласные миллионы, из русских людей сформировать силы спасения»; «Родине, и мы это ощущаем, необходимо ваше личное присутствие, ваш живой голос, который бы звучал; приезжайте!».

О, конечно же! — вот *этим* людям я нужен! Да, могут быть и фанатики с ножами, с пистолетами — однако и Господь же есть, вот и вся моя охрана. Именно — вернуться, пока ещё есть силы поездить по областям, есть силы отдать в русскую жизнь всё накопленное. Ах, если б стал возврат каким-то рычагом к подъёму нашенских дел. (Заодно — и жизненный урок: и сыновьям моим; и многим-многим в России, кто ещё не сбежал на Запад или обречён оставаться.)

Ещё с 1987 третьеэмигрантские публицисты предупреждали с тревогой, что я «уже собираю чемоданы», «тайно готовлюсь к прыжку в СССР». Теперь их братки из метрополии сменили дудку: почему сидит в Вермонте? почему не едет? да уже и опоздал, всё пропустил? да и не нужен он тут никому, «в нафталин его!».

Откуда у образованщины такое исключительное многолетнее раздражение ко мне? Не оттого ли, что моё поведение перед советским режимом было им практическим упрёком: что можно было и не гнуться, что я смел действовать, когда они в затаённости не смели. Ну и, конечно, за национальное направление: «быть русским», «русскость» — это полагается в себе скрывать, стирать как постыдное, и уж во всяком случае не проявлять русских чувств полновесно.

Освобождённая и оттого бесстрашная российская пресса после недавнего потока похвал кинулась меня обгаживать — мало меня покусала советская неосвобождённая. Так — и всегда по закону психологии. Замелькали газетные заголовки понасмешливей («Солженицын? который?», «три бороды в одном тазу», и ещё в этом духе). Смеяться-то смейтесь, а между тем за эти годы Гласности пришлось образованщине постепенно и незаметно признать: государственное величие Столыпина и мразь Февраля, — в главном они мне уступили.

А ещё ж и фанатики коммунизма хрипели от ненависти ко мне. На лекциях о моих книгах всегда кто-нибудь выкрикивал угрозы. А русские националисты не простили, что я не выражал твёрдости отстаивать «Великую Россию» в её имперской ипостаси. (Впрочем, ненависть ко мне одновременно с *разных* сторон — довольно веский признак, что линия моя верная.)

А в массе — людям хочется и необходимо верить — во что-то, в кого-то. От наступивших перемен — как было стране не ждать непременно и сразу — чуда? Таким возможным чудом мнилось и моё вмешательство. Вот, может, этот приедет — и сдвинет, и всё изменится?

Но чем заняты сегодня российские деятельные мозги? Экономикой, экономикой, «реформой», «ваучерами», коммерческими банками, — во всём этом я менее всего понимаю. (Только то и понимаю, простым глазом, что народ — бесстыдно и ловко грабят.) И нельзя представить, как я сейчас, по приезде, — сумел бы усовестить новых воров и новых чиновников: не грабить народ.

Окликала меня Россия и иначе: во многих десятках, если не сотнях просьб. Чаще всего: помочь семье выехать в Америку. Ещё немало писем: выехать больному и сопровождающему на лечение в Европу или в Америку, тоже понятия не имели, сколько это стоит, в десятках, если не сотнях тысяч долларов, и сколько ж надо хлопотать — а кому? разве у меня есть

для этого штат? — И из уже отколовшихся республик: «Умоляю, помогите семье переехать в Россию!..» Иные пронзающе: «Христом Богом заклинаю, помогите!» — но неохватно мне помочь. Больно было пропускать это всё через сердце. — Потом многие просьбы: напечатать на Западе рукопись, издать книгу, — это при полной немощи русских издательств здесь, и тоже ведь не понимали. — И просто рукописи, сборники стихов навалом, чтобы читал, отзывался, — да разве все их прочесть?.. Не ошибусь, сказав: из каждых десяти писем с родины девять содержали только просьбы, лишь в одном — существенные мысли о России, о сегодняшних бедах её.

Почта писателя... (А что в России будет? Стократно всё это же.)

Слегка стал я касаться и самоновейшей литературы — третьеэмигрантской и выплывающей на Запад из советского подполья. Да, видно произошёл надрыв русской литературы, пролёг резкий рубеж: до дикости чуждые приёмы и мерки. И читать — совсем неинтересно, даже отвратно. Необратимая смена эпох? Или просто *Порченая литература?* — так я назвал её для себя.

Между тем политическая свалка в новой России всё накалялась — и на самом же бесплодном направлении. В полном небрежении оставались 25 миллионов русских в бывших советских республиках (никто и не пошевельнулся забирать их, хотя бы из пылающего Таджикистана или из Чечни, где русских безнаказанно теснили, грабили, убивали). И в какую пропасть летит страна с провальными гайдаровскими реформами — не забота. А весь накал, как у двух козлов, столкнувшихся на мостике, пошёл на борьбу между группой Ельцина и группой Хасбулатова. Как годом раньше Ельцин видел только одного врага — Горбачёва, а раскромсанье России казалось ему второстепенным, так сейчас важно было раздавить Хасбулатова и изменника Руцкого. Ото всего этого к концу 1992 года развилось напряжение, грозившее полным хаосом в стране.

(А парадокс, усмешка истории, которую не замечали участники той борьбы, состояла в том, что «демократы» — ради поддержки своей надёжи Ельцина — защищали план конституции авторитарной России. А Верховный Совет, большей частью коммунисты, всей душой преданные тоталитарности, — эти, чтобы только подорвать Ельцина, вынуждены были ратовать за демократию. То есть обе стороны действовали не по принципу, а по политической тактике.)

Выступать перед народом систематически и *объяснять* свои действия и планы, как это делал Рейган и другие западные лидеры, — Ельцин не имел ни личной способности, ни охоты (да недоступно было и советникам сочинять: что́ ему говорить при таких провалах, при таком кричащем несоответствии слов и дел?). Однако перед московской интеллигенцией, как, очевидно, внушили ему, иногда надо было изъясняться. И он собирал избранных, обычно в парадной кремлёвской обстановке. И в ноябре 1992, через два месяца после того, как не «лёг на рельсы», высказывал на «конгрессе интеллигенции», по чьей-то шпаргалке, премудро: «Мы недооценили инерцию прежней системы. И результаты реформы оказались в зависимости в меньшей степени от радикальных действий правительства, а в гораздо большей — от ритма жизни, от стереотипа поведения людей». (Постыдники! Если вы и *инерции* не предусмотрели — о чём же вы вообще думали, заваривая кашу? — И опять у вас этот неисправимый народ виноват, не ценит благодеяний?) — Двумя месяцами спустя ещё одно объяснение на Совмине: Ельцин «не согласен, что 1992 потерян для России. Была бы катастрофа, если бы не начали реформы. Они пошли по единственно [уже!] возможному варианту. Был огромный дефицит мужественных людей, готовых взять на себя всю тяжесть ответственности. В тех условиях неуместны были дискуссии [даже дискуссии?] о том, какую модель реформ проводить, не было возможности выбора команды... [И нашли Гайдара-Чубайса...] Не было опыта решения таких проблем...». — Посмели и без

опыта. Только для того, чтобы показать кукиш робкому Горбачёву? И для сего — требовал Ельцин, и вырвал от Верховного Совета, «чрезвычайные полномочия» на полтора года.

Но не найдя никаких шагов реальной политики, разумного изменения правительственного курса, — Ельцин поддался истерическому проекту победить своих врагов путём суматошного всеобщего референдума (апрель 1993) — «политический рычаг для реформы». Сколько воззваний, пропаганды, какая трата душевных сил народа и финансовых сил государства, и, конечно же, откровенная покупка голосов (через утроение денежной эмиссии мнимо повысили зарплаты и пенсии, а цены на энергию обманно не повышали до референдума, после него сразу же повысили). Задабривая противников, Ельцин давал уже интервью «Правде» (2 марта 1993): «к коммунистам надо относиться с уважением, как и ко всякой партии, кроме фашиствующих». Все «лучшие силы демократии» бросились поддерживать Ельцина. Тут — и манифест Е. Боннэр: все силы на поддержку Ельцина! «каждый солдат знает свой манёвр».

Среди вопросов референдума был один, дающий возможность прямо *осудить* гайдар-чубайские реформы. (В невероятном ответе ограбленного народа, что он *одобряет* их, — виделось свидетельство подделки голосования.) Но о поддержке твёрдой президентской власти? — не видел и я другого выбора.

Тут — обменялись мы с послом В. П. Лукиным открытыми письмами. Нужно было искать мирное соглашение при каком-то балансе между спорящими сторонами. Я писал: «За четырнадцать месяцев народ и вовсе повергнут в нищету и в отчаяние»; «идёт массовый, невиданного размаха разграб и дешёвая распродажа российского добра, страну в хаосе растаскивают невозвратимо»; «Президент с министрами не должны, не могут пренебрегать уже годичным стоном народа, что реформа ведётся н е т а к». Однако сама президентская власть, глядя далеко в русское будущее, нуждалась в поддержке сейчас этого опрометчивого Ельцина, наделавшего уже столько грубейших ошибок*.

Увы, именно с момента, когда власть отдалась Ельцину в руки, — руководство Россией всё явней становилось ему не по плечу. Он думал укрепиться охватностью и действенностью государственного аппарата, — и в короткое время непомерно тяжеловесный советский госаппарат под Ельциным *утроился* (!) и стал ещё более тяжеловесным и бессмысленным. Попытки обозреть его приводят ко впечатлению то ли чудовищному, то ли анекдотичному. Администрация Президента (огромного объёма). Управление делами. Президентский Совет. Совет Безопасности. Совет по кадровой политике (из трёх комиссий: по судебным кадрам, зарубежным и военным). Аналитическая служба. Экспертный совет. Центр специальных президентских программ. Аппарат советников — ближайших и не столь близких. Ещё отдельный аппарат по взаимодействию Президента и парламента. Формальное правительство (из министров либо безразличных, либо бессильных, либо корыстных) с переменным числом вице-премьеров: то их пять, чуть не до семи, то только два, — а через несколько дней снова увеличивается. А ещё же — тёмный кружок наиболее приближенных советников — начальник охраны, главный тренер по теннису, — да хуже распутинщины!

До Ельцина доносилось, что напложенные в тысячах демократические чиновники стали почему-то брать лихие взятки и распродавать народное добро? — в апреле 1992 он издал грозный Указ: «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» — и никогда не была исполнена ни одна строчка в нём и не подвергнут проверке ни единый пункт — и никогда

---

* «Публицистика», т. 3, стр. 390 — 392.

не был проведён ни единый публичный процесс над крупным хищником. Да ведь как-то и проговорился Президент: «*Своих* — не выдаю». (Женщина на улице спросила перед телекамерой: «А мы ему — *не свои?..*»)

А пока на Але — наше устройство в России. Порекомендовали ей архитектора Татьяну Михайловну Чалдымову, стала Аля с ней (приезжала она к нам в Вермонт) обсуждать план будущего дома, где б разместить и те огромные архивы, что уже накопились за 20 лет (а не опасно ли так прямо сразу их везти на взбаламученную родину?) и что нарастут в России, и библиотеку. Из двух домов, жилого и рабочего, занимаемых нами в Вермонте, не так легко втиснуться в один, значит — немалый. Для удаления меня от шумов, семейных и хозяйственных, сочинила Чалдымова два крыла под углом, очень удачно. Вообще, художественная изобретательность и вкус были у неё. Ранней весной 1993 она начала и стройку дома, сразу взяв стремительный, всем на радость, темп. (К тому времени покупка дома на пустовавшем участке в Троице-Лыково была уже совершена, но дом тот, по ветхости и размерам, был непригоден.) Поздней весной 1993 Аля, поехавши снова в Москву, увидела участок и была очарована его лесной зелёностью, тишиной и близостью к Москве*. Стройка двигалась бурно всё лето и осень, но, как часто бывает, настигла полоса трудностей — и зимой, при первой же оттепели, по всей площади потекла крыша. В январе 1994 стало ясно, что дома не будет к нашему переезду, а может, и до конца года не придётся в нём жить. (Нескончаемые хлопоты легли на супругов Курдюмовых, согласившихся разделить с нами будущую жизнь.) Однако и откладывать дальше возврат в Россию невозможно — временно устроимся в городе.

Но и сам переезд, после двадцати лет изгнания, — это не с дачи бы в город. Уже года два, предвидя мой возврат в Россию, несколько телевизионных фирм — американских, английских, японская, французская — всё шлют запросы, что желали бы иметь исключительное право на съёмку фильма о моём возвращении на родину. И кому-то, даже неизбежно, надо было такое право дать — просто чтобы не допустить обидной и постыдной свалки-драки конкурирующих телесъёмщиков. Однако все эти фирмы предполагали, конечно, мой прямой прилёт в Шереметьево (вариант, которого мы с Алей даже никогда и не обсуждали), ну и путь по Москве до дома, вот и всё, — никто ведь и предположить не мог дальнего кругового пути через Дальний Восток.

А — *как* нам по Сибири ехать? С двадцатью ссадками с поездов и столькими же посадками, сиденьем на станциях в разное время суток, и ночами, и зависимостью — найдётся ли нужное число билетов в один вагон? и нужное число мест в гостинице? И после этих бессонных передряг — с какой несвежей головой — встречи с местными людьми? выступления? поездки по округе?

О нашем плане возвращаться никак не через Шереметьево только и знали Боря Можаев и Юра Прокофьев. Последний и объяснил Але в Москве, что никакая телевизионная фирма российская при их нынешнем организационном и финансовом развале не сумеет устроить такую поездку и снять такой фильм. Значит — выбирать из западных. Изо всех запросчиков — мы предпочли Би-би-си как кампанию с давней отличной репутацией. И достать постоянный вагон — такой, в каком они целый год колесили по всей стране с выездной редакцией программы «Время», — взялся неутомимый Прокофьев.

---

* Место это действительно составило отраду моей старости. *(Примеч. 2000.)*

В апрельском референдуме Ельцин «одержал победу» — и что же? Что с неё дальше? А — ничего. Ельцин растерялся. *Реального* он по-прежнему не мог ни предложить, ни сделать. Кипело (или стыло?) на верхах всё то же патовое состояние двоевластия. Продолжало катастрофически падать производство, падал курс рубля (до пределов лилипутских, а финансовому жулью это-то и выгодно), чиновные и коммерческие разграбители угоняли за границу сокровища наших недр, и валюта оседала там, Россия уже перестала себя кормить, во второй год великих реформ продукты в городах продавались западные, и цены росли каждую неделю, — но чёрт с ними! но как при всём этом победить Верховный Совет?.. И новая блистательная мысль родилась (май 1993) в президентском окружении: теперь провести *ещё один референдум* — для принятия Конституции! Однако всё же — устыдились, и заменили нелепейшим Конституционным Совещанием — произвольно и непредставительно составленным и не имевшим никакого права принять Конституцию, а только давать рекомендации к ней.

И вот *этот* тягомотный момент всё длящегося беспомощного двоевластия, эти месяцы с мая по сентябрь 1993 — я ощущал как самые опасные для России: месяцы, когда решалось: развалиться ей на части или уцелеть? (А у меня эти месяцы ещё были отягощены подпиравшими новыми болезнями, двумя предстоящими операциями. Сказал Але: «А грудь-то всё давит. Если по дороге через Сибирь умру, в любую минуту может случиться, то не вези меня никуда дальше, похорони в подходящем месте поблизости. Я буду счастлив лежать в Сибири».)

Верховный Совет, естественно, использовал силу народного неприятия псевдореформ и занял по отношению к Ельцину и его правительству — оппозицию. Но по своему изрядно коммунистическому происхождению и при честолюбии Хасбулатова (выбор самого Ельцина! — знаток сердец...) — эта оппозиция приняла самые разрушительные формы. Хасбулатовский Верховный Совет, да ещё укреплённый дезертирством Руцкого (выбор самого Ельцина! — знаток сердец...), — не рухнул, а по-прежнему ярился в бой против Президента. В тот же первомай 1993 коммунисты устроили полувооружённое уличное выступление с бесчинством.

И хасбулатовская и ельцинская стороны, судорожно стягивая и покупая себе союзников, кинулись обе — губительно давать политические взятки-обещания автономным нацреспубликам, — и республики эти еженедельно возрастали в своём значении и требованиях. И Ельцин реально уступил некоторым права и привилегии, которых никогда позже отобрать не сумеет, да и не попытается. (В эти кризисные месяцы России всё активнее стал действовать «Совет Республик» — управительный орган, уничтожающий Россию, обезглавливающий русский народ: Россия имела там 1 голос наряду с 21 автономией.) А в мае 1993 Ельцин ещё и так им потакнул: «внешняя и оборонная политика автономных республик», — он допускает и такую! (Татария тут же стала засылать за границу свои международные представительства; якутская конституция возгласила собственную армию.) С Татарией было много переговорных раундов — и всякий раз новые уступки от Ельцина. И тогда покинутые сиротами русские области и края — стали в отчаянии, чтобы уравняться, объявлять себя тоже «республиками» — Дальневосточной, Уральской, Пермской, ещё и ещё какой-то... Нависал полный развал России — едва ли не в неделях.

Разрывалось моё сердце на всё это глядючи. Это пагубное двоевластие изводило меня. В гуще событий казались, наверно, важней перипетии пергийных столкновений — а издали-то более виделись трещины по телу России, как они уже прорезáлись, — уже геологическое явление. И сейчас — не выжить России без сильной президентской власти, нет у нас опыта парламентского правления. Я изневольно оставался на стороне Ельцина,

хоть столь бесталанного, неуклюжего, столько уже провалившего (русская судьба, не выдвинулся у нас правитель предвидчивый и заботливый о народе),— только бы, только бы уцелела Россия!

Весна-лето 1993 были моими последними в Вермонте, последней возможностью ещё поработать в привычности. Тут я и писал две предстоящие речи — в Лихтенштейне и в Вандее, и вообще готовился тщательно к европейской поездке, которую мы с Алей затеяли в сентябре-октябре как «прощание с Европой». (Мало-мало мы в ней побыли за 20 лет рабочей жизни, а сейчас у меня укрепилось сомнение, достанется ли мне ещё когда побывать в Европе, да и в эту поездку я ехал с уменьшенными силами.) В лихтенштейнской речи я, по сути, повторял прежнюю критику западного общества, но мягче, и уже присоединяя к тому жребию и новую Россию — как она потекла теперь туда же, вопросов себе не ставя.

А прежде того, в июне 1993, я второй раз ездил в памятный мне квадратный двор Гарварда, где 15 лет назад произносил речь, — а в этот раз на выпускной праздник Ермолая. Тем летом (Аля в Москве, Игнат на фестивале в Марлборо) Ермолай и Степан усиленно, на двух компьютерах, помогали мне сворачивать к переезду мои работы.

...В Лихтенштейне, в Международной Академии философии, я произносил речь по-русски, отдельными короткими группами фраз, а Ермолай, заранее переведший речь, стоял рядышком со мной и озвучивал сказанное по-английски. (Эта система себя очень оправдывает: создаёт у слушателей полное впечатление связного текста на понятном языке — и не в отрыве от интонации говорящего на языке исходном.)

Старого нашего знакомца, герцога Франца-Иосифа II, мы уже не застали в живых. Банкет нам давал его старший сын, наследник, впрочем, сильнейше озадаченный произошедшим как раз в тот день правительственным кризисом в его герцогстве. На следующее утро ему предстояла парламентская битва за своего доверенного премьера — итак, мы осматривали замок и многочисленные его коллекции уже без хозяев.

Остановились мы на два-три дня у Банкулов в маленьком Унтерэрендингене. — Туда приехал со шведской телегруппой незабвенный наш *невидимка* Стиг Фредриксон. Сердечно встретились — и дал я шведскому телевидению давно-давно обещанное интервью.

Прошлись прощально по Цюриху — какой всё же привлекательный город, и как органически сочетаются в нём добротная многовековая старина — и самая модная (не всегда добротная) современность. (И сколько он мне дал для ленинских глав!)

После чего покатили поездом в Париж.

Во Франции — как всегда, мне особенно тепло. На улицах множество парижан узнавали меня и приветствовали, останавливались сказать благодарное; уж двадцать лет повелось, что во Франции я чувствовал себя как на второй, совсем неожиданной родине. Была встреча с парижской интеллигенцией. Два-три интервью. Большой «круглый стол» по телевидению, всё у того же Бернара Пиво. Говорили много о нынешней России, спрашивали, что буду делать на родине по возврате. Заверил я, что не приму никакого назначения от властей и не буду затевать избирательных кампаний; а вот поскольку буду говорить, не считаясь с политическими авторитетами, то не удивлюсь, если мне ограничат доступ к телевидению, к прессе*.

Принял нас с Алей премьер Балладур, а мэр Ширак сам посетил меня в гостинице. Эти две последние встречи я использовал, чтобы со страстью

---

* «Публицистика», т. 3, стр. 421 — 423.

внушать им мысли в пользу страдающей России (чтó бы им — простить нам царские долги?..). Было и прощание с издательским составом «Имки», с Клодом Дюраном, и с моими многолетними переводчиками, неустанными, талантливыми и ещё высочайше добросовестными в проверке деталей, оттенков слов (присылали мне контрольные вопросники) — супругами Жозе и Женевьевой Жоанне. (И всё «Красное Колесо» легло на них, и частью попутное, что я за эти годы ещё издавал.)

А поездку в Вандею я ещё чуть ли не за год согласовал через Никиту Струве с префектом провинции Де Вилье. Я задумал её сокровенно — и теперь осуществил, к раздражению левых французских кругов. (Так слепо у них до сих пор восхищение своею жестокой революцией.) Де Вилье угостил нас бесподобным народным, массовым (но технически оснащённым современнейше) традиционным их спектаклем, изображающим на открытом воздухе, на огромной арене, в тёмное время, но при многих световых эффектах — историю Вандейского восстания. Ничего подобного мы с Алей никогда не видели и вообразить даже не могли. В последующие дни мы повидали историческую деревню, сохраняющую весь быт и ремёсла XVIII века, прошли и подземный музей, с большой силой воспроизводящий ухоронки повстанцев.

Щемящее впечатление! — и никогда не выветрится. Кто бы, когда бы восстановил в России вот такие картины народного сопротивления большевизму — от юнкеров и студентиков в Добровольческой армии и до отчаявшихся бородатых мужиков с вилами?!

Теперь предстояла поездка в Германию. Мне очень хотелось туда — ведь я её видел только с прусского края, в войну. Поехали (из Парижа поездом на Рейн) — в гостеприимный дом Шёнфельдов, когда-то привезших нам в Цюрих благоспасённый архив «Колеса». Петер Шёнфельд устроил встречу в Бонне с германским президентом Вайцзеккером. За обедом и после него я, вероятно слишком напорно, говорил в защиту русских интересов, Вайцзеккер стал вежливо сдержан и — как-то успел распорядиться погасить уже сделанные вокруг резиденции многочисленные корреспондентские фотоснимки, лишь один проскочил в печать случайно. — В остальном — германскую столицу мы обминули. Избранное тихое гощение у Шёнфельдов привело к заглушке моего пребывания в Германии, зато сохранило нам неповторимую возможность мирно осмотреть жизнь среднерейнских городков, побывать и у статуи «Великой Германии» — Стража на Рейне — на правом берегу, на круче, а лицом — против Франции, достопримечательность, переставшая быть туристской, а впечатляющая. С подробнейшими объяснениями нам удалось осмотреть и соборы Майнца, Вормса. Почтительно озирали мы эту мрачную готику, любовались уютными уличками благоустроенных малых немецких городков — знакомились с древними камнями Европы и тут же прощались, — а в глаза так и наплывали ждущие нас российские полуразорённые поля, укромные среднерусские перелески, деревянные переходы через ручьи и бревенчатые избы, далеко перестоявшие сроки своей жизни.

Всё же интервью 1-му германскому телеканалу было заранее сговорено на 4 октября — так совпало! — в этом тихом доме Шёнфельда. А днём неожиданно накатило известие о пушечной стрельбе в Москве, пока смутно, неразборно, — но главный вопрос ко мне и был об этом. Разгон Верховного Совета*, пока ещё не ясный ни в каких деталях, однако вытекающий изо всего предыдущего конфликта, я воспринял как тяжёлый, но выход из тупикового мучительного двоевластия в России. Казалось мне, нынешнее столкновение властей — неизбежный и закономерный этап в предстоящем

---

* Устойчивое отвращение к коммунизму заслонило мне тогда, что ведь тот Верховный Совет и стал выражать противостояние гай-чубайским «реформам». Да и фигура Хасбулатова в качестве отца России — очень мешала мне. *(Примеч. 1995.)*

долголетнем пути освобождения от коммунизма. Я понимал так: *неизбежный,* если Российскому государству суждено существовать и дальше — в двоевластии ему нет бытия; и *закономерный* — что должна была проиграть сторона, державшая знамёна коммунистические. (Примерно так, неделей позже, выразил я и в интервью Независимому российскому телевидению.)*

...Из Германии забрали нас приехавшие на автомобиле муж и жена Банкулы — в поездку через Австрию в Италию. Уже не оставалось времени ехать в Вену; но Зальцбург, проездом, и западная Австрия удивительно хороши. Когда-то великая Империя, вот сжалась же Австрия до маленькой, а с какой густотой сохранила отстоенную традицию веков. Сохрани её Бог от великих разорений Будущего.

Италия же не была для меня нова после нашей с Банкулом поездки в 1975 году. Тогда мы не докатили до Рима, теперь достигли его, и прожили здесь даже четверо суток, много ходили. Подлинно сильное впечатление оставили Forum Romanum, Колизей и Катакомбы. Всё остальное — скорей разочаровывало сравнительно с ожиданием. Может быть, на меня накладывалась нарастающая болезнь.

В Риме же была аудиенция у Папы Иоанна-Павла II. (Я пошёл с Алей и В. С. Банкулом, говорящим по-итальянски, но весь разговор переводила И. А. Иловайская, с неисследимо давних пор — преданная католичка, а теперь и активная помощница Папы.) Саму эту встречу Папа назначил в знаменательный для себя день 15-летия занятия им Ватиканского престола.

Величественная анфилада Ватиканского Собора. К Папе я шёл с высоким уважением и добрым чувством. В прежние годы были между нами, в устных передачах третьих лиц, как бы сигналы о прочном союзе против коммунизма, это прозвучало и в нескольких моих публичных выступлениях. Он тоже видел во мне важного союзника — однако, может быть, шире моих границ. Я отчётливо выразил это в разговоре, напомнив, что католические иерархи в 1922—27 годах, при разгроме русской православной Церкви, налаживали сотрудничество с коммунистами в откровенном (но близоруком) расчёте — с их помощью утвердить в СССР поверх праха православия — позиции Церкви католической. Мои замечания явно не были для Папы новостью, но отемнили его лицо. Он возразил, что это была лишь инициатива отдельных иерархов (во что мало верится, зная дисциплину католиков). — В какой-то связи я упомянул энциклику «De rerum novarum» папы Льва XIII — и по его отзыву понял, что Иоанн-Павел очень не чужд социалистических взглядов — и это легко понять, и естественно для христианского иерарха**.

В декабре меня неожиданно поздравил с 75-летием телеграммою Ельцин. (Не знает, что в Европе я и критиковал его сильно?) Неизбежно отвечать. Я ответил суровым перечнем сегодняшних российских язв (в которых главная вина — его.) **[6]**

---

* Лишь в России я понял, что вели Ельцина вовсе не государственные соображения, а только жажда личной власти. Уличные расправы были жестоки беспричинно и до бесцельности, а верней — террористически нагнать общий страх. Число погибших 4 октября превзошло число жертв «Кровавого Воскресенья» 1905 года, никогда не прощённого Николаю Второму.

Но патриотическое крыло надолго вперёд не забыло мне моего заявления о *неизбежности* и *закономерности*. (А Владимир Максимов, последние его годы что-то лютея в своих печатных репликах ко всем вокруг, ещё подтравил, передёрнул, будто я назвал разгон не «неизбежным», а *необходимым*, вот, мол, до чего докатился писатель-гуманист.) *(Примеч. 1996.)*

** Этому Папе-славянину ещё предстояло почти удвоить свой срок на Ватиканском престоле — и сколько же, сколько же поездить по миру, из последних сил благовествуя. А напряжение с Православием так и не уходит, и чаемый Папой приезд в Россию всё не состаивается. *(Примеч. 2002.)*

Юбилей мой не обошли и некоторые западные газеты — но с оценками и мерками, давно у них устоявшимися: «Солженицын — в опасной близости от националистов, шовинистов; вернувшись в Россию, не примет ли объятий с ложной стороны?» (Какая нечистая совесть уже столько лет толкает их буквально взывать к Небесам, чтоб я оказался яростным «аятоллой», чтобы въехал в Москву на коне и сразу ко власти? Без этого у них почему-то не сходится игра. И как же они будут разочарованы, когда ничто такое не состоится? Впрочем, и утрутся с такою лёгкостью, как будто ничто подобное ими и не гужено-говорено уже второй десяток лет.)

Ну, и другой постоянный мотив: «Да кто нуждается в Солженицыне сегодня в России? кого сегодня направит его православная мораль?» — тем более, что «время авторитетов в России прошло». (Этот тезис они тоже давно и усильно нагнетают, им просто позарез надо, чтобы в России никогда впредь не возникали моральные авторитеты: без этого насколько всем легче.) «Его пламенные речи к народу не услышит никто».

А вот тут, несмотря на 20-летнюю отлучку, я уверен, что — ещё как услышат! только не московская «элита» — а в провинции, в гуще народной, — для того и еду таким путём.

Однако в скептических предсказаниях западной прессы — есть и трезвость. За 20 лет моего изгнания и коммунистическая власть не уставала меня марать — настойчиво, всеми способами и при каждом случае. Да и в демократической печатности немало перьев насторожено ко мне. И я еду без иллюзий, что сумею эту вкоренившуюся враждебность преодолеть при возврате — да и при остатке жизни.

Да вот пока что — ни «Обустройство», ни обращение к украинскому референдуму, ни интервью с Говорухиным не сгодились и ничего никуда не подвинули. И книги мои вглубь страны продвинулись мало, и «Красное Колесо», раздёрганное по журналам, сработать не смогло.

Да что там! Ещё и «Архипелагом» не насытили, всё текли жалобы: «Я фронтовой офицер в отставке, ровесник Солженицына. Его книги „Архипелаг ГУЛаг" в Казахстане нет» (Казахстан, Толебенский р-н); «В продаже в книжных магазинах „Архипелага ГУЛага" нет, на чёрном рынке купить не могу при своей пенсии» (Нижний Тагил); «Давно уже хочу прочитать „Архипелаг ГУЛаг", но такой возможности до сих пор не предоставилось. В продаже нет, в библиотеке она постоянно на руках» (пос. Шушенское, Красноярский край); «Я к вам, мать четверых детей, обращаюсь с наболевшим вопросом. Я не могу купить книгу А. Солженицына „Архипелаг ГУЛаг". Мне книга нужна, чтобы её прочитали дети, а не выросли дураками» (Усть-Илимск).

Приходится свои книги опередить собственными ногами.

Ногами... А в европейских наших с Алей поездках я ходил плоховато и выглядел старовато. Воротясь в Вермонт, ещё прошёл те две операции, без которых не рискнул бы ехать. С опасением думал, где ж набраться сил для пространного перемещения по России с весны и как бы от пятилетней стенокардии освободиться хоть на время? Убеждённо говорю: повседневная молитва, месяцами, — и вера в её исполнение. И вот, к решающей моей весне — я вдруг неузнаваемо окреп, по весне начал расхаживать по круто холмистым вермонтским дорогам — и стенокардии совсем не чувствую! Чудо.

В последнюю вермонтскую зиму, отдаваясь двучастным рассказам, взялся я ещё и свести воедино, что́ отстоялось во мне от русской истории XVII – XIX веков («Русский вопрос»). Многих горячих патриотов огорчит — а ведь та́к, было — та́к. И печатать — сразу на родине, в «Новом мире». Окончание статьи — уже о последней современности («...к концу XX века»). Вот и прожил я, додержался до изменений в России. Да — не такие грезились... В иные часы овладевает мною уныние: не вижу, вообще ли выберется Россия из этой пропасти? И как же и кому её вытаскивать?

...Весной 94-го у нас в доме наступила «эпоха укладки» — архивов, книг, в сотни картонных коробок, коробок, заклеивания их ленточным «пистолетом» и росписью их боков опознавательными знаками и номерами (неизвестно когда придётся все их распаковать, так хоть знать, где искать нужное). — Тот год Ермолай работал на Тайване, в среде одних тайванцев, стал свободно говорить по-китайски. А к маю готовился, не возвращаясь в Штаты, сразу лететь во Владивосток на встречу с нами. — Игнат учился в консерватории, сразу по двум классам — фортепьяно и дирижирования, напряжённо, но счастливо, а прошлой осенью впервые гастролировал в Москве, Петербурге и Прибалтике. — Степан на 3-м курсе Гарварда изучал градостроительство, с параллельным курсом в Массачусетском Технологическом. Им ещё доучиваться. — А жадно ждал возврата на родину наш старший Митя: ведь он жил в России до 12 лет, теперь и память и привязанности остро тянули его.

Теперь вот ещё задача: попрощались мы с Европой — надо прощаться и с Америкой?

С окружными вермонтцами прошло очень тепло: в конце февраля пошли на их ежегодное городское собрание, и я искренне поблагодарил за терпеливое ко мне и дружеское соседство **[7]**. Передал им в библиотеку дюжину своих книг на английском, а они, неожиданно для нас, подарили нам мраморную плиту с выбитой сердечной надписью: что протягивают нашей семье руки на прощание, а если когда вернёмся — то вновь протянут с дружеским приветствием. Мы были тронуты, но: нет, не вернёмся, не вернёмся.

И вдруг — 18 марта — беспощадным ударом оглушила смерть Мити — мгновенная, от разрывного сердечного приступа, в 32 года! — такая же безвременная, как его прадеда, деда, дядьёв по мужской линии. Ладный, красивый, в молодой силе. Так и застыл — на пороге возврата на родину, оставив вдову с пятимесячной дочерью Таней. Это было смятенное горе. Не только для семьи, для десятков повсюду друзей, но для всего нашего прихода. Похоронили его — в православном углу вечнозелёного клермонтского кладбища.

Так осталась у нас в Америке своя могила. Такое прощание...

...Но — с американской «элитой»? той читающей, пишущей, высокомерной, все годы так неотступчиво непримиримой ко мне? — тоже прощаться?

Уговаривали меня дать интервью CBS («без этого нельзя уехать из Америки»). Этого — совсем не хотелось давать — и правильно. Майк Уоллес задавал бесцветные, а затем и гадкие вопросы — всё в ту ж налаженную дуду десятилетий, — ничего интересного не получилось и никакого *прощания* со Штатами не вышло.

Но внезапно предложил интервью влиятельный журнал бизнесменов и финансистов «Форбс» (Павел Хлебников) — и тут я высказался от души*. Вот это и вышло моё *прощание.*

А кавендишское — внезапно разнеслось по всему миру, и посыпались мне отовсюду, отовсюду — заявки, заявки на интервью.

Нет уж, поздно. Никому больше. Теперь я настроился разговаривать — с русскими и в России.

Посол В. П. Лукин подал мысль всё же предупредить Ельцина о моём необычном маршруте. Убедил, вежливость требует. И я послал письмо через посольство **[8]**.

А ещё получил я немало частных писем из России, призывающих меня идти в президенты. Были такие и газетные статьи.

---

* «Публицистика», т. 3, стр. 474 — 482.

Нет, намерения подобного у меня нет. И — не по возрасту, и не моё это дело. Администрирование — квалификация другая, нежели писательская.

Прощай, ласковый к нам, благословенный Вермонт! Однако остаться бы тут доживать — было бы закисание векторной судьбы. Напротив, я боялся дожить в Вермонте до смерти или до последней телесной слабости. Умереть — я должен успеть в России.

Но ещё раньше успеть — вернуться в Россию, пока есть жизненные силы. Пока — ощущаю в себе пружину. Есть жажда вмешаться в российские события, есть энергия действовать. Плечи мои ещё не приборолись, у меня даже — прилив сил. Только вот нарушается пословица: «Молодой на битву — старый на думу».

Еду я — быть может, на осмеяние, в духе сегодняшней безкрайней развязности прессы, журналистов, любых «комментаторов», кто хочет плюнуть. Но — оравнодушел я к тому за долготу двух травель — промеж двух жерновов.

А в друзьях своих числю — русские просторы. Русскую провинцию. Малые и средние города.

Что-то ещё успею сказать и сделать?

А книги мои, в правильно понятых интересах России, могут понадобиться и много позже, при более глубокой проработке исторического процесса. В бороздимых по России крупных чертах Истории есть своя неуклонимость, она ещё проявится.

Проявится какое-то позднее долгодействие, уже после меня.

И уж всяко помню Ломоносова: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют».

Вермонт.
Март — апрель 1994.

ПРИЛОЖЕНИЯ

[1]

ПИСЬМО С. П. ЗАЛЫГИНУ

2 августа 1988

Глубокоуважаемый Сергей Павлович!

1 августа получил Вашу телеграмму от 27 июля. Благодарю Вас за усилия, предпринимаемые Вами для напечатания моих романов в Вашем журнале.

И «Корпус» и «Круг первый» я, конечно, с радостью отдал бы «Новому миру», которому и предлагал их 20 лет назад.

Однако обвинение в «измене родине» (64 статья) мне было предъявлено — за «Архипелаг ГУЛаг». За него я был силой выслан в изгнание, длящееся уже пятнадцатый год. За него людей сажали в лагеря. Невозможно притвориться, что «Архипелага» не было, и переступить через него. Этого не позволяет долг перед погибшими. И наши живые соотечественники выстрадали право прочесть эту книгу. Сегодня это было бы вкладом в начавшиеся сдвиги. Если этого всё ещё нельзя, то каковы же границы гласности?

Мой возврат в литературу, разрешённую на родине, может начаться только с «Архипелага ГУЛага» — притом без сокращений и не показным изданием (для Кузнецкого моста и для Запада), а реальным массовым тиражом, — так чтобы по крайней мере в любом областном городе СССР и по крайней мере в течение года трёхтомник можно было бы свободно купить.

Я понимаю, что это не зависит от Вас. Но я пишу об этом именно Вам, поскольку Вы единственный, кто обратился ко мне. Может быть, Вы сочтёте возможным довести это до сведения тех, от кого вопрос зависит. Благодарю Вас заранее.

После напечатания «Архипелага» не было бы никаких затруднений печатать в «Новом мире» и «Корпус» и «Круг».

Мои самые добрые пожелания лично Вам и журналу.

С пониманием

Александр Солженицын.

[2]

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ С «МЕМОРИАЛОМ»

Москва, 5 сентября 1988

Глубокоуважаемый Александр Исаевич!

Просим Вашего согласия на вхождение в состав Общественного Совета по руководству созданием и работой мемориального комплекса жертвам беззаконий и репрессий.

В Совет по результатам опроса граждан избраны: Адамович, Юрий Афанасьев, Бакланов, Быков, Евтушенко, Ельцин, Карякин, Коротич, Лихачёв, Рой Медведев, Окуджава, Разгон, Рыбаков, Сахаров, Солженицын, Ульянов, Шатров.

Оргкомитет «Мемориала».

Кавендиш, 6 сентября 1988

Оргкомитету «Мемориала»

Избравших меня благодарю за честь.

Памяти погибших с 1918 по 1956 я уже посвятил «Архипелаг ГУЛаг», за что был награждён обвинением в «измене родине». Через это нельзя переступить.

Сверх того, находясь за пределами страны, невозможно принять реальное участие в её общественной жизни.

Сердечный поклон.

Александр Солженицын.

[3]

СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ НЕЧЕМ ОТВЕТИТЬ НА «АРХИПЕЛАГ»*

Стэнфорд, Калифорния
18 мая 1976

За 14 лет моих публикаций весь бездарный пропагандный аппарат СССР и все его наёмные историки не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами: потому что ни мыслей, ни фактов у них нет, всегда одна ложь. Теперь КГБ по своей жульнической ухватке приготовил фальшивку, помеченную 1952 годом, — будто я тогда доносил чекистам о революционном лагерном движении. Эту фальшивку начали подбрасывать иностранным корреспондентам, один из них переслал мне такую ксерокопию.

Хотя КГБ уже был однажды пойман на подделке моего почерка — никогда не бывшей моей переписки с эмигрантом В. Ореховым (журнал «Тайм» в мае 1974 привёл по строчке сравнения моего истинного почерка и успешно подделанного, а у

* Опубликовано в «Лос-Анджелес таймс» 24.5.1976.

меня на руках — полные письма, подделанные КГБ, по нескольку страниц), они снова, не боясь позора, пошли по тому же пути. Для этого при содействии моей бывшей жены использовали комплект моих писем к ней лагерного периода (этими письмами КГБ уже тайно торговал на Западе, копии в моих руках) и, насколько могли, старательно подделали мой почерк того времени. Но, оставаясь на своём уровне, спущенном от людей к обезьянам, они не смогли подделать образа выражений и самого меня. Это различит всякий *человек,* кто читал «Ивана Денисовича» или «Круг», или положит «Архипелаг» рядом с их жалкой клеветой. Сочинители фальшивки допустили просчёты и в лагерных реалиях. Третий том «Архипелага» передаёт огненный дух тех дней экибастузского мятежа, к которым осмелилось теперь приурочить свою подделку КГБ. Будет время — обретут свободный голос и мои солагерники того времени, украинцы, — высмеют они эту затею и расскажут о нашей истинной дружбе. Ложь КГБ так и составлена, чтобы внести раздор в единомыслие Восточной Европы: объединения наших сил больше всего и боятся коммунисты.

За 60 лет коммунистическая власть в нашей стране пристрастилась ляпать всех, кого травила: что они — агенты охранки или сигуранцы, или гестапо, или польской, французской, английской, японской, американской разведки. Этим дурацким колпаком покрывали решительно всех. Но ещё никогда власти нашей страны не проявляли такой смехотворной слабости, отсутствия опоры, чтоб обвинить своего врага в сотрудничестве... с ними самими! с советским строем и кровороченной его ЧК — ГБ! При всей советской военной и полицейской мощи — какое откровенное проявление умственной растерянности.

А. Солженицын.

[4]

30 августа 1991

Дорогой Борис Николаевич!

Пользуюсь надёжной оказией доставить это письмо Вам в руки.

Восхищаюсь отвагой Вашей и всех окружавших Вас в те дни и ночи.

Горжусь, что русские люди нашли в себе силу сбросить самый вцепчивый и долголетний тоталитарный режим на Земле. Только теперь, а не шесть лет назад, начинается подлинное освобождение и нашего народа и, по быстрому раскату, — окраинных республик.

Сейчас Вы — в вихре событий и неотложных решений, всё сразу — важно. Но я потому смею вторгнуться к Вам с этим письмом, что есть решения, которых потом *не исправить* вослед. К счастью, пока я писал эти строки, Вы уже дали знать: что Россия сохраняет право на пересмотр границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро — с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Обширный Юг нынешней УССР (Новороссия) и многие места Левобережья никогда не относились к исторической Украине, уж не говоря о дикой прихоти Хрущёва с Крымом. И если во Львове и Киеве наконец валят памятники Ленину, то почему держатся, как за священные, за ленинские фальшивые границы, прочерченные после Гражданской войны из тактических соображений той минуты? Также и Южная Сибирь за её восстания 1921 г. и уральское и сибирское казачество за их сопротивление большевикам были насильственно отмежёваны от России в Казахстан.

Я с тем и спешу, чтобы просить Вас: защитить интересы тех многих миллионов, кто вовсе не желает от нас отделяться. При Вашем огромном влиянии примите все меры, чтобы референдум на Украине 1 декабря был проведён полностью свободно, без всякого давления (оно очень возможно!), без искажений голосования — и чтобы результат его учитывался отдельно по каждой области: каждая область должна сама решать, куда она прилегает. И сразу слышим угрозы, со срывом голоса: «Это война!» — нет, только вольное голосование, которому все и должны подчиниться.

Да бесчестный ленинский совнарком, в обмен за мир и признание своего режима, поспешил (2 февраля 1920 г.) отдать и Эстонии кусок древней псковской земли со святынями Печор и Изборска, и населённую многими русскими Нарву. И теперь, без оговорок принимая отделение Эстонии, мы не можем увековечить и эту нашу потерю.

Я уже писал в «Обустройстве» год назад, что я не противник отделения союзных республик, и даже считаю это желательным для здорового развития России. Но федерация — это живое реальное сотрудничество народов в цельном государстве. А всплывшая теперь политическая «Конфедерация независимых государств» — искусственное образование, бессмыслица, и на практике обернётся (как Содружество наций для Британии) — отягощающим бременем для России.

И ещё срочное, Борис Николаевич! Крайне опасно сейчас поспешно принять для России какой-либо не вполне прояснённый экономический проект, который в обмен на соблазнительные быстрые внешние субсидии потребует строгого подчинения программе давателей, лишив нас самостоятельности экономических решений, а затем и скуёт многолетними неисчислимыми долгами. Опасаюсь, что такова программа Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка Реконструкции (известная у нас как «план Явлинского»). В невылазные тиски долгов попала Латинская Америка, и Польша, однако им долги невольно прощают, ибо с них нечего взять. Но России — не простят, а будут выкачивать наши многострадальные недра. А затем, попав во внешнюю экономическую зависимость, Россия неизбежно впадёт и в политическую несамостоятельность. Я — боюсь такого будущего для нашей страны. И сердечно прошу Вас: не разрешите отдаться одному упорно предлагаемому проекту, распорядитесь изучить и альтернативные. Например — план, активизирующий внутренние резервы страны, позволяющий нам обойтись без иностранных займов, — план, поддерживаемый Милтоном Фридманом, крупнейшим авторитетом западной экономики.

Крепко жму Вашу руку.

А. Солженицын.

[5]

Москва
24 сентября 1991

Глубокоуважаемый Александр Исаевич!

Благодарен Вам за письмо. Близка и понятна Ваша боль за состояние нашего Отечества, тревога за его будущее.

За прошедшие десятилетия Россия многое утратила из того, что составляло суть её жизни. Но уверен, удалось сохранить главное — великую жизнеспособность нашего народа, его душевные качества, глубокую веру в силу справедливости и добра. Страх, сковавший волю миллионов и миллионов наших граждан, всё-таки оказался слабее неутомимой тяги к свободе, и режим, казавшийся вечным, рухнул. Но он не унёс с собой порождённые им проблемы.

Мы уже приступили к реформированию народного хозяйства, хотя вопросов, стоящих перед нами, конечно, больше, чем ответов.

Убеждён, никто, кроме самих россиян, не выведет экономику республики из кризиса. Но мы не хотим восстанавливать экономический «железный занавес». И поэтому стимулируем привлечение иностранного капитала для восстановления различных отраслей народного хозяйства России.

События августа 1991 г. нанесли сильнейшие удары по коммунистической империи. Прежнего СССР уже не существует, но остались народы, столетиями жившие рядом. Сегодня стало особенно очевидно, что в недрах разваливающейся империи развивались отношения, основанные на равноправии, свободном выборе и взаимной заинтересованности в сотрудничестве.

Считаю, что это более прочная и здоровая основа для Союза, чем насилие и принуждение. Конечно, вероятность неудачи в создании нового Союза есть.

В этом случае Россия будет действовать, как и другие государства, в соответствии с международным правом. Мы уже учимся жить по-новому и, надеюсь, научимся.

Уважаемый Александр Исаевич, поздравляю с тем, что с Вас сняты наконец несправедливые обвинения.

Желаю Вам и вашей семье здоровья и благополучия. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем Вы будете сердцем откликаться на происходящее в России.

Б. Ельцин.

[6]

Кавендиш, 13 декабря 1993

Уважаемый Борис Николаевич!

Благодарю Вас за поздравление к моему 75-летию. С возвратом на российскую землю, может быть, мне удастся быть в чём-то полезным нашей измученной родине.

Надежду на духовную силу нашего народа не теряю и я. Но со страданием вижу грозное обнищание народного большинства, приватизацию в пользу избранных, всё идущий бесстыдный разграб национального достояния, густую подкупность государственного аппарата и безнаказанность криминальных шаек. И никак не видно, чтоб ожидалось близкое улучшение в этом кольце бед. Если не возьмёмся бесстрашно и бескорыстно бороться с этими язвами, одолевающими нас.

С добрыми пожеланиями

А. Солженицын.

[7]

ПРОЩАНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ КАВЕНДИША

28 февраля 1994

Граждане Кавендиша! дорогие наши соседи!

Семнадцать лет назад на таком же вашем собрании я рассказал, как меня изгнали с родины, и о тех мерах, которые я вынужден был принять, чтобы обеспечить спокойную работу, без назойливых посетителей.

И вы — сердечно поняли меня, и простили мне необычность моего образа жизни, и даже всячески оберегали мою частную жизнь, за что я вам был глубоко благодарен все эти годы напролёт и завершающе благодарю сегодня! Ваше доброе отношение содействовало наилучшим условиям моей работы.

Я проработал здесь почти восемнадцать лет — и это был самый продуктивный творческий период моей жизни, я сумел сделать всё, что я хотел. Часть моих книг, те, которые в хорошем английском переводе, я сегодня преподношу вашей городской библиотеке.

Наши сыновья росли и учились здесь, вместе с вашими детьми. Для них Вермонт — родное место. И вся семья наша за эти годы сроднилась с вами. Изгнание — всегда тяжко, но я не мог бы вообразить места лучшего, чем Вермонт, где бы ожидать нескорого, нескорого возврата на родину.

И вот теперь, этой весной, в конце мая, мы с женой возвращаемся в Россию, переживающую сегодня один из самых тяжёлых периодов своей истории, период нищеты большинства населения и падения нравов, период экономического и правового хаоса, — так изнурительно достался нам выход из 70-летнего коммунизма, где только от террора коммунистического режима против собственного народа мы потеряли до 60 миллионов человек. Своим участием я надеюсь теперь принести хоть малую пользу моему измученному народу. Однако предсказать успех моих усилий нельзя, да и возраст мой уже велик.

Здесь, на примере Кавендиша и ближних мест, я наблюдал, как уверенно и разумно действует демократия малых пространств, когда местное население само ре-

шает большую часть своих жизненных проблем, не дожидаясь решения высоких властей. В России этого, к сожалению, нет, и это — самое большое упущение до сегодняшнего дня.

Сыновья мои ещё будут оканчивать своё образование в Америке, и кавендишский дом остаётся пока их пристанищем.

Когда я теперь хожу по соседним дорогам, прощальным взглядом вбирая милые окрестности, то всякая встреча с кем-либо из соседей — всегда доброжелательна и тепла.

Сегодня же — и всем, с кем я встречался за эти годы и с кем не встречался, — я говорю моё прощальное спасибо. Пусть Кавендиш и его окрестности будут всё так же благополучны. Храни вас всех Бог.

[8]

Кавендиш, Вермонт
26 апреля 1994

Уважаемый Борис Николаевич!

Как Вы, может быть, знаете, я возвращаюсь в Россию со своей семьёй в конце мая, примерно через месяц. Я всегда верил, что возврат этот станет возможен при моей жизни, и ещё 20 лет назад задумал маршрут своего возвращения. А сейчас я считаю своим долгом заранее сообщить его — *совершенно доверительно* и только лично Вам.

Я буду возвращаться через Дальний Восток, неспешным путешествием по стране. Теперь, когда страна меняется так кардинально и стремительно, — знакомство с жизнью людей необходимо мне прежде каких-либо общественных шагов. И я особенно хочу начать с Сибири, которую я знал совсем мало и больше — из окна тюремного вагона.

Пишу я это Вам прежде всего для Вашего личного сведения, но также и с просьбой: не присылайте во Владивосток кого-то из Москвы для встречи: пока я буду ехать по провинции — я имею цель встречаться именно с местными людьми (в том числе и с Вашими представителями на местах). Таким образом, к приезду в Москву и к нашей возможной встрече с Вами, я надеюсь получить немало личных и свежих впечатлений от состояния страны и людей.

Всего Вам доброго!

Александр Солженицын.

АННА ГЕДЫМИН

*

ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОКНО

* *
*

Я засыпаю,
когда отцветают звезды,
Светлеет небо,
а в доме еще темно,
И окна ближние,
по-утреннему серьезны,
Смотрят прямо
в мое легкомысленное окно.

Проснешься за полдень,
вся жизнь никуда не годится...
Но в пыльной Москва-реке
купола сияют вверх дном...
И думаешь: Господи!
Спасибо, что надоумил родиться
В городе,
где такой пейзаж за окном!

Такой синий,
такой золотой и белый!..
Теперь, судьба моя,
ты, без промаха и стыда,
Карай, обманывай —
что хочешь со мною делай,
В душе залатанной
эта музыка — навсегда.

И даже если
смерть все-таки существует, —
Все относительно! —
она щемяще мала,
Как памятник временный,
пристроченный к Москве на живую,
Как зыбь на воде,
отражающей купола...

Гедымин Анна Юрьевна — поэт, лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве.

* *
*

Или тепло перешло все границы,
Или мороз проявил мягкотелость,
Только — взгляни: возвращаются птицы.
Родины захотелось.

Вроде бы любят, каются вроде,
Но в холода забывают приличья
И — улетают.
Глаза отводит
Грешная стая птичья.

Их бы прогнать!
Но в лесах наших темных
Любят заблудших и непутевых.

Так возвращаюсь к тебе, мой нестрогий.
Мешкаю на пороге.

Защитник Отечества

Мелкий, щуплый, мучимый половым вопросом,
Никогда не любимый теми, о ком мечталось,
Он стоит на плацу под дождем, забирающим косо
И уныло прикидывает, сколько ему осталось.

Как ни верти, до дембеля — без недели два года.
Целых два года добродетели защитного цвета.
За которые если что и улучшится — так только погода,
Или вдруг старшина подорвется... Но не будем про это.

Поговорим о противнике. На него надо много дуста,
А дуст теперь в дефиците, чтоб ему было пусто.
На старшину же требуется лишь немного тротила,
А при достаточной меткости — одной бы пули хватило...

В общем, защитник Отечества пребывает в подсчетах.
(«Я вернусь, мама!») И подсчетов — до черта.

Что будет дальше? —
К арифметике ограниченно годный,
Он все равно выживет, средь тревог и побудок,
При врожденном умении держать удар на голодный
Или — реже — впрок набитый желудок.

* *
*

Остался от дуба такой пустяк! —
Обугленный кратер,
весь в ложных опятах.
Но видно сразу:
силен был костяк,

Вон сколько мощи в корнях-лопастях!
И торс неохватен
в бугристых пятнах.

Нет-нет — по ошибке — в траву падет
Тень ствола.
Отплакавшие похоронно,
Ветра по привычке смиряют лёт
Там, где задерживала их
его крона.

И так же
струи дождя чисты,
Его омывающие среди лета,
И так же чахнут
уродливые кусты,
Которым из-за него
не хватало света.

* *
*

Ты для меня
Больше, чем беда,
Больше, чем вода
В пересохшей округе.
Ты для меня —
И шальная толпа,
И лесная тропа,
И друзья, и подруги.

Давай
Сядем, как в детстве, в трамвай,
Чтобы лужи и брюки клеш!

Давай
Ты никогда не умрешь!
Лучше уж я...

И стану для тебя
Солнцем над головой
И лохматой травой
У ограды.
Чтоб все подруги твои
И все супруги твои
(И даже мама твоя)
Мне были рады.

* *
*

А у сына — твое
выраженье лица, движенья,
Лишь от осени —
желтоватая прядь.
Каково мне, выбравшейся
из вражьего окруженья,
Обернуться — и вновь
перед прошлым своим стоять!

Даже страшно смотреть,
до того вы видитесь оба
В одном лице.
Вот ведь каверзное волшебство!
Каково мечтавшей
любить этот облик до гроба
В самом деле до гроба
обреченной любить его!

Подрастает подсолнух.
В нем растенье и солнце — двое.
Горизонт так отчетлив,
словно впрямь он — последний край...
«Отпусти! Отпусти!» —
умоляет сердце седое.
Воспаленная память
заклинает: «Не отпускай!..»

* *
*

И пасмурный ветер
потрогать влажной щекой,
И с нежностью вспомнить ночлег —
подобие крова,
И вновь устремиться туда,
где в траве за рекой
Гуляет рыжая
лоснящаяся корова.

И даже если
нерадостная пора —
Такая, что, Господи,
не приведи нашим детям,
Все равно каждый вечер
мечтать дожить до утра,
А значит — верить в бессмертие,
как кто-то верно заметил.

И вдруг однажды,
стоя вот так, в пальто,
С десятком лисичек,
найденных здесь же, на кромке поля,
Оказаться внутри звездопада,
хотя никто
Не просил щедрот у небес,
а только глазел, не боле.

А звезды стекают под ноги,
как вода.
И не надо особых навыков
в предсказанье,
Чтоб увидеть дальнейшее:
вздрогнешь и, как всегда,
Вспомнишь детство, паром...
И — не загадаешь желанье.

* *
*

«Пожалуй, не люблю, — сказал, —
но не грусти:
Других я не люблю
значительно сильнее.

Возьми, что нажил я,
коль сможешь унести:
Закаты над рекой,
неполных лун камеи,

Заначенный экспромт —
тот, что на черный день,
Уверенность в себе
(в ней все — одна бравада),
Бессонниц благодать,
а ежели не лень —
Возьми и жизнь саму,
мне ничего не надо».

И вспомнила рассказ
о мастере мостов:
Без отдыха и сна,
иной не зная страсти,
Он строил дивный мост.
Когда был мост готов,
Созвал всех горожан
счастливый дряхлый мастер.

Он им сказал: «Не зря
был я судьбой храним!
Я завершил свой труд!
Труд жизни! Неужели!..»
И он прошел свой мост.
И рухнул мост за ним...
...И я, как мастер тот,
своей достигла цели...

* *
*

Что ни мгновенье —
то неверно понятый знак:
Сны на пятницу,
в марте — мороз под двадцать...
О чем ни задумаешься,
из всего выходило так,
Что нам с тобой не расстаться.

Но ошибка выявилась.
Понуро стою,
Одинокая двоечница,
в ожидании приговора.
Господи,
приемлю волю Твою!
Но не так же скоро!

Журавли над сопками:
«Се ля ви! Се ля ви!»
Нашу лодку скрипучую
умыкнули в полночь с причала.
Приметы меняют вектор,
ибо конец любви
Есть зеркальное отраженье
ее начала.

ЕЛЕНА ИСАЕВА

*

ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА

Teamp.doc

Действующие лица:

Первая.
Вторая.
Третья.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая. Это все не просто так. Я не знаю, что это такое... Какая между нами связь?

Третья. Какая между нами связь?

Вторая. Я его очень люблю, и он меня очень любит...

Первая. Но все это не просто так... Я его чувствую на расстоянии. Недавно он мне приснился. Мы сидели у него дома за столом, ели, смеялись... Такой сон. И я стала ему звонить. Не дозвонилась. А потом, когда все-таки дозвонилась, оказалось, что он меня разыскивал, потому что написал новые стихи и хотел мне их прочесть.

Вторая. У него мозги как-то по-другому устроены. И у него есть своя правда.

Третья. Я понимаю. Он закрытый человек. Он не так откровенно выражает свои чувства. Все внутри. Все терпит.

Первая. Он никогда мне не рассказывал о своей личной жизни — что было до моего появления. Все, что я об этом знаю, я знаю не от него.

Вторая. Только он не хочет понимать меня. Вся наша жизнь шла в ритме: ссора — мир, ссора — мир. Когда мир, то обнимались, целовались, были друг к другу очень ласковы...

Третья. Он очень любит себя. У него есть свой закон. И он хочет сломать другого. Ему важен свой закон. Я уважаю его ум. Но, конечно, чувство для меня важнее, чем закон.

Первая. Он приходил поздно, и я всегда его ждала. Я вообще не могла заснуть, пока он не придет домой. Я не могла просто заснуть. В темноте я лежала с закрытыми глазами, но заснуть я не могла. Он знал, что я его жду. Я могла заснуть, но сквозь сон я чувствовала, что он пришел, вставала и бежала в коридор.

Однажды я увидела в окно случайно, что он по двору бежит бегом от автобуса — как мальчишка. С портфелем под мышкой он бежит бегом.

Вторая. Я очень-очень любила с ним смотреть комедии с Депардье, с Луи де Фюнесом. Мы садились на диван. И я хохотала не столько от ко-

---

Исаева Елена Валентиновна родилась в Москве. Закончила МГУ. Автор трех сборников стихов. Пьесы ставились в театрах Москвы, Пензы, Челябинска, Симферополя и др. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Драматург», «Современная драматургия». Живет в Москве.

медии, сколько от того, как он смеется. Я обожала эти минуты. Я их любила до изнеможения... До определенного момента... Потом про это расскажу...

Первая. Мы пошли в гости к родственникам. Там была большая достаточно компания. Там была какая-то расслабуха. Я помню, он сел на диван, а я захотела сесть ему на колени — и села ему на колени. Обняла. И он так мягко, но настойчиво снял с себя. Посадил рядом и сказал, что не надо так демонстрировать свои чувства. Вот это тоже как-то сразу так меня запрограммировало...

Третья. У него есть кабинет, чтобы работать... И если у меня нету какой-то ручки или... ну, что-то я возьму у него и забуду вернуть... И если ему нужно это... Тогда он очень сердится... Потому что, чтобы работать нормально, для него все должно быть нормально расположено. И я тоже не любила этого. Потому что — кто взял? Ты, да? Почему ты не вернула? Это мелочь, а тебе так тяжело из-за мелочи. Ты ругаешься из-за мелочи? И такой характер мне не нравился. Из-за этого тоже ссорились.

Вторая. Виновата всегда была я. И прощения всегда просила я. Он никогда не просил...

И я стала врать. И я поняла: чтобы избежать всех вот этих... надо врать. И вранье стало моей параллельной жизнью. Если попросить его написать мою автобиографию... ну там, что я делаю в течение дня. Чем, он думает, я занимаюсь. И сравнить с тем, что на самом деле, так это будет две большие разницы, две очень большие разницы. Небо и земля.

Первая. Я даже не знаю, врала ли я ему. Дело в том, что у меня всегда была огромная потребность с ним чем-то поделиться.

Третья. Я хотела работать в кафе — официанткой. Это кафе работает только ночью, и туда ходят, ну... богатые мужчины и с женщинами пьют. Мне хотелось знать, какая ситуация там. Потому что я жила обычно нормально, отдельно от такого мира, а такой мир... ну... опасно, да? И люди думают, что это плохо. Потому мужчина хочет с женщинами... ну... нормально... но для общества это не так морально... да? Ну, я хотела знать, кто работает, как относится... Я нашла в таком кафе работу. Я сказала об этом. У меня есть цель — чтобы узнать незнакомый мир. А он очень сердился. Это безумно. Надо больше читать книг, а ты вот так тратишь время! Я хотела знать, как он реагирует. Он очень сердился, сильно реагировал. Поэтому я испугалась и тоже передумала. Отказалась.

Вторая. Что — я не имею права потанцевать с друзьями в ночном клубе? И я сказала, что мне все надоело и я хочу жить одна. Ухожу. Но я не собиралась сразу — думала, завтра вещи соберу. А он назвал меня проституткой — что меня дома ночью не было. Раскричался. Можешь уходить куда хочешь, чтобы ноги твоей тут не было. Получилось, что он меня фактически выгнал. Раз ты так — то давай отсюда.

Первая. О каких-то вещах я просто с ним не разговариваю, потому что он будет расстраиваться, если я ему это скажу.

Вторая. Обиды были всегда. Они росли — по крещендо! Чтобы он был счастлив, я должна была быть идеальной! Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Когда начинались с ним серьезные разговоры, я пыталась ему доказать, потому что я ж права и у меня куча аргументов. И я не могла сказать ни слова, потому что с того момента, как начинался серьезный разговор, меня душили слезы.

Первая. А может быть, это такое своеобразное проявление того, что часто называют мужским шовинизмом. Ну, типа «Вождь всегда прав, а если вождь не прав, смотри пункт первый».

Вторая. Он же человек очень уважаемый, коммуникабельный, который может со всеми найти общий язык... Его любят и уважают все. Я им гордилась всегда. Мы с ним упрямые, упертые, умеющие других убеждать.

Если ему кого-то надо убедить — запросто. И если мне надо кого-то убедить — запросто! Но когда мы схватывались с ним!..

Первая. Как-то раз я решила подарить ему на день рождения плед. Мне хотелось подарить ему что-то полезное и хорошее, я долго думала и вспомнила, что его жена незадолго до этого говорила, что жаль, что нет какого-то покрывала или пледа, чтобы можно было стелить на диван или на его кровать, потому что шелковое декоративное покрывало он уже истер, постоянно на нем валялся.

Третья. Подарок — это твоя душа, вложенная в какую-то вещь. Очень важно правильно выбрать подарок. Чтобы человек понимал твою душу.

Первая. Я пошла в хороший магазин и купила дорогой немецкий — или голландский, не помню, — ну, в общем, хороший фирменный чистошерстяной плед, с очень благородным рисунком — в черно-голубую клетку по белому фону. Когда я пришла к ним, его еще не было дома. Это был уже не непосредственно день рождения, а через несколько дней, обычный рабочий день. Надо сказать, свой день рождения он отмечать не любил и тогда, по-моему, тоже не делал этого. Ну, в общем, я пришла, Таня (его жена) встретила меня, мы посидели, как обычно, я с Катюшей поиграла, а вечером уехала, его не дождалась, он позвонил, сказал, что будет очень поздно. Да, Тане плед очень понравился, она его расстелила у него на кровати, сказала, что и ему наверняка понравится и как раз это то, что нужно. А когда я приехала к ним снова через несколько дней, Таня встретила меня очень смущенно и виновато.

Вторая. Мама мне всегда говорила: «Мужчина должен быть мужественным и великодушным».

Первая. Я смотрю — этот плед лежит свернутый обратно в упаковку в прихожей на тумбочке. Я обалдела просто. Таня начала смущенно мне объяснять, что, мол, он велел отдать мне его обратно, что это он сам все аккуратно свернул и вынес к двери, чтобы я не забыла. Мол, вещь дорогая, а я человек далеко не богатый, нечего зря деньги выбрасывать, у него, мол, и так все есть.

Когда до меня все это дошло, а дошло, надо заметить, не сразу, у меня сначала такое ощущение было... Что я на себя смотрю, как в кино какомто, что это все — не со мной. Так вот, когда до меня наконец дошло, я села тут же на табуретку и разрыдалась, я плакала часа два, наверное. Успокоиться не могла. Мне было жутко обидно. Я, конечно, понимала, что он намного сильнее меня, что ему от меня ничего не нужно, но мне так хотелось хоть что-нибудь для него сделать!

Вторая. А когда ссора, то был бойкот. Он со мной не разговаривал... Пока я не просила прощения.

Первая. Я так и плакала, когда он пришел домой. И начал надо мной подшучивать. Мол, тоже мне, нашла, что подарить, мне это вообще не нужно. Таня с ним начала ругаться. Я сказала: «Знаешь, я подарила эту вещь тебе, и делай с ней что хочешь. Если она тебе не нужна, хоть в мусоропровод ее спусти, это твое дело, но только сделай это, пожалуйста, сам, а мне ничего возвращать не надо». Я, конечно, ушла тогда. Ну, объяснение по этому поводу у них там, видимо, продолжилось, потому что через несколько дней он позвонил мне на работу и сказал, что «мы твой прибор приспособили. Работает». В общем. Пошел на попятную.

Третья. Но когда мы ссорились... обычно... вечером... На следующий день утром иногда лежит письмо от него. И читаю... «Я понимаю, что ты хочешь, но мое мнение тоже важно... Объяснить свое чувство не так легко». У него много мыслей, это мешает откровенно объяснить свои чувства. И я забывала, почему мы ссорились!

Первая. Мама мне говорила: «Если ты любишь, то до конца борись за свою любовь и никогда не выходи замуж за нелюбимого человека».

Третья. Мама всегда волновалась, если я приходила поздно. Мама шла встречать электричку. Папа спал, а мама шла встречать.

Вторая. Все проблемы — из детства, это точно.

Первая. При рождении меня уронили на пол, и у меня было три перелома — ключица в двух местах и ребро. Ребро у меня осталось навсегда, потому что они скрыли перелом, не оказали помощь как положено, не думали, что я выживу, не хотели мной заниматься. И третий перелом был обнаружен в запущенном состоянии, когда маму со мной уже выписали домой. Понимаете, именно ребро...

Третья. Четырнадцать лет — это возраст... Я ходила в среднюю школу, где были только девушки. Мальчики отдельно. Я была только с девушками, вокруг меня — все девушки. Частная негосударственная школа. Я медленно привыкла... ну... Мне трудно общаться с мальчиками, потому что кругом девушки. И только в электричке... Ну, я дома и в школе... И только в электричке, только по пути в школу и по пути домой я видела... ну, мужчин. Ну, конечно, в школе есть мужчины, преподаватели, но кроме них никого нет. Поэтому в электричке... Страшно было, когда мальчик или мужчина. Потому что в таком возрасте очень ненавидишь какие-то скандальные вещи. Например, в электричке... иногда бывает такое... мужчина трогает женщину... Да, боялась.

Первая. Я сейчас боюсь, боюсь, что мы ссоримся, как-то понимать друг друга перестали. Я все время боюсь, что как-то недолюблю, не отдам ему всего, что хочу, что должна отдать.

Вторая. В общем, я ушла. Друзья заняли денег и сняли мне комнату в коммунальной квартире. Помните песню Розенбаума «Бездомная комната»? Совершенно бездомная, она была большая, она была пустая, в углу стояла большая кровать, сломанная, стол и два шкафа — и все. И большой красный ковер. И дверь, которая была... Там был балкон — на той стороне, а на этой была входная дверь в комнату. И на входной двери висело большое такое зеркало, причем обшарпанное, обцарапанное. И вот у меня практически все вечера и ночи проходили в это время... проходили в том, что я сидела вот так в позе лотос на полу, смотрела в это зеркало, рыдала. То есть у меня были неуходящие вообще мешки под глазами, опухшие красные глаза от постоянных слез. Я сидела. И помню, что все это время я ночами говорила с ним, как бы представляя — напротив. Я ему рассказывала — смотри, что происходит. И кто в этом виноват? Да, конечно, я виновата. Но есть ведь и твоя вина. Твоя — в этом, в этом и в этом. А моя — в этом, в этом и в этом. Но как бы сойтись мы с тобой не можем, потому что ты не понимаешь, в чем твоя вина, и винишь во всем меня, а я не понимаю, в чем моя...

Первая. Он вынужден был в жизни пробивать себе дорогу сам. Я помню фильм «Последние дни Помпеи». И там герой Диомед — знаменитый купец. Ему пеняют, что он амбициозен. И он отвечает — я тащил самого себя. Вот и он тоже всю жизнь тащил самого себя. И если бы у него был другой характер, он не добился бы того, чего он добился. И эти люди, как правило, они не могут уступить и очень тяжело признают свою ошибку. Особенно в тех случаях, когда они видят перед собой человека, которого заведомо считают менее сильной личностью, чем они. Ему трудно допустить, что он может быть не прав. А когда в результате оказывается, что я была права, тут уже этого он не замечает, и ему кажется, что вся проблема заключается в том, что недостаточно хорошо выполнили то, что он сказал.

Вторая. Я говорила, говорила, говорила, это доходило до бреда сумасшедшего... Мне казалось, что я схожу с ума, потому что я вижу его перед собой, и я все это ему выкладываю, все это говорю. А он в это время был в санатории... Это был страшный период. Когда он закончился, меня не узнавали люди — я постарела лет на десять. Мир перевернулся с ног на голову — совершенно другой человек.

Третья. Когда мне очень тяжело, я себе говорю — почему Бог родил меня? Но для меня Бог — это просто удобное слово. Я не верю в существование Бога. Я не могу представить себе образ Бога.

Первая. У меня тоже с ним были достаточно тяжелые вещи потом, когда, например, он вдруг пришел к выводу... что меня надо... что это безобразие, что я до сих пор не замужем. И надо срочно заняться этим вопросом. А он организатор. Он работает на производстве, в бизнесе. Он понимает, что есть некая система, некая задача, ее надо организовать и получить такой реальный результат. И он вот так строит все. И ему другое совершенно непонятно. И вот он сказал — вот тебе такие-то и такие-то варианты. Давай их рассмотрим, все обсудим, взвесим все «за» и «против». Ты выберешь из этих вариантов — и все. Кто-то был сам согласен, а кто-то были маменькины и папенькины сыночки из его круга знакомых, и они хотели отдать своих сыночков в надежные руки, потому что он обещал хорошо устроить.

Третья. Говорят, что на людей, рожденных в год Дракона, имеет влияние их первая любовь.

Первая. Существовал момент ревности. Он решил, что сам выберет мне мужчину, и открытым текстом говорил, что «я хочу быть для тебя лидером всегда — хочу, чтобы твой муж подчинялся моей воле». И я сказала — во-первых, я совершенно не понимаю. Способ странный. Во-вторых. Я никого из них не люблю. Как я буду так жить? И вообще, я совершенно не хочу рожать ребенка от нелюбимого человека. И сначала он просто не хотел меня слушать. И потом у нас был очень серьезный конфликт — мы полгода не разговаривали.

Третья. Но если он усталый или плохо себя чувствует, он вот так чашкой хлопает об стол или дверью вот так — хлопает. Он не говорит, но внешне — проявляется. Я очень не любила этого.

Вторая. Конечно, он тоже переживает. То, какой он меня видит в своем воображении, возможно, там есть доля правды. Не спорю. Не такая уж я чистая, и непорочная, и невинная. Правильно? Вот. Но тот монстр разврата и порока, который в его голове нарисован по отношению ко мне, — ко мне это отношения не имеет. Но зачем я буду его разубеждать, если он все равно убежден? Бил, кричал, называл проституткой, шлюхой... На день рождения пожелал много мужчин и денег...

Первая. А потом как бы я... это, может быть, еще произошло потому... что у меня был роман с его другом... И... Ну, в общем, он меня бросил. Я очень сильно в него была влюблена... Да. А он меня оставил. Из-за другой женщины. Хотя он с ней тоже в конечном счете расстался. Надо сказать, что эта женщина не отличалась порядочностью. Но это совсем другая история. Но зато она была старше меня, зато она была опытнее. И в нужный для себя момент она повернула дело так, как ей было нужно. И, в общем, он женился на ней. И я очень сильно переживала. Мне очень страшные мысли приходили в голову. Я могла покончить с собой. Мне приходило такое в голову. И депрессия у меня была страшная. И он просто боялся, как бы действительно чего не вышло. Вот. После этой истории он перестал с этим своим другом общаться. Причем такая была ситуация, что, в принципе, он мог с ним как-то жестко поговорить тогда, потребовать. Но он с ним разговаривал просто, убеждал его в том, что... Такая была ситуация, что просто этот друг не был во мне уверен. Конечно, я была намного моложе. И я тогда сказала — почему ты не смог надавить, потребовать? Он сказал — ну, ты же умная, ты будешь понимать все равно, что он женился под давлением. И тебе это всегда будет неприятно, ты не сможешь с ним спокойно жить. И я с ним согласилась. Наверное, тогда он это сказал потому, что уже не мог ничего сделать.

И потом был у нас конфликт. Мы полгода не разговаривали, потому что я отказалась выходить замуж по его выбору. Он выбрал мне жениха, а я отказалась.

Он был для меня очень большим авторитетом.

Вторая. Что нам нужно? Просто чуть-чуть заботы и внимания. А где ее взять после всего пережитого?

Третья. И у меня есть друзья, а если меня вдруг не станет, что изменится для них? Ничего не изменится. Так чувствовала. И мне очень грустно становилось — зачем я живу? Но ему я это не рассказывала. Я не хотела. Чуть-чуть стыдно было... Каждый день вместе обедали, вместе разговаривали. Но я-то — не то. Я чувствовала — я очень скучный человек. Кому я нужна?.. Мне кажется, иногда ему главнее свое дело. Я подойду — дай мне хорошую книгу, помоги выбрать. Он, конечно, даст. Но это потому, что я подошла. А без этого — нет.

Первая. А я всегда считала, что он — сильная личность. И так или иначе, чтобы я почувствовала глубокую привязанность к мужчине, этот мужчина должен быть не менее сильной личностью, чем он. И когда я встретила такого мужчину, я перестала говорить с ним о своей личной жизни. Этот мужчина цельный и статичный, а он — это человек, который как будто проглотил гранату. Это какая-то внутренняя обреченность. Это сродни тому, как советские войска при отступлении сжигали свои города.

Третья. Я поступила в университет. Мне было очень интересно общаться с мальчиками — у них совсем не тот характер, что у девочек. Но через полгода я поняла: мальчики — очень не сильные. Слабые. Женщины сильнее. Мальчики... они... не так много они думают. Неинтересно. Сначала интересно было, но потом... Я хотела открытий. Но таких людей было мало вокруг меня. Я только читала книги. А общаться с людьми не так интересно было, потому что они не так думают. Но я случайно нашла кружок... чтобы играть спектакли. И там познакомилась с мальчиком. И он хотел стать писателем, поэтому с ним разговаривать было очень интересно.

Вторая. Мне нужен свой угол, тихий, спокойный, где я могу замкнуться, подумать. Переосмыслить.

Третья. Нужно стоять на земле крепко, как дерево, с корнями. Но я себя чувствую как пух, летающий по воздуху. У меня основы нету...

Вторая. Все скатилось на нет. Вообще никакого общения. Мы существуем на одной жилплощади, у нас зубные щетки стоят в одном стаканчике — больше ничего. Поначалу мы хотя бы здоровались и прощались, когда виделись, а потом...

Третья. Я видела в фильме, под Рождество: мальчик засыпает и родители относят его в кровать. И я вспомнила тоже такой момент — и я заснула на диване, а не в моей кровати. Тогда родители взяли и отнесли меня на кровать. И это очень было приятно. И на кровати одели теплым. Очень это счастливая память у меня, связанная с родителями.

Первая. Родители никогда при мне даже не обнимались, не говорили друг другу ласковых слов, не говорили друг другу: «Я тебя люблю». Зато они постоянно ругались при мне. Помню, маленькая, я засыпала, а они кричали друг на друга за стенкой. Я уши руками зажму и засыпаю, когда плакать устану.

Вторая. Самое противное, что я бы полжизни отдала, чтобы понять — где выход.

Первая. Хочется сказать ему: «Давай с тобой просто молча походим по улицам».

Вторая. Он не верит мне, не верит совсем. Ну и, наверное, он прав. Я много врала...

Третья. Я родилась — и я умру.

Первая. Я себя помню лет с трех, даже чуть меньше. По аналогии с героем Евстигнеева («Зимний вечер в Гаграх»), который сказал, что «у меня был в жизни момент, ради которого я был готов отдать все» (это когда он танцевал со своей дочерью), — я иногда думаю, что я бы, наверное,

отдала все вот за этот вечер... Мне тогда было... четыре, да, три или четыре года. Скорее три, чем четыре. Мы с папой ходили в парк. Мы туда ходили часто. Мы с ним вообще часто куда-то ходили, когда я была маленькая. Это было начало июня. Началась гроза, и папа... а мы как раз находились около пруда. И, в общем, папа меня схватил на руки и быстро-быстро побежал домой. Причем он еще меня как-то так смешил. Я помню, что мне было очень смешно. Вот. А потом вдруг вместе с дождем пошел град. И я, естественно, стала плакать. Тогда папа снял с себя рубашку, завернул меня в нее и побежал опять-таки со мной на руках домой. И его град бил по голой спине, а он еще как-то пытался меня собой закрывать. И я помню, я вот держалась за него. Это было очень большое счастье. Очень сильное чувство счастья. И, наверное, ну, наверное, навсегда это будет, так сказать... Все остальные ощущения счастья, они будут для меня сопоставимы с этим. И сильнее я пока не знаю...

Вторая. Мы сидели в большой комнате — я на кресле, а он на диване, друг напротив друга. Я сидела на кресле с ножками, значит. А он песенник листал. Листал песенник и в какой-то момент открыл песню... сейчас я вспомню... «Старые песни о главном». Ее еще Лещенко пел... С кем-то, с Варум, по-моему... Я не помню... старая песня, хорошая... Что-то там... «весна прошла»... «Почему ж ты мне не встретилась... Юная, нежная...»

Первая *(подпевает)*. «В те года мои далекие, в те года... вешние...»

Вторая. И он начал ее петь. И я смотрю — у него на глаза слезы наворачиваются, сейчас заплачет, правда... так стало его жалко! Просто нереально! И что-то так защемило внутри! Так совесть замучила! Я готова была ему на шею броситься! Я готова была на коленях стоять! Вот от всего откажусь! От всего! Прости меня за все, ПАПА! ПАПОЧКА!

Первая. ПАПА! ПАПОЧКА!

Третья. ПАПА! ПАПА!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вторая. Вообще, с самого детства я была чувственно развитой девочкой. И насколько я себя помню... может быть, это очень интимные подробности, но они важны... Сколько я себя помню. Вот... что называется мастурбацией, да? — это было с самых пеленок. Я, правда, я сколько себя помню — это было.

Первая. Нет, никогда... ничего такого... Долго ничего такого. Только один раз старшая подружка пригласила меня к себе в гости... Мне было лет семь, а ей лет десять. И говорит: «Покажи, как у тебя там все устроено. А потом я тебе покажу». И мы сели друг против друга на диване и сняли трусы. И стали все раздвигать пальцами и рассматривать... Но ничего такого. Просто мне было интересно.

Третья. Быстрое течение может погубить лодку, но ведь без него она не сможет быстро плыть!

Вторая. Вот. А дальше больше, дальше как бы вот... все наши мирные отношения с отцом... Я не помню, в какой момент это началось... И как это началось — не помню. Но как-то это началось. Вот то, что называется ласки... усиленные... частей тела, да? — это как-то стало приобретать вообще, честно говоря, какие-то ужасающие масштабы, потому что... С его стороны по отношению ко мне. Я говорю, в начале ритмы жизни были — бойкот, мир. Опять ссора, опять мир. Но когда я стала взрослей, когда я из маленькой девочки превратилась в набоковскую нимфетку, начались вот эти вещи, когда был мир. Потому что, когда был мир, было принято друг к другу очень ласково относиться.

Первая. Я как-то открыла дверь в ванную. Папа был под душем... Я стояла и смотрела. Не помню, сколько мне было — четыре, пять... Он дверь закрыл... Обрызгал меня... Потом он стал запираться, когда мылся.

Вторая. Началось все просто с того, что вот мы сидели обнявшись, какие-то там, я не знаю, щечки-поцелуи, что-то еще такое, трали-вали... А я очень любила... — у меня всегда была больная спина — я очень любила массаж. А у отца очень сильные руки. Никто дома больше так не мог. Да? Отец делал мне массаж. В какой-то момент, я не помню, то ли он попросил повернуться, то ли еще что-то. Что как бы вот... что-то такое произошло.

Первая. Мы гуляли в лесу. И он поранился о колючку. И я схватила его руку и начала ранку зализывать. Быстро-быстро. А он вдруг руку отдернул. И я подняла глаза вверх — я ему где-то по пояс была, — и у него в глазах... испуг, что ли... «Ты что?» — говорит. А я говорю: «Тебе же больно!» — «Мне не больно!» И так рассердился. Мне даже показалось, что он хочет меня ударить... Наверное, только показалось. Потому что ведь он меня никогда не бил. Никогда в жизни.

Вторая. Били меня очень часто, оскорбляли, унижали, это даже говорить об этом нечего. Это было в порядке вещей. Сказать «потаскуха» — это было нормально. Ты опоздала вечером — где ты шлялась? И за волосы таскал, и по-всякому!

Третья. Когда у меня будут дети, я ни за что не буду их бить. Пусть хоть на голову мне сядут!

Вторая. Дальше, когда мы оставались с ним наедине, я говорила, что любила смотреть с ним кассеты. И вот эти комедии — они превратились для меня, с одной стороны, в кошмар. А с другой стороны — в блаженство, потому что, как чувственно развитый человечек, мне это не могло не нравиться. Мы сидели обнявшись. И... Ну а когда это захватывает... То есть начиналось некое такое возбуждение-возбуждение-возбуждение, потом, значит, оно заканчивалось... И у меня шел просто дикий такой... — да? Как же так? Это ведь мой отец? Как же так? То есть вот доходило как бы реально до оргазма. То есть детского моего, девического такого... Руками, да, там, здесь, везде, да.

Первая. Мне было уже шестнадцать, когда мы видик купили. Так папа, смотрим с ним, бывало, фильм какой-нибудь — не то чтобы порнуху, нет, а просто мелодраму, он их тоже любит, как и я — или я, как и он, — в общем, не суть. Ну так вот, смотрим мы кино, а если на экране вдруг герои — не что-нибудь опять же, а просто целоваться начнут, — мой папа сразу пленку вперед перематывает. Самое забавное, что он, должно быть, чистосердечно полагал, что я так и не узнаю, что меня нашли не в капусте, если он будет пленку перематывать...

Вторая. И вот... во временном пространстве все теряется, я сейчас это восстановить не могу, но я помню, что все это было от случая к случаю. Случайно — не случайно... Мама тогда не знала... Но это было нормально. То есть это не вызывало во мне протестов никаких, это вызывало только радость и чувственное некое наслаждение, да? Отец много работал. И как бы по вечерам или там на выходные, когда мы вдвоем смотрели какую-нибудь комедию, да? — очередной телевизор — это было.

Третья. Когда я была школьницей, я очень любила его, но когда я ходила в последний класс — поменялось и отношение к папе. Ну, другой возраст, настроение. Взрослая, да? И в то время я смотрела по телевизору какой-то сериал... И там девушка живет с папой. Мамы уже нет, умерла. И... девушка... ну... папа... я не знаю, как это сказать, но папа иногда спит с дочерью... с девушкой... Папа ее! Ну... когда я посмотрела это... очень мое отношение к папе... Это, конечно, глупо, но чуть-чуть как-то ненормально... я почувствовала... что он мужчина. Раньше он был только папа, а теперь... да, конечно, папа, но тоже — мужчина... В четырнадцать... Мы очень много телевизор смотрим... Ну... такое... скандальное, да? Особенно в то время...

Вторая. Потом все это начало приобретать какие-то другие масштабы, потому что я стала взрослеть. И я помню, что нормально это было до

того момента, как у меня начались оформляться груди там, да и все. И когда появилось это все во мне, когда я уже достаточно оформилась, это стало приобретать другие масштабы, потому что я стала умом своим что-то понимать, и мне это стало нравиться больше. Потому что у меня были какие-то там мысли, реакции. Да? И это стало чаще. Это стало чуть ли не каждый день и каждый вечер. И как бы я помню, что вот когда это начиналось, мне это нравилось, я помню, что мне это нравилось. Вот в этом моя трагедия по большому счету, да?

Третья. И еще по телевизору мы часто смотрим какое-то страшное отношение к женщинам у мужчин. И поэтому у меня только была такая необычная информация...

И была такая ситуация. Я смотрела телевизор и сидела на диване. И папа сидел рядом со мной. И моя рука. И он трогает. И я так: «Что ты делаешь?!»

Вторая. Потому что когда я отцу это в упрек поставила все-таки, то совесть меня мучила здорово. Потому что мне это нравилось. Я получала удовольствие. Но! Вот, положим, это было, а в какой-то момент мама выйдет там. Или зашуршит, или из комнаты, из кухни пойдет сюда, руки тут же отдергивались. Понятно, да? Отдергивались. И ты понимаешь, что ты что-то делаешь плохое, потому что так как бы не... да? Что-то делаешь плохое, причем по отношению к маме. Как получается по логике.

Первая. В подтексте всегда присутствовала ревность двух женщин — между мной и мамой. Это было постоянное внутреннее соперничество.

Третья. Мама — солнце, папа — луна. Все вращается вокруг солнца.

Вторая. Но тогда я была маленькая. Я была, у меня ветер был в голове страшный. И как бы мне-то там... анализировать все это я не умела, была не способна. Понять, что я делаю что-то плохое по отношению к маме, я могла только каким-то таким непонятным чувством, которое тут вот чего-то вот такое вот скребется. А что — мне непонятно. Видимо, вот тот период, когда это было нормально в кавычках — шестой-седьмой класс, а когда это стало уже не очень нормально — девятый, десятый, одиннадцатый... Совесть мучила...

Первая. У нас всегда было общение двух людей, как настоящая семья, — настоящее доверие и взаимопонимание. И мама чувствовала, что оно между мной и отцом существует больше, чем между нею и отцом.

Вторая. Мало того... То, что как бы начинал он... А потом, когда это стало переходить в нечто другое, были моменты, когда начинала я. То есть когда я сама создавала ситуацию, когда это могло случиться, я этого ждала, мне это нравилось. Но я говорю, все это заканчивалось, как только я получала то, что хотела... да, я получала, я испытывала оргазм. И как только это происходило, меня начинала жутко мучить совесть, мне становилось все противно вокруг. Я не понимала — зачем все и как и что происходит.

Первая. Мама пыталась забить меня как женщину, внушала мне, что я некрасивая. Говорила: «Страшилка ты моя». Такое внушение мне моей женской несостоятельности. Она вслух переживала, что мужчины не будут обращать на меня внимания. И мужчины потом, когда говорили, что я красивая, я в глубине души им не верила. Думала — надо же, как врут. Как убедительно. Плакала даже.

Вторая. А потом произошло следующее: я влюбилась в мальчишку в одного — и все мои мечты и фантазии были уже связаны с ним.

Первая. Каждого мальчика, а потом мужчину я сопоставляла с отцом. И я всегда видела, что отец ярче и интересней.

Третья. И я подружилась с мальчиком.

Вторая. А как бы все, что происходило дома с отцом... стало... ну, не нужно уже это было... отторжение пошло, потому что я же ассоциировала как-то, да? Пошло отторжение, и отец это заметил. И как бы, вспоминая

сейчас, мне кажется, что были моменты, когда типа, мол, а почему нет? А поскольку я не могла сказать ему — нет, знаешь, дружок, все. Да? Не могла. Это как бы происходило против моей воли. И я все стремилась избежать, и я все стремилась уйти... Да? И деваться некуда, потому что мысли в голове путаются и ты не знаешь, что делать, потому что вот сексуальное удовольствие — оно происходит, тело-то привыкло... И это все в голове мешалось, мешалось, куда деться? Как убежать? Неизвестно было.

Первая. А тут ситуация... такая. Был парень. Заканчивал институт, он был не москвич. Я училась тогда только на первом курсе. Мне было тогда еще неполных восемнадцать лет.

Третья. У меня с этим мальчиком была одинаковая ситуация.

Мне было трудно общаться с друзьями. И ему тоже. И каждый вечер мы с ним всегда разговаривали по телефону. И очень шумно было для родителей и для сестры. И на меня всегда ругались. На втором этаже мы спим, но если я разговариваю, то спущусь вниз и разговариваю тихо.

Вторая. И вот подготовительные курсы. Там были друзья, там была любовь. Начинались запреты на уровне: после учебы сразу домой — нигде не задерживаться, ни с кем не постоять возле факультета, потому что мое расписание занятий висело у них на стене, и они же знают, во сколько заканчиваются занятия, значит, тут же я должна была быть дома.

Первая. И я ему нравилась. И я удивлялась, что я ему нравлюсь. И мама была не против. А отец был против.

Третья. Всем понравился мальчик. Все полюбили его в нашей семье, но папе не понравился.

Вторая. Началось вранье про библиотеки, про то, что я там читаю книги, вся такая умная, заученная. Про то, что вот нас задержали, а пару отменили, и еще чего-нибудь такое. И это, конечно, было страшно, потому что я все время должна была находиться в состоянии вранья.

Первая. Отец сказал мне то, что само по себе не содержит ничего плохого. Он как раз мне все сказал с точки зрения здравого смысла. То есть он сказал мне, во-первых: ты понимаешь, ты еще только на первом курсе.

Вторая. Я не могла сказать просто — мы зашли в кафе, мы общались с друзьями. Могу я приехать на час позже? Нет. «Я знаю, что это такое, — там наркотики, там алкоголь, значит, откуда я знаю, вот они напьются — что они с тобой сделают?» И это было, конечно, вот это вот неописуемо.

Первая. «У тебя твоя работа, твоя профессия будет связана с очень большим количеством контактов, общения, у тебя будет очень большой круг знакомых. И, может быть, тебя ждут еще многие и многие увлечения, и не надо так быстро себя связывать».

Третья. Я не знаю точно, почему он не понравился папе, но... по-моему, такой мальчик... он хочет разрушать закон, то, к чему мы уже привыкли... И папе поэтому не понравился.

Вторая. Вот, значит, я говорю, случился этот первый мальчик. Я привела его домой. Это был свет в окошке. Вот если я с мальчиком, то как бы вот все — идите на фиг. Но уж тут я должна была спрашивать вообще разрешения в каждом своем шаге. Вплоть до того, что мы идем в кино, вплоть до того, что я поеду к нему в гости, вплоть до того, что мы сейчас пойдем в парк погуляем. А потом зайдем в магазин, а потом придем домой.

Первая. И еще отец сказал: совмещать учебу и семейную жизнь крайне тяжело. Ты сейчас вот учишься на пятерки, а начнешь жить семейной жизнью — то на тройки сразу скатишься. А я хочу, чтобы ты получила хорошее образование, что тоже разумно. Это разумно.

Вторая. Мальчик поначалу понимал, и как бы нормально все это было, но тут начались штуки сексуальные самые настоящие... То есть он не был моим первым мужчиной... То есть он не стал моим первым мужчиной. Но там было много этих моментов. Нас перло друг от друга со страшной силой.

Третья. Например, мы хотели чуть-чуть попутешествовать вместе. Туда и обратно невозможно было успеть. И я без согласия родителей. Я позвонила, сказала — мама, я не успею вернуться. Но папа, когда я вернулась, даже... ну, мальчик провожал меня... Но он очень рассердился — почему он здесь и ты что делаешь?

Первая. Ну и потом он говорит: ты понимаешь — ну вот он заканчивает институт, он не москвич, как ты можешь гарантировать, что он не хочет просто зацепиться за Москву, женившись на тебе. Вот он сейчас на тебе женится, а через пару-тройку лет ты поймешь, что ему нужна была вовсе не ты, а просто московская прописка. И когда он мне все это сказал — на тот момент он действительно меня убедил.

Вторая. И, значит, в какой-то момент... По-моему, это было воскресенье. Я говорю — мы сегодня к Вите поедем в гости. Хорошо? — Хорошо. Но мы не поехали в гости, а пошли в кино. А в гости поехали в понедельник. Мы сидим у Вити в гостях. Звонок. Мама. «Срочно ехать домой». Я говорю: «Что случилось?» — «Срочно ехать домой». Мам, объясни, пожалуйста, что я сейчас буду переть и волноваться? «Отец хочет, чтобы ты срочно приехала домой».

Третья. Почему я не могу поехать с друзьями? Почему не могу остаться ночевать у друзей?

Вторая. Ну, мы удивились, собрались. Проводил меня. Я приехала. Отец отзывает меня в комнату, говорит — как это понимать? Я говорю — что? Типа — с какой стати ты сегодня была у Вити? Я ж спросила разрешения? — Ты спросила в воскресенье, воскресенье — выходной, родители должны были быть дома, а сегодня — понедельник, родители на работе. Что вы делали одни в пустой квартире? И меня просто так это бух по мозгам. Прости, папа, ничего не делали, кино смотрели. Вот. Он, конечно, был прав, мы, конечно, там многим занимались. Но... имели право.

Третья. Мы ничего такого не делали. Совсем ничего.

Первая. И я была согласна. И рассталась с ним, с этим молодым человеком, совершенно ну без всякого сожаления.

И потом, папа не сказал, что я тебе запрещаю, а он просто меня убедил.

Третья. По-моему, для него, для папы, такой молодой характер... был непонятен. Он не привык, он думает по-другому. Думает — его дочери это не подойдет. Просто ему не понравилось. Иногда он что-то говорил в шутку о мальчике. Ирония, да?

Вторая. И вот тогда был первый разговор, который как бы вот очень-очень наши отношения повернул. И тогда мне прямым текстом было сказано, что если ты с кем-нибудь переспишь до свадьбы, то ты мне больше не дочь, я от тебя отказываюсь, то есть если это случится, то считай, что у тебя нет отца.

Третья. Я захотела этого, потому что запрещали.

Вторая. Долгая шла беседа про всякие-разные морально-нравственные ценности, про то, что я не зла тебе желаю, а вот выйдешь замуж — ради бога, сколько угодно... Это была моя проблема всегда. Они друг у друга были первыми, они были счастливыми, и как бы по сей день они, тьфу-тьфу-тьфу, они вместе. А о том, что бывают другие истории, — это нет. «Пап, а если он не подходит мне физически?» — «А откуда ты это поймешь, если никого у тебя до этого не было? Тебе же не с чем сравнивать. Не бывает такого, чтобы люди не подходили друг другу».

Первая. Мне моя старшая подружка говорила: «Выйти замуж не переспав — это все равно, что взять кота в мешке. Не делай глупостей! Убедись сначала, что это стопроцентно — то, что тебя устраивает в постели!»

Вторая. Шли разговоры про верность — что если это случится, то ты никогда не будешь счастлива замужем. Ты будешь не первой, он будет не первый, это будет беда на всю жизнь. Легко будет бросить.

Третья. Этот мальчик нашел другую подругу. Мы еще как-то разговаривали по телефону. Но мы уже шли по разным дорогам, да? Ну, мне нормально было с ним разговаривать, потому что для меня такой человек, который понимает меня, — редкость, ну не так много. Но для него со мной разговаривать было тяжело. Поэтому мы решили не общаться больше.

Первая. Очень даже бывает, что люди не подходят друг другу физически. Но это я сейчас знаю. Раньше не знала.

Вторая. Мне это свалилось как снег на голову — весь этот разговор. Унижало еще то, что отец мне все это говорит такие вещи. Ладно, если мама. Вот вы тихо сидите, и она по-женски тебе объясняет, что, ты знаешь, вот я, конечно, все понимаю, но пойми меня. Как-то деликатно. А когда тебе прямым языком говорят — что вы там, блин, делали! И если что, то ты мне не дочь! И отец! Мужчина!

Третья. И у папы — усы. Поэтому я любила мужчин с усами, когда школьницей была. Сейчас — нет. Не люблю.

Первая. Отец всегда твердо знал, что я ничего не сделаю такого, что бы причинило ему боль... И он этим пользовался. Если ему не нравился какой-то мужчина рядом со мной — я расставалась с этим мужчиной. Но... ему не нравился никто.

Вторая. Тогда я стала избегать отца. Тогда это было — конфликт во мне на уровне отторжения такого. Видимо, тогда это все началось. Вот сейчас я понимаю, что, видимо, тогда. Потому что сейчас мы абсолютно чужие люди. А началось, видимо, тогда. До этого мы были близкими, мы правда были родными и близкими. Да, я не могла ему ничего такого рассказывать, делиться с ним, я даже маме не могла ничего такого рассказывать, потому что я жила своей собственной жизнью, параллельной им, с самого детства, с самого раннего детства. Всегда я знала, что меня будут ругать, на меня накричат, меня там еще что-то. И даже просто по-человечески подойти к маме спросить что-то там такое — это всегда вызовет...

Третья. Ты не веришь мне? Ты боишься, что я сделаю что-то плохое. Значит, ты думаешь, что я плохая! Ты уверен, что я — плохая.

Вторая. И я, значит, начала прятаться от него. Я пыталась... я боялась жутко, я помню этот страх, я боялась столкнуться с ним в пустом коридоре... как-то там. Если учесть, что я, в принципе, с детства никогда не любила носить лифчики — скованное тело, мне казалось. Может быть, и надо носить, но я не люблю, меня это сковывает. Я ненавижу себя чувствовать несвободно в этом смысле. А дома, естественно, ходишь в каких-то маечках там просвечивающих, там еще что-то. Я жутко боялась. Потому что он брал как в тиски, и выйти тоже не получается — и так пытаешься, и эдак пытаешься, а куда? Ну никуда.

Первая. Мне всегда нравилось ездить на машине с ним рядом, не сзади, как полагается для ребенка, а именно рядом.

Вторая. В результате все это было-было-было, так оно все и происходило до ссоры. Потом случался конфликт, и какое-то время я могла дышать свободно, потому что тут со мной не говорили, и было по фигу — столкнемся, не столкнемся... Вот. И кстати говоря, сейчас вспоминаю, что были такие моменты, что мирились-то мы только потому, что столкнулись и отец как бы... ну и все... и типа помирились. И только потом еще через несколько дней — он говорит — ну так давай поговорим, а то чего это мы с тобой помирились, а мораль-то не ясна. Вот.

Третья. Тогда пусть на самом деле я буду плохая!

Вторая. И семья казалась благополучной. И приходили люди и говорили: «Ой, какие у тебя дети! Ой, какая у тебя семья! И как у тебя уютно, хорошо!» И просто гордиться надо и все такое! И как они поют, и как они то, и как они это! Вот.

Первая. А когда я стала старше, я замечала, что папа с удовольствием дарил мне цветы. И лучших цветов, чем отец, мне не дарил ни один

мужчина. Лучших не потому, что папа подарил, а потому, что они были так выбраны.

Вторая. И когда у нас начались реальные серьезные конфликты, я стала анализировать все то, что было тогда, и стала понимать, что, возможно, своими действиями отец очень здорово подрывал веру в семью, веру в ощущение того, что муж, жена и так далее... И как это может быть? Мама рядом, а мы в другой комнате... А мы тут...

Первая. Дарил украшения, косметику. Маме он этого практически не покупал — мама все покупала сама. Она и не особенно этим увлекалась, но тем не менее.

Третья. Любил наряжать меня как куклу. Все покупал мне сам... А мне не это нужно. Мне нужно, чтобы мне верили!

Вторая. Я помню даже один момент... Он, правда, в состоянии аффекта был. Отца он здорово выбил... Мне, правда, честно говоря, больно о нем вспоминать... Конечно, дальше этого отец бы не пошел никогда. Понятное дело, что никогда бы не пошел. Я в это верю и ничуть в этом не сомневаюсь. И вообще я очень боюсь, что когда я начинаю все это рассказывать, отец выглядит таким монстром, а при этом было же и очень много хороших моментов. Мы ведь любили друг друга и жили в семье, и он был моим отцом, я была его дочерью. И было очень много хороших моментов, они сейчас не вспоминаются, потому что все каким-то туманом заволокло. А момент, это был тот момент. Когда я начала отторгаться от всего. Мало того, сколько раз я себе давала обещания... Я помню, что я засыпала.

Третья. А когда у меня была высокая температура, он сидел рядом и держал свою руку у меня на лбу. Холодную руку.

Вторая. И в комнату вошел отец. Пожелать мне спокойной ночи. А я заранее под себя одеяло подтыкала и ложилась на него, чтобы он не смог под одеяло руку засунуть. Я знала, что он придет и засунет руку под одеяло...

Первая. А когда у меня была высокая температура, а он садился рядом, я брала его руку и клала себе на лоб. А иногда на грудь. И мне было легче дышать. Но с груди руку он быстро убирал... Я говорила: «Мне так легче дышать...» А он говорил: «Сейчас придет мама — даст тебе лекарства».

Вторая. И он вошел, сел рядом, и мы как-то смеялись, разговаривали, а потом он взял мою руку и положил себе... туда... Прямо туда. И я почувствовала, какое там все большое и твердое... Я руку отдернула. И он тут же вышел.

Первая. Был эпизод. Мы вдвоем куда-то ехали глубокой осенью. И у нас сломалась машина. Остановились люди какие-то — помогать — и подумали, что я его жена. И я поймала себя на мысли, что мне очень приятно это слышать. И отец, кстати, тогда этого не опроверг.

А еще был эпизод. Я училась в десятом классе. И мы были летом в Киеве. И мы шли куда-то по гостинице, без мамы. И какие-то люди подумали, что мы — муж и жена.

Третья. «Не главное — достичь желаемого. Главное — не желать того, чего не нужно желать», — кто-то из древних сказал.

Первая. И в моем подсознании отец всегда боролся с каким-то другим мужчиной. И мне становится порой жутковато, так как я ловила себя на мысли — если я общаюсь с отцом, то мужчина мне никакой другой не нужен, даже если я в кого-то влюблена. Вот влюблена, а куда-то пошла с папой — и про этого мужчину не вспоминала. Забывала в его присутствии обо всех.

Вторая. И я в результате ушла. Мама ничего не понимала. Почему я ушла? Юношеское самоутверждение такое! Она только видела, что мы ссоримся с отцом... Вскоре после этого мама попала в больницу.

И, значит, вскоре после этого попадает в больницу отец. И я тогда тоже переболела на нервной почве.

Первая. И я увидела отца с другой женщиной. В Сокольниках, в парке. Средь бела дня. Они шли по аллее и целовались. И смеялись. Мама была на работе. Я — прогуливала институт. С мальчиком. Отец шел прямо на меня и ничего не видел. Он был счастливый, как мальчишка. И он подхватывал ее и кружил. Им было хорошо друг с другом. И я потянула мальчика к скамейке. И мы сели. А отец с женщиной прошли мимо. Она была совсем молодая. Чуть старше меня. И похожа...

Третья. Когда я звоню домой и слышу голос мамы, я думаю, что я еще не взрослая.

Вторая. Я позвонила. Мама сказала — давай встретимся. Разговор был очень эмоциональный. Я поняла, что смогу изменить нашу семейную ситуацию, только если выложу маме всю правду. И я рассказала все, как есть. Упуская, может быть, какие-то подробности, которые, может быть, ее слишком бы ранили, но суть всего моего конфликта, как я его вижу с отцом. Я ей рассказала.

Третья. У нас все есть, чтобы жить удобно, спокойно, но...

Вторая. И рассказала про наркотики, про Сашу, про первого мужчину — про все. Как жила одна в заброшенной квартире. Для нее открылся просто другой человек. Ее дочь. Все с ног на голову.

Первая. Маме я не сказала. Ее не было дома. Я кричала: «Я тебя ненавижу! Ты меня предал! Ты мне не отец!» И я била его кулаками в грудь. Он стоял такой подавленный. Он что-то говорил, что не тебя, а маму, а тебя не предавал, а тебя я очень люблю и никогда не брошу и только из-за тебя не ухожу из семьи. Я кричала, что — при чем тут мама?! Что я... так люблю его, а он! Он сначала пытался меня успокоить, обнять. А потом, как истеричку, отхлестал по щекам.

Вторая. На маму тогда было страшно смотреть. Но я не могла это в себе больше держать. То есть вот это было последнее средство защиты, оправдания и попытки что-то изменить. Последняя соломинка.

Первая. Он курил на кухне. Я подошла. Обхватила его голову. Стала целовать, целовать... Везде... Я ничего не помню... Помню, что он держит меня за плечи и трясет. Сильно-сильно. И глаза у него сумасшедшие... И я поняла, что теперь он точно уйдет.

Третья. И я решила: если вы так все запрещаете, если я плохая — я пойду и сделаю это!

Вторая. Мама уехала домой со словами, что теперь все будет зависеть только от тебя и от отца. Что я умываю руки. Что я вообще больше в этом не участвую, в этих разговорах.

Первая. Папочка, не бросай меня. Я хочу быть с тобой... всегда... Мне никто-никто больше не нужен!

Вторая. В тот же день мама все выложила отцу. Все — до мельчайших подробностей нашего разговора. На следующий день позвонил отец. Попросил встретиться, чтобы поговорить. С ним разговор был такой — еще раз все подробно. Манифест Золя — «Я обвиняю».

Первая. «Ты сам виноват! Ты сам виноват, что ты лучше всех! Разве я виновата, что я твоя дочь?!» Я так говорила... А он только пугался еще больше...

Вторая. Впервые в жизни я говорила с отцом не боясь. Он выслушал, а я выложила все — все свои эмоции, все свои мысли, которые за двадцать лет накопились. Начиная с самого детства.

Третья. На дискотеке я выбрала парня. Я ему нравилась. Он постоянно крутился рядом. И потом он стал прижиматься ко мне и трогать за все места. Но я вдруг поняла, что я не могу. Я сказала — знаешь, я не могу. А он сказал — нечего строить! Поедешь ко мне! И там были его друзья. Они стояли на выходе. Я поняла, что не выйду. Я позвонила папе, чтобы он приезжал. Я кричала: «Забери меня отсюда!»

Вторая. А потом был его монолог. Для него, конечно, были откровением мои слова... об этом... потому что он об этом не помнил — о том, что происходило, а если помнил, то не придавал этому значения некоего греха. Для него это было, как он мне потом объяснял, да, я что-то припоминаю, но мне казалось, что вот в жизни каждой девочки должно быть что-то вроде чувственного воспитания. Мужчина как бы, да не в понятии привычном — первый мужчина, а вообще первый мужчина в жизни девочки — это отец. И как бы он меня воспитывал. Это для него входило в воспитание. И он предположить не мог, и в мыслях у него не было, что это как-то отрицательно на меня влияет... и что какие-то мысли у меня в голове варятся. Видимо, я повод ему давала так думать, может быть, в детстве.

Третья. Я танцевала, танцевала не останавливаясь. Я думала, что упаду. А он все не ехал. А выйти я не могла. Я боялась отойти от девчонок. Потом он приехал. И забрал меня. Он сказал: покажи — кто? А я испугалась, что он будет бить, что драка, и сказала — они уже ушли!

Вторая. Он говорил — почему же ты не сказала мне? Не сказала мне — прекрати, и все. Если так тебя... Почему ты молчала? А я боялась. Я не могла ему сказать. Боялась я его. А потом, как я ему скажу — нет? Ведь это будет значить, что я тогда та самая зависимая маленькая девочка, которая не могла пикнуть, боялась все время в страхе, все время врала, могла бы вдруг сказать отцу — нет, это означало бы, что он что-то делает неправильно... Да, мне это было страшно. А почему я не говорила матери — понятно.

Третья. Он посадил меня в машину — на заднее сиденье. И мы поехали. Я говорила, что я сама хотела, чтобы все узнать. Что он сам виноват. И со мной началась истерика. Я так плакала. Папа остановился, вышел, сел со мной рядом. Он целовал меня, утешал, гладил по голове. Я плакала... Он целовал... Я плакала... Он целовал... Я не понимаю, как все это произошло... Ну... И, в общем, я все узнала... Что хотела... И только больно и... ничего... Почему это все любят?

Вторая. Для него это, конечно, было шоком и заставило пересмотреть во многом весь наш конфликт. И когда стало ему ясно, что давно я уже не девственница, и как бы не один раз, и не один человек, и вообще я живу нормальной половой жизнью, мне было сказано, что да ты действительно мне теперь не дочь. Ну, я припомнила ему эти слова. Я припомнила то, что я чувствовала, когда он это говорил. Все это не имело вот такого действия, такого вот... не знаю в результате. То есть действительно не дочь в том понимании, в каком это было раньше, то есть я ответственности за тебя уже не несу. Ту, которую я на себя брал. Но ради матери, которая в депрессии, на нее страшно смотреть, она похудела, возвращайся домой.

Первая. Я дружу с его второй женой. И сестру подтягиваю по английскому.

Вторая. Я спросила — ты представляешь себе это как лицемерие некое такое? Просто будем ради мамы здороваться, прощаться, улыбаться друг другу? А он опять: я тебя прошу ради мамы — вернись домой.

Если вы не любите друг друга — зачем вы рожаете детей?!

Первая. Все равно я знаю, что он меня любит больше всех на свете. Я это знаю. Я — главная женщина в его жизни. Только тут ничего не поделаешь.

Третья. Я потом уехала. Стала жить отдельно. Я приезжаю к ним в гости. Мама рассказывает, что они купили... Что ей подарил отец... Кажется, у них все хорошо... Я никогда их не брошу.

Вторая. Мама с отцом долго говорили по этому поводу — мне мама потом рассказывала. Она сказала отцу — я готова стерпеть все, что угодно, лишь бы ты был рядом. И он был рядом.

Первая. Идеальные родители — это те, кого дал Бог.

Вторая. На следующее утро он позвонил мне со словами — девочка моя, я тебя очень люблю. Прости меня за все. И возвращайся домой, я буду очень рад тебя видеть, буду рад тебя слышать. Папа, и я тебя тоже очень люблю.

Третья. Зачем я рассказываю? Могу рассказать и получить ответ, сравнить и себе вопрос добавить и искать выход могу с помощью другого человека. Если вокруг меня таких людей много, таких, как я, тогда я тоже от них могу взять кусочек силы, чтобы жить.

Первая. Я точно вам говорю, что все можно пережить. Все, что угодно, можно пережить. Даже самое страшное. Человек такое существо. Пережить. И дальше жить... С этими же людьми... Ни с какими-то другими. Дальше жить.

Третья. Когда я сейчас вижу папу... у него волосы были только черные, а сейчас уже белых много. Когда я вижу это, я хочу что-то сделать для него, если можно.

От автора

Пьеса «Первый мужчина» написана не совсем традиционно. Она сделана по методике «Verbatim»[1] *в рамках проекта «Документальный театр», который в последние годы начал занимать достаточно серьезное место в театральной жизни России.*

Для меня эта тема и эта «подача материала» — новая, непривычная, как и для многих. Поэтому я хочу подробнее рассказать, как возникла эта работа.

Техника «Verbatim» появилась в Англии, в Лондонском театре «Роял Корт». Состоит она в следующем. Драматург определяет для себя социально значимую тему, проблему, идею. Если этой темой он «заражает» режиссера и актерскую команду, то начинается совместный труд. Актеры сами «идут в народ» с диктофонами в руках и опрашивают на заданную тему энное количество человек (чем больше — тем лучше). Записывая беседу, актеры попутно внимательно наблюдают своих интервьюируемых, запоминая все характерные черты поведения — языковые особенности, жесты и так далее. Весь собранный материал передается драматургу, который «расшифровывает» его, не редактируя и оставляя все оригинальные свойства так называемых «информационных доноров» вплоть до пауз, охов, ахов, придыхания, заикания, «вредных словечек» и тому подобного. Затем на основе этого материала драматург пишет пьесу. Сложность в том, что автор не имеет права редактировать текст своих персонажей. Он может только компилировать и сокращать. Но придумывать свои истории «по мотивам» услышанного, добавлять, где надо, саспенса или, скажем, недостающий «драматургический узел» — не имеет права.

Когда текст готов, следующий этап работы — постановка спектакля, где актеры играют тех людей, с которыми делали интервью.

Резонанс таких пьес на Западе очень велик.

Особенно нашумевшие спектакли — «Язык тела» Стивена Долдри, «Серьезные деньги» Кэрил Черчилль, «Родина-мать» Элиз Доджсон.

Семинары-тренинги по новой технике с нашими молодыми драматургами проводила Элиз Доджсон — руководитель международных программ «Роял Корт». И после этого многие «запали» на «DOC» как на средство языкового обогащения, как на возможность раздвинуть рамки языка литературного и своего собственного, внутри которого ты постоянно живешь, и взглянуть в целом на драму извне — с неожиданной точки зрения.

В Москве «Театр.doc» отметил год своего существования. В его репертуаре уже несколько спектаклей, каждый из которых вызвал интерес прессы и повлек споры: что это? Новая театральная эстетика или хорошо закамуфлированное старье? Ведь и до этого были пьесы, например Алексиевич... Минуточку. Это была

---

[1] Дословно *(лат.)*.

«драма на документальном материале», написанная по всем канонам жанра, а не «документальная драма». Это были художественно переработанные факты, а не документ в чистом виде. И в этом принципиальное отличие нового документального театра, пользующегося скупым языком минимально обработанной информации.

Каждое представление в «Театре.doc» вызывает у зрителей очень острую реакцию — либо остро негативную, либо остро позитивную. Среди спектаклей «doc'а»: «Песни народов Москвы», в основу которого положены интервью с бомжами; «Цейтнот» — по рассказам солдат, раненных в Чечне; «Сны» — поднимающий проблему наркомании; «Кислород» — «лирическое отступление» о том, без чего нельзя дышать — в прямом и переносном смысле; «Преступления страсти» — о женщинах, убивших своих возлюбленных, на материале, собранном в женской колонии строгого режима.

Тема моей пьесы пришла ко мне сама. Как тихий домашний человек, не очень умеющий общаться с бомжами и наркоманами, я выбрала стезю, как мне казалось, самую что ни на есть «безопасную»: «Мама и дочка» — взаимоотношения в семье, переходный возраст, самоутверждение и так далее. То, что актуально всегда. С этой темой я и пришла к студентам ВГИКа, преподаватель которых, режиссер Александр Великовский, предложил сотрудничество со своим тогда первым курсом режиссеров документального кино. Для них подобная работа была хорошей практикой. При первой же встрече тема трансформировалась, так как возникло предложение заменить «маму» на «папу», поскольку с папами взаимоотношения в семье исследованы меньше. «Тут и про мужской шовинизм поговорить можно, и про мужской идеал»... Три студентки с курса активно подключились к собиранию материала, предполагая, что потом они и будут играть этих «дочек».

Я тоже начала опрос... И сразу — в первом же интервью — «нарвалась» на шокирующую историю инцеста, мимо которой пройти было уже невозможно, и это окончательно сузило рамки заявленной темы. В том и ценность методики «Verbatim», что она выводит писателя в области, далекие от его личного жизненного опыта, заставляет по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известный для него материал, в моем случае — на отношения в семье. Разговаривая со следующими собеседницами, я уже сознательно задавала вопросы, касающиеся интимных отношений с отцом. И каково было мое удивление, когда каждая вторая начала рассказывать вещи, о которых, мне казалось, никто никогда никому не говорит, если они есть, а уж тем более — не в диктофон на всеобщее обозрение. Потом я поняла, что именно эта «глубинная запрятанность» и тяготящая многолетняя саднящая рана требовали вербального воплощения, «проговоренности», и разговор приносил облегчение.

Не подумайте, что у каждой из наших «информационных доноров» (их около пятнадцати человек) была интимная связь с отцом. Вовсе нет. Но у каждой были сложные комплексы по отношению к отцу, у каждой был немалый счет, чувства противоречивые и болевые. Вся палитра предстала перед глазами — от безумной преданной, всепрощающей любви до тяжелой холодной ненависти. И каждая так или иначе видела в своем отце именно мужчину, а не только папу. Удивительно на этом фоне проступали загадочные фигуры матерей этих женщин — персонажи, оставшиеся в тени и подробно не исследовавшиеся, но несущие на себе несомненную психологическую нагрузку и вину. В голове у каждой из опрашиваемых женщин так или иначе «звучала» ее мать. Но это уже отдельная история. (Кстати, один из готовящихся проектов «Театра.doc» — «Я — дочь своей матери».)

Работая над пьесой, я очень мучилась одним вопросом — имею ли я право выпускать в мир такую сильнодействующую информацию негативного характера? Где та грань, которую нельзя перешагнуть? Ведь спектакль будут смотреть люди, для которых эта тема чужда и неприятна. И после действительно было много нареканий типа: «Зачем вы это сделали? Эта тема для психиатра, а не для писателя». Я так не считаю.

Если среди нас есть какой-то процент женщин, страдающих «на эту тему», то они должны понимать, что их проблема волнует не их одних, они должны понимать, что с «этим» можно жить, что «это» можно преодолеть и найти выход помимо самоубийства.

Конечно, есть еще масса проблем, о которых говорить непривычно, трудно, непонятно — как. Но загонять все внутрь себя и потихоньку сходить с ума от этого — тоже не выход. Выход — дать возможность выговориться, обсуждать, а не осуждать, пытаться помочь — это то немногое, в чем мы не можем отказать им.

К тому же опыт годичного существования спектакля показал, что он вызывает интерес не только у тех немногих, кого это впрямую касается, но и у большинства зрителей, потому что проблемы господства и подчинения, манипулирования друг другом, желание добиваться любви любой ценой, властвовать над близким человеком, которого любишь, существуют в той или иной форме в любой семье и касаются каждого.

С некоторыми из этих женщин я общаюсь до сих пор. Та степень откровенности, которая возникла между нами, когда они совершенно доверчиво наговаривали на диктофон свои самые мучительные моменты жизни, не могла пройти бесследно. Они звонят, советуются, как поступить в той или иной ситуации. В какой-то мере я оказалась психотерапевтом, сама того не ожидая. Меня это не пугает. Если человек советуется — еще не все потеряно.

Язык всех героинь пьесы вполне интеллигентный. Мы не брали слишком большой срез общества — снизу доверху. Мы общались с женщинами в основном своего круга, то есть выросшими в среде гуманитарной и технической интеллигенции — врачи, инженеры, преподаватели, журналисты... Сообразуясь с небольшим форматом «Театра.doc», количество действующих лиц пришлось уменьшить до трех. Истории трех женщин вошли в пьесу целиком, от других остались только абзацы или фразы.

Случаи, когда «трахнуться с папой» — как воды попить, в зону наших интересов не входили, нас интересовали героини страдающие, любящие, даже религиозные, отношения трагические, а не «животные».

Все, кто работал над проектом, — режиссер Александр Великовский, художник Татьяна Спасоломская, студентки ВГИКа Анастасия Тарасова, Ольга Стефанова, Масако Курита (Япония), актрисы Елена Морозова и Елена Чекмазова — подошли к теме очень щепетильно, достойно и деликатно. Александр Великовский, не перегружая спектакль внешними режиссерскими приемами, позволил актрисам точно и бережно донести до зрителя голоса реальных женщин. А неожиданное образное решение театрального пространства Татьяной Спасоломской — нежные бледные цветы на грубых ржавых листах железа, снятых, кстати, с крыши старого дома ее папы, — внесло в документальную структуру метафорическое начало. Поэтому спектакль, несмотря на исключительно документальное и даже провокационное содержание, вышел глубоко лирический, с отзвуками древнегреческой трагедии. Спектакль получился о любви — о любви, какой бы странной она ни была. О любви, возникшей к... первому мужчине — отцу, единственному мужчине, к которому такая любовь возникнуть не должна.

Эта трагедия вряд ли могла бы произойти в семьях с нормальными, здоровыми взаимоотношениями, где родители любят друг друга. Поэтому так страшен и так понятен крик одной из героинь: «Если вы не любите друг друга — зачем вы рожаете детей?!»

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ

*

ПОЛЕ СЕРДЦА

* *
*

Есть чернила, есть бумага,
Есть перо, и есть свеча,
Но еще нужна отвага,
Чтоб стихи свои начать.

Есть обжитая каморка,
Есть ночная тишина,
Есть заварка, есть махорка,
Но еще душа нужна.

Ни стремленье, ни старанье
В ходе дела твоего
Без любви и состраданья
Не решают ничего.

* *
*

По звездному поясу — Овен,
По склонности — мирный поэт,
Не звал я к пролитию крови,
Не славил кровавых побед.
И сам не пойду на закланье
До самых остаточных сил.

А кровь сберегу для писанья
Стихов своих вместо чернил.

* *
*

Хранительница очага,
Продлительница рода,
Не оставляй меня, пока
Такая непогода.
Ведь для меня, для старика,
Страшней, чем смерть, свобода.

Решетов Алексей Леонидович родился в 1937 году в Хабаровске. Автор нескольких лирических сборников и книги прозы. Жил в Екатеринбурге, где скончался 29 сентября 2002 года.

Публикуемые стихи — из готовящейся к печати поэтической книги «Овен».

* *
*

Безволосый и беззубый,
Словно сказочный урод,
Я встречаю самый любый,
Самый милый Новый год.

Никого со мною нету —
Все уже лежат в земле.
Все уже за речку Лету
Переправились во мгле.

Над одним растет рябина,
Над другим шумит сосна.
У кого забыто имя —
Не подскажет тишина.

Собирайтесь в гости, тени,
Сбросьте с плеч гнилой венок.
Выпьем водки, станем теми,
Кем мы были в давний срок.

И тихонько разойдемся,
Чтобы мертвым и живым
Не мешать под красным солнцем
Пребыванием своим.

* *
*

Мы расстаемся навсегда.
Меж нами бурая вода,
Меж нами камни-валуны
И города чужой страны.
Но дебри нашей седины
Неразлучимо сплетены.
Но кожа к коже приросла,
Покуда ты моей была.
Ее разъять и разделить —
Еще живую кровь пролить.

* *
*

Любовь не терпит суеты.
Еще за днями дни продлятся,
Пока надежды и мечты
В святые чувства превратятся.
Не заблуждайся, не тверди
О сокровенном так усердно.
Но не спеши, не уходи
Из поля зрения и сердца

* *
*

Не хочу, чтоб жизнь закончилась
Вдруг, однажды, просто так.
Чтобы тело жалко скорчилось,
Сдвинув с места свой тюфяк.

Написать строку бессмертную,
Обнимать подругу всласть
И, пройдя по снегу первому,
Неожиданно упасть...

18 февраля 2000.

НИКОЛАЙ ЛИТВИНОВ, АНАСТАСИЯ ЛИТВИНОВА

*

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Исторический очерк

Антигосударственный террор вновь возвращается в Россию. Он уже бродил по России во второй половине XIX и начале XX века и собрал здесь обильную кровавую жатву. Он разрушил великую державу — Российскую империю, уничтожил цвет нации, уничтожил науку, ослабил промышленность, сгубил крестьянство.

Государство — это территория, народ и власть. Антигосударственный терроризм может посягать на государственную территорию, стремясь отобрать ее у одного государства и передать другому. Террор посягает на власть: он стремится разрушить институт верховной власти, сменить государственных лидеров, изменить внутреннюю либо внешнюю политику; изменить форму правления либо форму государственного устройства.

Теперь терроризм действует как международная политическая сила, грозящая уничтожить современную цивилизацию. Никто ни в России, ни в целом на планете не знает, что с этим делать. Между тем дореволюционная Россия накопила значительный опыт противодействия революционно-террористическому движению. Сегодня на этот опыт пришло время взглянуть по-новому — без прежней предвзятости и глазами специалиста-криминолога.

Россия пережила в XX веке несколько революций. И каждая революция была неотделима от террора, предшествующего ей и следующего за ней.

О российских революциях написано в советскую эпоху много. Но есть ряд моментов, которые не дают оснований полностью доверять тем, советским, исследованиям.

Во-первых, вчерашние террористы, захватив власть в России после октября 1917 года, полностью идеологизировали историю. По указанию Н. К. Крупской значительное количество дореволюционной литературы, объективно описывавшей революционные процессы, было уничтожено. История революционно-террористического движения писалась под определенный политический заказ, в соответствии с которым образы революционеров-террористов всячески возвышались и романтизировались.

Во-вторых, революционно-террористические организации действуют в условиях конспирации. На поверхность попадает лишь часть информации. Для того, чтобы разобраться в ней и дать правильную оценку, надо знать методы агентурной работы, наружного наблюдения, криминалистику, баллистику и многое другое. Гражданские ученые такими знаниями не обладают, а потому труды их имеют значительные пробелы.

Литвинов Николай Дмитриевич (род. в 1949) — полковник милиции, доктор юридических наук; автор пяти монографий по проблемам террора, в том числе изданных в 1999 году: «Роль идеи в развитии антигосударственного терроризма», «Террористические формирования: создание и деятельность», «Кавказский террор в Российской империи» (в соавторстве с Ш. М. Нурадиновым).

Литвинова Анастасия Николаевна — культуролог.

Что же такое терроризм? В мире нет единства в определении этого понятия. А потому, чтобы не забивать головы читателей юридической терминологией, сформулируем ответ так: терроризм — наиболее эффективный метод политики. Это не определение авторов, это мнение великого организатора революционно-террористического движения В. И. Ленина. Он полагал, что в политике есть два пути: парламентский, медленный и неэффективный, — и террористический, очень эффективный. Что и доказал на практике.

Терроризм — криминально-политический инструмент. В зависимости от того, в чьих руках он находится, террор может быть государственным или антигосударственным.

Террор обрушился на Россию вскоре после того, как 28 января 1861 года царь Александр II, выступая на заседании Государственного совета, сообщил об отмене крепостного права. 19 февраля 1861 года манифест об этом был подписан императором.

А уже перед 1 марта 1861 года международный террорист (как сказали бы сегодня) поляк Людвиг Мерославский формулирует программу антигосударственного террора в России.

Генерал Мерославский четко намечает границу возможной революционной пропаганды: к востоку за Днепр, то есть за чертой территории, которая, по его планам, должна была отойти к Польше. Указывается направление этой пропаганды: дискредитация в глазах основной массы населения представителей ведущего и функционального слоя империи — дворян и чиновников. «Сокровенные внутренности царизма» нужно терзать в тех местах, где еще жива память о пугачевщине. И если все это удастся, то будет достигнута цель: уничтожение самодержавия в России. Выполнить эту задачу должны были «полуполяки и полурусские», *то есть украинцы,* которых генерал одновременно предупреждал об ответственности за распространение идей «малороссианизма» в пределах Польши: *«Перенесение его в пределы Польши будет считаться изменой отчизне и будет наказываться смертью как государственная измена»*[1].

Последнее говорит о том, как хорошо понимал Л. Мерославский силу и опасность идей.

К середине XIX века Польша неоднократно восставала: в 1830, 1846 и 1848 годах. Всякий раз восстание подавлялось и все большее количество участников уходило за рубеж. Поляки разбрелись по всей Европе, принимая активное участие в любом восстании, в любой военной стычке. «Во всей Европе слово „поляк" стало синонимом революционера», ибо, «как только где-либо разгоралась борьба за свободу, как только народы во имя идеалов правды и справедливости объявляли войну существующему строю, — на глазах современников поднималась надгробная плита, и из забытой могилы показывался страдальческий лик Польши...»[2]

Завершающим этапом стало знаменитое польское восстание 1863 года.

Во время Крымской войны страны антироссийской коалиции предприняли попытки формирования польских воинских соединений для борьбы с Россией. В 1854 году поляк Михаил Чайковский, принявший турецкое подданство и имя Садык-паши, с благословения турецкого правительства сформировал отряд султанских казаков. В 1855 году Англия предложила свою помощь графу Владиславу Замойскому для формирования пятнадцатитысячной польской дивизии и использования ее в борьбе против России. К началу 60-х годов XIX века в Польше развернулось движение, направленное на отторжение от России земель, ранее принадлежавших Речи Посполитой. Развитию польского

---

[1] См.: Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II (1855 — 1881). М., 1909, стр. 132; Назаревский В. В. Царствование императора Александра II. 1855 — 1881. М., 1910, стр. 78.

[2] Лимановский Б., Кульчицкий Л. и др. 100 лет борьбы польского народа за свободу. М., 1907, стр. 154.

антироссийского силового выступления в значительной мере способствовала позиция Англии, Франции, Италии, Испании, занявших сторону восставших и требовавших предоставления Польше автономии. Вмешательство целого ряда государств во внутренние дела России дает основание говорить о том, что Россия первой столкнулась с интервенционализацией террористического движения.

Как отнеслась русская общественность к подготовке польского восстания?

Русское общество, особенно его интеллигентная часть, не сразу поняло опасность польского террора. Слишком велико было чувство славянского единства поляков и русских. Вот почему на начальном этапе выдвинутое поляками требование национальной автономии поддерживали и значительные слои русской интеллигенции. Одним из первых идеологов антироссийского террора стал А. И. Герцен. Симпатии Герцена к полякам как славянам были широко известны. Именно к нему обратились польские террористы за поддержкой. В советский период историки всячески восхваляли деятельность «революционного демократа», боровшегося с царизмом. Попытаемся абстрагироваться от политических квалификаций и оценим действия Герцена сквозь классическую призму государственности. С этой точки зрения приходится сделать вывод, неприятный для почитателей великого демократа: он явился одним из первых идеологов и подстрекателей антироссийского террора, жертвами которого в конечном счете стали в основном рядовые подданные Российской империи: поляки, русские, литовцы, белорусы.

Герцен обратился с воззванием к русским офицерам в Польше, в котором подсказывал, *«что должно делать русским офицерам, находящимся в Польше, в случае польского восстания?»*[3]. Зная, каким весом в офицерской среде пользуется его слово, Герцен попытался подвигнуть русских офицеров на нарушение воинской присяги, на отказ от подавления антигосударственных выступлений и даже на помощь им. Его не смущало, что за это офицеры будут отданы под суд.

Великого демократа не смущало и стремление поляков вновь оккупировать земли Малороссии и Литвы. «Что Польша желает остаться в федеральном союзе со всеми народами, входившими в целость Речи Посполитой, это совершенно естественно... она не может признать насильственного разделения, не отрекаясь от самобытности своей»[4]. Хотя он и предполагал, что желание поляков сохранить в своем подчинении народы Литвы, Малороссии и Белоруссии может не совпадать с желаниями самих этих народов. «Знать, чего желает Литва, Белоруссия, Малороссия, — очень трудно»[5].

Герцен предлагал объединяться в «офицерские круги» во всех армиях, войсковых частях, сближаться не только с солдатами, но и с народом. То есть создавать организационные базовые центры идеологической направленности, заниматься в армии политической деятельностью. Не опасаясь кары за измену — «идти под суд, в арестантские роты, быть расстрелянным... быть поднятым на штыки... но не подымать оружия против поляков»[6]. Вступать в союз с поляками, сохраняя «самобытность организации», то есть фактически перейти в оперативное подчинение польских мятежников, сохраняя собственно русскую структуру и готовясь в последующем к самостоятельному участию в «русском деле».

Антигосударственный террор всегда начинается с выработки экстремистской идеи. Она формулирует цель, достижение которой возможно только насильственным путем; дает мотивацию криминальной деятельности. Наряду с «польской партией» значительный вклад в ведение антигосударственной пропаганды внесла общероссийская политическая антиправительственная организация тех лет — «Земля и воля», в состав которой первоначально входили или

---

[3] Бурцев В. За сто лет. (1800 — 1896). Сборник по истории политических и общественных движений в России. В 2-х частях. Лондон, 1897, стр. 53.

[4] Бурцев В. Указ. соч., стр. 54.

[5] Там же.

[6] Там же, стр. 53.

примыкали: Н. П. Огарев, братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов, Н. Г. Чернышевский и другие. Организационное становление тайного общества завершилось в основном к осени 1862 года. Название «Земля и воля» дал обществу Герцен. Организация создавалась теми же людьми, что поддерживали польский террор. Пропаганда велась с целью свержения существующего государственного строя: самодержавие признавалось врагом народа, правительственные реформы — уродливыми[7]. Не меньшего внимания заслуживают организационные принципы этого тайного общества. Главный из них — централизация. Инициативно созданное ядро объединило уже действовавшие кружки различной направленности[8]. Привлечение уже сложившихся структур позволяло за короткий срок расширить состав организации. Затем — конспирация. Вновь принимаемые члены группировались по «пятеркам», и лица, входящие в руководящее ядро, центр, не были известны рядовым участникам «Земли и воли».

Другими словами, «Земля и воля» создавалась по принципам, крайне типичным для террористических организаций.

Общество стремилось проникать в молодежную среду, привлекать студентов, были попытки вербовки армейских офицеров.

«Земля и воля» была связана с зарубежным организационным центром — редакцией «Колокола». Несмотря на отказ Герцена, Огарева и Бакунина стать «агентами общества», они с обществом тесно взаимодействовали и писали для него пропагандистские листки. Общество поддерживало постоянную связь с польскими революционными националистическими кругами, оказывало последним поддержку в подготовке вооруженного восстания.

Деятельность «Земли и воли» заключалась по преимуществу в издании листовок антиправительственного содержания. Наиболее известны прокламации: «Долго давили вас, братцы»; «Всему народу русскому, крестьянскому»; «Барским крестьянам»; «Льется польская кровь, льется русская»[9]. Об экстремистском характере листовок можно судить уже по их названиям.

Наибольшую известность получили выпуски «Великорусса» — агитационного листка, распространявшегося в Петербурге и Москве.

Первый номер «Великорусса» был распространен уже в июле 1861 года, второй и почти сразу же третий — через два месяца. В них под видом рассуждений о «водворении законного порядка» как желания просвещенных людей публиковалась информация экстремистского содержания. Предлагалось подорвать ведущий слой империи — дворянство — путем лишения его земельной собственности: «Вся земля, поместья должны перейти в собственность крестьян... никакого выкупа за землю крестьяне платить не должны; помещики, потеряв решительно всю землю, удалятся из сел в города; вознаграждение получат они от государства»[10]. В этот период дворяне составляли основную численность функционального слоя — государственных служащих; изгнание дворян с земли способствовало бы массовой миграции представителей ведущего слоя империи.

Ставилась задача нарушения территориальной целостности государства за счет безусловного «освобождения Польши» как условия «водворения законного порядка». Россия обвинялась в попрании норм международного права, в

---

[7] С учетом того, что проводившиеся Александром II и правительством реформы объективно вели к укреплению России, антигосударственную деятельность «Земли и воли», на наш взгляд, следует рассматривать как целенаправленную попытку сдержать прогрессивный ход развития государства, то есть как деятельность антироссийскую.

[8] См.: «Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация под редакцией Е. Л. Рудницкой. М., 1997, стр. 43.

[9] Видимо, от деятельности «Земли и воли» пошла анонимная подпись «Доброжелатель», ибо многие обращения землевольцев исходили от «доброжелателей»: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»; «Солдатам русским от их доброжелателей поклон»; «Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон» и т. д.

[10] «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг.». Первое приложение к сборникам «Государственные преступления в России». СПб., 1873, стр. 19.

том, что она не выполняет тех условий, «под которыми Царство Польское было соединено с Россией на Венском конгрессе».

Авторы старались показать, сколь накладны для экономики России затраты, связанные с удержанием Польши в составе империи. Делался вывод о необходимости выведения русских войск и русской администрации из Польши, предоставления Польше государственной самостоятельности и подчеркивалось, что добровольный уход России из Польши сохранит уважение польской нации. В отстаивании интересов Польши примечателен один момент: авторы «Великорусса» требуют не только возвращения Польше ее исконных земель, но и передачи ей тех территорий, «где масса народа или говорит по-польски, или привязана к прежней униатской вере, потому что во всех этих местах народ имеет если не имя поляков, то польский дух». Тем самым поддерживалось требование поляков о передаче им земель Белоруссии и Литвы, которые в свое время были захвачены Речью Посполитой.

Обосновывалась желательность предоставления суверенитета «населению южной России». Парадоксальность такого требования заключалась в том, что мнение самого народа не учитывалось: автор признавался здесь же, что народ южной России «еще не мог высказать своих желаний»[11]. Тем не менее предлагалось отделение южных регионов России. Но эти регионы не так давно были отвоеваны у Турции. В условиях продолжавшегося передела мира отделенные земли тут же попали бы в зависимость от других государств.

«Великорусс» предупреждал образованное общество, что если оно не составит оппозицию правительству и не решится способствовать достижению поставленных «Великоруссом» задач, то «мы должны будем действовать на простой народ и с ним будем принуждены говорить не таким языком и не о таких вещах. Долго медлить решением нельзя: если не составят образованные классы мирную оппозицию, которая вынудила бы правительство до весны 1863 года устранить причины к восстанию, народ неудержимо поднимется летом 1863 года»[12]. Фактически это был ультиматум «образованному обществу». Указывался и срок выполнения угрозы: это была дата намечаемого восстания в Польше.

Активное участие в распространении экстремистских идей принял герценовский «Колокол». Он предложил свою программу и методы разрушения существующего государственного строя. В числе прочего предполагалось создание промышленных и торговых заведений для формирования финансовой базы и «всяких средств», необходимых для ведения антигосударственной борьбы[13].

«Земля и воля» и «Колокол» выпустили в свет такие известные листовки, как первое и второе «Видение святого отца Кондратия», «Емельян Пугачев честному казачеству и всему Русскому люду вторично шлет низкий поклон», «Письмо из провинции», «К солдатам», «К молодому поколению» и др. Как видно из их названий, каждая листовка была четко ориентирована на определенные слои населения.

Польское восстание началось в ночь с 22 на 23 января 1863 года. Польский революционный террор продемонстрировал ряд особенностей.

На сторону восставших начали переходить русские офицеры польского происхождения.

Присоединив часть Речи Посполитой к территории империи и назвав эту часть Царством Польским, русское правительство уравняло в правах поляков со всеми гражданами империи. Поляки служили в вооруженных силах империи, занимали административные должности. Многие поляки использовали доверие России во вред ей. Нередко русские офицеры польского происхождения нарушали присягу и переходили на сторону мятежников. Известен офи-

---

[11] «Материалы по истории революционного движения в России», стр. 21.

[12] Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго. Исторические очерки. М., 1909, стр. 36.

[13] Барриве Л. Указ. соч., стр. 39.

цер Жверждовский, пользовавшийся доверием командира корпуса барона Рамзая. Жверждовский изъявил желание доставить в действующую армию «громадный транспорт с оружием и боевыми припасами, деньгами и амуницией под прикрытием сильного отряда». При этом сослался на то, что, как уроженец Польши, он хорошо знает театр военных действий. Его направили. Жверждовский передал оружие, боеприпасы и деньги восставшим и сам перешел на их сторону, став одним из руководителей «литовского революционного отдела». Через некоторое время он «был взят в плен при неудачной попытке овладеть городом Борисовом и повешен Муравьевым»[14].

Польское антироссийское выступление сопровождалось мощным вмешательством во внутренние дела Российской империи со стороны ряда государств Европы. «Как по волшебному мановению в Западной Европе, особенно в Англии, Франции и Австрии, печать заговорила об угнетениях слабой Польши сильной Россией, о том, что гуманность и цивилизация требуют-де освобождения поляков от варварской и жестокой власти московитов»[15]. Англия и Франция, незадолго до этого нанесшие поражение России под Севастополем, были уверены не только в своей правоте, но и силе. На сторону России встала только Пруссия, изъявившая готовность принять участие в ликвидации восстания.

Другими словами, в ходе этих событий революционный террор во многом носил интервенционистский характер. Активное участие в революционно-террористическом движении на территории Царства Польского принимали французские и австрийские офицеры. Для их вербовки в Париже и Галиции действовали специальные польские отборочные структуры. Например, в Галиции шляхетско-аристократический комитет во главе с Сапегой формировал отряды из числа местных добровольцев и направлял их в Люблинскую и Волынскую губернии. Отряды наемников, по отзывам современников, состояли «из всякого рода сброда».

Наряду с усилиями по развитию массовости восстания создавались специализированные группы террористов-исполнителей.

Террор — регулируемая преступность. Это четко прослеживается на примере польского восстания. Руководящая организационная структура восстания, «Тайный революционный комитет», планировала убийства и намечала жертвы. Для совершения персональных террористических актов были сформированы специальные группы. Они назывались подразделениями «кинжальщиков»[16]. О форме совершения заказных убийств говорит уже само название.

Русская администрация, во всяком случае на начальном этапе восстания, не приняла надлежащих мер для его предотвращения. И тогда за дело взялся народ. Появление инициативного субъекта антитеррора стало неожиданностью для организаторов восстания. Поляки, как уже говорилось, хотели возвратить себе земли бывшей Речи Посполитой, на которых проживало литовское и украинское население. Однако поляки «не сознавали... что новая, жизнеспособная и быстро развивающаяся русская культура более, чем польская, привлекала и будет привлекать непольское население Малороссии и Литвы; что пробуждающийся к жизни близкий по крови русскому малорусский народ будет многое черпать из его цивилизации; что оторвавшиеся от еврейской массы образованные евреи примкнут к русской культуре; что, наконец, у литовского народа разовьется национальное самосознание»[17].

Ошибка в оценке настроений местного населения привела к тому, что организаторы восстания на Волыни, в Подолии и в других районах Украины и

---

[14] Барриве Л. Указ. соч., стр. 66.

[15] Назаревский В. В. Царствование императора Александра II. 1855 — 1881, стр. 80.

[16] Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1903, стр. 476.

[17] Кульчицкий Л. (Мазовецкий). История русского революционного движения, (с портретами русских революционных деятелей). В 2-х томах. Т. 1 (1801 — 1870 гг.). СПб., 1908, стр. 348 — 349.

Белоруссии натолкнулись на стихийное, но жестокое сопротивление крестьян. Местные мужики, еще помнившие поведение польских панов, «хватали там польских революционеров и отдавали их в руки русских властей, подчас убивали схваченных, подвергая их предварительно истязаниям и пыткам»[18]. Когда в селе Соловьевка около Киева появилась группа польских народников с призывом к восстанию против царя, местное население перебило их всех, не дожидаясь полиции. Крестьяне каждого села устанавливали при въезде «царины» (въездные ворота в село), ставили сторожевые будки либо рыли землянки для размещения «вартівників» (сторожей). И тяжко приходилось тем проезжающим господам, кто пытался сопротивляться проверке. «Поднимались объяснения, почти всегда сопровождаемые криками и бранью. Перепуганные лошади с задранными вверх головами метались из стороны в сторону; „вартівники" усмиряли лошадей: били их по головам палками... Нередко ломали экипаж»[19]. Также по собственной инициативе крестьяне создавали партизанские отряды, которые прочесывали территорию в поисках отрядов польских повстанцев и, устанавливая места их нахождения, нападали, «избивая самым беспощадным образом».

Уже было упомянуто, что при подавлении восстания Россия опиралась только на помощь Пруссии.

Позицию Пруссии объяснил Бисмарк, заявивший в прусской палате депутатов, что быстрое подавление мятежа — в интересах его страны. «Речь идет вовсе не о русской политике и не о наших отношениях к России, — говорил он, — а единственно об отношениях Пруссии к польскому восстанию и о защите прусских подданных от вреда, который может произойти для них от этого восстания. Что Россия ведет не прусскую политику, знаю я, знает всякий. Она к тому и не призвана. Напротив, долг ее — вести русскую политику. Но будет ли независимая Польша в случае, если бы ей удалось утвердиться в Варшаве на месте России, вести прусскую политику? Будет ли она страстной союзницей Пруссии против иностранных держав? Озаботится ли о том, чтобы Познань и Данциг остались в прусских руках? Все это я предоставляю вам взвешивать и соображать самим»[20]. В другой раз Бисмарк сформулировал политику Пруссии по отношению к Польше более конкретно: «Польский вопрос может быть разрешен только двумя способами: или надо быстро подавить восстание в согласии с Россией и предупредить западные державы совершившимся фактом, или же дать положению развиться и ухудшиться, ждать, покуда русские будут выгнаны из Царства или вынуждены просить помощи, и тогда смело действовать и занять Царство за счет Пруссии. Через три года все там было бы германизировано»[21].

Когда восстание в Польше было подавлено, его сторонники пошли по иному пути. Коль не удается разрушить территориальную целостность государства, то лучше всего ликвидировать инициатора реформ, которые делают Россию сильнее, — убить носителя верховной власти императора Александра II.

В истории широко освещено первое покушение на императора.

4 апреля 1866 года «в четвертом часу пополудни, в то время, когда Государь Император, кончив свою прогулку в Летнем саду, изволил садиться в коляску, неизвестный выстрелил в Его Величество из пистолета...»[22].

В свое время наиболее подробно рассказал о покушении корреспондент «Московских ведомостей»: «Государь, окончив свою вседневную прогулку в Летнем саду, выходил на набережную Невы левыми всегда открытыми ворота-

---

[18] Кульчицкий Л. (Мазовецкий). Указ. соч., стр. 365.
[19] Дебагорий-Мокриевич В. Воспоминания. 3-е изд. СПб., б. г., стр. 15.
[20] Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование, стр. 478.
[21] Там же.
[22] «Злодейское покушение на драгоценную жизнь Государя Императора и чудесное спасение нашего возлюбленного монарха». СПб., 1866, стр. 2.

ми. Государь шел по мосткам, положенным по всему Летнему саду. Коляска Государя была подана, и он подошел к ней. Ему накинули на плечи шинель. Государь стоял, обернувшись спиной к правой стороне выхода из сада. В эту минуту послышался крик и раздался сильный выстрел. Крик был поднят полицейским солдатом Безыменковым, стоявшим по службе у левой стороны ворот сада, противоположной той стороне, на которой стоял убийца. Безыменков заметил в толпе проталкивающегося вперед человека и, увидав внезапно протянутую вперед руку, вооруженную двуствольным пистолетом, направленным в нескольких шагах против Государя, вскрикнул от ужаса и бросился мимо Государя вперед на этого человека. В эту минуту раздался выстрел, счастливо отклоненный в сторону ударом, снизу вверх, рукой Комисарова по руке злодея, который, пробравшись чрез толпу, все более возраставшую, стал быстро удаляться по тротуару. Солдат Безыменков первый схватил его за полу кафтана; народ накинулся и смял его. Государь освободил его из разъяренной толпы, сказав: „Оставьте его, дети", и вырвал пистолет из рук злодея»[23].

Террористический акт совершил член Московского революционного кружка «Организация» Дмитрий Каракозов. В ходе расследования удалось выяснить, что в структуре кружка действовало законспирированное террористическое подразделение «Ад», поставившее перед собой цель уничтожения главы государства.

С учетом того, что в существующих исследованиях роль непосредственных участников этого преступления несколько завышена, есть необходимость более детально проанализировать источники.

Откуда взялась сама «Организация»? Кто и для чего ее создавал?

В 1863 году в Московском университете образовался молодежный кружок, членами которого стали выходцы из Пензенской, Владимирской и ряда других среднерусских губерний. Студенты привезли с собой чувство общины, чувство взаимовыручки. Одни были богаче, другие беднее. Бедных студентов было все-таки больше. Вот молодежь и создала «Общество взаимного вспомоществования». Именно надежда на помощь более зажиточных товарищей притягивала многих студентов к членству в обществе. Например, привлеченные к судебной ответственности члены «Организации» Кичин, Соболев, Сергиевский, Борисов и Воскресенский признались, что вступить в общество их заставила нужда. «Они были в такой крайности, находясь в чуждом им городе, без всяких средств к существованию, но с желанием получить образование, — говорил на суде министр юстиции, — что не могли отказаться от возможности улучшить свое положение представившимся случаем, не вдаваясь в подробные суждения о том, почему именно им предлагались эти средства... Поступив однажды в это общество, — иные получив денежные пособия, другие поддерживаемые надеждою, — попали в такую зависимость от общества, что не считали возможным оставить его»[24].

В 1865 году «Общество взаимного вспомоществования» как сложившаяся молодежная структура попало в поле зрения политически активных людей. То есть произошло то, к чему несколькими годами ранее призывал «Великорусс»: «Собирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайные общества, с которыми Центральный Революционный Комитет сам постарается войти в сообщение...»[25] Эти «активные люди» внедрились в готовую структуру и реорганизовали «Общество взаимного вспомоществования» в политическую «Организацию». Часть членов прежнего общества не приняла новой программы и вышла из него.

Новая организация сразу же принялась за налаживание пропаганды. Одним из направлений пропаганды стала работа с несовершеннолетними. Ви-

---

[23] Цит. по кн.: «Судебные драмы. Январь, февраль, март». М., 1907, стр. 16.

[24] «Обвинительная речь, произнесенная министром юстиции в заседании Верховного уголовного суда 21-го сентября 1866 года по делу о преступных замыслах против Верховной власти и установленного законами образа правления». Б. м., б. г., стр. 28.

[25] Бурцев В. За сто лет. (1800 — 1896). Сборник по истории политических и общественных движений в России, стр. 45.

димо, кроме собственно пропагандистских ставилась еще и задача выработки агитационного опыта у членов «Организации» на том «материале», который не способен оказать противодействие.

Цели политической «Организации» сами ее члены представляли весьма смутно, что видно из их показаний на следствии. По словам Вячеслава Шаганова, «целью общества „Организация" должно было быть образование пропагандистов, возбуждение народа путем социальной пропаганды к восстанию, а если восстание удастся, устройство экономических отношений на ассоциационных принципах»[26]. Сам Шаганов был убежден, что достичь поставленной цели удастся «по меньшей мере через пятьдесят лет».

В материалах следствия и в исторической литературе отмечается, что тайная революционно-террористическая организация «Ад» была создана Ишутиным. Следствие отнеслось к «Аду» довольно серьезно, рассматривая его как структурное террористическое подразделение «Организации», созданное специально для совершения цареубийства. В соответствии с показаниями членов организации, «Ад» должен был решать следующие задачи: а) убить царя, «ежели правительство не согласится с требованиями»; содержание требований непонятно; б) осуществлять внедрение членов подразделения во все кружки «Организации», чтобы контролировать их деятельность и не дать уклониться от курса организации: «в случае злоупотребления или недеятельности этих кружков они должны предупреждать и обязывать к непременной деятельности»[27]; в) собирать информацию о государственных служащих, «которыми крестьяне недовольны», для последующей ликвидации таких лиц, то есть совершения террористических актов, направленных против функционального слоя государства в целях его деморализации.

Как видно из изложенного, организация должна была выполнять одновременно функции внутренней контрразведки и исполнительско-террористические по ликвидации неугодных лиц, будь то государственные чиновники или члены революционного сообщества. Нереальность перечисленных целей состояла в том, что для их достижения потребовалось бы многочисленное подразделение с широкой сетью сбора, передачи и анализа информации и столь же многочисленная организация профессиональных убийц.

Столь же неисполнимые требования закладывались в тактику совершения террористических актов. Выходя на задание, «адовец» должен был «обезобразить себя и иметь во рту гремучую ртуть, чтобы, совершивши преступление, раскусить ее, убить тем самым себя и изуродовать лицо, чтобы не быть узнанным»[28]. Немыслимость выполнения таких «подготовительных мероприятий» не требует комментариев.

Теперь несколько слов о двадцатичетырехлетнем исполнителе террористического акта.

Дмитрий Владимирович Каракозов, 1842 года рождения, уроженец Саратовской губернии. Его отец имел небольшое поместье в Сердобском уезде. За три года учебы прошел: Московский, Петербургский, Казанский и снова Московский университеты. Всюду его преследовали нищета и плохое усвоение преподаваемых предметов. В 1865 году Каракозов под влиянием подстрекательских разговоров Ишутина заявил о своей готовности убить царя. После чего ряд членов «Организации» решили «завести Ишутина в какое-либо уединенное место, в подробности расспросить о всех предположениях и намерениях задумавших образовать общество с столь преступною целью и, настращав его, в случае надобности, смертию, выслать вместе с Ермоловым в какое-нибудь уединенное место под строгий надзор, а Каракозова посадить в сума-

---

[26] «Обвинительная речь, произнесенная министром юстиции в заседании Верховного уголовного суда...», стр. 7.

[27] Будницкий О. В. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. Ростов-на-Дону, 1996, стр. 40.

[28] Будницкий О. В. Указ. соч., стр. 42.

сшедший дом»[29]. Намерение упрятать Каракозова «в сумасшедший дом» может свидетельствовать о психическом состоянии первого террориста. Анализ материалов, связанных с личностью Каракозова, позволяет предположить, что он был наркоманом. Он постоянно просит товарищей достать ему опия, яда, а его болезненное состояние напоминает признаки наркомании. И не случайно же у него при задержании было обнаружено «восемь порошков морфия»[30].

Далее Каракозов начал действовать в отрыве от членов организации. Он выехал в Петербург, где и совершил покушение на императора.

Так кто же выступал в роли заказчиков и организаторов преступления?

«Организация» поддерживала весьма тесные отношения с польскими революционерами, активными участниками восстания: Оржеховским, Домбровским, Верницким и другими. Наряду с мифической организацией «Ад» в Москве действовала законспирированная и вполне реальная «польская агентура под названием... „Народная опека"»[31]. Члены «Организации» привлекались поляками для распространения фальшивых кредитных билетов, которые ввозились из-за границы, разменивались, а деньги передавались полякам. О том, что польские круги в том же Петербурге знали о предстоящем покушении задолго до его совершения, говорит и такой факт: недели за две или за три до события «одна дама польского происхождения в Петербурге говорила о нем как о деле известном и ожидаемом. Когда на это обстоятельство было впоследствии обращено внимание, дама эта вдруг сошла с ума»[32].

За несколько дней до покушения в ряде французских журналов появились статьи, написанные явно в ожидании предстоящего цареубийства и как бы готовившие общественное мнение к его оправданию. За два дня до события в «Силезскую газету» из Петербурга была отправлена статья, в которой неизвестный автор рассказывал о «многочисленных арестах, будто бы сделанных в Петербурге, об обыске, будто бы произведенном в домах каких-то вождей патриотической партии, и о задержании какого-то важного политического преступника»[33]. Статья должна была выйти практически сразу же после совершения покушения.

Все изложенное позволяет предположить, что создание «Организации» и подготовка покушения были не инициативой русских студентов, а хорошо спланированной операцией польских революционных кругов.

Начало 1870-х годов сопровождалось развитием украинофильского революционного националистического движения, созданием законспирированных организационных структур, «хождением в народ». Эти факты широко известны в научной и исторической литературе. Поэтому сразу же перейдем к деятельности второй организации «Земля и воля» (основанной в Петербурге в 1876 году) и «Народной воли».

«Земля и воля» взяла на вооружение террор как метод борьбы с полицией и с государственной властью в целом. Развитие убийств шло по принципу от простого к сложному. Вначале убивали тех, кого легко было убить в силу их социального положения либо образа жизни. И только постепенно, с появлением криминального опыта, с отработкой тактики террористических актов, революционеры перешли к совершению покушений на Александра II.

Первыми террористическими актами революционеров стали убийства лиц, сотрудничавших с полицией, а также работников правоохранительных органов, то есть тех, кто обеспечивал правопорядок.

---

[29] «Обвинительная речь, произнесенная министром юстиции в заседании Верховного уголовного суда...», стр. 23.

[30] Будницкий О. В. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях, стр. 35.

[31] Назаревский В. В. Царствование императора Александра II. 1855 — 1881, стр. 145.

[32] «Судебные драмы...», стр. 30 — 31.

[33] Там же.

«Уничтожение шпионов в это время уже вошло в неписаный обычай в южных кружках»[34]. В литературе обычно речь идет об *агентах* полиции, однако современное смысловое значение этого слова не соответствует положению и роли тех граждан, которые оказывали, как правило, *открытую* помощь полиции в выявлении сторонников революционных действий. Преступления против таких лиц, как правило, оставались не раскрытыми.

Одним из первых террористических актов, получивших широкое освещение, стал выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова. В исторической и историко-правовой литературе суть этого террористического акта сводится к следующему. Трепов приехал в Дом предварительного заключения, где находились лица, осужденные по делу о Казанской демонстрации. Один из заключенных — Боголюбов — нарушил правила внутреннего распорядка, о чем Трепов сделал замечание смотрителю. Боголюбов в этот момент вмешался в разговор, повел себя с генералом довольно дерзко, за что по указанию последнего и был выпорот. От имени всех социалистов «Засулич взяла на себя роль судьи. В этот же день ее подруга Коленкина собиралась покончить с обер-прокурором Желиховским...»[35]. То есть инициатива «мести» полностью отдается Засулич.

В литературе практически не рассматривается вопрос: кто такой Боголюбов и почему именно за него решила отомстить Вера Засулич.

Боголюбов (настоящая фамилия — Емельянов) Алексей Андреевич, 1852 года рождения, в 1874 году вступил в харьковский революционный кружок, возглавлявшийся Коваликом и имевший украинофильскую окраску. В 1876 году в Петербурге состоялась демонстрация у Казанского собора. Когда народ из Казанского собора повалил на площадь, в группе собравшихся тут революционеров было поднято красное знамя с вышитой на нем надписью «Земля и Воля», а Г. В. Плеханов произнес краткую речь. Сотрудники полиции сделали попытку задержать агитаторов, но натолкнулись на активное противодействие. Сопротивление оказывали «люди из толпы», те же члены организации. Одним из таких «охранников агитаторов» и оказался некто Боголюбов. Когда в участке его попытались обыскать, Боголюбов выхватил револьвер и собирался выстрелить в упор в сторожа Клибика, видимо приглашенного для проведения обыска. Клибик успел схватить рукой револьвер таким образом, что спущенный курок вонзился ударной частью в руку сторожа, пробил ее, но не достал до капсюля патрона, в результате чего выстрел не произошел. То есть убийства не случилось по не зависящим от Боголюбова обстоятельствам.

Боголюбов-Емельянов был осужден к пятнадцати годам каторжных работ. Приговор был объявлен ему 8 апреля и утвержден 8 мая 1877 года. Кассационной жалобы Боголюбов не подавал. Содержался после вступления приговора в силу в Доме предварительного заключения, ожидая отправки на каторгу. 13 июля 1878 года во время прогулки с другими арестованными Боголюбов, как уже говорилось, нарушил правила внутреннего распорядка. Возникла конфликтная ситуация, в результате которой генерал Трепов и отдал распоряжение выпороть осужденного. «По точному и ясному смыслу действующего закона (статья 807, том 14 Свода Законов, „Правила о ссыльных") каторжники даже за проступки второстепенной важности могут быть подвергнуты телесному наказанию розгами в количестве до 100 ударов»[36]. Боголюбов по документам, а Емельянов по рождению, не был дворянином, от телесных наказаний не освобождался, почему и был подвергнут наказанию средней степени — 25 ударов. Естественно, порка Боголюбова вызвала возмущение других лиц, содержавшихся в Доме предварительного заключения, а потом стала достоянием прессы. В газете «Новое время» появилась заметка, посвященная собы-

[34] Волк С. С. «Народная воля». 1879 — 1882. М. — Л., 1966, стр. 68.

[35] Кошель П. История наказаний в России. История российского терроризма. М., 1995, стр. 251.

[36] «Хроника социалистического движения в России. 1878 — 1887. Официальный отчет». М., 1906, стр. 13.

тию. Тогда сам Трепов потребовал проведения служебного расследования по оценке законности своих действий. «Назначено было... по поводу избиения арестованных судебное следствие и особое следствие административное, по почину самого Трепова»[37], которое не выявило превышения власти.

Теперь о Вере Засулич.

Засулич Вера Ивановна родилась в 1850 году (по другим источникам — в 1851-м). К моменту появления в Петербурге имела опыт организационно-революционной деятельности. С 1876 года «входила в состав отряда, организованного бунтарями в Елисаветграде»[38]. Здесь же, готовясь принять участие в крестьянском восстании, прошла серьезную стрелковую подготовку и, по оценке современников, «достаточно искусно» владела огнестрельным оружием[39]. В 1877 году, непосредственно перед подготовкой к террористическому акту, она проживала в Киеве на конспиративной квартире украинофилов, содержателем которой был член организации Левченко[40].

К покушению на Трепова одновременно готовились две группы боевиков. Одна из них планировала ликвидировать Трепова. Перед Засулич поставили более сложную задачу: тяжело ранить генерала.

24 января 1878 года в 10 часов утра генерал-адъютант Трепов вышел в приемную, чтобы принять прошения граждан. Среди записавшихся на прием была и Засулич. Она пришла уже во второй раз: в первый она провела рекогносцировку. «Когда генерал Трепов при обходе просителей подошел к ней, она спокойно подала ему свое прошение, где изложено было ходатайство о выдаче ей свидетельства для поступления в домашние учительницы, подписанное вымышленным именем. ...Трепов сделал на нем надлежащую пометку и засим повернулся к следующей просительнице. В тот момент, когда сопровождавшие градоначальника чиновники сделали ей знак к удалению, она спокойно вынула из-под тальмы револьвер-бульдог и произвела в генерала выстрел, которым и ранила его в верхнюю часть таза с раздроблением кости»[41].

Обратим внимание на два момента: самообладание Засулич, стрелявшей в человека, и мощность револьвера, пуля которого раздробила кости. Спокойствие при стрельбе в человека позволяет утверждать, что Засулич уже имела криминальный опыт.

Позиция председателя суда А. Ф. Кони заслуживает особого внимания. Он, знаменитый юрист, *умышленно* нарушил квалификацию преступления и построил судебное разбирательство так, что террористка была оправдана судом присяжных. За пределами внимания суда осталось то, что преступление готовилось группой лиц, между тем как к суду привлекалась только Засулич.

Удачность выбора «варианта мести» и «варианта защиты» при агрессивном оправдательном поведении защитника Александрова привела к тому, что весь судебный процесс был построен не на попытке выяснить организационные моменты подготовки и совершения террористического акта, а на стремлении показать незаконность действий генерала Трепова, страдательную роль Боголюбова и самопожертвование Веры Засулич во имя незаслуженно оскорбленной чести товарища по несчастью. То есть на судебном заседании благодаря позиции Кони проводилась посттеррористическая дискредитация жертвы террора. Недостатки в расследовании преступления судебным следователем 1-го участка Петербурга Кабатом привели к тому, что за пределами обвинения осталась деятельность Засулич в период 1875 — 1877 годов, когда она была членом криминального объединения — «боёвки» украинофилов.

---

[37] Глинский Б. Б. Революционный период русской истории (1861 — 1881 гг.). Исторические очерки. Ч. 2-я. СПб., 1913, стр. 212.

[38] Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932, стр. 401.

[39] См.: Глинский Б. Б. Революционный период русской истории. стр. 215, 222.

[40] См.: «Свод указаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях. Май 1880 года». Б. м., б. г., стр. 48.

[41] Глинский Б. Б. Революционный период русской истории, стр. 222.

Утаив революционный путь террористки, Александров изобразил ее жертвой судебного и полицейского произвола монархии.

Прокурор же отнесся к суду формально: поддавшись общему настроению суда и приняв версию «мести Засулич за оскорбление Боголюбова», он свел все свое выступление к силлогизму, что, дескать, нельзя допускать того, чтобы каждый обыватель по своему усмотрению становился судьей и расправлялся с любым, кого сочтет виновным. Монотонная речь прокурора не произвела впечатления ни на присутствовавших, ни на присяжных.

А теперь обратим внимание на исторический контекст судебного спектакля.

В этот момент близилась к завершению война между Россией и Турцией за освобождение славян, где в проигрыше России были кровно заинтересованы Австрия и Германия. В ряде сражений русские войска разбили турок и в январе 1878 года вышли к Адрианополю, угрожая непосредственно Константинополю. Началась подготовка к заключению Сан-Стефанского мирного договора, в разработке проекта которого приняли участие Австрия, Англия, Германия, боявшиеся усиления позиций России. И вот здесь-то «сработал» выстрел Засулич в генерала Трепова. «Революция... поднимала голову, не дожидаясь внешней неудачи, которая должна была удесятерить ее силы». И в момент выработки условий подписания договора, в спешной, лихорадочной телеграфной переписке императора с главнокомандующим, рядом с монархами, дипломатами и генералами, неожиданно проскакивает «какая-то нигилистка», в упор выстрелившая в «бедного Трепова», что вызывало «смятение» умов в Петербурге и ослабило позиции России на переговорах[42]. Ибо правящим кругам России было не до отстаивания интересов государства, когда революционное движение внутри страны приняло террористические формы. И, на наш взгляд, террористический акт с участием Засулич начал готовиться именно после провала Чигиринского восстания и крестьянского бунта в тылу действующей армии (о чем ниже).

Благодаря стараниям защиты и позиции председателя суда А. Ф. Кони террористка была оправдана. Между тем, когда одно из высокопоставленных лиц, находившихся в суде, обратившись к Кони, заметило, что «это самый счастливый день русского правосудия», тот ответил: «Вы ошибаетесь, это самый печальный день его»[43]. И он оказался прав. По стране прокатилась волна покушений на высших государственных служащих. Причем проглядывает четкая закономерность в выборе объектов покушения.

Ночью 23 февраля 1878 года группа террористов-украинофилов, среди которых были В. А. Осинский и Ив. Ивичевич, совершила покушение на товарища прокурора Киевского окружного суда М. М. Котляревского[44]. Историки не объясняют, почему выбор пал именно на Котляревского. Сами же террористы заявляли, что Котляревский был приговорен ими к расстрелу, потому что «принимал будто бы слишком строгие меры против арестованных по политическим делам»[45].

Истинная же причина покушения на Котляревского заключалась в другом: он руководил расследованием по делам украинофилов и слишком много знал. Его надо было ликвидировать либо запугать, чтобы он не копал глубже. Об этом же говорит и инициатор подготовки неудавшегося Чигиринского восстания в тылу действующей армии В. Дебагорий-Мокриевич. «Аресты по Чигиринскому делу произведены были жандармским офицером Гейкингом; след-

---

[42] См.: Покровский М. Н. Восточный вопрос. От Парижского мира до Берлинского конгресса (1856 — 1878). История России в XIX веке. Т. 6. Б. м., б. г., стр. 65. (Эта книга была отпечатана в нескольких экземплярах; тиража не существует.)

[43] Гессен И. В. Судебная реформа. СПб., 1905, стр. 167.

[44] Количество и фамилии участников покушения называются разные. По словам одного из активных украинофилов Н. Левченко, покушение на Котляревского осуществлялось Осинским, Фоминым и Ивичевичем. Другой член организации, Богословский, называет в качестве исполнителей только Фомина и Ивичевича. См.: «Свод указаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях», стр. 102.

[45] Там же.

ствие по делам велось прокурором Котляревским. И вот у Осинского и его друзей, думавших о терроре, вскоре созрело решение убить этих двух представителей власти. В первую очередь поставлен был Котляревский, о котором ко всему другому передавали из тюрьмы, будто там, при обыске, он осмелился раздеть догола одну политическую женщину»[46].

Из этого высказывания можно сделать два вывода. Во-первых, «заказчики» неудавшегося крестьянского восстания приняли решение ликвидировать тех сотрудников правоохранительных органов, кто принимал непосредственное участие в раскрытии преступления, боясь, видимо, что тем удастся выйти на них. Во-вторых, истинный мотив убийства заменялся «для народа» на ложный, отсюда и легенда о раздетой «политической женщине», которую прокурору в тюрьме раздевать было незачем, ибо личный обыск задержанных проводился значительно раньше.

Следующей жертвой террора стал жандармский капитан Г. Э. Гейкинг.

После предотвращения Чигиринского восстания жандармы начали проводить дознание. В их руки попала очень серьезная информация об организаторах восстания. Испугавшись, что полученная информация будет реализована, террористы включили «в список» на уничтожение адъютанта Киевского жандармского управления барона Гейкинга[47]. «На первый взгляд это покажется странным: не раз „барон" предупреждал об обысках, не раз скрывал от прокурорских глаз найденные запрещенные книги. Однако дело объясняется просто. Из... следствия по Чигиринскому делу стало ясно, что Гейкинг — либерал лишь по отношению к таким безобидным фрондерам, как украинофилы, лавристы (сторонники П. Лаврова и члены революционного народнического кружка в 1870-х годах. — *Н. Л., А. Л.*) и проч. Но не то вышло, когда попались крупные птицы. Гейкинг знал очень многих из тогдашних деятелей, знал, чего и от кого можно ожидать, и обыски и допросы производились с таким знанием текущих революционных дел, что стало ясно, как опасен будет при серьезном обороте дел этот „либерал"»[48]. Знаменитый террорист, впоследствии монархист, Лев Тихомиров характеризует барона и мотивы его убийства несколько по-иному: «Убийство Гейкинга было большой мерзостью. Этот Гейкинг совершенно никакого зла революционерам не делал. Он относился к своей службе совершенно формально, без всякого особого усердия, а политическим арестованным делал всякие льготы. Его „политические" вообще любили, и Гейкинг считал себя безусловно в безопасности. Но именно потому, что он не берегся, его и порешили убить... Но ничего нет легче, как убить Гейкинга, который всем известен в лицо и ходит по улицам не остерегаясь»[49].

Исполнителем террористического акта стал Г. А. Попко. Убийство барона было совершено в ночь с 24 на 25 мая. В исторических работах дается неточное описание обстоятельств убийства жандарма. Вот как происходило дело. Барон вместе со своим другом шли по улице пешком. Гейкинг дошел до дома, где жил, и, продолжая разговор, сел на тумбу. Террорист Попко вместе с напарником вели наружное наблюдение за бароном. Увидев, что объект сел, Попко, проходя мимо Гейкинга, нанес ему удар кинжалом в бок. Почувствовав рану, Гейкинг успел достать полицейский свисток и дать сигнал.

Описанные выше покушения происходили на территории Украины. Набравшись криминального опыта, террор перекинулся в столицу империи. Последовала череда покушений на высших должностных лиц государства, на представителей политической элиты, входивших в ближайшее окружение императора. Гражданские историки внесли много путаницы в описание этих акций.

---

[46] Дебагорий-Мокриевич В. Воспоминания, стр. 329.

[47] Гейкинг Густав Эдуардович — капитан. В советских источниках он почему-то называется начальником Одесского жандармского управления и полковником. 25 мая он был не убит, а тяжело ранен, получив удар кинжалом в поясницу от террориста Г. А. Попко, от чего умер 29 мая (см.: «Архив „Земли и воли" и „Народной воли"». М., 1932, стр. 392).

[48] Глинский Б. Б. Революционный период русской истории, стр. 282.

[49] «Воспоминания Льва Тихомирова». М. — Л., 1927, стр. 106 — 107.

Первым объектом элитного террора стал начальник III Отделения собственной его Императорского Величества канцелярии генерал Николай Владимирович Мезенцев. В отличие от украинофилов с их ночной стрельбой и ночным «подрезанием» жертв, подготовка и покушение велись по классической схеме ликвидации объекта, которой и по сей день пользуются спецслужбы. Подготовкой и совершением убийства руководил «известный русский писатель-революционер» С. М. Кравчинский (Степняк-Кравчинский).

Генерал Мезенцев не был профессиональным полицейским. Он был армейским офицером и прославился во время Севастопольской кампании. В 1854 — 1855 годах молодой офицер Мезенцев воевал на бастионе № 5, принимал участие в сражении при Черной речке. В 1864 году он перешел на службу в Отдельный корпус жандармов, куда принимали лучших офицеров армии. В 1876 году был назначен на должность шефа жандармов и начальника III Отделения. По словам современника, «как человек Николай Владимирович был одарен всеми высокими качествами души; он был честен в высшем значении этого слова и шел в жизни всегда прямо и смело. ...Когда назначение его сделалось известным, все радовались, что судьба возводила на поприще государственной деятельности столь редкого по качествам человека. Николай Владимирович никогда, нигде и ни перед кем не скрывал своих убеждений... и — что так редко случается — несмотря на свое высокое положение, он никогда не изменялся в отношениях своих к старым товарищам и приятелям. Идеалом его жизни была правда...»[50].

Чем объяснить выбор генерала Мезенцева в качестве объекта покушения? Сами террористы устами Кравчинского, убийцы генерала, объясняли необходимость покушения, во-первых, тем, что «шеф жандармов — глава шайки, держащей под своей пятой всю Россию»[51], то есть в лице Мезенцева удар наносился по высшему правящему слою, и, во-вторых, местью за его конкретную деятельность на посту шефа жандармов и начальника III Отделения. На последнем мотиве делался особый упор, в частности, в вину генералу ставилась отмена сенатского приговора по процессу 193-х, когда ряду лиц, проходивших по делу, наказание было ужесточено.

Был еще один след в биографии Мезенцева, который мог повлечь за собой месть, за что его могли «заказать», и о котором, возможно, не знали исполнители. Польский след. В 1861 году, когда антигосударственные выступления зарождались в костелах и на улицах Варшавы, Мезенцев был адъютантом наместника Горчакова и после отстранения последним от должности варшавского обер-полицмейстера Трепова исполнял его обязанности. Представление о попытках Мезенцева не допустить антигосударственных выступлений дают сведения о телеграмме князя Горчакова государю от 7 марта 1861 года. «Государь, хотя и неохотно, согласился на увольнение Трепова от должности варшавского обер-полицмейстера, предоставив выбору наместника назначение его преемника. Горчаков доносил, что хотел было назначить адъютанта своего Мезенцева, но, пояснял он, „во все дни демонстраций я его посылал во все места, где происходили беспорядки, и с тех пор его везде ненавидят, называя палачом"»[52].

Особенностью террористического акта против Мезенцева было то, что решение о его убийстве принималось за рубежом. Степняк-Кравчинский прибыл в мае 1878 года в Россию из-за рубежа, куда он скрылся после начала арестов по делу «Большой пропаганды». Эмигрантом жил в Женеве. В России сразу же приступил к сбору информации о Мезенцеве. И есть еще одна черта в деле: против покушения на Мезенцева выступили местные российские революционеры. Даже те, кто в этот момент содержался в Петропавловской крепости.

---

[50] Глинский Б. Б. Революционный период русской истории, стр. 250 — 251.

[51] Кравчинский С. Смерть за смерть (убийство Мезенцева). Пб., 1920, стр. 13.

[52] Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 1, стр. 432 — 433.

Естественно, к их мнению никто не прислушался, потому как покушение на Мезенцева было уже не вполне «российским» делом.

Покушению предшествовала операция по установлению наружного наблюдения за генералом и сбор информации о его образе жизни. Выслеживание генерала не представляло никакой сложности, ибо каждое утро в 9 часов[53] он совершал прогулку по одному и тому же маршруту: Итальянская улица, Невский проспект, посещение часовни у Гостиного двора, Михайловская улица, Михайловская площадь, Большая Итальянская... Сопровождал его один человек в штатском, который всегда шел с левой стороны, «и всегда всю дорогу они вели разговоры, как будто на равной ноге»[54]. Этим сопровождающим был не сотрудник охраны, а бывший сослуживец генерала полковник Макаров, находившийся на пенсии, но сохранивший с Мезенцевым дружеские отношения, притом не имевший при себе оружия. Террористический акт был подготовлен вполне профессионально: сбор информации не только о самом Мезенцеве, но и о лице, его сопровождающем; выбор места и времени; подбор оружия; определение путей и способов отхода. Выполнение столь сложных задач потребовало задействования в операции уже нескольких лиц с распределением ролей между ними. В целом сбор информации был закончен во второй половине июля. Регулярность прогулок, отсутствие вооруженной охраны, сравнительно безлюдный по утрам участок пути позволили спланировать операцию. К началу августа все было готово, однако исполнение постоянно откладывалось. Необходим был повод, дабы террористический акт выглядел не уголовщиной, а имел политическое звучание. 3 августа из Одессы было получено сообщение о казни члена «Общества народного освобождения» И. М. Ковальского, и в этот же вечер террористы приняли решение на следующий день казнить Мезенцева, якобы в отместку за казнь. То есть опять-таки имела место посттеррористическая дискредитация жертвы.

Стоит обратить внимание на способ покушения. У Кравчинского находился в руках «итальянский стилет, сделанный по специальному заказу»[55], завернутый для маскировки в газету. Стилет этот был сделан за рубежом. Что такое стилет? Это холодное узкое колюще-режущее оружие. При ударе стилетом входное отверстие образуется очень узкое, затягивается тканью тела и не дает кровоизлияния. Когда наблюдатель Л. Ф. Бердников подал сигнал, что Мезенцев уже прошел по Невскому проспекту и повернул на Михайловскую улицу, Кравчинский вышел из сквера, стал у стены дома по маршруту движения Мезенцева и, как только последний поравнялся с ним, нанес удар кинжалом в полость живота с проникновением через печень и заднюю стенку желудка. Обращает на себя внимание способ нанесения кинжального удара. Кравчинский, воткнув кинжал, даже не забыл крутнуть его, по всем «правилам» кинжальных убийств. Объясним для непрофессионалов, что удар с поворотом клинка в теле очень сложен в исполнении и требует специальной тренировки кисти руки. Это позволяет сделать вывод, что Кравчинский за рубежом прошел диверсионную подготовку по владению холодным оружием.

Применение именно стилета привело к тому, что ни сам Мезенцев, ни сопровождавший его полковник не поняли, что произошло. Генерал ощутил боль, но крови не было. Он сам доехал домой, и когда обнаружилось ранение, было уже поздно — в 17 часов 15 минут пополудни генерал Мезенцев скончался.

Убийство начальника III Отделения имело уже не дезорганизационный и информирующий характер, а было открытым вызовом власти, актом ее дискредитации: III Отделение — спецслужба империи — не смогло защитить даже

---

[53] По другим источникам — в 8 часов утра. См.: «Деятели СССР и революционного движения России». Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989, стр. 273. Такое разночтение объясняется скорее всего тем, что в 8 часов утра Мезенцев выходил из своей квартиры на Невском проспекте, а его прогулка занимала около часа.

[54] «Деятели СССР и революционного движения России», стр. 273.

[55] Там же.

своего руководителя. Как писал в воспоминаниях князь В. П. Мещерский, «убийство шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцева, совершенное с такою дерзостью и при том с исчезновением даже следа убийц, повергло в новый ужас правительственные сферы, обнаружив с большею еще ясностью, с одной стороны, силу ассоциации крамолы и слабость противодействия со стороны правительства... Для всех было очевидно, что если шеф жандармов мог быть убит в центре города во время прогулки, то, значит, ни он, ни подведомственная ему тайная полиция ничего не знали о замыслах подпольных преступников, и если после совершения преступления злодеи могли так ловко укрыться, то, значит, в самой петербургской полиции ничего не было подготовлено к борьбе с преступными замыслами крамольников»[56]. Современники правильно оценили направленность этого террористического акта — против императора, ибо убит был человек из ближайшего окружения царя. «В кого направили они смертельный удар свой? — задавала вопрос либеральная газета „Голос" в статье, посвященной этому событию. — В ближайшего советника Государя Императора, в лицо, облеченное высочайшим доверием, в человека, прямой и честный характер которого снискал ему глубокое уважение всех, его знавших и в Крыму под градом вражеских пуль, и в Варшаве... и в Петербурге, в совете, вершащем судьбы всей России. Везде и всегда он пользовался любовью, — его, русского душою и сердцем, любили даже в Царстве Польском...»[57].

Одновременно это убийство продемонстрировало обществу и власти появление нового типа революционера — профессионально владеющего навыками совершения террористических актов. Как писал один из дореволюционных авторов: «Российский революционер становился все более и более агрессивным. Менялась даже внешность его. Вместо прежнего чумазого пропагандиста или даже современного деревенщика-народника в косоворотке и высоких сапогах на криминальную сцену России выходил джентльмен, весьма прилично одетый, вооруженный кинжалом и револьвером».

Следующим громким террористическим актом стало покушение на преемника Мезенцева на посту начальника III Отделения — генерала Дрентельна. Напомним обстоятельства покушения.

13 марта в 13 часов дня генерал Дрентельн ехал в карете по набережной Фонтанки в Комитет министров, располагавшийся на Дворцовой набережной. Террорист Мирский опередил карету на верховой лошади и произвел выстрел внутрь экипажа; выстрел миновал генерала: пуля разбила только стекло и застряла в деревянном кузове кареты. Кучер не растерялся и, развернув карету, бросился догонять всадника. Однако преимущество в скорости и маневренности позволило террористу оторваться от погони. На углу Воскресенского проспекта и Захарьевской улицы лошадь, поскользнувшись на каменной мостовой, упала, и всадник, вылетев из седла и сильно ударившись, не смог снова сесть в седло. Оставив лошадь, он взял пролетку и уехал на ней с места падения.

Вполне естественно, что следующей мишенью стал император Александр II.

В роли исполнителя террористического акта выступил совершенно неожиданный для революции человек — Александр Соловьев. В советский период Соловьева окружили героическим ореолом. На самом деле это был наркоман. 2 апреля 1879 года, встретив Александра II во время прогулки, Соловьев выстрелил в него несколько раз. В исторической литературе это покушение на царя описывается так. Соловьев, до этого слывший мирным пропагандистом, прибыл в Петербург из провинции с твердым намерением убить царя. Одновременно с той же целью здесь оказались Кобылянский и Гольденберг. Право выстрела отстоял Соловьев. После чего он купил фуражку чиновника, взял у

---

[56] Цит. по кн.: Глинский Б. Б. Революционный период русской истории, стр. 249—250.
[57] «Голос», 1878, 5 августа.

товарищей револьвер и отправился на дело[58]. Однако в этой истории очень много белых пятен, не попавших в поле зрения историков за весь послеоктябрьский период.

Эффективность успешных террористических актов и неудачи при совершении некоторых из них привели к тому, что было принято решение о создании специализированной террористической организации «Народная воля». Идеологическим обоснованием перехода к террору послужила статья П. Н. Ткачева «Жертвы дезорганизации революционных сил». Сам автор в это время находился в Лондоне. П. Н. Ткачев из-за рубежа поставил задачу создания единой централизованной организации.

В последующих работах Ткачев также обосновывал необходимость создания «централистической боевой организации революционных сил» и террора для достижения революционных целей. «Организация как средство, терроризирование, дезорганизирование и уничтожение существующей правительственной власти как ближайшая, насущнейшая цель — такова должна быть в настоящее время единственная программа деятельности всех революционеров»[59], — писал он в начале 1879 года.

К этому времени российские революционеры уже вошли во вкус террора: они поняли его высокую действенность при практической безопасности для организаторов. Наиболее полное обоснование террора было дано в вышеупомянутом сочинении Кравчинского «Смерть за смерть», изданном после убийства генерала Мезенцева. «Мы требуем полного прекращения всяких преследований за выражение каких бы то ни было убеждений как словесно, так и печатно. Мы требуем полного уничтожения всякого административного произвола и полной ненаказуемости за поступки какого бы то ни было характера иначе как по свободному приговору народного суда присяжных... Мы требуем полной амнистии для всех политических преступников без различия категорий и национальностей...»[60]. Другими словами, требовали для себя особого статуса в государстве.

15 августа 1879 года в пригороде Петербурга состоялся последний съезд «Земли и воли», в результате которого единая прежде организация распалась на две самостоятельных: революционно-теоретическую «Черный передел» и революционно-террористическую «Народная воля».

26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» подтвердил тайное решение группы террористов об убийстве Александра II, придав ему статус постановления. С этого момента все силы организации были брошены на выполнение «приговора».

Под Одессой в октябре — ноябре 1879 года. Террористы получили сообщение о том, что из Крыма царь на яхте выйдет в Одессу, а из Одессы поедет поездом. Для проведения взрыва поезда два члена террористической организации с использованием документов прикрытия внедрились в штаты железнодорожников. Была составлена схема минирования и подготовлено все необходимое для закладки взрывного устройства. Однако из-за волнения на море царь не вышел на яхте в Одессу. В связи с изменением маршрута следования царского поезда покушение не состоялось.

Под Александровском 18 ноября 1879 года. Было заминировано полотно. Обращает внимание профессионализм подготовки диверсионно-террористического акта. Мины закладывались на насыпи высотой 20 метров таким образом, чтобы взрывы произошли под локомотивом и последним вагоном. Поезд должен был быть сброшен взрывами с полотна. Несмотря на правильность

---

[58] См.: Иващенко В., Кравец А. Николай Кибальчич. М., 1995, стр. 71; «„Народная воля" и „Черный передел"». Л., 1989, стр. 10 — 11; «„Народная воля" перед царским судом. М., 1930, стр. 22.

[59] «Революционный радикализм в России: век девятнадцатый». Документальная публикация под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997, стр. 375.

[60] Будницкий О. В. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. Ростов-на-Дону, 1996, стр. 87.

минирования, взрыв не состоялся. Ни сами террористы, ни историки так и не смогли понять — почему. Высказывается версия, что электрические провода, подведенные к минам, оказались кем-то перерезаны непосредственно на насыпи. Эта версия не выдерживает критики. Провода подводились отдельно к двум минам, находившимся на значительном удалении друг от друга. Даже если бы провода были перерезаны около одной мины, сработала бы вторая.

Под Москвой 19 ноября 1879 года. Минирование железнодорожного полотна и подрыв по ошибке свитского (сопровождающего) поезда. К совершению этого акта террористы готовились долго. Они купили жилой дом, находящийся рядом с железной дорогой, вырыли подвал, а из подвала провели подземный тоннель и заложили заряд динамита непосредственно в насыпь. Террористы знали, что царский поезд состоит из двух составов. Царь попеременно ехал то в одном, то в другом. На этом участке, по сведениям террористов, царь должен был находиться именно в первом составе, потому что в Москве его встречали. Но служба безопасности императора уже получила информацию о том, что на одной из станций задержан террорист со взрывчаткой. Царский состав пустили на большой скорости и без знаков отличия. Террористы прозевали этот поезд и по ошибке взорвали свитский.

В резиденции царя в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Террористы внедрили в Зимний дворец под видом плотника взрывотехника Халтурина. Операция внедрения длилась полгода и отличалась большой сложностью. Получив возможность свободного доступа во дворец, Халтурин пронес в помещение большое количество взрывчатки. Взрывное устройство было заложено в комнате отдыха столяров, находившейся под царской столовой. В результате взрыва пострадало более 50 человек солдат охраны и обслуживающего персонала.

В Одессе весной 1880 года. У террористов был хорошо поставлен сбор информации. Они получили сведения, что летом 1880 года царь выедет в Крым через Одессу. Они знали даже, что с вокзала он поедет в порт по Итальянской улице. На этой улице они сняли частный дом, вырыли подвал и начали вести подкоп под проезжую часть, чтобы заложить взрывчатку. Подкоп не был доведен до конца в связи с нехваткой времени.

В Санкт-Петербурге летом 1880 года. Зная маршрут передвижения царя с вокзала в Зимний дворец через Каменный мост по Гороховой улице, террористы опустили в воду четыре резиновых мешка с динамитом, общий вес которого достигал 106 кг. По плану операции в момент проезда императорской кареты через мост надо было включить электродетонатор. Подводный взрыв должен был уничтожить мост вместе с каретой. Террорист, который нес аккумулятор, опоздал ко времени проезда императора. Летом 1881 года заряды были подняты водолазами.

В Санкт-Петербурге 1 марта 1881 года. Террористы взяли в аренду подвальное помещение дома графа Менгдена. Здесь они открыли магазин торговли сыром. Из подвала они прорыли подкоп под проезжую часть и заложили большое количество взрывчатки. Взрыв не состоялся, так как царь изменил маршрут движения.

По плану этой операции во время покушения на императора 1 марта 1881 года метальщики снарядов должны были выполнить вспомогательную функцию: добить императора гранатами, если он уцелеет после взрыва. Однако, как уже было сказано, император не поехал по заминированному участку. Поэтому метальщики поневоле стали основными исполнителями операции. Взрывными снарядами, брошенными вначале Рысаковым, а затем Гриневицким, император был убит. Вместе с ним погибли и получили ранения 20 посторонних лиц.

Таким образом, основная цель, ради которой создавалась «Народная воля», — убийство императора Александра II — была достигнута.

Историки не задаются вопросом, откуда у террористов было так много взрывчатки. В ходу объяснение: ее производили местные умельцы типа Кибальчича. Подобная версия не выдерживает критики. Будь производство взрывчатки столь легким делом, ее бы, как самогон, «гнали» в домашних условиях любите-

ли «взрывной» рыбалки. Кроме того, террористы в Российской империи пользовались электрическими взрывателями, которые самостоятельно не изготовишь.

Историческая правда состоит в том, что поставки динамита осуществлялись из-за рубежа. Сразу же после Липецкого съезда «Народной воли» один из его участников, А. И. Зунделевич, выехал в Швейцарию для приобретения динамита. Значительное количество закупленного динамита не удалось переправить через границу, он был задержан на таможне[61]. На этом зарубежные поставки динамита не прекратились. Информация о поставках из-за рубежа взрывчатки и взрывных устройств поступала в III Отделение от зарубежных источников.

При подготовке взрыва царского поезда под Москвой 19 ноября 1879 года террористы рассчитывали на поставки динамита из-за рубежа, «и, получив сведения, что заграничный транспорт, на который рассчитывали, не прибудет»[62], организаторы направили участника подкопа Гольденберга в Одессу за динамитом, при доставке которого он и был задержан полицией.

Динамит зарубежного производства часто изымали на конспиративных квартирах при обысках. Так, на квартире в Саперном переулке, дом 10, кв. 9, где находилась подпольная типография, было обнаружено одновременно «четыре фунта динамита и разные предметы для производства взрывов»[63], причем динамит был заграничным.

В Киеве, при обыске на одной из конспиративных квартир, «в чуланчике для дров найден завернутый в клеенку и зарытый в землю металлический ящик», который «по наружному осмотру означенного ящика экспертами-пиротехниками... был признан динамитным снарядом австрийского приготовления, при этом они нашли, что вес заключающегося в нем динамита около 5 ф.»[64].

Тогда же пресса обнародовала еще один случай с поставками «разрывных снарядов для петербургских покушений» из-за рубежа. Венгерская радикальная газета «Fugget benseg» опубликовала на своих страницах сообщение, что незадолго до последнего покушения на российского императора через территорию Венгрии в Россию были направлены «с особым, безопасным от огня поездом» от 2 до 3 центнеров динамита. «Прежде чем этот поезд достиг Петербурга, на одной железнодорожной станции явились русские полицейские, которые приняли посылку и увезли ее с собой. Лишь спустя несколько дней обнаружилось, что эти полицейские были переодетые нигилисты»[65].

Закладка первых мин под Одессой, Александровском и Москвой осенью 1879 года потребовала около 96 кг динамита. Около 50 кг динамита было заложено Халтуриным для производства взрыва в Зимнем дворце. Более 100 кг динамита было использовано для минирования Каменного моста. Значительное количество динамита было заложено при минировании проезда на Малой Садовой. Много взрывчатки использовалось при изготовлении метательных снарядов. Взрывчатку находили, как правило, почти на всех конспиративных квартирах. В связи с этим возникает вполне обоснованное сомнение в возможности производства такого количества взрывчатых веществ в «домашних условиях». Только при задержании А. Михайлова на его конспиративной квартире полиция изъяла 32 кг динамита. По воспоминаниям В. Фигнер, уже после убийства императора 1 марта 1881 года, «когда закрылась химическая лаборатория, Исаев привез к нам всю ее утварь и большой запас динамита»[66]. Несколько коробок динамита было изъято на квартире Желябова, где он проживал вместе с Перовской. Покидая конспиративную квартиру после ареста Желябова, Перовская не удосужилась забрать с собой динамит, что говорит о том, что в этот момент «Народная воля» недостатка во взрывчатке не испытывала.

---

[61] См.: Волк С. С. «Народная воля». 1879 — 1882, стр. 101.

[62] «Обвинительный акт по делу о дворянине Александре Квятковском и др.». Б. м., б. г., стр. 38.

[63] «„Народная воля" перед царским судом». М., 1930, стр. 31.

[64] «Особое приложение к „Киевским губернским ведомостям"». Б. м., б. г., стр. 7.

[65] Газета «Сын Отечества», 1881, 13 марта.

[66] Коваленский М. Русская революция в судебных процессах и мемуарах. Кн. 3. М., 1924, стр. 36.

На смену Александру II пришел новый император — Александр III. Россия затормозила свой реформаторский путь.

Во время царствования Александра III была одна попытка покушения на него. Группа студентов, начитавшись стенограмм допросов участников «Народной воли», решила повторить их «подвиг». Не получилось. Полиция стала умнее. А сами студенты не прошли той профессиональной подготовки у зарубежных инструкторов, которую проходили террористы-народовольцы.

Очередной виток антигосударственного террора в России начался после восшествия на престол императора Николая II. Никто из историков не задается вопросом: почему революционное движение в Российской империи второй половины XIX — начала XX века носило характер «всплесков»? Ответ на этот вопрос позволяет рассматривать антигосударственный террор в России как регулируемое криминально-политическое явление. Создание террористических организационно-структурных формирований, генерирование экстремистских антигосударственных идей в России начиналось тогда, когда российские императоры принимались за свои преобразовательные реформы, направленные на укрепление империи. «Наши революционеры начинают проявлять особенно повышенную „деятельность"... каждый раз, как в государственной жизни проявляется тенденция к реформам и к прогрессу»[67]. В подтверждение этого тезиса тот же автор писал: «Начало революционного террора в России относится к 1861 году, ознаменованному величайшей из либеральных реформ Царя-Освободителя. Непосредственно за манифестом 19 февраля эмигрантская и подпольная пресса начинает наводнять Россию кровожадными прокламациями, призывающими ни более ни менее как к убийству Царя-Освободителя со всей Царской семьей». Второй этап генерирования экстремистских идей и террористического движения приходится на конец 80-х годов, когда царь «собирался осуществить самую крупную из своих реформ — организацию участия в законодательстве выборных людей». И в третий раз «революционная волна поднялась, и поднялась до небывалых еще размеров, начиная с 1902 года, и опять-таки как раз тотчас же после того, как в высших сферах обнаружилось явное реформаторское и либеральное течение»[68].

Террор в России начала XX века существенно отличался от «антиалександровского». Основными организаторами террора стали партии.

В отличие от группового интереса, в основе партии лежит какая-то объединяющая и целеформирующая идея. Применительно к революционным партиям это экстремистские идеи, формулирующие цели, достижение которых нереально в условиях существующего политического режима, формы правления, правового поля государства. По сути дела, эти партии изымали определенную часть населения, своих членов и сторонников, из правового поля государства и требовали от них поступать в соответствии не с государственными нормами, а с партийными задачами. «Немыслимо быть умным и развитым, безусловно подчиняясь партиям, ибо самую суть широкой развитости составляет присутствие „интегрирующего" общенационального или общечеловеческого сознания, — писал Л. Тихомиров. — Партия поэтому очень быстро принижает человека, а если он не поддается принижению, — его выбрасывают, или же он сам уходит из общественной деятельности»[69].

Экстремистские партии и организации, действовавшие на территории Российской империи террористическими методами, можно разделить на ряд групп.

В первую очередь — это политические партии.

В принципе, все радикальные партии преследуют политические цели и могут быть, в широком смысле слова, отнесены к разряду политических

---

[67] Алмазов П. Наша революция. (1902 — 1907). Исторический очерк. Киев, 1908, стр. 18.

[68] Там же, стр. 20.

[69] Тихомиров Л. К реформе обновленной России (статьи 1909, 1910, 1911 гг.). М., 1912, стр. 28.

партий. Исходя из мысли дореволюционного правоведа Г. Елинека, собственно политическими можно назвать те экстремистские партии, которые стремились к достижению политических задач, связанных с захватом власти, ставили цели, достичь которые можно только революционно-террористическим путем. В нашей истории остались известны две основные политические партии этого рода: Российская социал-демократическая рабочая партия и партия социалистов-революционеров. Обе партии отличались большим уровнем политической агрессии и были ориентированы на самые разные социальные слои населения: рабочих, крестьян, интеллигенцию, государственных служащих.

Но в начале XX века политических организаций было значительно больше. Например, в 1900 году в Минске была создана «Рабочая партия политического освобождения России» с террористическими целями. Было много других мелких политических организаций, исповедовавших революционный террор.

Еще один вид партий — этно-националистические; в дореволюционной России их называли «национальными партиями». Г. Елинек относит национальные и религиозные партии к разряду «не настоящих», «так как всякая настоящая партия должна иметь определенную широкую программу государственной политики, что невозможно с точки зрения определенной национальности или религии»[70]. Но эти «ненастоящие» партии проводили самый настоящий террор против государства и против людей других национальностей.

Россия формировалась как многонациональная империя. И организаторы революционно-террористического движения сосредоточили свои усилия на подстрекательстве нерусских слоев населения. Революционное и революционно-террористическое движение носило ярко выраженный социально-территориальный характер. Революционный террор получил наиболее криминальное выражение именно на окраинах империи, и в этом заслуга национальных партий.

Значительный вклад в развитие революционного террора в начале XX века внесли **польские партии.**

Социал-демократия Королевства Польского и Литвы в самом своем названии возрождала Речь Посполитую. С 1905 года партия приняла террор как «тактическое» средство и создала специализированное подразделение — «Варшавскую боевую дружину».

Основными польскими экстремистскими партиями и организациями, исповедовавшими и проводившими террор, были: «Просвещение люда», Польская социалистическая партия, Польская социалистическая партия «Пролетариат», Национально-демократическая партия, «Польская Лига», «Народовый Скарб», «Народовый рабочий союз», Польская прогрессивная партия и более мелкие организации: «Польский союз Белого Орла», «Польский Народный Союз», «Партия польской государственности», «Союз национального образования», «Союз возрождения польского народа», «Союз польской молодежи», «Союз польских рабочих» и другие. В 1901 году в Кракове действовал религиозный экстремистский «Кружок борьбы с Россией». В его состав входили и католические священники — на условиях конспирации.

После того, как восточная часть бывшей польской территории перешла в ведение Российской империи, начались социально-экономические преобразования на литовских землях. В конце XIX века в Литве только начала зарождаться своя буржуазия в конкуренции со старой еврейской буржуазией. И первое общественное националистическое движение зародилось в этой борьбе. В первой половине 80-х годов стал выходить журнал «Аушра» — «Заря». На его страницах начали публиковаться статьи националистического и антисемитского содержания. То есть причиной политической активности литовцев изначально стала не политика империи, а стремление потеснить ту буржуазию, которая сформировалась еще в период Речи Посполитой. Второй причиной, как

[70] Елинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1903, стр. 70.

ни парадоксально, стала просветительская деятельность империи. Открытие учебных заведений в Литве, повышение общего уровня грамотности населения привело к усилению национального чувства литовцев. Возникло движение «Литва для литвоманов», направленное на изгнание «инородцев».

К началу всплеска антигосударственного террора в 1905 — 1907 годах в Литве действовал уже целый ряд экстремистских партий. Литовская социал-демократическая партия требовала автономии Литвы, избрания своего законодательного собрания; придания литовскому языку статуса государственного и т. п.

Литовская демократическая партия, образовавшаяся в 1902 году, выдвинула программу изменения формы политического правления в Российской империи и предоставления Литве широкой автономии в ее этнографических границах. Союз литовских христианских демократов сформировался в 1905 году. Выдвинул задачу «политического и национального освобождения литовского народа под знаменем католической церкви». Союз, объединивший в своих рядах духовенство и «наиболее невежественную часть крестьян, в основном зажиточных», не оказал особого влияния на развитие терроризма.

Украинские партии. Антироссийское революционно-террористическое движение во многом было связано с Украиной. Именно здесь зародилось основное ядро боевиков «Земли и воли» и «Народной воли». В начале XX века на территории Украины действовали: «Революционная украинская партия», проповедовавшая принципы самостийной Украины, Украинский Союз «Спилка» (другое название — Украинская социал-демократическая партия «Спилка»), Украинская национально-демократическая партия, Украинская революционная партия («самостийников»), Украинская радикально-демократическая партия (ставила задачи изменения законов и формы правления в Российской империи, а также ликвидации вооруженных сил и замены их милицией; придания украинскому языку статуса государственного и проч.).

Наряду с названными партиями были и более мелкие, как Украинская народная партия. Она прославилась тем, что организовала осенью 1904 года взрыв в Харькове памятника Пушкину. Пушкин был виноват в том, что в поэме «Полтава» оскорбил чувства украинского народа.

Кавказские партии. Присоединение Кавказа к территории Российской империи сопровождалось активным вмешательством из-за рубежа в кавказские социальные процессы. В частности, Турция и Персия накопили большой опыт подстрекательства.

Самой крупной этнонационалистической партией Кавказа стала армянская партия «Дашнакцутюн». Она образовалась в 1890 году на территории Турецкой Армении, но затем перенесла свою деятельность на территорию Российской империи. С 1903 года партия начала активную террористическую деятельность. Достаточно отметить, что в 1907 году из общего бюджета партии в 1 миллион франков 35 процентов тратилось на вооружение. Другой, менее известной, армянской партией стала партия «Гнчак». На территории Армении действовало также подразделение РСДРП — Армянская социал-демократическая рабочая организация.

Национальной партией на территории Грузии стала партия социалистов-федералистов, образовавшаяся в конце 90-х годов XIX века. Ее экстремистская программа в значительной мере повторяла положения партии «Дашнакцутюн».

Этнорелигиозные партии. Население империи различалось и по вероисповеданию, что также использовалось в развитии антигосударственного террора. Ярче всего это проявилось на Кавказе. Уже в конце XVIII века здесь вспыхнул мятеж под руководством шейха Мансура. Затем в 1820 — 1860 годы Кавказ будоражили идеи мюридизма. Именно под знаменем мюридизма выступали Гази-Мулла, Хамзат-Бек, Шамиль. В конце XIX — начале XX века на Кавказ обрушились идеи панисламизма — создания всетюркского государства на основе ислама (союз «Дфай» и партии «Гумет», «Мудафе», «Иттифаг», «Эшемс», действовавшие на Кавказе).

Анархисты. В Российской империи анархистских организаций было великое множество. У анархистов не было жесткой партийной структуры. Чаще всего это были мелкие, очень мобильные и дерзкие организации, которые тратили мало сил на агитацию словом, а занимались агитацией делом — террором. Анархисты с удовольствием уничтожали сотрудников полиции и фабрикантов, занимались валютным террором (экспроприацией), безмотивно бросали бомбы в места скопления «буржуазии». О разветвленности анархистских структур можно судить все по тому же Кавказу. Здесь в 1905 году, по далеко не полным данным, действовали следующие анархистские организации: «Группа анархистов-коммунистов»; группа анархистов-коммунистов «Террор»; «Объединенная группа анархистов и максималистов»; группа анархистов-коммунистов «Хунхузы»; группа «Анархия»; группа анархистов-коммунистов «Красная сотня»; группа «Черный ворон»; группа «Красное знамя»; «Летучий отряд анархистов-коммунистов», «Свободная группа политических террористов» и другие. На территории Царства Польского анархисты, «проповедуя беспощадный террор по отношению представителей власти и имущих классов... организовали в 1905 — 1906 гг. несколько террористических покушений, а затем занялись вымогательством денег при помощи угроз револьверами и бомбами, а также приняли участие в экономическом терроре»[71].

Развитию революции активно способствовало мощное движение студентов и учащейся молодежи. Именно студенты и учащаяся молодежь составили основное организационно-исполнительное ядро «Народной воли». В начале XX века студенты горячо отстаивали свои корпоративные права. Эта их активность привлекла внимание революционеров, чья пропаганда в студенческой среде оказалась особенно успешной.

Даже беглый перечень экстремистских партий показывает, что их воздействием были охвачены значительные национальные и религиозные слои населения. Такому воздействию не подверглись разве что только коренные сибирские и азиатские народы. Пожалуй, наиболее емко роль партий в разрушении государства охарактеризовал Л. Тихомиров. «И превратилась русская жизнь в Вавилонское столпотворение. Все разбились, везде партии, везде фракции, везде разделение и вражда. Независимости мнения и действия не только не понимают сами, но и не позволяют другим...»[72].

Перечисленные радикальные партии нельзя не рассматривать как криминальные формирования, созданные для решения антигосударственных задач. В отличие от «Народной воли» партии имели более сложный тип организации: генерирующие структуры, вырабатывающие экстремистские идеи, и исполнительные структуры, куда входили отборочные подразделения — различного рода кружки, секции; агитационно-пропагандистские — чаще всего воскресные школы; разведывательные и контрразведывательные подразделения; террористические формирования — боевые группы и организации, партизанские отряды; снабженческо-обеспечивающие и др. Вот как выглядела, например, организационная структура партии «Дашнакцутюн», далеко не самой крупной: Заграничные Центральные комитеты; Центральный комитет в каждом округе; Ответственный орган; Союзный совет; Главный военный совет с Генеральным штабом; а также чисто исполнительные структуры: Профессиональные и Сельские союзы; Красный Крест, обеспечивавший социальную защищенность террористов; внутренняя контрразведка (организация «Дели»); Комитет самообороны; культурно-просветительское общество; Террористический активный комитет; милиция; зинворы (солдаты, которых было 100 тысяч человек). Партия «Дашнакцутюн» имела за рубежом даже свое военное училище, где готовились офицеры-диверсанты.

---

[71] «Обзор революционных и националистических партий Привислинского края за 1905, 1906, 1907 и 1908 гг.». Б. м., б. г., стр. 22 — 23.

[72] Тихомиров Л. К реформе обновленной России (статьи 1909, 1920, 1911 гг.), стр. 27.

Пропаганда формулировала цель и мотивы криминальной деятельности, освобождающие исполнителей от чувства вины.

Практически все партии сразу же начинали выпускать печатную продукцию. О том, какое внимание уделялось пропаганде террора, можно судить по одной только партии социалистов-революционеров. В 1902 году она выпустила 317 тысяч экземпляров листков и брошюр подстрекательского характера общим объемом 1 059 000 страниц. В 1903 году партия выпустила 395 тысяч экземпляров изданий общим объемом 2 049 500 страниц. За два года партия потратила на издание агитационной литературы 145 тысяч франков. Основное содержание было посвящено задачам террора[73]. В разгар революционного террора, в первой половине 1906 года, партия социалистов-революционеров издавала более 20 ежедневных газет экстремистского содержания. Только в Москве и Петербурге было издано до 250 книг и брошюр общим тиражом около 4 миллионов экземпляров.

Как отмечал министр внутренних дел П. А. Столыпин в сентябре 1906 года, «серьезною задачей для местной администрации является надзор за прессою. Допущенная законом свобода печати использована почти повсеместно лицами, явно враждебными правительству во вред последнему, и создала целый ряд органов, растлевающе действующих на население».

Но пропаганда — лишь часть подстрекательской деятельности. К ней относились и «стачки, забастовки, подстрекательства к неповиновению, разные демонстрации, насилия над мастерами и директорами, неугодными партии, а также террор относительно заподозренных в шпионстве»[74].

Занимаясь подстрекательской деятельностью, партии не только формулировали «благие общенародные цели», но и указывали, кто мешает достичь их мирным путем. Тем самым формировался «образ врага», то есть объект террора, подлежащий уничтожению.

Так, известен термин «аграрный террор». Но объектом террора в этом случае являлись не отдельные владельцы сельскохозяйственных угодий, а дворянство как основной ведущий слой империи. Крестьянам внушали, что дворяне незаконно владеют землей и лесами, что все это необходимо отнять и поделить. Точно так же возбуждались межнациональные конфликты. Одним из самых тяжких стали спровоцированные этнонациональной партией массовые беспорядки в Баку.

6 февраля 1905 года в центре Баку армяне убили мусульманина Ага Рза Бабаева. Азербайджанцы вышли на улицу. В результате вспыхнули межэтнические столкновения, происходившие с 6 по 10 февраля. Они «сопровождались массовыми убийствами, поджогами, грабежами и обнаружили такие проявления зверства и жестокости, на которые способна только разбушевавшаяся и ничем не сдерживаемая толпа»[75]. В ходе массовых беспорядков, по далеко не полным данным, было убито 269 человек и ранено 220. Среди убитых оказалось 224 армянина, 41 азербайджанец, 4 русских. Сожжено 4 дома; разграблено 176 квартир и торговых заведений, из которых 134 принадлежали армянам, 30 азербайджанцам.

Все без исключения экстремистские партии занялись созданием различного рода базовых центров. Сюда относились: конспиративные квартиры, типографии, центры подготовки боевиков, мастерские по производству оружия и др. Например, в Петербурге была сформирована «Химическая группа» для изготовления взрывчатки. Для этого на Малой Охте под вывеской «Мастерская фотографических аппаратов» была создана специальная лаборатория. Ле-

---

[73] См.: Маслов П. П. Народнические партии. — В сб.: «Общественное движение в России в начале XX века». Т. III, кн. 5. СПб., 1914, стр. 98.

[74] «Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях за 1901 год». [Ростов-на-Дону, 1906], стр. 82.

[75] Литвинов Н. Д., Нурадинов Ш. М. Кавказский террор в Российской империи. М., 1999, стр. 83.

том 1905 года в Киеве большевики организовали школу инструкторов-специалистов по производству метательных снарядов. Одновременно в этой школе обучалось 20 человек. По окончании школы они разъехались на места и создали ряд мастерских по изготовлению бомб. Такие мастерские начали действовать в Москве, Ростове, Киеве, Екатеринославе, на Кавказе и Урале, в Финляндии и Прибалтике.

Боевая и террористическая деятельность требовала высокого уровня криминальной подготовки кадров в специальных подразделениях.

Так, партия социалистов-революционеров сформировала «Летучий боевой отряд» для выполнения крупных террористических актов. В селах создавались «Крестьянские боевые дружины партии социалистов-революционеров». В структуре Польской социалистической партии действовали боевые пятерки, боевой отдел партии, Боевая фракция польской социалистической партии. Социал-демократия Латышского края имела «Боевые организации», «Группы лесных братьев». Социал-демократическая партия Королевства Польского и Литвы создала вышеупомянутую «Варшавскую боевую дружину».

Нередко партии создавали специальные учебно-тренировочные лагеря. Так, Польская социалистическая партия в 1906 году организовала особую школу подготовки инструкторов в Кракове. Срок обучения в этой школе был от 3 до 6 недель. Затем выпускники школы разъезжались по местам и там готовили боевиков.

Для подготовки боевиков партии издавали и запускали в свободную продажу литературу методического характера. В таких изданиях давалась характеристика вооружению и тактике действий воинских формирований; содержались рекомендации по проведению диверсионно-террористических актов. Вот перечень изданий, выпускавшихся только польскими социалистами: «Команда и маневры», «Браунинг», «Маузер», «Уроки стрельбы», «Способ уничтожения орудий русского войска», «Разведочная служба» и др. Уровень методических рекомендаций был столь высок, что вызывал восторженные комментарии в австрийских военных кругах.

Естественно, что идеологически формулировались и объекты террора. В первую очередь это была политическая элита империи.

В XIX веке террористы «Народной воли» сосредоточили свои усилия на уничтожении носителя верховной власти — императора. В начале XX века система обеспечения безопасности императора была на высоте, так что совершить покушение на Николая II было бы очень сложно. Поэтому террористы сосредоточили свои усилия на уничтожении представителей государственной элиты, в первую очередь наиболее влиятельных, а также ведущего слоя — тех, кто обеспечивал функционирование экономики империи (дворяне, фабриканты и заводчики, банкиры и др.).

«Аграрный террор» наиболее жестокие формы приобрел в юго-западном крае (Подольской, Киевской, Волынской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Новороссийской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической, Бессарабской губерниях, Донской области). Самыми умеренными его проявлениями были отказ от работы в период уборочной страды и шантаж землевладельцев с требованием повысить заработную плату до того уровня, когда уборка хлебов становилась убыточной. Там, где уровень агрессии крестьян был выше и подстрекательская деятельность партий успешнее, совершались поджоги собранного зерна, амбаров, усадеб, подворий, уничтожение скота. Осуществлялось много насилий непосредственно над землевладельцами. В результате «аграрного террора» резко увеличилась продажа земли землевладельцами: помещики убегали от земли.

«Фабричный терроризм» был направлен на владельцев заводов и фабрик, на ведущих специалистов производства. В результате террора многие фабрики и заводы прекратили существование: производство было свернуто, а в некоторых случаях и перенесено за границу. Россия частично потеряла зарубежные рынки сбыта.

Но государство — это не только и не столько высшие слои государственной элиты, дворяне и фабриканты. Прочность государства во многом зависит от разветвленности механизма государственной власти и от добросовестности чиновников — функционального слоя государства. Соответственно объектом революционного террора стали государственные чиновники: их отстреливали вне зависимости от профессиональной принадлежности. Массовая гибель военнослужащих и сотрудников полиции вела к их деморализации. Например, в Варшаве 1 августа 1905 года были убиты на улице выстрелами из револьверов: два околоточных надзирателя, шесть жандармов, девять городовых, пять рядовых сотрудников; ранены: один околоточный надзиратель, один жандарм, четыре городовых и три рядовых. 2 августа в помещение 7-го полицейского участка были одновременно брошены три гранаты; разрушено помещение, смертельно ранен околоточный надзиратель, тяжело ранены несколько прохожих. За один день убито 18 гражданских лиц и ранено 20. Вот данные о потерях сотрудников полиции, военнослужащих и гражданских чиновников только на территории Царства Польского:

	Убито	Ранено
1906	336	341
1907	191	278
1908	87	121

Как отмечал П. А. Столыпин 15 сентября 1906 года, «одним из серьезнейших приемов текущей революционной борьбы является террор, направленный на должностных лиц, в видах устранения наиболее деятельных служащих, преследующих противоправительственных агитаторов, а также для дезорганизации административной власти»[76].

В условиях тысячекилометровых расстояний Российской империи железные дороги играли роль артерий. Вот почему революционный террор с особым ожесточением обрушился и на железнодорожный транспорт. Железные дороги, железнодорожники, пассажиры, перевозимые грузы стали объектом преступлений.

В первую очередь террору подверглись железнодорожники, не желавшие принимать участия в забастовках. В советский период историки с восторгом описывали почти поголовное участие рабочих в забастовках. На самом деле основная часть железнодорожников отказывалась поддерживать всероссийскую забастовку. За это они сами становились объектом покушений. 3 июля 1906 года в Тифлисе была отравлена часть рабочих, не желавших бастовать. На многих станциях за отказ поддержать забастовку были убиты машинисты локомотивов либо руководители среднего звена, в основном начальники станций. Взрывались локомотивы и вагоны. Взрывались воинские поезда и расстреливались проезжавшие в поездах военнослужащие. На железных дорогах, расположенных на территории Царства Польского и Кавказа, часто взрывались большие и малые железнодорожные мосты, разрушалась телеграфная связь, взрывалось полотно железной дороги.

Деятельность известного революционера, железнодорожного машиниста А. В. Ухтомского состояла в том, что он сформировал боевую дружину из числа железнодорожников в количестве 200 человек и оборудовал «революционный» поезд: четыре вагона, в том числе санитарный при быстроходном паровозе. Имея средство быстрого передвижения, дружина Ухтомского на станциях обезоруживала сотрудников жандармской полиции и военнослужащих; разрушала средства телеграфной связи, расхищала перевозимые грузы[77].

---

[76] «Председатель Совета министров, министр внутренних дел. Генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам. Циркуляр № 1598». СПб., 1906.

[77] См.: «Московское вооруженное восстание. По данным обвинительных актов и судебных протоколов». Вып. 1. М., 1906, стр. 89.

Значительное распространение на железнодорожном транспорте получили акты валютного террора и разбойных нападений с целью получения денег. Так, 13 июля 1906 года отряд боевиков в количестве 40 человек остановил пассажирский поезд тормозом на перегоне. Убив сопровождавшего поезд жандармского унтер-офицера, бандиты похитили дневные станционные выручки в сумме около 15 тысяч рублей.

15 июля 1906 года около станции Гнашин несколько революционеров напали на пассажирский поезд, в вагоне которого перевозились деньги. Были убиты казначей таможни Демьяненко, старший досмотрщик таможни Киселев, начальник варшавского таможенного округа генерал Вестенрик, начальник ченстоховской бригады пограничной стражи генерал Цукато и четыре рядовых. Обратим внимание на количество погибших и на то, что все они по роду службы хорошо владели огнестрельным оружием. Тем не менее были убиты, а перевозимые деньги в сумме 16 тысяч похищены.

В 1917 году в России произошла Октябрьская революция. Власть захватили члены международной революционно-террористической организации — партии большевиков. Свои экстремистские идеи они начали проводить уже в форме внутригосударственного террора, что слишком хорошо известно...

На этих страницах мы попытались приоткрыть механизм развития террора. Знание его даст обществу возможность своевременно реагировать на первоначальные признаки террористической деятельности.

Вначале появляется идея. Потом — апостолы идеи внедряют ее в сознание определенных слоев населения. Из числа сторонников новой веры вербуются и обучаются исполнители. У них формируется мотив криминальной деятельности. Определяется цель. Выбирается объект. Разрабатываются средства обеспечения безопасности террористических акций. Происходит покушение на объект. А затем широким слоям населения дается обоснование покушения и проводится посттеррористическая дискредитация жертвы.

Ушедшая Россия предупреждает:

В основе террора всегда лежит экстремистская идея! Это она разрушает веру людей в свое прошлое и настоящее, формулирует призрачную цель, подсказывает мотивы, освобождает потенциальных исполнителей от чувства вины.

Писатели и публицисты XIX века слишком легко играли словами. Слишком часто и беспечно указывали народу, кого и за что надо резать. А потом все удивлялись, почему в одночасье рухнула великая держава и миллионы ее населения вырезали друг друга за несколько лет гражданской войны. И почти не задумывались над тем, как ее разрушили слова, сеявшие ненависть.

А потому, современники — журналисты, литераторы, историки, — не играйте словами!

Воронеж.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ

*

МАНДЕЛЬШТАМ И ПУШКИН

Статья вторая. Лирические сюжеты

Откуда извлекает поэт «и музыку и слово» — из какого небытия или сора, из знания или подсознания, из книг или снов? Едва ли не в каждом стихотворении Мандельштама есть отзвук чужого слова, но присутствие Пушкина в его творчестве столь органично, постоянно и повсеместно, что дает повод ставить традиционный вопрос о «пушкинской традиции»[1].

Однако...

«У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!»[2]

Ахматова знает, что говорит. Ей ли не знать — и по близости к Мандельштаму, и по свободной ориентации в мировой поэзии, и по собственной причастности к тайнам творчества, наконец. Она знает — и она права: у Мандельштама не было учителя, и Пушкин ему учителем не был. Нельзя вообразить ничего более далекого, чем поэтические миры Мандельштама и Пушкина. А уж о воздействии пушкинского стихового канона на Мандельштама и вообще рассуждать не приходится, в особенности на усложненную поэзию позднего Мандельштама, в которой присутствие Пушкина сгущается и нарастает к концу.

О самой же Ахматовой в отношении к Пушкину, а заодно и вообще о проблеме высказалась категорично Н. Я. Мандельштам: «Сейчас какие-то мудрецы додумались до блестящего открытия, будто Ахматова идет прямым путем от Пушкина. <...> Если бы мы умели анализировать стихи, выяснилось бы, что между Ахматовой и Пушкиным нет ничего общего, кроме бескорыстной любви младшего поэта к старшему. Постановка темы, подход к ней, система метафор, образность, ритм, словарь, отношение к слову у Ахматовой и у Пушкина совершенно разные. Да и вообще-то: разве можно сказать хоть про одного поэта, что он — „пушкинской школы" или „продолжает пушкинскую традицию". В каком-то смысле все русские поэты вышли из Пушкина, ухватившись за одну ниточку в его поэзии, за одну строчку, за одну интонацию, за что-то одно во всем пушкинском богатстве. Гораздо легче произвести поэта от Пушкина или от царя Соломона, чем найти реальную скромную ниточку, связывающую его с Пушкиным и с другими поэтами, — ниточек всегда много, иначе поэт улетит за облака и никто его не услышит»[3].

Надежда Мандельштам как будто переводит в план творчества то, что сказал Мандельштам в ранних стихах: «И я слежу — со всем живым / Меня связующие нити» («Мне стало страшно жизнь отжить...», 1910). Эти «связующие

Статью первую см.: Сурат Ирина. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин. — «Новый мир», 2003, № 3.

[1] Напр.: Мусатов В. В. «Вечные сны, как образчики крови...» Лирика Осипа Мандельштама и пушкинская традиция. — В его кн.: «Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века». М., 1998, стр. 241 — 320.

[2] Ахматова Анна. Сочинения. В 2-х томах, т. 2. М., 1990, стр. 219.

[3] Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1999, стр. 429 — 430.

нити», переплетаясь во множестве, входят в живую ткань стихов Мандельштама — вот о них и пойдет у нас речь, не о наследовании школы, традиции, поэтической системы, канона, а о новой жизни пушкинского слова, конкретного образа в поэтической ткани художника нового времени.

Мандельштам, говоря о литературном генезисе поэта, употребил и выделил слово «*родство*» («А. Блок», 1921 — 1922), а родство — это живая кровная связь поверх традиций и школ, и время здесь ничего не значит. У Пушкина, скажем, было такое личное родство с Горацием, особенно в последние годы — понятно, что тут дело не в наследовании традиции, а в интимных отношениях одного поэта с другим. Так было и у Мандельштама с Пушкиным. Если принять простое суждение Иосифа Бродского, что главное в поэзии — уникальность души[4], то можно говорить об «избирательном сродстве» между такими уникальными душами, будь они сколь угодно далеко разведены в реальном времени и пространстве. Поэзия в каком-то смысле существует вне времени и в едином виртуальном пространстве, где нет права собственности, понятий о своем и чужом, а соответственно не действуют и представления о заимствовании. Из общего арсенала поэтических образов поэт свободно и чаще всего бессознательно берет все, что ему нужно.

Такой взгляд на дело ставит под сомнение главную заботу мандельштамоведения — регистрацию и системное осмысление бесчисленных подтекстов, реминисценций и прямых цитат, плотно спрессованных в стихах Мандельштама. Здесь уж слишком велика вероятность ложных выводов. Известен же такой удивительный случай, когда два поэта, Ахматова и Мандельштам, в одно и то же время на расстоянии друг от друга нашли неправдоподобно близкие образы в стихах на гибель Гумилева:

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там, крысы, призрак или вор?

. . . . . .

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прозрачной простыни.

Ахматова написала эти стихи 27 — 28 августа 1921 года в Царском Селе, через неделю после расстрела Гумилева. Мандельштам узнал о трагедии в Тифлисе осенью 1921 года, тогда и появилось, согласно свидетельству Н. Я. Мандельштам, стихотворение:

Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч — как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, —
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

[4] Волков Соломон. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000, стр. 97.

Стихи, конечно, очень разные, но тем поразительнее буквальное совпадение мотивов: «Лунный луч наводит на топор» — «Звездный луч — как соль на топоре», в других мотивах можно было бы усмотреть полемику и выстроить версию о взаимовлиянии или диалоге двух поэтов, если бы эти стихи были разведены во времени или создавались в ситуации непосредственного общения. Произошло же другое: известие об убийстве дорогого человека вызвало у обоих один и тот же образ топора, сверкнувшего под лучом в ночи, — образ традиционный, отчасти достоевский, и вместе с тем единственный по своей общепонятной выразительности. Этот пример несколько охлаждает пыл при анализе «цитат и реминисценций» у Мандельштама, которые, с одной стороны, могут и вовсе не быть «цитатами и реминисценциями», но и будучи таковыми, могут не нести с собой никакой такой специальной смысловой нагрузки, связанной с источником. Не столь важно, почему Мандельштам заимствовал тот или иной пушкинский образ, — важнее увидеть, что он с этим образом сделал.

«И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит», — утверждая это в своем завещании, Пушкин, видимо, имел в виду не только само существование поэзии, но и определил за поэтом особый дар понимания. Ведь поэт читает поэта не просто как читатель или критик — он воспринимает поэтическое слово своим особым слухом и слышит то, что другим не слышно. Поэт живет и продолжается в поэте — вот с этой стороны нам и интересны пушкинские подтексты у Мандельштама.

В каких-то случаях Мандельштам с легкостью пользуется пушкинским поэтическим языком как своим, включая пушкинские имена вещей в собственный художественный мир. В других случаях он извлекает из пушкинского контекста отдельный образ и совершенно преображает его, подвергая «вторичной семантизации», «вторичной духовной обработке»[5].

Зелёный пух

I

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

II

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина,
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

Давно замечен в начале этих стихов, написанных весной 1916 года, отзвук пушкинских строк начала седьмой главы «Евгения Онегина» — описания весны[6]:

Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.

---

[5] Слова С. Г. Бочарова о преображении пушкинских образов у Достоевского см.: Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999, стр. 217.

[6] Ronen Omry. An approach to Mandel'štam. Jerusalem, 1983, p. 130.

Пушкинский подтекст поддерживается пушкинским же именованием «Петрополь» («Медный Всадник»), дальше — пушкинским словоупотреблением «северный» в значении «петербургский»[7] и еще дальше, во втором фрагменте, — пушкинской Прозерпиной (стихотворение «Прозерпина») и реминисценцией из пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» — «И каждый час нам смертная година» (у Пушкина: «День каждый, каждую годину / Привык я думой провождать, / Грядущей смерти годовщину / Меж их стараясь угадать»)[8].

Пушкинский образ прозрачного леса (ср. также «Прозрачный лес один чернеет...» из «Зимнего утра») будет в разных вариациях гулять в поэзии Мандельштама[9], но в стихах о Петрополе доминанта образа — не прозрачность, а «зеленый пух», перенесенный Мандельштамом из оживающего весеннего пушкинского леса в залетейский город смерти, в царство Прозерпины. У Пушкина «зеленый пух» — лишь одна из множества деталей в столь характерном для него потоке перечислений на исчерпание признаков просыпающейся природы, среди «вешних лучей» и «мутных ручьев», летящих пчел и поющих соловьев. Мандельштам выделяет поразивший его «зеленый пух» в единственный в этом контексте символ нежной беззащитной жизни, побеждаемой смертью в городе смерти. Стихи начинаются «зеленым пухом» прозрачной весны, но деталь эта поглощается смертью, окончательно торжествующей во втором фрагменте: «Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем...», «В Петрополе прозрачном мы умрем...». Подключив одной деталью пушкинскую строфу к своему стихотворению, Мандельштам создал ему контрастный фон и тем обострил звучание.

Молодая пушкинская зелень имеет и дальнейшую историю в мандельштамовских текстах. Этот образ открывает статью «Слово и культура» (1921), задает ее эсхатологическую тему:

«Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Не мэтрополитеном, не небоскребом измеряется бег современности — скорость, а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней.

Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы-Психеи. В этом царстве духа без человека каждое дерево будет дриадой и каждое явление будет говорить о своей метаморфозе».

«Зеленый пух» превратился в «яркую, нежную зелень», но сохранил связь с пушкинским образом и сохранил привязку к Петрополю-Петербургу, знаменуя теперь торжество новой одухотворенной природы-Психеи после крушения старого мира, за границей смерти. Мандельштам говорит в статье о метаморфозе культуры, государственности, поэзии — такую метаморфозу прошел и пушкинский образ, возведенный в символ «царства духа» после гибели на земле человека.

Мандельштамовское описание опирается на реальность — многие тогда отмечали эту непривычную зелень на улицах полуразрушенного, вымершего города. Замечательный знаток Петербурга Н. П. Анциферов писал в сентябре 1919 года:

«Город принимает новый облик, еще не нашедший отклика в художественном творчестве.

Исчезла суета суетствий.

---

[7] Отмечено Е. А. Тоддесом. См.: Тоддес Е. А. К теме: Мандельштам и Пушкин. — В кн.: «Philologia». Рижский филологический сборник. Вып. 1. Рига, 1994, стр. 96 — 97.

[8] На этот подтекст указано в статье: Рейнолдс Эндрю. Смерть автора или смерть поэта? Интертекстуальность в стихотворении «Куда мне деться в этом январе?..». — В сб.: «Отдай меня, Воронеж...» Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995, стр. 207.

[9] См.: Шарапова А. В. «На языке цикад пленительная смесь...» О пушкинском подтексте в стихах О. Мандельштама. — «Мандельштамовские дни в Воронеже». Воронеж, 1994, стр. 88 — 89.

<...> *Зелень делает все большие завоевания.* Весною трава покрыла более не защищаемые площади и улицы. Воздух стал удивительно тих и прозрачен. Нет над городом обычной мрачной пелены от гари и копоти. *Петербург словно омылся*» (книга «Душа Петербурга», 1922)[10].

Как видим, и Н. П. Анциферов, культуролог глубокий и чуткий, придал новой петербургской зелени особое значение в процессе духовного преображения города. Но в статье Мандельштама «яркая, нежная зелень» — уже совсем метафизика, зерно которой он конгениально усмотрел в пушкинском натуральном описании весенних, прозрачных, зеленеющих пухом лесов.

История этого образа возобновляется у Мандельштама уже в воронежских стихах 1937 года, и с Пушкиным она уже по-другому связана:

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов —
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

«Зелень» здесь — не метафизика, а сама натура, сама торжествующая жизнь — как у Пушкина. И «клейкость» ее тоже, похоже, пушкинская, только восходит она к другому тексту — к незавершенному стихотворению 1828 года «Еще дуют холодные ветры...»:

Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.

И в этом отрывке, и в первой строфе седьмой главы «Евгения Онегина» есть еще созвучие, которое могло спровоцировать чуткого к фонике Мандельштама на «клейкую клятву листов» — «Из душистой келейки медовой», «Летит из кельи восковой».

В воронежских стихах пушкинская зелень, прошедшая круг превращений вплоть до метафизического символа, возвращается к пушкинской конкретности. И в то же время это образ уже осложненный и обогащенный — воспринятый через Достоевского. В «Братьях Карамазовых», в разговоре Ивана с Алешей, дважды возникают пушкинские «клейкие листочки» — как аргумент к жизни и символ любви к жизни. Иван Алеше: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек <...> дорог иной подвиг человеческий...» А потом Алеша Ивану это возвращает: «А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь?»[11] Вот этот пафос любви к жизни, акцентированный Достоевским, и переходит к Мандельштаму вместе с «клейкими листочками», ведь недаром у него: «Я к губам подношу эту зелень» — к губам, с чувственной любовью, как самое дорогое.

---

[10] Анциферов Н. П. Непостижимый город. Л., 1991, стр. 172 — 173 (курсив Н. П. Анциферова). На связь этого описания с мандельштамовской статьей указано в кн.: Сегал Дмитрий. Осип Мандельштам. История и поэтика. Часть I. Книга 2. Jerusalem — Berkeley, 1998 («Slavica Hierusolymitana», vol. IX), стр. 521 — 522.

[11] Пушкинская реминисценция у Достоевского проанализирована С. Г. Бочаровым. См. в его книге «Сюжеты русской литературы» (стр. 208 — 222).

А по лирическому сюжету это стихотворение Мандельштама сходно с первыми строфами седьмой главы «Евгения Онегина»: приход весны соотносится с душевным состоянием поэта. И вот тут-то очевиден контраст.

У Пушкина:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
. . . . . .
Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

У Мандельштама:

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

Пушкин развертывает пресловутый «параллелизм», если угодно — отрицательный: он подробно исследует отношения человека и наступающей весны, через эту весну открывает душу (строфа II), обобщает личный опыт (строфа III), приглашает читателя на природу (строфы IV — V) — и пошло-поехало повествование. Мандельштам в своих трех строфах лаконичен и психологии не касается — тот, кто целовал «клейкую клятву листов», подчиняется «смиренным корням» и как будто становится той самой дриадой, о которой упомянуто в начале «Слова и культуры». Он не сравнивает свое душевное состояние с состоянием природы, как Пушкин, а просто растворяется в «гремучем парке», разделяя его весеннее торжество.

Казни

В поэзии Пушкина есть два сходных эпизода. Один — в финале исторической элегии «Андрей Шенье»:

И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...
Плачь, муза, плачь!..

Другой эпизод — в «Полтаве», ночь Кочубея перед казнью:

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
. . . . . .
.....Но ключ в заржавом
Замке гремит — и, пробужден,
Несчастный думает: вот он!

Кочубей ждет священника, чтобы принять Причастие, но входит к нему Орлик с допросом перед казнью. Дальше — плаха, топор, отрубленные головы Кочубея и Искры.

Эти два эпизода объединяет тема предрассветного ожидания казни, сопровождаемая железным звуком: «Звучат ключи, замки, запоры», «Но ключ в заржавом / Замке гремит». Кроме «Полтавы», «боязни» и «казни» рифмуются у Пушкина в «Стансах»:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

И еще у Пушкина близкий тюремный мотив — в столь же личном, как «Андрей Шенье», стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума...»:

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Здесь нет ожидания казни, но есть характерный для неволи звук железа, и главное — тема однозначно перенесена в личный план.

Эту тему и личную ноту в ней, и зловещий железный звук, и рифму «казни — боязни» расслышал у Пушкина Мандельштам. Стихотворение «Змей» (1910) завершается строфой:

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон.

Вся эта строфа — одна большая метафора душевного состояния, герой — не узник, он — «как узник», его «казнь» — это «лезвие тоски», а «железа визг» — метафора «осеннего сумрака», о котором в начале сказано:

Осенний сумрак — ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...

Аранжировка темы — пушкинская, включая рифму, «железа визг» и «ржавчину», но в нее привнесен мотив пения, песни: «Видением и пеньем потрясен». То ли это «поет» «осенний сумрак», то ли это пение, под которое танцует «больной удав», так или иначе — некая песнь перед казнью. Герой сравнивает себя с узником, который казни не боится, но его бесстрашие другой природы, чем у пушкинских Шенье и Кочубея, — просто он не может и не хочет больше жить.

Через двадцать лет эта тема возвращается к Мандельштаму в совсем ином звучании:

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

(«Ленинград», 1930)

«Я еще не хочу умирать», конечно, напоминает о пушкинском «Но не хочу, о други, умирать» («Элегия»), а в конце — ночное ожидание «гостей дорогих», звук железа, похожий на звон кандалов, и уже не отсутствие «боязни», а острый страх ночных звуков, несущих смерть. Пушкинская тюремная тема

резко перешла в реальность, собственная прежняя метафора претворилась в жизнь. Характерно, что мотивы эти возникают в финале стихотворения, как и в пушкинском «Андрее Шенье», как и в «Змее»; за зловещими ночными звуками — обрыв в пустоту, смерть.

Что касается звуков, то в «Ленинграде» пушкинский «звон оков» и пушкинский же звук ключа «в заржавом замке» Мандельштам соединяет в метафоре: «Шевеля кандалами цепочек дверных». Комментарий к тюремным звукам находим в «Воспоминаниях» Надежды Яковлевны, относящихся уже к воронежской жизни: «Тюрьма прочно жила в нашем сознании. <...> Да и люди, не испытавшие тюремных камер, тоже не могли избавиться от тюремных ассоциаций. Когда года через полтора в той же гостинице остановился Яхонтов, он сразу заметил, как там лязгают ключи в замках: „Ого!" — сказал он, когда, выйдя из его номера, мы запирали дверь. „Звук не тот", — успокоил его О. М. Они отлично поняли друг друга»[12].

Теперь понятно и нам, о каком острожном звуке говорит Мандельштам в стихотворении 1931 года:

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно — и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

Ожидание смерти, предрассветный звук, «шершавая песня». Надежда Мандельштам пояснила, что в этих стихах выражено «отношение О. М. к русским каторжным песням — он считал их едва ли не лучшими, очень любил»[13]. А точнее сказать, здесь выражено отношение к новой реальности — как и в других стихах марта 1931-го, писавшихся на том же листе:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Тут развернута альтернатива «смерть или Сибирь» — вечная альтернатива русской истории; она была реализована в судьбах декабристов, ее обдумывал и Пушкин после 1825 года: «И я бы мог как шут висеть...», «Верно вы полагаете меня в Нерчинске». Мандельштам мечтает о Сибири как о сказочной стране с «голубыми песцами», в которой можно скрыться от гибели:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Последняя строка была найдена позже, в 1935 году, когда личные отношения с «равным» вышли на первый план.

---

[12] Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999, стр. 146.

[13] Цит. по: Мандельштам Осип. Собрание произведений. Стихотворения. М., 1992, стр. 171.

При всей конкретности и реальности, тема казней у Мандельштама сохраняет с Пушкиным поэтическую связь. Пример — две строки из стихотворения того же 1931 года «С миром державным я был лишь ребячески связан...»:

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море...

Здесь что ни слово — все помнит о Пушкине: и нереиды (у Пушкина: «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, / На утренней заре я видел Нереиду»), и Черное море, которое всегда у Мандельштама пушкинское, и, главное, — «казни» и «мятежные» в одной строке, опять отсылка к пушкинским «Стансам» («Мрачили мятежи и казни»), да только Пушкин там глядит вперед с надеждой на лучшее, Мандельштам же — «чует грядущие казни» и бежит от них.

Оба пушкинских эпизода с ожиданием казни взяты из жизни исторических персон, ставших героями поэзии[14]. У Мандельштама эта тема — сугубо личная, можно сказать — автобиографическая, и ее метаморфозы отражают его личный путь в отношениях с современностью, с судьбой и даром. В том же 1931 году тема казней прямо увязана с даром:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье, —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

В этих стихах, обращенных скорее всего к народу[15], объявлен решительный выбор между молчанием, забвением (вспомним пережитую Мандельштамом немоту 1925 — 1930 годов) — и неотвратимой гибелью. Пушкинская тема жертвы поэта, поднятая в «Андрее Шенье», повернута на себя — за сохраненную речь поэт не только готов принять казнь самую лютую, «петровскую», но готов и сам ей содействовать: «И для казни петровской в лесу топорище найду». А «петровскую» — по памяти о литературном происхождении темы, по связи ее с «Полтавой» и пушкинскими «Стансами».

Эти свои строки Мандельштам вспомнил позже, по пути в ссылку: «Грузовик был переполнен рабочими. Один из них — бородатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке — своим видом напугал О. М. „Казнь-то будет какая-то петровская", — шепнул он мне», — рассказывала Надежда Яковлевна[16]. Топор как орудие дикой политической казни уже раз блеснул в его стихах — в 1921 году, после гибели Гумилева («Умывался ночью на дворе...»).

Так, между бесстрашием и страхом, шел Мандельштам по лезвию этой темы — от «Змея» до стихов на смерть Андрея Белого, в которых «казнь» и «песнь» слиты вместе — и вместе составляют судьбу поэта:

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

---

[14] О казни Андрея Шенье Мандельштам упомянул в «Четвертой прозе» (1930): «Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит литературе; казненный старший — сам ее казнил».

[15] Но явно не к Ахматовой, как думала она, — см. комментарий Н. Я. Мандельштам: Мандельштам Осип. Собрание произведений. Стихотворения, стр. 407.

[16] Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 70.

Вскоре после этого и сказал Мандельштам свое знаменитое «Я к смерти готов», имея в виду наверняка смерть насильственную.

Поэтический финал у темы казней — тоже по виду пушкинский, а по сути — антипушкинский. «Стансы» 1937 года, буквально последние известные стихи Мандельштама, написаны на фоне пушкинских «Стансов» и так же знаменуют примирение с властью и властителем. И так же не обходят тему казней, но разница в нравственной позиции, если можно говорить об этом при анализе поэзии, — велика. У Пушкина казни даны через «но», им оправдания нет: «Начало славных дней Петра / Мрачили мятежи и казни. / Но правдой он привлек сердца, / Но нравы укротил наукой...» Пушкин предлагает Николаю I пример Петра как образец самодержавного милосердия — он наставляет монарха, и достаточно дерзко, перейти от периода «мятежей и казней» к созиданию и прощению — «Во всем будь пращуру подобен / <...> И памятью, как он, незлобен». В этом и был не воспринятый возмущенными современниками смысл пушкинских «Стансов» — в побуждении царя к прощению мятежников. У Мандельштама все иначе:

Необходимо сердцу биться.
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину — не сказка,
Но только — жизнь без укоризн...

«С приговором полоса» принимается как необходимость на пути к Сталину. От зловещих железных звуков пушкинской темы, от рифмы «боязни — казни» из пушкинских «Стансов» и «Полтавы» здесь осталась только фоника, только консонантный отзвук — «жизнь без укоризн». А дальше у Мандельштама — апология вождя и его политики и слитая с этим увлеченность женщиной-«сталинкой», с которой он сейчас разделяет убеждения:

О том, как вырвалось однажды:
Я не отдам его! — и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним:

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.
. . . . . .
И материнская забота
Ее понятна мне — о том,
Чтоб ладилась моя работа
И крепла — на борьбу с врагом.

Не пушкинская «милость к падшим», а «борьба с врагом» вдруг оказалась призванием поэтической музы. Пафос этот, судя по всему, продержался недолго, примирение поэта с тираном, для которого «что ни казнь» — «то малина», — не состоялось. Тема догнала Мандельштама через год, ее подлинным финалом стал второй арест по ложному доносу и смерть поэта в пересыльном лагере под Владивостоком.

Виноград

Мандельштам, конечно, знал пушкинское стихотворение «Виноград», хотя вряд ли видел исключительной красоты рисунок к нему с тщательно прорисованными прозрачными продолговатыми ягодами. Но тема «винограда» в его поэзии связана с Пушкиным не столько по происхождению, сколько по сложной цепи ассоциаций.

В «Шуме времени», описывая исаковское издание Пушкина, Мандельштам сравнил стихи в нем с военным строем: «Шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы включительно по тридцать седьмой». Тут не обошлось без — осознанного или нет — влияния вступительных строф пушкинского «Домика в Коломне»:

Как весело стихи свои вести
Под цифрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем.
А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.

С военным строем, только не парадным, а боевым, Мандельштам сравнил в стихах 1917 года ряды виноградных кустов:

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

(«Золотистого меда струя из бутылки текла...»)

«Старинная битва» — читай старинная гравюра[17], битва, застывшая под резцом гравировщика, остановленное время, мгновение, уловившее в битве строй, порядок и красоту. Виноградные гряды подобны такой «старинной битве» тем, что являют образ идеальной формы — сложной, упорядоченной и гармоничной. Так «летучие батальоны» стихотворных строк оказываются с виноградными грядами в родстве.

В этом контексте проясняется образ из стихотворения «К немецкой речи» (1932):

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

«Виноградная строчка» предваряется в этих стихах темой вина в немецком эпиграфе из Клейста: «Друг! Не упусти (в суете) самое жизнь. / Ибо годы летят / И сок винограда / Недолго еще будет нас горячить!» Это — апелляция к романтической метафоре хмеля поэзии, но для Мандельштама виноград — это не столько хмель поэзии, сколько ее строй и ее живительная свежесть, как сказано в близком по времени стихотворении «Батюшков»:

Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык.

Так что виноград ассоциируется у Мандельштама и со стихотворной строкой, и с поэзией вообще. К. Ф. Тарановский писал, что «метафора винограда как поэзии была дана намеком уже в „Грифельной оде" (1923), самом сложном стихотворении Мандельштама о творческом процессе: „Плод нарывал. Зрел виноград"»[18]. В «Грифельной оде» виноград зреет в самом плотном пушкинском контексте, и это органично в той мере, в какой Пушкин представительствует для Мандельштама за всю поэзию вообще. Конкретнее виноград

---

[17] См.: Битов Андрей. Пятое измерение. На границе времени и пространства. М., 2002, стр. 390.

[18] Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000, стр. 14. Широкий контекст этих строк воссоздан в книге: Ronen Omry. An approach to Mandel'štam, p. 148 — 153.

поэзии увязан с Пушкиным в стихотворении 1930 года «Дикая кошка — армянская речь...»:

Были мы люди, а стали — людьё,
И суждено — по какому разряду? —
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Комментаторы прямо указывают на пушкинское «Путешествие в Арзрум» как адрес последней строки[19] — между тем виноград там ни разу не упомянут. Все это стихотворение — последование пушкинской поездке на Кавказ (как и другие стихи армянского цикла, как и прозаическое «Путешествие в Армению»), но при этом Мандельштам убрал из окончательного текста прямую цитату из «Путешествия в Арзрум» («Там, где везли на арбе Грибоеда...») и самого Пушкина подменил: «Чудный чиновник без подорожной, / Командированный к тачке острожной», который «Черномора пригубил питье / В кислой корчме на пути к Эрзеруму», ушел в отдельный, примыкающий отрывок («И по-звериному воет людьё...»), а здесь остался совсем уж разведенный с Пушкиным «страшен чиновник — лицо как тюфяк», тоже, впрочем, «командированный — мать твою так! — / Без подорожной в армянские степи». Так что тема декабристов на Кавказе («суждено — по какому разряду?») и Пушкина на Кавказе здесь проходят фоном для неочевидной темы личной — внезапного возрождения поэзии, какое произошло с Мандельштамом после армянской поездки. Последняя строка с виноградом звучит внезапно, эмоционально немотивированно — но событие, в ней заключенное, мотивируется генетической связью в культуре, по этой связи и суждено автору «роковое в груди колотье да эрзерумская кисть винограду» — поэзия.

В армянском цикле виноград поэзии возникал и в стихах, написанных чуть раньше, той же по-пушкински плодотворной для Мандельштама осенью 1930 года (столетие «болдинской осени»!):

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,
. . . . . .
Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

Потеря зрения и слуха, внезапное обретение нового зрения как будто во сне, не принесенная жертва («крови горячей не пролил»), страх, или сомнение, или оторопь перед вновь обретаемым даром — так преображаются у Мандельштама мотивы пушкинского «Пророка». За текстом — пятилетнее молчание 1925 — 1930 годов, «замороженное время» и «замороженный виноград» — спавшая в анабиозе поэзия, вернувшаяся к нему в Армении. Главное, что проступает в этих стихах поверх армянских красок, — пушкинское понимание прямой зависимости между творческим даром и личной жертвой. Выходит, что «замороженный виноград» поэзии тоже оказывается по сути пушкинским, как и «эрзерумская кисть винограду», на которую поэт осужден «по разряду», по происхождению, по «избирательному сродству» в истории и культуре.

Эта пушкинская привязанность незаимствованного мандельштамовского образа проявляется и в вариантах более далеких. Во втором «Ариосте» (1933, 1935), в потоке пушкинских реминисценций из «Каменного Гостя», «Медного Всадни-

[19] Мандельштам Осип. Сочинения. В 2-х томах, т. 1. М., 1990, стр. 506 (комментарий П. М. Нерлера).

ка», «Вакхической песни», встречаем рядом с прямым упоминанием Пушкина образное подобие «виноградной строчки»:

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

«С Орландом куролесил» не только Ариосто, но и Пушкин, переводивший «Из Ариостова „Orlando Furioso"», и в переведенном им отрывке говорится про плющ-«павилику» при входе в пещеру, а потом в этом отрывке над той же пещерой появляется стихотворная арабская надпись, подобие плюща, — так что «плющ назойливый цепляющийся весь» как образ стихотворной строки в равной мере может быть отнесен к Ариосту и к Пушкину («пленительная смесь / Из грусти пушкинской и средиземной спеси»), и в то же время он в образном родстве с «виноградной строчкой», насколько плющ в родстве с вьющимся виноградом[20].

Столь же отдаленный вариант образа встречаем в стихотворении 1937 года о Тифлисе («Еще он помнит башмаков износ...»):

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света...

Здесь прямая пушкинская ассоциация совсем уж сомнительна, но связь с «виноградной строчкой» сохраняется: вспомним виноградные гряды, подобные старинной гравюре, «где курчавые всадники бьются в **кудрявом** порядке», — и так вернемся к началу, к боевому порядку поэтических строк в мандельштамовском «Шуме времени» и пушкинском «Домике в Коломне».

Море

Море не раз появляется в поэзии Мандельштама с цитатами из Пушкина:

И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса....», 1915)

«Все движется любовью» — отсылка к Данте, к финальному стиху «Божественной комедии»: «Любовь, что движет солнце и светила»[21], — Мандельштам его вспомнит потом в конце статьи «А. Блок» («...от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант...»). А «море черное», которое «шумит», — из финала «Путешествия Онегина», им обычно завершаются публикации пушкинского романа: «Лишь море Черное шумит...»[22] Море у Мандельштама «черное» и по названию, и по цвету — оно ночное, как и в пушкинской строфе («Немая ночь. Луна взошла...»). Так что море в этих стихах не только гомеровское — оно освящено не названными именами двух любимых поэтов и через эти имена увязано с темой всевластия любви. Прежде всего это море романтической пушкинской лирики, в основном южной, «шум» его — не

---

[20] Ср.: «Поэт XX века оставляет тайный шифр, — запись о быстролетящем почерке Пушкина: „Плющ назойливый, цепляющийся весь"» (Кузьмина С. Ф. В поисках традиции. Пушкин — Мандельштам — Набоков. Минск, 2000, стр. 118).

[21] Тоддес Е. А. К теме: Мандельштам и Пушкин. — «Philologia». Рижский филологический сборник. Вып. 1, стр. 95 — 96.

[22] Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике, стр. 98. Там же — о других реминисценциях в этом стихотворении.

только из строфы «Онегина», но и из элегии «Погасло дневное светило...» (где море тоже ночное или, точнее, — вечернее): «Шуми, шуми, послушное ветрило, / Волнуйся подо мной, угрюмый океан...»; и из михайловской уже элегии «К морю»: «Твой грустный шум, твой шум призывный...», «Шуми, взволнуйся непогодой...». В обеих «морских» элегиях у Пушкина «все движется любовью», как и в «морских» строфах первой главы «Евгения Онегина» — «Я помню море пред грозою...» (XXXIII), «Придет ли час моей свободы?» (L). «Когда Пушкин писал о море, он вспоминал о женщине и о любви»[23].

Еще одна «морская», и вместе с тем эротическая, пушкинская элегия всплывает в связи с темой моря у Мандельштама — «Нереида» («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, / На утренней заре я видел Нереиду...»); Мандельштам напоминает о ней в стихотворении 1931 года «С миром державным я был лишь ребячески связан...»:

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море...

Оказывается, все как у Пушкина: море — это «свободная стихия», а земля — мир насилия, тирании, как в пушкинском «К морю»: «Судьба земли повсюду та же: / Где капля блага, там на страже / Уж просвещенье иль тиран». Все так и осталось, как прежде: «мир державный» с «грядущими казнями» и где-то вдали — Черное море с нереидами, к которому можно было еще убежать. Мандельштам в 1917 — 1933 годах, до ареста, подолгу живал в Крыму, «юг и море были ему почти так же необходимы, как Надя», — писала Ахматова[24]. А северное, петербургское море Мандельштам как море и не воспринимал — если оно и появляется в стихах, то как петровско-государственная, а значит — тоже пушкинская тема, с ассоциациями из «Медного Всадника» («Адмиралтейство», 1913).

Но реально-географическое Черное море постепенно вытесняется в поэзии Мандельштама морем другим — сказочным и тоже пушкинским. Вытесняется уже в первом «Ариосте» (1933), где появляется «наше черноморье», — рядом с цитатой из сказочного Пролога к «Руслану и Людмиле» («...И мы бывали там. И мы там пили мед...») оно читается почти как «лукоморье», соединяет в себе и сказку, и Черное море из романтической пушкинской лирики:

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...

Здесь опять пушкинское обращение к морю — «шуми», затем — отсылка к пушкинскому тоже «морскому» и таинственно-любовному стихотворению «Буря» («Ты видел деву на скале...», «С ее летучим покрывалом...»), а перед этим Пушкин прямо назван — редчайший в поэзии Мандельштама случай. Но это самое «черноморье» произведено и от имени, дважды примененного Пушкиным в сказочной поэзии, — «карлы» Черномора из сказочно-богатырской поэмы «Руслан и Людмила» и «дядьки Черномора» из «Сказки о царе Салтане». Мандельштам этих героев то ли спутал, то ли соединил в отрывке 1930 года:

Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной,
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

---

[23] Фейнберг И. Л. Море в поэзии Пушкина. — В его кн.: «Читая тетради Пушкина». М., 1985, стр. 546.

[24] Ахматова Анна. Сочинения. В 2-х томах, т. 2. М., 1990, стр. 210.

«Чудный чиновник» — конечно же Пушкин, пустившийся без спросу путешествовать в Арзрум (по стопам его и ехал Мандельштам), а вот что за «питье» Черномора — сказать трудно: то ли это волшебное зелье карлы-невидимки (вместо пушкинской «шапки»), то ли само Черное море как сказочное питье дядьки Черномора, выходящего из «вод морских» со своею дружиною. Так что если вернуться к «черноморью» из «Ариоста» — оно вместе и «лукоморье», и сказочное царство Черномора.

Южное море все дальше отодвигалось для Мандельштама в какую-то ирреальную даль, пока не стало ему совсем недоступно. Уже в ссылке, в апреле — мае 1935 года, написано стихотворение «День стоял о пяти головах...» — по впечатлениям от дороги под конвоем в Чердынь, и в нем рядом с именем Пушкина, как символ той, другой, отнятой жизни, возникает уже не Черное, а «синее море»:

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

К этим стихам есть пояснение Сергея Рудакова, бывшего свидетелем их создания: «...образы безумного пространства, расширяющегося, углубленного и понятого через „синее море" пушкинских сказок, море, по которому страдает материковая, лишенная океана Россия»[25]. Но все-таки страдает по «синему морю» здесь не «материковая Россия», а лично поэт, увозимый далеко от моря под конвоем нового «племени пушкиноведов», о котором Надежда Мандельштам рассказала: «В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська (конвойный. — *И. С.*) так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О. М. назвал „племенем пушкиноведов", „молодыми любителями белозубых стишков", которые „грамотеют" в шинелях и с наганами...»[26] Какими дружественными бы ни были отношения между Мандельштамом и его тогдашними конвоирами, нельзя не расслышать в «дармоедах» чужого слова, агитпропа — и «Пушкина чудный товар» не столько объединяет «дармоеда»-поэта с новым «грамотеющим» «племенем», сколько разделяет их. В самих словах о «чудном товаре» есть абсурд — соединение чуда поэзии (ср. «чудный чиновник без подорожной», «чудная власть» — из стихов на смерть Андрея Белого) с глубоко чуждым Мандельштаму понятием. Он вовсе не отдает Пушкина на откуп новому племени. Отсюда такая острая, так пронзительно выраженная тоска по «синему морю» пушкинских сказок, именно синему морю — сказочному. В сказках Пушкина — «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке» — море всегда синее, только раз «почернело синее море» — в конце «Сказки о рыбаке и рыбке». Черное море пушкинской романтической лирики «посинело» в его поздней сказочной поэзии — то же произошло и у Мандельштама. «Синее море» в этом стихотворении — это прежде всего отнятая свобода, а с нею и экспроприируемый у «дармоедов» Пушкин, и вообще поэзия, и собственно море, ставшее сказочной мечтой.

Все это переведено с образного на прямой лаконичный язык и отчасти опровергнуто в тогда же написанном четверостишии:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

---

[25] Мандельштам Осип. Сочинения. В 2-х томах, т. 1. М., 1990, стр. 542 (комментарий).

[26] Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 63.

Море отнято, а поэзия остается — шевелящиеся губы у Мандельштама означают процесс сочинения стихов[27]. Земля опять связана с насилием, а море почти уравнено с поэзией как высшая, но отчуждаемая ценность.

В стихах воронежских тетрадей 1935 — 1937 годов тоска по морю дает себя знать в постоянных морских мотивах, и рядом с ними все сильнее звучит тема неба — его не отнять.

1935 год

В рецензии 1935 года на сборник стихов поэтессы Адалис Мандельштам писал: «Когда я читал книжку Адалис, у меня было ощущение, будто я одновременно нахожусь и в степи, где по жесткой смете „на базе бурого угля" строится новый город, и в Армении на голубых рудниках Арагаца, и на улице Архангельска, где „рабочая ночь" пахнет озоном и северолесом, и в совхозе „Бурное", где сидят в полумраке на соломенных тюфячках за удивительной беседой о социализме и скрипке Гварнери».

В характерный раскачанный ритм мандельштамовской прозы здесь введен материал и словарь сугубо советский; «рабочая ночь» взято в кавычки как цитата чужого языка, и она совмещена с реминисценцией из пушкинского «Каменного Гостя»: «„рабочая ночь" пахнет озоном и северолесом» — «ночь лимоном / И лавром пахнет...». В северный производственный контекст (с «беседой о социализме») привносится поэтичный образ мадридской южной ночи, разговор о стихах советской поэтессы подсвечивается словами пушкинской Лауры, юной красавицы, певицы, любовницы.

Подобное контрастное совмещение советской реальности с отсылкой к Пушкину есть и в воронежских стихах 1935 года:

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки...

Реальный комментарий к этим стихам дал К. Ф. Тарановский: «Поэт в полночь слушает радиопередачу известий из Москвы, сопровождаемую боем кремлевских курантов. Кто слушал эту передачу, знает, что сначала доносится шум с Красной площади, затем несколько автомобильных гудков и, наконец, начинается торжественный бой часов. Но поэт слышит и другие голоса — голоса прошлой жизни, которою он не успел насладиться (голоса недопитого знаменитого шампанского, воспетого Пушкиным и Блоком). Вопрос, начинающий вторую строфу, свидетельствует об авторском интересе к современности, к постройке московского метро (вопрос задается с симпатией, о чем свидетельствует интимная интонация частицы („Ну" в этом вопросе)»[28].

Шампанское Аи воспето Пушкиным многократно, в частности — дважды в «Евгении Онегине», и оба раза — в сравнении и в любовном контексте. К мандельштамовскому стихотворению имеет непосредственное отношение тот фрагмент из «Путешествия Онегина», где Пушкин сравнивает с Аи оперу Россини — звуки льющихся оперных голосов:

---

[27] К. Ф. Тарановский писал: «Образ шевелящихся губ у Мандельштама — излюбленная метафора поэтического творчества» (Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике. М., 2000, стр. 192). В том и дело, что не метафора, а буквальное отражение творческого процесса, описанного в воспоминаниях его вдовы (Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 214 — 221).

[28] Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике, стр. 196.

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые...
Но господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

Как ссыльный Пушкин в Одессе упивался звуками Россини, сравнивая их действие с шампанским, так теперь ссыльный Мандельштам в Воронеже упивается звуками радионовостей из Москвы — и так же сравнивает их с пьянящим действием Аи. Пушкинское сравнение органично, мандельштамовская метафора неожиданна, контрастна — но зачем-то она ему нужна!

1935 год стал для Мандельштама переломным — после ареста, в ссылке у него вновь появляется желание вписаться в советскую жизнь. Перелом этот выражен в «Стансах» 1935 года, само пушкинское название которых уже настраивает на тему примирения с современностью — по аналогии с пушкинскими «Стансами» 1826 года[29]. Пушкин тут призван как авторитет, как исторический и поэтический прецедент лояльности, к которой так стремится теперь Мандельштам:

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разлучили, а теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевея
И перед смертью хорошея —
Еще побыть и поиграть с людьми!

Своему примирению с советской действительностью Мандельштам ищет художественное оправдание, оно поэту необходимо — только эстетическое примирение для него и возможно. В «Стансах» он находит эстетический критерий в «шинели красноармейской складки», в двух других примерах этот критерий привносится в текст с реминисценциями из Пушкина. Советские реалии подсвечиваются пушкинскими образами, и так происходит безотчетная поэтизация непоэтического — будней архангельских рабочих или новостей из радиоприемника.

В стихах Адалис Мандельштама привлекает то, что он называет «убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать». Именно такой выбор и делает теперь Мандельштам (ср. позже в «Стихах о Неизвестном Солдате»: «Я ль без выбора пью это варево<...>?»), и в «Стансах» он говорит о том, что этому выбору мешало:

---

[29] «О. М. говорил, что „стансы" всегда примирительно настроены», — свидетельствовала вдова поэта (Цит. по: Мандельштам Осип. Собрание произведений. Стихотворения, стр. 448).

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

Тут и собственное полубезумие после ареста, и отголоски клеветы и литературных скандалов вокруг Мандельштама (пощечину Алексею Толстому он дал буквально за неделю до ареста), и тема доносительства — «стук дятла» (Мандельштамы подозревали, что арест был вызван доносом одного литератора[30]). При этом мотив не досмотренной драки «клевещущих козлов», имеющий конкретное биографическое наполнение, имеет также и неожиданную в таком контексте поэтическую параллель — в пушкинском «Графе Нулине»:

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.

Может быть, отсюда же прилетел и мандельштамовский «петушок»:

Индейки с криком выступали,
Вослед за мокрым петухом...

И у Пушкина, и у Мандельштама ряд зоокартинок прерывается внезапным событием:

...Вдруг колокольчик зазвенел.

У Мандельштама таким событием становится «прыжок», описанный в воспоминаниях Надежды Яковлевны: по приезде в Чердынь, полубезумный, он в больнице выпрыгнул из окна, и это вернуло его в сознание — «Прыжок. И я в уме»[31].

Пушкинская зарисовка скотного двора носит нарочито сниженный юмористический характер — сознательная или бессознательная отсылка к ней в «Стансах» снимает драматизм с предарестных воспоминаний, облегчает примирение с реальностью. И дальше «Стансы» идут как по накатанному:

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь — сам-друг, —
Я слышу в Арктике машин советских стук...

Таким образом, Пушкин в 1935 году помогал Мандельштаму определиться в отношениях с современностью.

Памятник

Тема пушкинского «Памятника» — классическая, Мандельштам тоже на эту тему высказался, и не раз. Его «Памятник» рассыпан по нескольким стихотворениям 1935 — 1937 годов — тема начинает звучать после знаменитой фразы, которую услышала от него Ахматова в феврале 1934 года: «Я к смерти готов», после первого ареста и двух попыток самоубийства (в мае — июне 1934 года, на Лубянке и потом в Чердыни). Перейдя за этот рубеж, Мандельштам в двух стихотворениях весны 1935 года говорит о себе оттуда, из посмертия:

---

[30] Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 105 — 110.
[31] Там же, стр. 67 — 72.

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Эти стихи о сомнительной посмертной славе — парадоксальная параллель к строчкам пушкинского «Памятника»: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой / И назовет меня всяк сущий в ней язык...» Есть тут и предчувствие собственной могилы — в общей лагерной яме. Более близкая параллель, и уже с прямыми реминисценциями из Пушкина, слышна в другом стихотворении весны 1935 года[32]:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
И то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный.

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,
Откидываясь вниз, до рисовых полей, —
Покуда на земле последний жив невольник.

Пространство этого стихотворного памятника — уже не улица-яма, а Красная площадь, переходящая во всемирное пространство освобожденной земли, вплоть «до рисовых полей» Китая[33] (внешний повод к именно такому расширению, очевидно, — «китайская стена» Кремля). Размах посмертной славы — не меньше пушкинского: у Пушкина — «Доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит», у Мандельштама — «Покуда на земле последний жив невольник»; да только суть этой славы в другом. Пушкин говорит собственно о поэзии, о ее победе над смертью, о том, что душа его в лире спасется, и уж потом — о нравственном действии поэтического слова («...что чувства добрые я лирой пробуждал...» и т. д.). Мандельштам прежде всего утверждает на века статус Красной площади как центра мира, как *пупа земли*[34] — в этом утверждении и состоит засмертная пророческая сила его слова. В пушкинском «Памятнике» судьба поэзии увязана с посмертной судьбой души, в мандельштамовском — с социальной геополитикой, с «мировой революцией».

Тему могилы поэта, скрытую в пушкинском «Памятнике», Мандельштам обнажил буквально — «Да, я лежу в земле, губами шевеля...»; у Пушкина «душа в заветной лире» от тела отделяется, и речь идет о ее посмертной жизни в слове, у Мандельштама слово поэта исходит прямо из могилы, а могила-то — как будто на Красной площади, еще один мавзолей! И это пишет ссыльный... От ямы имени Мандельштама до царственной могилы в центре Земли — вот амплитуда возможностей мандельштамовского надгробного монумента. Таким неявным образом Мандельштам подхватывает еще одну тему пушкинского «Памятника» — тему царственного статуса поэзии, вечную коллизию «Поэт и Царь». Только у Пушкина это вертикальная метафора — «Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа» (Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга), а у Мандельштама Красная площадь как метафора надмогильного памятника поэту простирается

---

[32] Впервые отмечено в кн.: Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике, стр. 191 — 192.
[33] Там же, стр. 195.
[34] Там же, стр. 194.

бесконечно вширь, до горизонта — «до рисовых полей». Но в обоих «Памятниках» упомянуты центральные царские площади — оба поэта словно тягаются по статусу с царями.

Пушкинскую тему царственности поэта («Ты царь» — из сонета «Поэту») Мандельштам пережил по-своему — «чудная власть» поэзии («Голубые глаза и горячая лобная кость...», 1934) для него определялась тем, что за поэзию убивают[35]. В 1933 году стихотворением «Мы живем, под собою не чуя страны...» он бросил вызов «кремлевскому горцу», вступил с ним в прямое личное единоборство, а в 1935-м уже из ссылки оформил это одним стихом: «...И меня только равный убьет»[36]. И не случайно мотивы «Памятника» вновь возникают в оде Сталину 1937 года, в которой иное развитие получают отношения «поэта и царя», и лирический сюжет привязан к Красной площади — «чудной площади» — и мавзолею, на трибуне которого ему видится Сталин («Он свесился с трибуны, как с горы, / В бугры голов»). А развивается сюжет так, что художник, воспев властителя, уступает ему «чудную власть», уходит с царской площади в небытие, уменьшаясь и растворяясь в толпе — вплоть до умирания:

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит[37].

Здесь та же логика, что в классических «Памятниках», включая и пушкинский, — я умру, а слово мое будет жить, при этом «солнце» читается в контексте оды не только как символ жизни вообще, но и как «солнце Сталина» — обычная для тех времен риторика. Посмертная слава тоже отдается поэтом ему, великому тезке-«близнецу», такая вот происходит подмена, и в веках звучит уже не имя поэта, как у Пушкина, а имя отца народов:

Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

Вместо шевелящихся губ поэта здесь «губы чтеца», транслятора славословий, а поэт от себя отказывается полностью — такой парадоксальный получается «Памятник». И в этом отношении ода — путь к написанным вскоре «Стихам о Неизвестном Солдате», в которых реминисценция из пушкинского «Памятника» — «Всяк живущий меня назовет» — мелькнула в процессе работы, но осталась в черновиках[38], и это понятно: «всяк живущий» назовет другого, чья могила будет в мавзолее на Красной площади, а поэт погибнет как неизвестный солдат и ляжет в общей могиле, в лагерной яме, так что из двух вариантов могилы сбудется первый, как сбудется и строчка «И меня только равный убьет».

---

[35] «...О. М. упорно твердил свое — раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит, она — власть» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 200).

[36] Приписано к стихотворению 1931 года «За гремучую доблесть грядущих веков...».

[37] Параллель с пушкинским «Памятником» отмечена в статье: Месс-Бейер Ирина. Мандельштам и Пушкин: уроки свободы. — «Russian Language Journal», 1999, vol. 53, № 174 — 176, p. 311.

[38] Отмечено в кн.: Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000, стр. 552.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

БИОГРАФИЯ СВОБОДЫ. СВОБОДА БИОГРАФИИ

Нина Горланова. Нельзя. Можно. Нельзя. Роман-монолог. — «Знамя», 2002, № 6.
Нина Горланова, Вячеслав Букур. Лидия и другие. История одной компании. Повесть. — «Континент», 2002, № 114.

О прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура сказано, кажется, все. Или почти все. Критики в последние годы пишут об этом семейном писательском дуэте много и охотно.

Отчего же немудреные истории Горлановой и Букура имеют неизъяснимую притягательность? Добрые, грустные, смешные, человечные, они горячи, как пирожки с лотка тороватой на неожиданности современной жизни. Потому-то их чтение сходно с эффектом телесериалов: втягивает, ждешь продолжения, события развиваются словно бы в реальном времени.

При этом читатель, конечно, догадывается, что сюжеты Горлановой и Букура оплачены личным опытом самих сочинителей. Что прототипы, например, «Романа воспитания» являются авторами и романа, и рискованного жизненного эксперимента по удочерению уличной девочки.

Теперь можно проверить догадки. Горланова прямо заявляет свой новый роман-монолог «Нельзя. Можно. Нельзя» как автобиографический. В нем мы читаем истории, как будто знакомые по прежним рассказам. И все же истории те, да не те. Биография автора, о которой читатель только догадывался, в новых произведениях стала творческим заданием, а что было доселе главным — сюжет, приключения яркого, «устного», живого слова героя, — уходит в скобки. Причем вполне буквально — то и дело встречаешь замечания в скобках: «об этом у меня есть рассказ». Так изменяется статус художественного слова: биография, непридуманное становится собственно текстом, «фикциональная», художественная проза — комментарием к нему, заметками на полях.

О чем новый роман Горлановой? О свободе. Редакция журнала «Знамя» наградила роман «Нельзя. Можно. Нельзя» специальной премией за лучшее произведение «о приключениях свободы в России». Справедливо. Но главное не это: важно, что и роман, и повесть являют собой истории «вочеловечения» (в характерном блоковском смысле). Это взросление, становление женщины, обретение писательницей умения по-своему видеть мир: «Зрение не в глазах, а внутри нас — в мозгу! И я должна изнутри научиться смотреть — так, чтобы полюбить...» То есть роман-монолог Горлановой — это в некотором смысле исповедь, роман-биография, средство постижения себя и времени.

Горлановский роман прямо обозначает траекторию авторской судьбы уже самим своим названием — «Нельзя. Можно. Нельзя». Первое «нельзя» означает, что в советское время свобода в России была невозможна из-за идеологических запретов. А тяга к свободе заложена в героине едва ли не генетически: «От матери мне достались общительность и любовь ко всему миру, от отца — затаенная нелюбовь к советской несвободе». Советская несвобода в романе вытесняется погружением в сферу семьи, быта, детства. Символичен в этом смысле эпизод смерти Сталина, запомнившийся девочке тем, что строгий отец впервые взял ее на руки. «День смерти Сталина был одним из самых невероятных в моем детстве! Проходил какой-то митинг, ничего этого не помню (кроме портретов вождей: Ленин и Сталин в полный рост). Главное: отец взял меня на плечи! Раз в жизни... Без ума от счастья, я не знала, за что держаться там, наверху. Сначала старалась руками — за воздух: вот я здесь — на папиных плечах, смотрите все!»

Вообще похороны Сталина стали, кажется, частым эпизодом в современной женской прозе, приобретая символическое значение. Достаточно вспомнить аналогичную сцену в нашумевшем недавно «Казусе Кукоцкого» Людмилы Улицкой, где девочек, едва не погибших в толпе на похоронах отца народов, ищет их собственный (хотя неродной) отец: «Именно в этот момент они стали сестрами». В романе

Ирины Полянской «Прохождение тени» именно отец, грозное божество героини, радуясь, приносит весть о смерти Сталина. Девочки во всех этих романах словно бы проходят новую инициацию, отчасти обратную: они переходят не из малого мира семьи в большой — мир рода, но освобождаются из-под тотальной власти тирана тем, что переходят в сферу семьи, под власть отца (от которой, впрочем, им тоже предстоит освобождаться). А поиск отца оборачивается поиском собственной идентичности, новых координат в истории и биографии.

Свободе, как явствует из горлановского романа, необходимо учиться. Например, ранние студенческие упражнения в вольнодумстве — отнюдь не свобода, а «раскованность, но и только». И любовь не дает личной свободы: «У меня ведь руки дрожали всякий раз, когда я собиралась на свидание. А вдруг он не придет? Всю жизнь бы и ходила с дрожащими руками, в рот бы милому смотрела... Нет, никакой свободой тут не пахло даже, ровно наоборот — я стала б рабой любви. Это была пытка счастьем».

Писательство же — безусловно, акт свободного выбора: «Оставалось еще много свободы: о ком писать, в каком жанре, сколько времени...» Но такой выбор в нашей стране (при том, что есть семья — муж-писатель, четверо детей) влечет за собой бедность, кромешно тяжелый быт, бесконечный труд... И всюду мерещится вечный надзор всевидящего ока КГБ.

Потом, в перестройку, оказалось, что все можно — даже, к счастью, публиковать свои произведения в журналах.

Однако вскоре снова воспоследовало «нельзя» — но уже как сознательное самоограничение, диктуемое обретенной верой: «Все СРАЗУ изменилось вокруг... мир стал един. И всюду Бог! ...Если раньше я работала с прямой перспективой — свой взгляд на вещи отражала, то теперь пришла пора обратной перспективы. Когда Бог смотрит на нас! Каждую строчку Он видит... Надо себя ограничивать. Какая уж тут свобода! Выбор сделан. Ответственность важнее свободы. Все круто переменилось. Так же пишу о том, что знаю, вижу, слышу, но все время помню, что я — христианка... ПРОЩАЙ, СВОБОДА!»

Таким образом, сюжет романа-монолога может прочитываться как принципиальная, осознанная перемена властных инстанций: отец народов — собственно отец — Бог Отец.

Этот акт перемены миропонимания и становится в романе Горлановой завершением, обретением подлинной личности. По сути, мы имеем дело не только с реальной биографией писательницы (здесь как раз не противопоказан и вымысел), но биографией человека вообще — в ее новом, постсоветском, сегодняшнем понимании. Читатель явно может сверить с вехами рассказанной автором судьбы и собственный опыт.

Каждая историческая эпоха формирует свою смысловую матрицу в *синтаксическом,* как говорил Г. О. Винокур, развертывании и построении биографии. Биография — это именно синтаксически, а не эволюционно, не хронологически развернутая личность. И этот «синтаксис» определяется культурой (подзабытая работа Винокура так и называется — «Биография и культура»). На первый план в таком понимании выходит *группировка* биографических фактов.

Новая эта группировка сходна в «Лидии...» и «Нельзя. Можно. Нельзя», в других произведениях современной (и не в последнюю очередь женской) прозы: освобождение личности из-под Власти путем врастания в интимно-телесную или духовную, в самом высоком понимании, сферу частной жизни. Сегодня, быть может, на фоне усталости от постмодернистской бессубъектности растет новый интерес к человеку — не к типу, не к психологии, но именно к биографии частного человека.

В повести «Лидия и другие» (здесь тоже имеется подзаголовок — «История одной компании»), написанной Н. Горлановой и В. Букуром в соавторстве, нет прямой исповедальности, но она поразительно похожа на роман-монолог самим сюжетом вочеловечения и обретения идентичности. Это история девочки, чья семья сослана в пору борьбы с космополитами из Киева в Пермь, — девичье томление и ожидание любви, дружба, студенчество, вечеринки, семья... И в Лидии то и дело, кажется, просвечивают черты одного из авторов.

Биография в современной прозе прорастает во все иные жанры — включается, например, в беллетризованное и документальное повествование («Веселый солдат» В. Астафьева, «Бестселлер» Ю. Давыдова, «Азарт, или Неизбежность ненаписанного» А. Битова, «Замысел» В. Войновича, романы А. Наймана, Н. Климонтовича и других), но редко предстает в качестве самостоятельного жанра. Думается, потому, что не сложилась пока современная биография как *культурная форма.* И в этом смысле новые произведения Нины Горлановой и Вячеслава Букура — шаг к такой форме.

Однако путь этот, похоже, влечет и перемену авторского стиля.

Известный «фирменный» знак горлановско-букуровского письма — бытовое, звучащее, изображенное слово. Как правило, галдящие (горланящие?) голоса персонажей воспроизводят роевое коммунальное говорение. Герои существуют только в тот момент, когда говорят сами или говорят о них. Горланова — Букур и своеобычны тем, что умеют создать то, что М. М. Бахтин называл *образом языка.* Именно поэтому поведение горлановских героев являет собой поведение предельно овнешненное: человек находится как будто на сцене и виден со всех сторон. Ему ни при каких условиях не удастся утаить своих мыслей.

Новые тексты Горлановой — роман-монолог, история одной компании — не предполагают полифонии живых голосов. Слово здесь меняет свою природу, особенно в «Лидии...». В повести царит так называемое объективированное повествование, хотя и с включением чудесно достоверных девчоночьих писем, детского слова (как было уже в замечательной повести Горлановой и Букура «Тургенев, сын Ахматовой»): «Видела во сне, что мы с тобой с какими-то красивыми мальчиками спасались от мотоцикла». Однако есть здесь и голос все ведающего автора, он как-то очень уверенно спешит вмешаться в повествование: «Сразу скажем, забегая вперед...»

Прелесть прежних горлановских текстов в том, что все происходящее разворачивается прямо в речи, одновременно с речью, вдруг, внезапно... Обнаруживший же теперь автор, полюбивший забегать вперед, быть может, и раздвигает какие-то фабульные рамки, но лишает тем самым текст непосредственности и непредсказуемости.

Но это не главное. Новые вещи Горлановой и Букура приобретают сейчас иную актуальность. Хорошо бы иметь твердую уверенность в том, что авторы не забежали вперед, утверждая новую, свободную, частную биографию. Сегодняшний климат в стране как-то пугающе узнаваемо вдруг напомнил о силе языка власти. Нельзя? Или можно? Или все-таки нельзя? Хорошо ли мы выучили язык свободы?

Марина АБАШЕВА.

Пермь.

*

«НЕОСПОРИМОЙ КРОВЬЮ...»

10/30. Стихи тридцатилетних. Составитель Глеб Шульпяков. М., «МК-Периодика», 2002, 158 стр.

Дмитрий Воденников. Мужчины тоже могут имитировать оргазм. М., О.Г.И., 2002, 59 стр.

Сборник «10/30» заявлен как антология поэзии поколения. На мой вопрос лично к составителю — по какому принципу антология собиралась, тот ответил, что здесь (восстанавливаю по памяти) собраны те представители поколения «тридцатилетних», поэтика коих на данный момент состоялась как нечто более или менее цельное, каждый из них имеет свой голос и сложившееся мировоззрение (что ныне модно — добавлю от себя — называть заморским словцом «мессидж»), «эти планеты — как выразился мой собеседник — запущены на орбиту».

В результате сложилась откровенно неполная антология поколения без многих других одаренных москвичей и питерцев, с явно консервативным уклоном (исключения — Янышев, Гронас). Кузнецова и Воденников — особая статья, так как их «традиционность» в плане выразительных средств вполне компенсируется нетради-

ционностью мироощущения, у обоих, говоря словами классика, «кошачья голова во рту», что можно отнести и к двум вышеназванным авторам. Лично я (подустав, честно сказать, от «концептуальных» языковых экспериментов) — обеими руками *за* традицию. Но мне, и не мне одной, уже сильно недостает ясной, выразительной, жаркой (аще возможно) *прямой лирической речи* (но, господа, — *прямой и лирической,* о себе и о своем, а не *усредненной общепоэтической,* пусть и бойкой, говорильни о чем угодно, только не о личном и насущном). Впрочем, такого — *прямого и лирического* — тут достаточно:

Мне репейник — бог. У меня, кроме
этих комьев и кожи, нет ни братца,
ни семьи, ни царевны, ни государства...
(Дмитрий Воденников)

Или:

скоро скоро на земле
не останется прокорму
не останется простору
куда нам тогда идти?

знают наши старики
как укрыться под землею
многие из них давно
поселились под землею
может быть у них спросить?

. . . . . .

а еще у нас младенцы
знают как куда-то деться
между животом и сердцем
у другого человека
может быть у них спросить?
(Михаил Гронас)

Или же:

родители как солнечные боги
рождаются из моря и песка
а я створоженный комок тревоги
а после облака

. . . . . .

моя любовь как яблочная тайна
еще не сорвана никем...
(Инга Кузнецова)

И еще:

Заведую районным детским садом,
На мне большой сиреневый халат.
И розовые дети где-то рядом
Лежат и спят, сто лет лежат и спят.

Над ними пар колышется, рядами
Кроватки белоснежные плывут.
На север, говорю я со слезами,
На небо, что вам делать, что вам тут?
(Дмитрий Тонконогов)

Трепет и трепет. Но и тут же:

«Весь мир — Варшава. Смысла нет».
И толстый слой холодной пыли.
(Глеб Шульпяков)

Дом уже рушится. Ляжешь в кровать — готовься
Утро встретить в руинах. Обратно не сдашь билета.
(Александр Леонтьев)

(Лично я — немедленно смылась бы из такой аварийной ситуации, как и любой нормальный человек, хотя последняя сентенция — неоспорима: засвидетельствовано классиками.)

Мне тридцать лет, а кажется, что триста, —
испытанного за десятерых
не выразит отчетливо, речисто
и ловко мой шероховатый стих.

.....

Меня пригрела мачеха-столица,
а в Курске, точно в дантовском раю,
знакомые еще встречая лица,
я никого уже не узнаю.

(Максим Амелин)

Ой ли, молодые люди? Отчего-то, как говорил Станиславский, *не верю!* «Мне тридцать лет, / а все во мне болит» (у Воденникова) — как-то естественней.

Многовато в книге чего-то *общепринятого,* как-то очень ученически выводимого из существующего поэтического контекста, «из всего, что было» и есть, вне зависимости от того, традиционно-гладка ли речь или же она — ломаная, рваная (иногда и — о, как это заметно! — *нарочито,* лишь для того, чтобы уйти от этой самой традиции в неведомо какие языковые дебри)... А нужно всего только: как-то так жить и видеть и как-то так об этом говорить, чтобы вам верили на слово. А для этого надо *жить по правде* и *говорить правду.* За это люблю — в целом — Андрея Полякова, частично (невзирая на подчеркнутую «академичность») — Бориса Рыжего, а также Машу Степанову и Женю Лавут, которые для составителя, видимо, «не планеты», и некоторых других.

Особенно же — Дмитрия Воденникова.

Здесь пойдет речь о его уже четвертой книге стихов.

В 1996 году Воденников ярко дебютировал небольшим сборником «Репейник» (тираж всего 300 экз.) и, хотя как автор был замечен и читаем литературной публикой задолго *до* (публикации в журналах «Арион», «Знамя», в «Митином журнале», в альманахе «Вавилон» и проч.), после выхода книги как-то сразу стал «гордостью обоймы», равно и первой ласточкой среди поэтов — представителей так называемой *новой искренности:* достаточно древний и, полагаю, небезыронический термин Д. А. Пригова, давший название — уже отнюдь не ироническое — новому же (в плане формотворчества — сразу оцененного критиками как *неомодерн*) направлению в молодой преимущественно поэзии конца 90-х.

Уже тогда, в тех текстах, присутствовала нехарактерная для сугубо рациональной, круто костюмированной (в стиле деловом или же свободном — маргинальном, скоморошьем — без разницы) современной «авангардной» поэзии сознательная открытость, эдакая будоражащая душевная «обнаженка», экзистенциальный стриптиз, а если теоретизировать — некая раздражающая и одновременно восхищающая *прямота лирического высказывания,* свойственная скорее «заказным», с установкой на доступность, текстам современных эстрадных песен (невзирая на очевидную причудливость и — я бы даже сказала — вычурность символики Воденникова). Хотя и не без примеси резонного для поэзии нового времени декаданса — как-то так, как раньше практически никто себе не позволял, и о чем-то таком, о чем обычно умалчивалось: «Ах, жадный, жаркий грех, как лев, меня терзает. / О! матушка! как моль, мою он скушал шубку, / а нынче вот что, кулинар, удумал: / он мой живот лепной, как пирожок изюмом, / безумьем медленным и сладким набивает / и утрамбовывает пальцем не на шутку. / О матушка! где матушка моя?» И еще хлеще: «Как на убийство, мы идем в кровать... / и можно ль после рядом с трупом спать?» Эдакий *постконцептуальный концепт,* если можно так выразиться.

Свое частное впечатление помню отлично и попробую препарировать: когда по-ахматовски выверенная, когда — наоборот — совершенно дисгармоничная, «режущая ухо» звукопись, дерзкая рифмовка, нестандартный инструментарий (вообще практически непрослеживаемая поэтическая кухня), эклектизм — и визуальный и

языковой, коллажность. Отдельно отмечу присутствие в этом поэтическом «театре одного актера» некоего особого *миманса* — множества окружающих лирическое эго, живущих самостийной жизнью статических персонажей, мифологем, персонифицированных позитивных, а чаще — негативных (раздражение, апатия, брезгливость, боязнь и т. п.) состояний и эмоций, причем помимо человеческих особей этими «статистами» запросто могут являться представители мира фауны и флоры, мира предметного и проч.: «...будут плавать в уме, как в лазури, лица: / кот и петух, петух и лисица», или: «Слышу: куст кричит, его лупцуют сабли, / и скворчат его грибные руки». Плюс — какая-то совсем своя, *очень антиномичная,* органика стиха: особая фактура стиховой ткани, крайне неоднородная, когда — грубовато, шероховато, «неудобно для рук» (Бродский), когда — напротив — выписано тончайшим пером, ажурно; опять же резкие перепады эмоционального градуса (часто даже — в пределах одного и того же текста); иногда видно: писано с явной заинтересованностью, яростно, гневно, с требованием от читателя полной эмоциональной отдачи, иногда — наоборот, вызывающе-надменно, с полным безразличием к производимому эффекту — как говорится, «без реверансов»; монологи произносятся то с непробиваемым скепсисом — читатель как конфидент не нужен, насильственно выведен в сторонние наблюдатели («Со мной, как со страной, ни пить нельзя, ни спать»), то — с неподдельным трагизмом — нельзя не сопереживать, читатель милостиво допущен во святая святых: «Скоро, скоро придут и за мной и возьмут руку, / и возьмут ногу мою, и возьмут губы, / даже синие глазки твои у меня отнимут, / все возьмут — только волчью и заячью муку / не отнять им»... Отчего чувствуешь себя — как на качелях: вестибулярочка шалит. Короче — бесконечное поддразнивание, подманивание твоего (читателя) внимания, тут же — мгновенное ускользание ящерки авторского «я» и — ехидный ящеркин хвостик, остающийся в руке особо любопытных.

Как ни удивительно — все это почему-то почти не бесит, хотя здесь явно — не без вызова. Бередит же и будоражит, но, как ни странно, — позитивно, новая какая-то, «приплясывающая», «вихляющаяся» интонация (поэтический твист или шейк, а когда и чарльстон), особого качества психологизм (де-садовский какой-то, ей-богу), надменная или же, наоборот, — самоотверженная какая-то откровенность, выше выносимого *словесный жар.* И — в итоге: здорово! Ярко, дерзко, *безусловно ново.*

За последующие три года работы — несколько циклов стихов: жутковатый (нетривиальные «разборки» с превратностями прелестного возраста), а кое-где — вышибающий реальную слезу «Трамвай»; лаконичные «Весь 1997-й» (с изрядной долей аскезы — как душевной, так и формотворческой — лирический дневник) и «Весь 1998-й»; яростно-аскетичный лирический цикл «Любовь бессмертная — любовь простая»; циклы, вошедшие в книги «Холидей» (1999) и «Как надо жить, чтоб быть любимым» (2000).

И все это время — никакой накатанной колеи, никакой статики, никаких авторских штампов, никакой повторяемости — кроме той, которая органична и имеет отношение лично к нему («А что уж там, во мне р в а л о с ь и п е л о, / и то, что я теперь п о ю и р в у с ь, / — так это все мое (сугубо) дело, / и я уж как-нибудь с собою разберусь»). В общем-то роскошь — говорить прямо и только то, что считаешь нужным, не исходя не из чего иного, кроме собственной внутренней правоты, находя для этого какие-то единственные, прошедшие *личную* (неведомую этим самым другим) *цензуру* слова́. Откуда, в свою очередь, возникает некая *непредсказуемость* лирического сюжета, дающая необходимый для жанра эффект новизны: «Но зелень пусть бежит еще быстрее, / она от туч сиреневых в цвету, / она от жалости еще темнее»... Свежо. И убедительно.

Рецензируемая книга, с декларативным, на первый взгляд, названием (почти «пощечина общественному вкусу», согласитесь, если рассматривать его именно как декларацию), которую лично я, в отличие от автора, отчетливо вижу с названием другим, именно — «Четвертое дыхание», — тоже очень хороша.

Книга трехчастна: два писанных в течение одного (2001) года, но очень разных цикла стихотворений — весенний «Цветущий цикл» и осенний, давший название

книге, — завершаются «Приложением» — мини-поэмой (или макси-стихотворением) «Четвертое дыхание» с посылкой и автоэпиграфом вначале (последняя вещь — «внесезонна», по-видимому, являясь лирической автобиографией, дневником всего года).

В отличие от предыдущих, книга не производит впечатления итоговой: если каждая из прежних оканчивала какой-то период, эта — скорее начало чего-то, некий, говоря словами самого автора, *отдельный выход / в густые заросли, в высокую траву.* Новая для автора тематика, новый способ диалога с читателем, могущим, поставив себя то на место протагониста, то на место слушателя, быть наконец допущенным во внутренний мир стихотворца на более или менее продолжительное время, не рискуя тут же как персона нон грата быть «изгнанным из рая». Обращение с речью, как правило — патетической, к незримому собеседнику. Здесь почти уже нет никакого позиционирования, лирическое «я» автора тождественно лирическому герою, адресат — очень конкретен и человечен, невзирая на отсутствие зримого облика (к слову, оригинальная черта поэта — полный отказ от кокетства, прямота и, я бы даже сказала, *беспафосность* отношений не только с предполагаемым читателем, но и с вдохновительницей-музой, *при высокой,* прошу заметить, *пафосности* самих стихов):

Вот так и я уйду (и на здоровье),
и ты уйдешь — провалишься к цветам,
но все равно всей невозможной кожей
услышу я (и ты услышишь тоже):
Я тебя никогда не забуду, о боже, боже.
Я тебя все равно никогда никому не отдам.

Тривиально, центонно? Но так говорится *единственно возможным образом единственная правда.* Говорящий не боится аналогий, реминисценций, не боится цитировать (и отнюдь не Уильяма Блейка или неизданного кого-нибудь из «наших») — самоё Примадонну вкупе с самым что ни на есть хитовым Вознесенским! Но зато — все это Я и ТЫ услышим *«всей невозможной кожей»* — то есть, опять-таки, *так, как я сказал, — и никак иначе.* И рифма: *кожа — тоже — боже* — в таком контексте как новенькая.

Это ты полстолетья спустя —
ты с меня соскребешь эту ложь
и возьмешь,
как тюльпан, как подростка, за мою лебединую шею.

Только что ж ты так долго,
так долго навстречу идешь,
только что ж это я —
так безропотно — ждать не умею.

Кстати, один из немногочисленных не-ямбов в книге. В основном там — пятишестистопные, реже — четырехстопные ямбы. Автору не нужен многообразный поэтический арсенал, выработанный предшественниками: *что* и *как* сказать — он решает без какой бы то ни было помощи извне, посему и рифмы типа *в уме — к тебе, идя — меня, знаю — не желаю, листвы — пустоты* не только возможны, но и абсолютно оправданны, помимо того, что так рифмовать — дерзновенье, — сейчас, когда «хуже Бродского у нас пишет только ленивый» (кажется, Юнна Мориц).

...И я — проснусь, я все ж таки проснусь,
цветным чудовищем, конем твоим железным,
и даже там, где рваться бесполезно,
я все равно в который раз — рванусь.

Как все, как все — неоспоримой кровью,
как все — своих не зная берегов,
сырой землею и земной любовью,
как яблоня — набитый до краев.

«Цветущий цикл» — действительно *цветущий,* здесь все — как надо: пышно, благоуханно, на высоченной ноте, предельно трагично и, несмотря ни на что, — ненатужно-счастливо, и это утверждается в каждой строке, с редким для нового времени стоицизмом мистически искушенной души:

...За одну только ночь, в преждевременном взрыве листвы,
все так жадно рванулось — с цепи,
все так жарко — в цвету — пламенеет.
Вот и я —
отпускаю тебя — из прохладной своей пустоты,
потому что никто (даже я) на тебя этих прав — не имеет.

И еще:

Пусть эта книга, пусть — она — стоит,
вся в горьких ягодах, вся в вмятинах уродства,
смотри, смотри, — она сейчас прольется
прощальным ливнем ягод и обид.

И еще:

И мне не нужно знать
(но за какие муки,
но за какие силы и слова!) —
откуда — этот свет, летящий прямо в руки,
весь этот свет — летящий прямо в руки,
вся эта яблоня, вся эта — синева...

Вещающее «альтер эго» у Воденникова всегда — его *лирический биограф.* Тексты рождаются строго по мере развития лирического события, создавая впечатление льющейся песни, непрекращающейся, захлебывающейся рулады; метр, оканчивающий стихотворение, чаще всего — такой же, как в начале следующего, даже если первое начато — в другом размере, отсюда — в свою очередь — монолитность «Цветущего цикла», внутреннее органическое единство его, в целом же это — некая Песнь нарождающейся любви, обещание счастья, с пафосом вечной верности, с соответствующим словарем и интонацией (никакой — за единственным исключением — низменной лексики, почти никакой разговорности, вообще — никакой приземленности).

Во второй же части книги — с достаточно, повторюсь, вызывающим названием — все несколько иначе. Время года — осень, межсезонье, *безвременье;* палитра соответственно более сдержанна. Язык — аскетичен, подчеркнуто внятен, фраза здесь — лапидарна, афористична: «А тело пело и хотело жить, / и вот болит — как может — только тело. <...> И ржа, и золото, летящее с ветвей, / и хриплый голос мой, ушибленный любовью, — все станет индульгенцией твоей, / твоим ущербом и твоим здоровьем». Тема — онтологическое одиночество, невозможность единства в разобщенном мире, неизбежность *паденья,* недосягаемость *высоты,* безвыходность... Ничто не случается. Точнее — *ничто не осуществимо.* Подлинный трагизм бытия, передаваемый, опять-таки, с незыблемым достоинством *абсолютного лирика.*

Жизнь, ты — которая так часто пахнет кровью,
Жизнь, ты, которая со мной пила украдкой,
ну, не было — с тобой нам — больно, больно,
а было нам с тобой — так сладко, сладко.

Или же:

Кричи — как шапка,
бывшая куницей,
скрипи во тьме — как полинялый шкаф, —
а что ты думал:
можно — сохраниться —
себя на божий промысел отдав...

Или так:

Любая женщина — как свежая могила:
из снов, из родственников,
сладкого, детей...
П р о с т и е е. Она тебя любила.
А ты кормил — здоровых лебедей.

.....

Стихотворение — простое, как объятье, —
гогочет, но не может говорить.
Но у мужчин — з а т о —
есть вечное занятье:
жен, к а к д е т е й, — из мрака — выводить.

Словарь, равно и язык, — предельно прост: никаких иноземных вкрапленьиц, никакой глазури в виде умненьких аллюзий, все — о своем и на своем языке, *своими средствами,* своею (наработанной уже) символикой и метафорикой, короче — *своими* (в обоих значениях) *тропами,* с уже несомненно оформившимся — лично его, Воденникова, — *мессиджем:* «Я превратил себя — / в паршивую канистру, / в бикфордов шнур, в бандитский Петербург. / Я з а к а з а л с е б я — как столик, как убийство, — / но как-то слишком громко, чересчур»... Воденников — один из тех немногих, кто, вместо того чтобы по жизни «валять дурака под кожею» (Бродский) и — добавлю от себя — на бумаге, сдается мне, и там и там — действительно *живет.*

И я скажу: «За эти времена,
за гулкость яблок и за вкус утраты —
н е к а к л ю б о в н и к а
(как мать, как дочь, сестра!) —
к а к с о в р е м е н н и к а — утешь меня, к а к б р а т а».

И — уже о себе самом, очень, как мне видится, точно («тянет», между нами, на поэтическое кредо):

Я не кормил — с руки — литературу,
ее бесстыжих и стыдливых птиц.
Я р а с п и с а л с е б я — к а к п а р т и т у р у
ж е л е з, у ш и б о в, з а п а х о в, р е с н и ц.

(Выделено мной. — *О. И.*)

Это слово — *живое:* оно — *о живом.*

Что становится совсем уже очевидно по прочтении «Четвертого дыхания» — поэмы, завершающей книгу, лучшей, на мой взгляд, вещи у поэта Воденникова, которую рецензировать надо отдельно, если же цитировать — то целиком.

В целом книга — образцово и вместе с тем весьма оригинально изложенная история любви, вещь, сценарно выверенная, интуитивно или же продуманно выстроенная по всем законам поэтического жанра, глубоко психологичная (где всякое описываемое состояние, переживание, эмоция — *узнаваемы, знакомы,* ибо природно присущи любому человеку, глубина же видения онтологических вещей у этого автора — налицо), по прочтении оставляющая впечатление чего-то безусловно ценного — оттого, что в каждой строке течет «неоспоримая кровь» реальной, а не умозрительной, сердечной жизни подлинного поэта.

Но зато я способен бесплатно тебе показать
(все равно ведь уже никуда не сдрыснуть и не деться), —
как действительно надо навстречу любви прорастать,
как действительно надо — всей жизнью — цвести и вертеться.

Ольга ИВАНОВА.

*

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СТАТУС: АПАТРИД

Сиоран. Искушение существованием. Перевод с французского, предисловие В. А. Никитина, редакция, примечания И. С. Вдовиной. М., «Республика»; «Палимпсест», 2003, 431 стр. («Мыслители XX века»).
Эмиль Чоран (Emile Michel Cioran). После конца истории. Философская эссеистика. Перевод с французского, предисловие, биографическая справка Б. Дубина. СПб., «Симпозиум», 2002, 544 стр.[1].

— Кто вы? — Я *инородец* для полиции, Господа Бога и для самого себя.

Моя родина: это не страна, а рана, язва из тех, которые не рубцуются.

Поймут ли когда-нибудь драму человека, который ни на секунду не в силах *забыть* рай?

Я — не *отсюда. Воплощенный* изгнанник, я везде чужой — не принадлежу ничему на свете. Каждую минуту я одержим одним: потерянным раем.

Мой покровитель — Иов.

Я — ученик Иова, но плохой: унаследовал не веру Учителя, а только его вопли.

Эмиль Чоран.

Он писал, что судьбой он — еврей. Можно было бы сказать, что судьбой он — Адам. Человек, повторивший в эмпирической плоскости метафизическую судьбу человечества. Но и это было бы не вполне точно, хотя место ангела с огненным мечом очень кстати для сходства с мифологемой занимал «железный занавес». Его рай был отделен от него не пространством, а временем. То есть — недоступен абсолютно. Как, впрочем, и истинный рай человечества. Именно двинувшееся после совершения первородного греха время абсолютно лишило человека возможности возвращения, обрекая его на движение вперед, в надежде и ожидании, что произойдет нечто и «времени больше не будет» — и рай станет доступен опять.

Время, может быть, более всего приковывает его взгляд. Он скажет про себя, что *одержим временем.* Так могло бы сказать про себя все человечество, если бы умело размышлять о своей судьбе с той отчетливостью, которой удалось добиться этому ученику Иова.

Чоран (1911 — 1995) родился в империи, которая перестала существовать в 1920-м, в Австро-Венгрии, в семье православного священника. Румын по национальности, он принадлежал к национально и религиозно угнетаемой части подданных империи. Но с образованием Румынии как отдельного государства он почувствовал себя на окраине цивилизации, на обочине исторического процесса. Он сделал все, чтобы вернуться в центр. И, добравшись до него, обосновавшись в нем, понял, что его усилия были метафизически бессмысленны. То, что представлялось центром, оказалось воронкой, провалом в небытие. Центр исторического процесса оказался окраиной бытия. Более пятидесяти лет своей жизни он прожил в Париже.

С этим его перемещением связана путаница с именами. На обложке книги, изданной Б. Дубиным, по-русски он назван Эмиль Чоран, по-французски — Emile Michel Cioran. По-румынски Мишель звучало бы как Михай. Cioran во французской огласовке читается как Сиоран. Чоран пришел к нам под двумя именами[2]: книга, изданная В. Никитиным, открывается первым произведением Чорана, на-

---

[1] Эту книгу Э. Чорана включил в свою «Книжную полку» Евгений Ермолин («Новый мир», 2003, № 10). Татьяна Касаткина дает здесь более развернутый отклик на сочинение мыслителя. *(Примеч. ред.)*

[2] Вообще выход почти одновременных, двух независимо друг от друга подготовленных книг, представляющих нам творчество Чорана-Сиорана, можно считать чудом. То есть чудо — в этой одновременности и в удивительной взаимодополняемости, благодаря которой мы действительно можем познакомиться с творчеством и личностью мыслителя в *полноте,* неожиданной при практически первом появлении его произведений на русском языке. Книга, подготовленная В. Никитиным, содержит произведения 1949 — 1964 годов: «О разложении основ», «Искушение существованием», «История и утопия», «Падение во время»; кни-

писанным по-французски: «Разложение основ» (1949). С тех пор он писал свои вещи только на французском, став признанным мастером языка.

Это не было трезвым и здравомысленным переходом на мировой язык с языка провинциального. Это еще одно движение от «периферии» к «центру» — еще одна утрата рая. В словаре Чорана огромный удельный вес принадлежит словам «отречение» и «вызов». Акт смены языка определяли именно они. Отречься от самого родного и дорогого, бросить вызов чему-то совершенно чуждому и овладеть им как родным — два идентичных в своей противоположности действия; оба они делают наиболее интенсивным присутствие «я», чистого «я», избавленного от всех пут и цепей, сковывающих его в обычном существовании. При этом нет человека, далее отстоящего от космополитизма, чем Чоран. Гражданин мира находит себя в согласии со всем миром (или тем, что ему таковым представляется) и недоволен лишь его обособившимися частями. Чоран всегда пребывает в противостоянии всему. «Я или нападаю, или сплю». Чтобы как следует оценить это высказывание, необходимо знать, что автор «Разложения основ» страдал многолетней изнуряющей хронической бессонницей («Идешь в постель как на бойню», — запишет он в дневнике). Тешить себя своими фантазиями о мире он был так же мало способен, как тешиться сном.

Но по-настоящему он любит только то, чему противостоит с яростью, — не важно, принимает противостояние форму «отречения» или «вызова». Чоран вознамерился творить и «померяться силой с аборигенами» на языке, который он выучил, уже будучи взрослым, на котором никогда не мог говорить внятно и без акцента и который по своим выразительным свойствам был полностью противоположен родному языку писателя (во всяком случае, так это ощущал он сам). Румынский, диковатый, сыроватый, необделанный, земляной, наиболее подходил для философских воплей и тщательно логически выстроенных проклятий — основного элемента его книг. Холодный, ясный, элегантный французский представлялся Чорану помесью «смирительной рубашки с крахмальной сорочкой», противоречил его природе, его необузданности, его настоящему «я», его «убожествам». Ну что ж, иначе это не было бы ни вызовом, ни отречением. «Именно из-за этой полной несовместимости, — пишет Чоран, — я и привязался к нему до такой степени, что буквально возликовал, когда известный нью-йоркский ученый Эрвин Чаргафф (родившийся, как и Целан, в Черновцах) однажды признался мне: для него *заслуживает существования только то, что сказано по-французски...*»

И вместе с тем: «Французский после румынского — все равно что *договор* после *молитвы*» (1972). «Все толкает меня забыть родину, а я *не хочу,* сопротивляюсь что есть силы» (1961). «С возрастом я все больше чувствую себя румыном. Годы возвращают меня к началу, погружают в исток. Все мои предки, которых я столько хулил, как я их теперь понимаю, как „оправдываю"! И снова думаю о Панаите Истрати, который, познав мировую славу, все-таки вернулся умирать на родину» (1962).

Чоран становится одним из лучших французских стилистов, блистательным Сиораном. Полагаю, Сиоран — это герой-повествователь Чорана. Наверное, Чоран мечтал стать Сиораном. Наверняка он ненавидел и презирал себя за эту мечту. В 1969 году он запишет: «Всю жизнь хотел быть другим: испанцем, русским, немцем, хоть каннибалом, — только не собой. В непрестанном бунте против судьбы, против всего прирожденного. Эта безумная страсть не походить на себя, мысленно влезать в любую шкуру, кроме собственной». Не космополитическая свобода от национальной судьбы, но бунт против нее, не отречение от национальности как категории, но желание сменить национальную принадлежность. Но — одновременно и полная идентификация с тем, против чего бунтует: тонкая и железная логика его высказывания фиксирует: *быть собой* — значит быть румыном. «Несчастье быть румыном. Драма несостоятельности». С тем же успехом он мог бы сказать (и

га, изданная Б. Дубиным, — произведения 1969 — 1986 годов: «Злой демиург», «Разлад», «Упражнения в славословии» (эссе о Жозефе де Местре, Беккете, Мирче Элиаде, Каюа, Мишо, Фондане, Борхесе, Марии Самбрано, Вейнингере и других) и записные книжки 1959 — 1972 годов. Начинать чтение, по-моему, следует с записных книжек: это тот случай, когда простить философа можно, только поняв человека.

не раз говорил) о несчастье быть человеком. Если быть румыном — сомнительно, многократно сомнительнее — быть человеком. Это, по Чорану, самое несостоятельное из всех существ.

Попович по происхождению, писатель Чоран выступает как радикальный и последовательный атеист. Это было одновременно — отречение и вызов. Вызов был брошен всему миру, и заключался он в радикальной последовательности отрекающегося. Приговорив Бога к небытию, Чоран предельно честно мыслит в тех границах, которые сам себе поставил таким приговором — вплоть до «Злого демиурга», где потребность обвинить кого-нибудь в несовершенстве мира заставляет реставрировать образ Творца. Мысль Чорана бьется в границах материального мира, между двумя безднами, между двумя «ничто», сосредоточивая *здесь* всю полноту бытия — и немедленно (и честно) разлагая «всю полноту» в прах, в груду мертвого вещества, в которой, как болотный огонек, дотлевает совершившая эту операцию мысль. Книги Чорана — лучшее средство от стихийного атеизма, поскольку — я совершенно убеждена в этом — найдется очень немного «атеистов», готовых принять выводы мыслителя. Отказ от Бога закономерно приводит его к осознанию того, что главным событием судьбы человека является смерть — это единственное, что есть достоверного в жизни. Будучи сильным логистом, он, в отличие от многих и многих, видит несовместимость того, что привычно совмещается в нашем сознании, подкрепленное ежедневным опытом: он видит логическую невозможность одновременного присутствия жизни и смерти. Какой-то из этих принципов абсолютен, и другой — лишь его ущерб и извращение, и если мы не абсолютизируем жизнь, мы оказываемся перед логической необходимостью абсолютизировать смерть. Жизнь предстает во фрагментах Чорана либо как движение к смерти, либо как неприличное и постыдное (хотя и временное) извращение смерти, отклонение от этого универсального принципа. Жизнь — судорога смерти. Самым разумным действием всякого человека оказывается сознательное движение к прекращению жизни, к умалению жизни, в конце концов — к самоубийству. Самым отвратительным и постыдным оказывается стремление к размножению, к рождению себе подобных. Приемлемы блуд или аскеза, но ни в коем случае не брак и деторождение, не «плодитесь и размножайтесь»: призыв «злого бога» или просто человеческого недомыслия. Самым большим несчастьем в жизни каждого человека является его собственное рождение. Можно было бы сказать: самым непоправимым несчастьем[3] — если бы каждому не дана была в руки возможность это исправить. Но человечество, на взгляд Чорана, унизительно редко использует предоставленную возможность.

Если жизнь есть извращение основного принципа и это извращение влечет за собой страдание как непременное свойство всякой жизни, то сознание — извращение вдвойне, сознание — судорога жизни. Сознание — то, что дает нам увидеть жизнь как извращение и страдание, многократно увеличивая тем самым наши муки, погружая нас в пучину отчаяния и — скуки. Скука делает самоубийство почти неизбежным. Даже если оно никогда не совершается как актуальное действие, оно становится постоянным предметом размышлений всякого хоть сколько-нибудь мыслящего атеиста, размазывается, растекается по всей продолжающейся жизни, делая человека мертвым задолго до окончательного наступления смерти[4].

Скука — более, чем жизненные нестроения, неудачи самореализации, катастрофы межличностных отношений (впрочем, философия Чорана не признает *межличностных отношений*, что является предельно логичным следствием прерванности главного отношения — между человеком и Богом: не уверена, однако, что

---

[3] Смерть, случившуюся по не зависящим от человека обстоятельствам, нельзя считать *исправлением* рождения, это скорее еще одна непоправимость.

[4] При этом Чоран всегда остро ощущал то, что сформулировал в записной книжке 1969 года: «Смерть — самая странная (и вместе с тем самая естественная) разновидность фиаско, неудачи, краха. Самый полный из наших *провалов* — это смерть».

Невольно вспоминается тот, кто, может быть, впервые оформил положение, противоположное чорановскому, — «смерть есть извращение основного принципа: жизни» — как *претензию* к человеку, как упрек ему: «Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси. Вы же яко человецы умираете, и яко един от князей падаете» (Пс. 81: 6 — 7).

философу в нем всегда удавалось победить человека) — так вот, скука более, чем все вышеперечисленное, способствует вступлению атеиста в область отчаяния. Для Чорана отчаяние оказывается единственно достойным и разумно оправданным состоянием человека.

В 1958-м он напишет о себе в записной книжке:

«Жизнь пустышки, фитюльки, потаскушки с приступами бесполезной изнуряющей тоски, бессодержательной, замкнувшейся в себе ностальгии; жизнь сущего нуля, едва передвигающего ноги, погрязшего в болезнях и зубоскальстве...

Если бы я мог подняться до своей истинной сути! Но вдруг и она поражена распадом? Да, я иссушаю себя сам, и все вокруг меня иссушает. Это уже не я.

Когда для нас перестают существовать другие, мы перестаем существовать сами для себя».

Как не сопоставить эту запись с другой: «Из всех персонажей Достоевского, как мне представляется, я больше всего восхищаюсь Ставрогиным и лучше всего его понимаю». Но надо отдавать себе отчет в том, что человек, восхищающийся Ставрогиным, — вовсе не Ставрогин.

Перед нами словно огромные «Записки из подполья», написанные рукой живого человека, а не вымышленного героя; непрерывный вопль Ипполита Терентьева, юного героя романа «Идиот», обреченного чахоткой на скорую смерть, живущего каждую минуту в предощущении исполнения приговора, буквально на пороге его исполнения, — и так в течение семидесяти лет. (Он напишет в том же 1958 году: «Я живу, словно только что умер...») И все эти бесконечные годы, прошедшие под знаком отвращения ко всему окружающему и к большинству окружающих, отчаяния, тоски и скуки, бессонницы и ночных болей — то есть смерти, разлитой по жизни, единственной реальной ее составляющей, — отравлены для него еще и борьбой с остро осознаваемым собственным тщеславием. «С утра до вечера я только и делаю, что мщу. Кому? За что? Не знаю, не помню — всему на свете... Бессильная ярость — никто не знает этого чувства лучше меня. О, эти выплески собственной никчемности!» (1958).

Когда он мучительно пытается «излечиться от своего прошлого», это не имеет никакого отношения к его юношескому увлечению румынским нацизмом (как иногда полагают) — или, во всяком случае, очень опосредованное отношение. «Не могу примириться с тем, что я — никто. Но быть кем-то мне тоже никогда не хотелось. С одной поправкой: долгое время я всячески стремился *заявить о себе,* и тогдашнее стремление не угасло. Оно существует в силу того, что существовало прежде, и управляет мной куда успешнее, чем я — им. Это я в его власти, я ему подчиняюсь. Сколько я ни старался отогнать его от себя, оставив в прошлом, оно не поддается и диктует мне свою волю: поскольку его так и не удовлетворили, так и не уняли, оно нисколько не ослабело и сохранило прежнюю остроту. А я все бьюсь, все не желаю повиноваться его приказам... Полный тупик! И мне из него не выйти» (1970). «Если говорить о себе, то с тех пор, как я стал меньше беспокоиться из-за того, что обойден, забыт, „неизвестен", я чувствую себя не в пример лучше. В молодости я жаждал шумихи, мечтал, чтобы обо мне говорили, хотел быть влиятельным, могущественным, служить предметом зависти, мне нравилось накидываться на людей, унижать их и т. п., а чувствовал я себя, увы, куда несчастнее, чем сегодня. С тех пор, как я осознал, что прекрасно проживу, *не существуя* ни для кого на свете, мне стало легче, *но не до конца* — из чего следует, что мое прежнее „я" только и ждет случая, чтобы проснуться» (1969). Именно об этом он скажет: «Мои устремления, мои былые безумства — я различаю время от времени их продолжение в настоящем. Я еще не совсем излечился от моего прошлого». Он хочет быть незаметным, *никем,* но не желал бы, чтобы это прошло незамеченным. Но самое поразительное то, что во всем этом он отдает себе отчет. И еще — что он всегда сохраняет истинную точку отсчета[5]: «Что-то стоящее можно сделать, только

[5] Если бы не это, борьбу Чорана можно было бы попытаться описать в рамках буддийского «избавления от привязанностей», пути к нирване («угасанию»), иначе недостижимой. Ибо, кажется, единственной его настоящей привязанностью была привязанность к земной славе... Или в терминах борьбы гордости с честолюбием: честолюбец жаждет известности, гордец мечтает ею пренебречь.

если ты *неизвестен.* Я принадлежу *себе,* только если меня больше *нет* ни для кого на свете. Можно сказать иначе: я обращаюсь мыслью к Богу, только если вокруг такая пустота, что для меня не существует больше никого, лишь Он один» (1969).

Чоран, безусловно, религиозный мыслитель[6], даже когда запирает свою мысль в пределах видимого мира. С предсказуемым результатом: «Эмили Дикинсон: „I felt a funeral in my brain" („В моем мозгу словно шла похоронная служба". — *Т. К.*). Я бы только прибавил слова госпожи Леспинас: „Всякую минуту". Непрерывные похороны мысли» (1957).

Борис Дубин так охарактеризовал способ письма Чорана: «Не формула мысли, а ее эпитафия». Но как еще может существовать мысль в мире, где честно помнят о том, что окончательный приговор всему живущему — смертная казнь. Я бы сказала, что способ письма Чорана — предсмертный вопль приговоренной мысли. Это определяет и ощущение удручающей повторяемости в его текстах, и каждый раз поражающую болезненную новизну: ведь если вопль действительно предсмертный, он каждый раз уникален, и вряд ли кто-то отважится (кроме, может быть, самого автора — вместилища умирающих мыслей, умирающих мгновений, умирающих атомов жизни) настаивать на ощущении *монотонности* от предсмертных воплей.

Все произведения Чорана, даже те, которые маскируются под трактаты и эссе, фрагментарны. Фрагмент — его способ мыслить, фрагмент — его способ оформлять мысль, фрагмент — форма его взаимоотношений с читателем, своего рода — форма самозащиты. «Писать эссе, роман, рассказ, статью — значит обращаться к другим, рассчитывать на них; любая связная мысль предполагает читателей. Но мысль расколотая их как будто не предполагает, она ограничивается тем, кому пришла в голову, и если адресуется к другим, то лишь косвенно. Она не нуждается в отклике, это мысль немая, как бы не выговоренная: усталость, сосредоточенная на себе самой». Расколотая мысль избавляет если не от адресата, то от обязательств перед адресатом. Расколотая мысль избавляет в каком-то смысле и от обязательств перед ней самой: фрагмент Чорана — не озерцо, самодостаточное и неисчерпаемое, несмотря на свою малость, но уходящая под землю река: она непременно вновь появится из-под земли, но какие воды она вынесет на поверхность, предсказать невозможно. Фрагмент Чорана — способ существования антиномичной мысли, способ ее договаривания и переговаривания, способ ее исчерпывать, всегда оставляя неокончательной. «Повторения» Чорана — это всегда повороты (скорее — водовороты) мысли. Он коварен в однообразной утомительности своих воплей.

В каком-то смысле бесполезно анализировать основные темы Чорана; они есть, и их нетрудно вычленить, но каждый раз тема подается как ее единичное, отдельное — и в своем роде единственное — явление. Эти явления не взаимозаменяемы, эти повторы неповторимы. Эти повторы — как приступы хронической болезни: при всей монотонности попробуйте отказать им в уникальности, в неповторимом «здесь» и «сейчас» — особенно если больны вы сами. Навязчивость Чорана — навязчивость не зануды, а маньяка. Причем этот маньяк очень толково анализирует собственные мании. В сущности, его мания и заключается в стремлении к анализу собственных маний. Его мании фундаментальны: время и бытие «под Древом Познания», то есть вне вечности и Бытия. Плата за упорное и неотступное расковыривание фундаментальных категорий, за одержимость ими вместо их приятия просто как условий существования ему известна: «Так уж сложилось, что время не выдерживает настойчивости, с которой ум пытает его. Тогда плотность его прореживается, структура расшатывается, и для анализа остаются лишь жалкие лохмотья. Дело в том, что оно создано не для того, чтобы его познавали, а для того, чтобы в нем жили; разглядывать его, копаться в нем — значит принижать его, превращать в объект. Кто усердствует в этом, приходит к тому, что начинает так же препарировать и собственное „я". Поскольку любая форма анализа является не чем иным, как профанацией, заниматься им неприлично. По мере того как мы погружаемся в свои тайны, чтобы расшевелить их, мы переходим от смущения к беспокойству, от беспокойства к ужасу. Познание самого себя всегда обходится слиш-

---

[6] «То, что нельзя осмыслить в понятиях религии, даже и переживать не стоит» (1958).

ком дорого. Как, впрочем, и познание вообще. Когда человек доберется до глубин, ему не захочется жить. В *объясненном* мире ничто не может иметь смысла, кроме безумия. Предмет, который досконально осмотрели, лишается своей ценности. Разве не так же бывает, когда мы проникаем в суть человека? После этого ему лучше исчезнуть. Не столько ради того, чтобы защитить себя, сколько из целомудрия, из желания скрыть свою ирреальность все люди носят маски. Срывать эти маски — значит губить и людей, и себя. Решительно, слишком долгое пребывание под Древом Познания ни к чему хорошему не приводит». Но способ существования Чорана состоит в неприятии условий собственного существования. Он ищет реальности, он — просто потому, что это он, — не в силах примириться с существованием в мире, лишенном истинного бытия со времени грехопадения.

«Я не писатель, поскольку терпеть не могу писать. И доискиваюсь не „правды", а *реальности* — в том смысле, в каком ее ищет затворник, ради этого бросивший все.

Я хочу знать, что на свете *реально* и почему оно недостижимо».

Он называет себя учеником Иова. Но ему — для того, чтобы ощутить собственную отверженность, — хватило собственного рождения. Что бы он ни говорил, в какие бы земные места ни заключал утраченный рай, он все время дает понять — роковая утрата, роковая разлука, все, что делает его ненужным себе самому, — состоялось тогда. Его отрицание вечной жизни похоже на заявление ребенка, считающего себя брошенным: «У меня нет матери. И никогда не было». «Мне куда ближе греческая трагедия, чем Библия. Рок я всегда понимал и чувствовал острей, чем Бога». В своей изначальной обиде он не ищет встречи, идея встречи его не захватывает и не обнадеживает, ему больше по нраву возмущаться слепой и несправедливой силой, производящей над ним нечто нелепое и неизбежное, такое, чему он не может противостоять, но с чем не может и смириться и даже как бы *обязан* не смиряться.

Зная, что все беды — в двинувшемся времени (времени, бывшем до грехопадения областью нашей свободы и заключившем нас в себе после изгнания из рая, как в том, из чего нельзя выйти, как в бочке, плывущей по морю: в том, что обрекает нас на *принудительное* движение[7]), он отчаянно стремится вырваться за его пределы — и у него это получается. Но, отвергнув Бога и вместе с Ним — вечность, он вырывается из времени с другой стороны, он не *восходит,* а *выпадает* из времени, становясь первопроходцем «мертвой зоны» постмодернизма: «Если чересчур настойчиво проклинать время, оно не замедлит отомстить <...>. Как я мог помыслить о нем как об аде? Ад — это настоящее, остающееся недвижным, это напряжение монотонности, опрокинутая вечность, которая никуда не ведет, даже к смерти, в отличие от времени, которое течет, развертывается, одаривает хотя бы утешением ожидания, пусть даже печального. Но чего ждать здесь, в самой нижней точке падения, откуда дальше некуда падать и где нет даже надежды, что внизу разверзлась еще одна пропасть. И чего еще ждать от страданий, которые подстегивают нас, не дают о себе забыть и внушают ощущение, будто лишь они одни и существуют, что в принципе так и есть? Если еще можно все начать сначала, прямо с ярости, этого рывка к жизни, этой возможности явления света, то все обстоит иначе, если начинать с этой вневременной опустошенности, с этого постепенного самоуничтожения, этого погружения в бесконечные, деморализующие и безысходные самоповторы, из которых выбраться можно было бы как раз лишь с помощью все той же ярости.

Когда бесконечное настоящее перестает быть *временем* Бога, чтобы стать временем Дьявола, все портится, становится бесконечным повторением непереносимого, все устремляется в эту пропасть, в которой тщетно ждешь развязку и в которой гниешь в бессмертии. Тот, кто падает туда, вертится, как только может, бессмысленно дергается и ничего не создает. Именно так любая форма бесплодия и бессилия превращается в частицу ада».

---

[7] Думается, что чорановская страсть к долгой ходьбе (иногда он шел подряд несколько дней и проходил огромные расстояния) связана с необходимостью ощущать — физически ощущать — оставшееся нам пространство свободы — то есть свободу движения в пространстве.

В бесплодие и бессилие, в провал под временем приводит *сомнение.* Генезис скептицизма, по Чорану, — падение Люцифера и падение Адама — их отречение от реальности и очевидности (иначе — лицезрения) Бога — достовернейшей из реальностей. Скептик завершает этот бесславный путь в никуда. Сомнение сродни всякой приманке дьявола. Поманив бесконечным разнообразием, вблизи оно оборачивается тупым повторением, невыносимой скукой, часто — бездной, но никогда — глубиной. Казавшееся отважным, оно являет себя мелко эгоистичным, представлявшееся восстанием — оборачивается приспособленчеством. Сомнение — удобный предлог ни на что не решаться и ни за что не отвечать. Сомнение приводит личность к деградации, а общество — к бессилию и неспособности противостоять разрушению. Чоран точнейшим образом описывает этиологию и патогенез заболевания современной цивилизации. Еще бы, ведь он — один из пораженных. Но противопоставить сомнению он может лишь иллюзию. Прекрасно понимая, конечно, что сознательный коллективный самообман не может считаться выздоровлением.

Название книги, где Чоран наконец решается обнародовать свои отношения со временем, В. Никитин перевел как «Падение во время», Б. Дубин — как «Грехопадение времени». Думаю, более точно будет — «Грехопадение во время». Чоран совершает следующий акт: грехопадение из времени. Это сродни движению от сомнения к иллюзии, предлагаемому им для излечения цивилизации. Вместо движения усилием веры в глубину реальности — падение в бездну иллюзорности, а крутить бесконечный калейдоскоп иллюзий может и сомнение. В отличие от движения в глубину, в бездну падают без усилий.

В конце концов, именование «апатрид» становится *метафизическим* статусом лишь при грехопадении из времени: упавший во время — изгнанник и странник, и река времен, относящая его от родных мест, самым своим непрестанным движением вперед дает надежду на возвращение. Упавший из времени затерялся в складках майи, в полости небытия.

«По-моему, главный мой жизненный опыт — это опыт не столько несчастья, сколько времени. Я имею в виду чувство *непричастности* ко времени, ощущение, что оно — вне меня, что оно мне — *чужое.* В этом, собственно, и состоит мое „несчастье", с этим нужно связывать слова „распад" и „горечь".

Всякое действие предполагает сопричастность времени. Человек что-то делает, поскольку существует во времени, поскольку он и *есть* время; но как быть, как поступать, если чувствуешь себя от времени отрезанным? Можно, конечно, размышлять над ним или тосковать по нему, но мы не в силах уничтожить время: оно само нас уничтожает, проходя *мимо*, а мимо — это значит за тысячу миль от нас».

Чоран знает, какой «тяжел камень» его на дно тянет: «„Я" — вот в чем помеха. Устранить ее не удается. Я пригвожден к себе, и это непоправимо». Ему не избавиться ни от скептицизма, ни от скуки, ни от отчаяния. Он обречен на калейдоскоп повторений, в котором один фрагмент не дополняет, но отменяет другой. Что ж: «Книга чего-то стоит только в том случае, если сама себя перечеркивает». Но из бездны его сомнения выговаривается утверждение и исповедание, по силе и парадоксальности напоминающее знаменитый «символ веры» Достоевского и делающее излишним «пари Паскаля»: «Бог есть. Даже если его нет».

Татьяна КАСАТКИНА.

*

ОЛОНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА И ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТИХИЯ

Николай Клюев. Письма к Александру Блоку: 1907 — 1915. Публикация, вводная статья и комментарии — К. М. Азадовский. М., «Прогресс-Плеяда», 2003, 368 стр.

В первые письма Н. А. Клюева к А. А. Блоку были полностью опубликованы К. М. Азадовским в четвертой книге 92-го, блоковского, тома «Литературного наследства». Новое их издание, вышедшее в качестве приложения к двенадцатитомному собранию сочинений Блока, включает в себя помимо значительно дополненной вступительной статьи Азадовского еще и два приложения: статью Клюева

«С родного берега», написанную в форме письма к В. С. Миролюбову (отрывки из нее Блок приводил в статье «Стихия и культура»), а также переписку Клюева с В. Я. Брюсовым и его письма к И. М. Брюсовой (впервые опубликованы Азадовским в 1989 году в журнале «Русская литература»).

Предваряющая публикацию клюевских писем к Блоку вступительная статья озаглавлена Азадовским по-блоковски: «Стихия и культура». Однако ответить на вопрос, кто в эпистолярном диалоге двух поэтов олицетворял стихию, а кто культуру, не так легко, как может показаться на первый взгляд. Из двух собеседников Блок выглядит значительно непосредственнее и естественнее (письма Блока к Клюеву не сохранились, однако их содержание отчасти возможно восстановить по клюевским ответам), тогда как Клюев гораздо более умышлен и тонко эксплуатирует целый ряд «кодовых», по определению Азадовского, выражений, стремясь таким образом предопределить реакцию адресата.

Уже первая фраза первого клюевского письма — «Я, крестьянин Николай Клюев...» — представляет собой, несомненно, не просто констатацию факта, но и продуманную и рассчитанную на адресата автохарактеристику. Буквально в нескольких строчках Клюев с помощью расчетливо подобранной лексики и скрытых цитат кратко сообщает Блоку о своих политических симпатиях (настойчиво используя слово «товарищ»), об отвечающих чаяниям второго участника диалога эсхатологических настроениях (в тесной связке с социальными устремлениями — «Бойцы перевяжут раны и, могучие и прекрасные, в ликующей радости воскликнут: „Отныне нет смерти на земле, нужда не постучится в дверь..."») и т. д.

Начиная со второго письма Клюев, вдохновленный ответом Блока и присылкой блоковского сборника «Нечаянная радость» с авторским инскриптом, выстраивает тот образ и вырабатывает ту интонацию, которые, практически не изменяясь, пройдут через всю их переписку. В основе этой интонации — крайнее самоуничижение, сочетающееся с постоянными обвинениями и упреками собеседнику («уязвленно-вызывающая поза», по точной характеристике Азадовского).

Клюев оперирует оппозицией «мы» — «вы», что дает ему основание видеть в своей переписке с Блоком не просто общение двух поэтов, но и диалог надличностных сил («народа», «крестьянства», «простых людей», с одной стороны, и «дворянства», «господ», «интеллигенции» — с другой). Именно принадлежность к первой из них и испытываемые в связи с этим страдания («лютая нищета», «темный плен жизни») и дают Клюеву право на поучения и пророчества — даже когда он предъявляет собеседнику обвинения вполне личного плана (например, упрекая Блока в «физическом отвращении» по отношению к себе), он говорит не от своего лица, а от имени некой заведомо правой общности.

Важной деталью создаваемого Клюевым образа являются его постоянные ссылки на собственную «серость», «грубость», «необразованность». Черту между собой и своим адресатом Клюев проводит даже на лексическом уровне. Так, его письмо-комментарий к блоковской статье «О современном состоянии русского символизма» начинается с перечисления тех слов и имен, которые Клюев в ней якобы не понял: «теург», «Бедекер», «конкретизировать», «тезы и антитезы», «Беллини и Беато», «Синьорелли». При этом письма Клюева вполне литературны и насыщены разнообразными аллюзиями, прежде всего на поэзию Блока и религиозные тексты. Мотивировку такой эпистолярной манеры Клюев дает, не без подсказки Блока, в одном из первых же писем: «Вы пишете, что не понимаете крестьян, это немножко стесняет меня в объяснении, поневоле заставляет призывать на помощь всю свою „образованность", чтобы быть сколько-нибудь понятным».

Но это все достаточно очевидно и естественно, интереснее другое. Блок, по всей видимости, не просто принимает такую трактовку своей переписки с олонецким поэтом, но и до некоторой степени подсказывает ее собеседнику. Он нуждается в Клюеве никак не меньше, чем начинающий стихотворец в авторитетном петербургском собрате. Судя по некоторым фразам из второго письма Клюева, Блок изначально занимает позицию «кающегося барина», отводя Клюеву функции своего рода «исповедника». Тот, в свою очередь, соглашается с отведенной ему ролью и уверенно играет ее в дальнейшем. Впрочем, впоследствии Клюев смягчает некоторые утверждения, высказанные им в ранних письмах: ср., например: «Наш брат

вовсе не дичится „вас", а попросту завидует и ненавидит...» (осень 1907) — и «Бедный человек, в частности крестьянин, любовен и нежен к человеку-барину, если он заодно с душой-тишиной...» (22 января 1910), а наиболее резкие суждения о поэзии Блока вкладываются им в уста неназванных третьих лиц: «В Питере мне говорили, что Ваши стихи утонченны, писаны для брюханов, для лежачих дам...» (22 января 1910).

Для Блока общение с Клюевым (и эпистолярное, и личное — поэты познакомились четыре года спустя после начала переписки) имело огромное значение. Он неоднократно цитировал своего корреспондента в собственных статьях, копировал его письма для друзей, читал их знакомым. Клюев был воспринят и самим поэтом, и многими близкими ему людьми как носитель незамутненного национально-религиозного духа, как «голос из народа». Сознание эпохи заранее подготовило олонецкому крестьянину подходящую нишу — ему оставалось только занять ее. Кого-то подобного напряженно ждали, и грамотное «самопозиционирование» Клюева не могло не принести результатов.

С самого начала эпистолярного диалога с Блоком Клюев вносит в сообщаемые адресату факты своей биографии отчетливо различимый элемент стилизации. Естественно, любая игра такого рода заключает в себе информацию не только об играющем, но и о культурном контексте. По тонкому замечанию Александра Эткинда, превращение Клюевым событий собственной жизни в легенду свидетельствует прежде всего о том, как выгодно «было представляться хлыстом в том обществе, войти в которое стремился крестьянский поэт». Впрочем, дело, конечно, не в хлыстовстве как таковом. В оказавшем решающее влияние на умонастроение Блока и многих его современников мистическом народничестве хлыстовство, старообрядчество, скопчество и какая-нибудь выдуманная романистом секта пламенников смешивались в одном общем и не вполне определенном понятии «сектантства» (ср.: «Я ведь сам сектант. Весь род Карповых — сектанты» — из письма к Блоку пытавшегося повторить клюевский путь Пимена Карпова).

Не случайно поэтому общение с Клюевым воспринимается Блоком и его близкими в религиозных тонах. В декабре 1911 года мать поэта в письме к М. П. Ивановой сообщает: «Клюев нынче осенью провел с Сашей несколько дней. Сидел по ночам. Я думаю, Вы поймете всю важность этого *Крещения*». Для самого Блока Клюев становится синонимом святости и России. Последнее отождествление сохранится у Блока практически до конца жизни. Наступившее у него после революции разочарование в национальном начале, с которым теперь связывается губящее поэта «отсутствие воздуха»[1], повлекло за собой и изменение отношения к клюевской поэзии.

Впрочем, несмотря на то что отношения с Клюевым несомненно переживались поэтом мистически, приписывание Блоку прямого отождествления Клюева с Христом, по-видимому, не имеет под собой достаточных оснований. Остановимся на этой истории чуть подробнее.

В своих воспоминаниях о Блоке С. М. Городецкий цитировал письмо Блока к «одной из своих знакомых»: «Сестра моя, Христос среди нас. Это — Николай Клюев». Эта фраза получила достаточно широкое распространение в научной литературе как принадлежащая Блоку. Ее, в частности, неоднократно приводит в различных разделах своей книги «Хлыст» А. Эткинд, основывая на ней замечание о «кощунстве» поэта.

Азадовский тоже цитирует воспоминания С. М. Городецкого и делает к этому фрагменту пояснение: «„Одна из знакомых" — А. А. Городецкая, жена С. М. Городецкого. Цитируемые слова Блока содержатся в письме Блока к А. А. Городецкой от 7 декабря 1911 г.». Между тем такой фразы в указанном письме Блока к А. А. Городецкой нет. «Сереже я посылаю послание Николая Клюева, прошу Вас, возьмите его у него и прочтите, и радуйтесь, милая. Христос с Вами и Христос среди нас» — вот точный текст соответствующего пассажа из блоковского письма. Согласимся, что трактовка его в направлении, заданном С. М. Городецким, вряд

---

[1] См. статью Александра Блока «О Дмитрии Семеновском» (1919).

ли совпадает с тем смыслом, который вкладывал в эти слова сам Блок. Не исключено также, что слова «Христос с Вами и Христос среди нас» вообще относятся не к предыдущей, а к последующей части письма, где речь идет о взаимоотношениях Блока с влюбленной в него А. А. Городецкой.

Сам Клюев, излагая в 1926 году Н. И. Архипову мифологизированную историю своих взаимоотношений с Блоком, также искажает посвященную ему фразу из блоковского письма. Однако маловероятно, чтобы Клюев, как предполагает Азадовский, «знал это письмо не в пересказе, а читал собственными глазами» — как в таком случае объяснить почти дословное совпадение его версии с «цитатой», приводимой С. М. Городецким?

В заключение позволим себе воспользоваться случаем и указать на одну вполне очевидную, с нашей точки зрения, и вместе с тем «смыслонесущую» опечатку. В предисловии к публикации клюевских писем к Блоку Азадовский цитирует следующий фрагмент из воспоминаний А. Белого: «...ушел же Добролюбов, ушел к Добролюбову светский студент Л. Д. Семенов через два с лишком года после этого, ушел сам Лев Толстой...» Комментируя эту запись, Азадовский указывает на ошибку памяти мемуариста: «Дата неточна: Л. Д. Семенов „ушел" лишь в начале 1908 г. — через 10 лет после А. М. Добролюбова».

Представляется, однако, что речь должна идти не об ошибке, а, как сказано выше, об опечатке. Текст Белого приводится Азадовским по двухтомнику «Александр Блок в воспоминаниях современников», составители которого, в свою очередь, воспользовались в качестве источника известной многочисленными неточностями публикацией в петроградском журнале «Записки мечтателей» (в развернутой, «берлинской», версии мемуаров имя Клюева в этом месте отсутствует). Резонно предположить, что в приведенном отрывке фраза про «два с лишком года» относится не к Семенову, а к Льву Толстому, а запятая просто стоит не на своем месте — ее нужно отодвинуть на несколько слов назад, чтобы фрагмент приобрел следующий вид: «...ушел же Добролюбов, ушел к Добролюбову светский студент Л. Д. Семенов, через два с лишком года после этого ушел сам Лев Толстой...» Такая правка не только упорядочивает хронологию, но и позволяет привести в порядок синтаксис.

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА

Уникальный случай! На этой книжной полке нет ни единой книги, которую хочется снести в «минус», ни единой издательской неудачи, — а объясняется все довольно просто: жизнь моя в июле — августе складывалась так, что приходилось покупать книги специально для работы. Поверьте, это наилучший способ пополнять свою библиотеку.

Так что «полке» вполне подошло бы название «Похвала профессии».

+10

Давид Бурлюк, Николай Бурлюк. Малая серия «Библиотеки поэта». СПб., 2002, 590 стр.

Стихи Давида Бурлюка, занимающие три четверти этого небольшого томика, не представляют никакого интереса, кроме историко-литературного: это отмечает и С. Красицкий — составитель и комментатор. Бурлюк и сам не питал на свой счет особенных иллюзий — он был не художник и не поэт, а организатор литературного процесса. Просто тогда таких менеджеров было — раз и обчелся, а сегодня их значительно больше, нежели поэтов. Разница та, что промоутируют они главным образом сами себя, — а Бурлюк получал одинаковое удовольствие от раскрут-

ки собственных и чужих дарований. По-настоящему интересна последняя четверть книжки — стихи Николая Бурлюка, поэта, не побоюсь этого слова, с задатками гения. Поневоле оценишь вкус Брюсова, сразу выделившего его из среды ровесников, и Чуковского, который высоко ставил «кротчайшего поэта, напялившего маску футуриста». Стихи этого странного, рослого, чрезвычайно застенчивого юноши в сознании современного читателя бытуют главным образом благодаря катаевской «Траве забвения», где автор цитирует два бесспорных шедевра из второго «Садка судей»: «С легким вздохом тихим шагом...» и «Наездницу». Да, в миг смертельной опасности только такие безумные стихи и вспоминать. Интонации, образы, лексика младшего Бурлюка (их с братом разделяли восемь лет) — не футуристические вовсе, а скорее преждевременно обэриутские. Тот же печальный абсурд, та же детская чистота и внимание к маленьким предметам. Николай Бурлюк погиб предположительно в 1920 году, воюя на стороне белых; о его последних годах ничего достоверного не известно, последние публикации относятся к 1915 году. «Вагоновожатый, откройте вестингауз! Шахтерами сжатый, я нашел путь в Эммаус!» Вдруг и впрямь нашел?

Дороти Л. Сэйерс. Создатель здания. Перевод с английского Н. Трауберг. М., «Хиллтоп», 2003, 490 стр.

Дороти Сэйерс писала женские детективы (см. ниже — о Татьяне Устиновой), и весьма популярные, но значительно интересней ее христианская апологетика. Впрочем, книга, впервые представляющая русскому читателю единомышленницу Честертона и Льюиса, интересна не только как пример отважного пафоса в наши маловерные времена, но и как вдохновляющий опыт живого, непосредственного, адекватного перевода. Все, что выходит из-под пера Натальи Трауберг, никоим образом не поступается своей индивидуальностью, но как бы несет на себе отсвет ее кроткого обаяния и милосердной иронии. Сэйерс — очень убедительная проповедница, хороший драматург (ее пьеса «Ревность по доме твоем» некоторыми мотивами напоминает голдинговский «Шпиль» — хотя, конечно, она куда проще) и остроумный эссеист. Трауберг делает с английскими текстами какое-то чудо — она насыщает их истинно русской неоднозначностью, поверяет отечественным скепсисом — и тем они победоносней, когда проходят через это горнило. Переводчица, разумеется, скажет, что она лишь проявляет то, что в этом тексте было с самого начала. Пусть так, — но не сможет же она так же отвести комплименты, касающиеся ее предисловия, комментариев и всей миссионерской деятельности, благодаря которым мы и читаем сегодня Честертона и Сэйерс? Обаяние этого текста таково, что противиться ему сложно: прелестна обыденная, без тени высокомерия, живая и пламенная речь. Все-таки публицистика — незаменимая школа для христианского писателя, ибо журналист должен уметь убеждать любую аудиторию. Так что лучшие проповедники получаются из журналистов... молчу, молчу!

Лев Мочалов. Спираль. СПб., «Геликон»; «Амфора», 2003, 470 стр.

А в этой книге никакого успокоения нет, как нет и благостности, и эйфории, хотя возраст автора и благообразная седобородость как будто располагают именно к такой интонации. «Геликон» и «Амфора» продолжают свою поэтическую серию, где публикуют не только молодых, но, как видим, и питерских мэтров. Поэт, искусствовед, руководитель легендарного ЛИТО Лев Мочалов, друг Глеба Семенова, ученик Луговского и Пастернака, — встретил свое семидесятипятилетие книгой, которую итоговой никак не назовешь. Под обложкой этой книги бушуют страсти нешуточные — автор никак не выяснит своих отношений с Богом, и слава Богу! Сколько уж лет Мочалов доказывает, что стихи не должны быть гладкими — в строке необходима синкопа, заноза, шероховатость; он многому научился, конечно, и у Маяковского, и у конструктивистов, и у художников блистательного русского авангарда, который он всю жизнь изучал. Эта же заноза сидит не только в отдельных ломаных, сбивающих дыхание мочаловских строчках, но и в каждом отдельном его цикле: тут яростное вопрошание, мучительная попытка вообразить не-

вообразимое — рай, ад, загробную встречу с друзьями и кумирами, воздаяние, прошение... Мочалов — лирик по преимуществу религиозный и при этом интеллектуальный, с презрением отметающий всякую суггестию, настаивающий на значимом, весомом слове и четкой поэтической формуле. «Но что же рай тогда? Не знать? Не думать?» Увольте, такого рая он не мыслит. Рай мыслится ему то как гигантский музей или концерт — праздник культуры, в которой только и видит Мочалов оправдание истории, — то как весенний лес, в котором «детство мое собирает жуков и зеленеет моя могила». И непонятно еще, в каком раю было бы лучше, — ведь для Мочалова, как и для Пастернака, и стихи, и живопись, и весенний лес — все свидетельствует о едином творческом духе, источнике всего. Как бы еще с этим примирить память о блокаде, о нищете, о рабстве? Как бы добиться ответа? Дорогой ценой куплено мочаловское пронзительное восклицание: «Господи, ты один у меня!» Думается, эта еретическая лирика куда богоугоднее, чем елейность иных стихотворцев, давно отказавшихся от диалога, да и не очень верящих в его возможность. И, конечно, убийственны гневные мочаловские стихи о нынешней тотальной деградации, о том, как опять прекращаются все звуки, — кто бы ждал от этого патриарха такого горячего гнева, острой тоски и живой страсти? Хотя самое сильное, на мой вкус, — это все-таки «Цветущая липа». Счастлив, кто умеет так радоваться.

Виктор Строгальщиков. Край. М., «Пальмира», 2003, 187 стр.

Антиутопий о будущей гражданской войне сейчас предостаточно (скоро и автор этих строк бросит свои две копейки), но если можно писать сотни томов о войне прошлой — почему нельзя о войне будущей? Не надо бы, по-моему, с недорогим оптимизмом восклицать: «Россия удержалась на грани гражданской войны!» Война эта, в сущности, давно тлеет под золой, и Чечня — далеко не самое масштабное противостояние из вызревающих ныне. Когда страна ни в чем не хочет определяться, она обречена на такое жжение, тление, истлевание; тетралогия Строгальщикова (три «Слоя» и «Край») — как раз об этом. По жанру и материалу «Край» — нечто среднее между «Невозвращенцем» Кабакова и последними триллерами Латыниной: Сибирь, сначала промышленные войны, потом окончательный распад России на более мелкие территории, ооновские войска в Тюмени, партизанщина, банды... Еще одно имя, приходящее на ум, — Миндадзе (особенно после «Парада планет»): такая же скупая, сухая, сценарная проза с минимумом деталей, зато все — резкие, как вырубленные. Главный герой — журналист Лузгин, главная коллизия — оборачиваемость, оборотничество всех и вся; где свои, где чужие — хрен разберешь. Война, где все куплены, — это уже вроде как и не война, а игра в мужественность и крутизну. В фамилиях и обстоятельствах очень скоро запутываешься, и это неплохо. На войне ведь тоже ничего не понятно. Такой и предполагаешь войну нового типа — войну в мире, где свои и чужие давно стоят друг друга. А написано славно, динамично, много точной, умелой, репортажно нарочитой будничности. «Пальмира» открыла нам замечательное имя, в Тюмени уже давно известное, — все-таки из журналистов всегда получаются хорошие писатели... молчу, молчу.

Дмитрий Нестеров. Скины. Русь пробуждается. М., «Ультра. Культура», 2003, 140 стр.

Сразу три книги молодого и уже скандального издательства «Ультра. Культура» вышли нынешним летом, и вокруг каждой образовался вполне объяснимый шум. Как реагировать на книгу Нестерова — непонятно. Это очень сильный роман — хочется сказать, физически сильный: люди крепкие, придающие большое значение своей физиологии (мускулам, сексу, реакции), обычно пишут хорошую, столь же физиологичную прозу... ну, хоть Лев Толстой... Это я не к тому, что из Нестерова получится новый Толстой, а к тому, что из скина, столь внимательного к политике и к жизни плоти, может получиться настоящий писатель. Поразительно мощная сцена избиения беременной женщины в поезде (вообще все драки написаны хорошо, со знанием дела). Великолепная история с умирающей кошкой, которую ге-

рой, отчаянный борец за чистоту расы, самоотверженно выхаживает: натуралистично, страстно написано — не хуже, чем у Лимонова в «Укрощении тигра» история с котенком. Бойцы всегда сентиментальны, кто же сомневается.

Каков главный пафос этого сочинения — сказать не берусь. Автор пишет, как дерется (он сам из скинов), — оттого, что силу некуда девать. В этом смысле форма вполне адекватна содержанию. Тема, в общем, та же, что у Строгальщикова, — русские против «хачей» (хотя «Край» совсем, совсем не таков). Но это уже не антиутопия. Это — здесь и сейчас. Добровольно данные показания, которых от скинов так и не могли добиться ни на одном суде (да и судов нормальных не было). Вероятно, прав издатель этой книги, главный редактор «Ультра. Культуры» Илья Кормильцев: книга эта — роман воспитания, хроника преодоления пустыни отрочества, по-толстовски же говоря. Но ценна она прежде всего как свидетельство — человеку кажется, что он занят саморекламой, а занят он самооправданием. Талант — он всегда об руку с нравственным чутьем, с этого меня никто не сдвинет. «Майн кампф» — книга скучная, а «Скины» — интересная. Герой думает, что он гордо басит, а он повизгивает. Плачет. Чувствует, что это его размазывают бомберами по полу электрички. От палача до жертвы — один шаг. Так что не знаю, как там читателю, а Нестерову эта книга была, вероятно, очень нужна.

Аллах не любит Америку. Составитель Адам Парфрей. М., «Ультра. Культура», 2003, 430 стр.

То же издательство, и тут уже скандал был настоящий, громкий — что в Штатах, когда антология Парфрея увидела там свет в прошлом году, что у нас, когда ее издали в отличных переводах Энсани, Богдановой, Борисова и других. Книжечка чрезвычайно амбивалентная — с одной стороны, замечательный свод абсурдных, жестоких, трагифарсовых документов, свидетельство пещерной ненависти и тупой непримиримости, а с другой — страшное предупреждение о том дивном новом мире, в который мы вдруг шагнули. Цивилизация, где жизнь стала значить больше всего, породила симметричного и в чем-то равного врага — цивилизацию, в которой жизнь не стоит ровно ничего. Многие (иногда и я) утешают себя мыслью, что исламский терроризм существует до тех пор, пока существуют высокие цены на нефть — главный ресурс арабского мира; пока можно оплачивать подвиги звонкой монетой — осыпая ею, правда, уже родственников покойного. Оказывается, главный ресурс все же — далеко не монета и не обеспечившая ее нефть. Есть, еще есть самоотверженные фанатики, идейные борцы. И не в нефти дело, а в нашем повальном попустительстве и разложении: вот их главный ресурс, если кто пока не понял.

Каким будет главное противостояние нового века, уже понятно. Чем все кончится, тоже понятно. Всегда так кончается. Вопрос только — какова будет цена победы на этот раз. И на сколько десятилетий хватит Западу заряда пассионарности, прежде чем он снова расслабится и тем породит очередную убийственную силу — марширующую толпу фанатиков, одержимую идеей нравственной и религиозной чистоты.

Дмитрий Старостин. Американский ГУЛАГ. М., «Ультра. Культура», 2003, 320 стр.

Старостин пять лет провел в американской тюрьме и со знанием дела развенчивает миф о самой гуманной, самой безошибочной, самой комфортной пенитенциарной системе. Америка предстает у Старостина кафкианским лабиринтом, в котором живой души не встретишь (зато мертвых душ — сколько угодно). Абсурд, путаница, вязкость, клейкость, тупость, обман, деградация — вот картины, раскрывающиеся ошеломленному читателю; такой мир не только омерзителен — он еще и очень уязвим. Горе тебе, Вавилон, город крепкий! Не сказать, чтобы автор вовсе не любил Америку. Просто он ненавидит то царство тотальной несвободы и лжи, в которое она превратилась. Суровая проза, настоящий физиологический очерк. Впервые главы из книги Старостина начали появляться в «Фасе» и были

встречены с любопытством и недоверием. Книга потрясает того больше. В особенности потому, что, когда все главы собраны в один том, становится ясен главный авторский посыл. Самое страшное — оказаться не перед лицом жестокости, а перед лицом забвения. В России тюрьма и воля соприкасаются гораздо ближе — чуть ли не каждый четвертый арестовывался, чуть не каждый второй зек сидел безвинно. В Америке заключенный — действительно гражданин отдельного мира, выключенный из мира живых. Его виновность не подвергается сомнению, его оценивают по другому стандарту — не то что в России, где и судьи почти всегда уверены в несправедливости собственных приговоров... Они же знают, как и под чьим давлением их выносят.

«Большинству американских граждан вообще безразлично: исправится преступник или нет. Они мыслят не в ветхозаветных даже, а в машинных категориях воздаяния»...

Нет, все-таки Россия лучше. Очень патриотичная книга.

Александр О'Шеннон. Ирландский блюз. М., «Алгоритм», 2002, 160 стр.

Первая книга (на подходе вторая — на этот раз роман, «Антибард») замечательного московского автора-исполнителя. Когда-то (он еще печатался под фамилией «Заяц» и был художником) мы вместе работали в мальгинской «Столице», и никто понятия не имел, как поет этот раздражительный очкарик. Это потом, в конце девяностых, по московским клубам начались его концерты, а диски «Ангел на белом козле» и «Истамбул» с трудом доставали у автора — они нигде не продавались. О'Шеннон — странный бард, фантастически артистичный, пародийный в каждом слове и отчаянно искренний в своей шутовской скорби. Больше всего он похож — по характеру отношений с лирическим героем — на раннего манерного Вертинского. Гомоэротические, педофильские, садомазохистские и прочие фантазии «ирландского барда», написанные вдобавок чаще всего на политические темы, идеально соответствуют времени: тут тебе и баллада об ирландском террористе, и песня о взорванном самолете, и латиноамериканские повстанческие мотивы — короче, Эрос и Танатос братья навек. «Здравствуй, дедушка Фрейд!» — называется один из альбомов О'Шеннона, и все тут по делу. Лирический герой этой книжки (в которой, увы, нет нот) — маленький человек начала двадцать первого века, маленький злой террорист, страдающий от всех возможных неудовлетворенностей, страстно преданный идее и пылко мечтающий о мировом господстве над всеми женщинами и некоторыми даже мужчинами. Очень разоблачительно, в меру надрывно, почти всегда смешно — а главное, временами дыхание перехватывает от подлинности некоторых строчек этого вечного лицедея: «Прости нас, Господи, а если не сумеешь, тогда прости хотя бы одного».

От души присоединяюсь к этой просьбе. Все-таки лучшие барды получаются из журнальных работников... молчу!

Татьяна Устинова. Мой личный враг. М., «Эксмо», 2003, 317 стр.

Мне приходилось уже писать о том, что Татьяна Устинова — единственная из всех наших новых детективщиц, кто владеет русским языком. После Марининой, конечно (хотя ее стиль и нейтральней, скучней устиновского: дистиллированная вода из милицейского графина). Когда-то мне случилось раскрыть роман Александры Марининой в приморском кафе — и три часа не отрываясь я читал «Иллюзию греха». Так же прочел я «Моего личного врага» — в лесу, на поляне, не замечая того, что лежу на муравьиной тропе. Когда читаешь современный мягкообложечный детектив (особенно женский, который, как морская свинка, — и не морская, и не свинка, то есть и не детектив, и не женский), больше всего внимания обращаешь на скучное строкогонство, натянутые остроты, пошлости и элементарные стилистические корявости. В случае с Устиновой ни на что подобное не смотришь. Диалоги живые, описания яркие, состояния узнаваемые, — короче, живи мы в другие времена, она писала бы хорошую городскую прозу. С сюжетами, как всегда, — беда, но интерес устиновских книг не в этом. Она работала на телевидении,

знает среду и не жалеет жирных, сочных красок для описания взаимовыручки и взаимной ненависти, подковерных интриг и чудес самопожертвования, имеющих место в «Останкине». Прототипы хитро замазаны, рассредоточены по нескольким героям и проч., — но нас так просто не проведешь. Думается, журналистская среда ни у кого еще не изображалась с такой любовью-ненавистью, как в прозе Устиновой. В остальном — вполне терапевтическая, успокаивающая, хорошо кончающаяся проза с принцем из сказки, роковой сексуально озабоченной злодейкой, верными подругами (непременно напиваются втроем на кухне) и глянцевой заграницей. Но описания ночной аппаратной! и новостной бригады! и коридорных останкинских сплетен, и летучек, и прочей мировой закулисы! Нет, положительно прозу должны писать только журналисты... молчу, молчу!

Борис Кагарлицкий. Реставрация в России. М., «УРСС», 2003, 375 стр.

Вот эту книгу я с наслаждением отнес бы к отрицательным читательским впечатлениям, но что поделать — лучшими политологами тоже оказываются журналисты. По крайней мере самыми убедительными. Кагарлицкий ведь не политолог в собственном смысле — он яркий левый публицист, в совершенстве владеющий разоблачительной риторикой. Эта книга — такая же примерно энциклопедия полемических приемов, как и, скажем, труды Сергея Кара-Мурзы. Разоблачая хитрости либеральной пропаганды, эти господа в своей контрпропаганде пользуются ничуть не более тонкими орудиями — а вы бы чего хотели? Иначе не бывает, мы сами куем себе врага и перенимаем его черты (см. отзыв о книге «Аллах не любит Америку»).

Стиль Кагарлицкого, ведущего публициста «Новой газеты», — классический пример «риторики безответственности». Это наиболее распространенный «левый» дискурс, используемый — или симулируемый — радикальной интеллигенцией, критиками режима, наделенными фанатической верой в свою правоту и чистоту. Носителем такого сектантского сознания является, например, Явлинский — один из немногих положительных героев книги Кагарлицкого. Разоблачая любые режимы, такой автор одинаково убедителен. Ему и в голову не приходит, что он и его единомышленники могли бы кое за что разделить ответственность с властью. Что вы! Никогда в жизни... Кагарлицкий пышет праведным гневом и тогда, когда осуждает эпоху Ельцина, и тогда, когда громит Путина. Сейчас ему кажется, что политика властей недостаточно «социально ориентирована», а масса инертна и не готова защищать свои интересы. Я убежден, что на социально ориентированную политику и революционизированную массу он бы обрушился не менее неотразимо. Такой дискурс, такой пафос. Вы все в реставрации, а я весь в белом. Мы всегда будем против. Власть уже тем плоха, что она власть... Мы не врачи, мы боль. Романтики, блин. КСП от политологии. Я допускаю даже, что Кагарлицкий бескорыстен — ну невозможно за деньги пускать такие рулады! Это от любви к искусству, к собственной белоснежности... И все бы ничего, когда бы не откровенное манипулирование и прямая ложь в паре-тройке мест. Когда бы не кликушество в духе худших образцов газеты «Завтра»...

Однако — заношу в плюс. За клиническую показательность. За образцовую демонстрацию нехитрой стратегии «Как, будучи левым, выглядеть всегда правым».

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Фильм «Догвилль» — своего рода головоломка, такая же простенькая и неразрешимая, как лингвистический парадокс, использованный в названии статьи. Вопрос: где поставить запятую — вынесен на усмотрение зрителя. Зритель теряется. Вся конструкция ленты нацелена на то, чтобы вышибить у него из-под ног

опоры привычной логики. Дело осложняется еще и тем, что головоломка — трехмерна; картина фон Триера равно парадоксальна на уровне этики, на уровне эстетики и на уровне заложенных в ней глобальных геополитических аллюзий.

Начнем с эстетики, имея в виду не столько художественный эквивалент уникального авторского видения мира, сколько привычные средства манипуляции зрительскими эмоциями.

Каждый, кто хоть что-то слышал про фильм «Догвилль», знает, что он поставлен с нарушением всех законов кино. Городок Догвилль, где происходит действие, нарисован мелом на черном полу: нарисованы улицы, кусты, даже собака, лежащая перед миской. Схематические рисунки снабжены поясняющими надписями: «The dog», «Elm street» и т. д. Тут же выстроены фрагменты декораций: части стен, окон, витрин... Дверей нет в принципе (актеры вынуждены постоянно открывать и закрывать несуществующие замки), а, к примеру, у колокольни есть верхушка и шпиль, но нет основания. В домах при этом стоит вполне настоящая мебель, кровати застелены настоящими простынями, на улицу периодически въезжают абсолютно реальные автомобили... Фон Триер в своих интервью ссылается на эстетику ранних телеспектаклей, пленивших некогда его воображение. Но то, что в телешоу 70-х проистекало из скудости постановочных средств, здесь превращается в намеренную художественную стратегию. Используя все регистры условности: от знаков вербальных (надписи и литературный закадровый текст, содержащий описания природы, погоды, оттенков освещения и т. д.), иконических (рисунки на полу) — до вполне материальных (стол=стол) и движущихся (автомобили), — режиссер создает пространство тотальной игры, не имеющее аналогов в физическом мире. Пространство отраженное, существующее только в голове, где все — понарошку, где действуют не реальные люди, а персонажи расхожих мифов, сказок, «примеры» для подтверждения морально-этических схем.

Брехтовский принцип «отчуждения», нейтрализующий гипнотическую ауру кино и сверхэмоциональное давление мелодраматической фабулы, нисколько, однако, не упрощает для зрителя решение основного этического парадокса.

На тихий американский городок Догвилль времен Великой депрессии спускается «дар небес» — прекрасная во всех отношениях девушка Грейс (Николь Кидман). Дочка умудренного жизнью, безжалостного гангстера, она сбежала от папы в надежде обрести другой — не замешенный на власти и насилии — способ сосуществования с себе подобными. Беззащитная, великодушная, полная благодарности и смирения Грейс — идеальный «пример» для местного философа Тома, находящего удовлетворение своим амбициям «духовного лидера» в том, чтобы вести к сияющим моральным высотам городское «сплоченное большинство». Том утверждает, что Грейс для Догвилля — проверка на вшивость типа: способны ли эти простые люди с благодарностью принять «Божий дар». Красавица блондинка с растрепанными волосами, в дешевом платьице и спущенных чулках, нежная Золушка с распухшими от тяжелой работы руками, Грейс — этакая Поллианна, героиня нравоучительно-сентиментальных американских книжек про то, что, если верить в добро и видеть в людях самое лучшее, рай непременно воцарится в одном отдельно взятом маленьком городке.

Рай и воцаряется, но ненадолго. По мере того, как жители проникаются сознанием, что за укрывательство беглянки им могут грозить серьезные неприятности, они приходят к выводу: за переживаемое догвилльцами чувство опасности и социального дискомфорта платить должна именно она — Грейс. Жители Догвилля с чисто американским прагматизмом увеличивают «норму эксплуатации», заставляют девушку работать вдвое больше, платят ей вдвое меньше и в конце концов превращают ее в рабыню, с цепью на шее, прикованную к огромному железному маховику их амбиций, низменных плотских желаний, мелочных обид, зависти, ревности и прочих весьма неприглядных человеческих свойств. А когда Грейс, по совету Тома, решается заявить о том, что с ней обращаются, мягко говоря, несправедливо, жители, движимые смутным чувством вины, перебродившей в коллективную ненависть, сдают безответную гостью папе-гангстеру.

После звонка по телефону, означенному на визитке, оставленной бандитами, разыскивавшими Грейс, город застывает в ожидании. Догвилльцы даже как-то за-

бывают привычно третировать свою жертву. Сгрудившись у въезда в город, они всматриваются в даль, пока на единственной дороге, ведущей в Догвилль, не появляются большие черные автомобили. «Вуаля! Добро пожаловать!» — гостеприимно машет им Том. Он даже интеллигентно намекает, что обитатели Догвилля, сдавшие Грейс, имеют право на некоторое вознаграждение...

Что ж, вознаграждение не заставляет себя ждать: папа, который любит как-никак свою дочку, воздает ее мучителям по заслугам. Но прежде... Прежде чем предать Догвилль огню и мечу, он имеет содержательную беседу с Грейс «о высокомерии». «Ты назвала меня высокомерным, — продолжает он прерванный некогда разговор. — Я люблю тебя, я люблю тебя больше жизни, но я никогда не видел более высокомерного человека, чем ты. Почему ты решила, что можно простить этим людям то, что ты бы никогда не простила самой себе?» Грейс пытается спорить, твердит о трудной жизни, о переменчивых обстоятельствах... Но взошедшая над городом громадная оранжевая луна вдруг заставляет ее увидеть все в новом, истинном, свете... И добрая, идеальная «Поллианна» отдает приказ уничтожить всех жителей городка, включая грудных младенцев, — «во имя человечности и не в последнюю очередь во имя конкретного человека — Грейс». Далее следует шокирующая сцена кровавой бойни, сопровождающаяся криками: «Пощадите, не надо!», и в результате расправы на догорающих развалинах Догвилля остается одно-единственное живое существо — собака по имени Моисей.

Что тут можно сказать? Можно сказать, что Грейс с ее высокомерным идеализмом стала подлинным бедствием для тихого городка. Тут жили люди как люди — в меру несовершенные. Доктор на пенсии (Филип Бейкер Хилл), от нечего делать прикидывающийся больным, слепой господин, прикидывающийся зрячим (Бен Гадзара); недоумок Билл (Джереми Дэйвис), пытающийся учиться на инженера, и его красотка сестрица (Клоэ Севиньи), с презрительным самодовольством принимающая знаки внимания от окрестных парней. Рядом — мизантроп и садовод Чак (Стеллан Скарсгард), обремененный ненавидящей его интеллектуалкой женой и целым выводком противных детишек, Бен (Желько Иванек) — водитель грузовика, стесняющийся своих еженедельных визитов в публичный дом; владелица лавки — мамаша Джинджер (Лорен Бэккол), торгующая втридорога, пользуясь своим монопольным положением, Том (Пол Беттани), мечтающий стать писателем, но не написавший в жизни ни строчки... Все привычно и понемножку лгут, но давно притерлись друг к другу, выучились закрывать глаза на чужие и собственные недостатки. Каждый почитал себя достойным членом сообщества, жил со спокойной совестью, и вдруг... явилась она — красавица, совершенство!

Грейс вела себя с ними так, словно они не люди, а пациенты Господа Бога, у которых при должном и внимательном обращении неизбежно отрастут крылышки. Сначала им это нравилось, потом стало надоедать, потом — задевать, раздражать, а затем они вошли во вкус, безнаказанно эксплуатируя, унижая и размазывая ее по стенке... Своей идеальностью Грейс их просто-напросто спровоцировала, растлила, невольно превратив безобидных обывателей в монстров. То есть сама их испортила, а потом велела всех уничтожить, — несправедливо!

Людей нужно воспринимать такими, как они есть, без иллюзий. Опасно и «высокомерно» ставить над ними эксперименты, к примеру: старательно не замечать недостатков, видеть в людях только хорошее, в надежде, что они и впрямь станут лучше. Подобный идеализм неизбежно граничит с бойней; особенно у американцев, которые самоотверженно несут народам «рай на земле», а когда народы сопротивляются «раю» — закидывают их сверхточными бомбами.

В общем:

казнить нельзя, помиловать, —

люди же все-таки! Кто и кому дал право судить их?

Но с другой стороны...

С другой стороны, мы с вами в ненастоящем городе. Мы в пространстве морально-этической теоремы. И вопрос тут ставится и решается в принципе: прощать или не прощать. Грейс явилась в Догвилль, беззащитная, гонимая, с пустыми руками, в надежде найти приют среди людей, готовых ответить любовью на лю-

бовь, сочувствием — на бескорыстную помощь, душевной симпатией на заботу о них... Она ничего не могла предложить им, кроме своего сердца, и, как ребенок, радовалась, покупая на заработанные деньги дешевые статуэтки в лавке мамаши Джинджер — ведь они были символом ее крепнущей человеческой связи с Догвиллем, свидетельством того, что ее дар принят, что она нашла себе место в жизни. Но люди вместо того, чтобы ответить благодарностью на ниспосланную им «Благодать» (Grace), предпочли по-свински уничтожить и растоптать ее дар — ее «я». Кульминация боли наступает даже не тогда, когда садовник Чак цинично насилует Грейс, угрожая, что в противном случае выдаст ее полиции, а в тот момент, когда его жена Вера (Патриция Кларксон) разбивает на глазах у Грейс одну за другой любовно собранные статуэтки со словами: «Я остановлюсь, если ты не заплачешь». Грейс плачет. Ее мечты рухнули. Вместо любви она встречает в людях только жестокость, предательство и садизм. Даже Том, которого она любила, единственный, на кого, как ей казалось, она может рассчитывать, предает ее. А как же? Ведь он — пастырь и должен быть со своей паствой. Встав на сторону Грейс, он окажется отщепенцем, изгоем. Кого же тогда пасти? Над кем властвовать? Как руководить моральным совершенствованием «сплоченного большинства»?

Все люди, с которыми Грейс встретилась в Догвилле, повели себя не как люди. Тому есть тысяча объяснений. Но нет оправдания. Мудрый папа-гангстер в ответ на замечание Грейс: «Мы же не осуждаем собаку за то, что она — собака», — говорит: «Пса можно научить множеству полезных вещей, если жестоко наказывать за каждое проявление животной природы». Жители Догвилля тоже остались бы в рамках цивилизованных норм, если бы проявления их низменной природы всякий раз встречали жесткий отпор. Но ведь они — люди, а человек — существо, по определению наделенное нравственной свободой — свободой выбора между добром и злом, — и ответственное за свой выбор. В ситуации свободного выбора догвилльцы, давно и незаметно подменившие «нравственный закон внутри нас» круговой порукой ханжеской коллективной морали, повели себя стопроцентно бесчеловечно. И как существа, предавшие собственную природу, были стерты кровавой тряпкой с черной школьной доски. Осталась только собака — нарисованный Моисей, в финальных кадрах оживающий перед камерой, — единственное создание, от рождения не обремененное долгом — «быть человеком».

Так что:

казнить, нельзя помиловать! —

из уважения к человеческой природе. Есть вещи, которые прощению не подлежат.

По такой или примерно по такой траектории лихорадочно мечутся мысли и чувства зрителя в условно-мелодраматическом, душераздирающе-абстрактном пространстве «Догвилля». Где ставить запятую — совершенно не ясно. Условность конструкции, отягченная обилием отвлеченных рассуждений в кадре, не позволяет слепо отдаться эмоциям — в том числе чувству мести. Но именно притчевая условность позволяет от души согласиться с жестоким и безапелляционным приговором финала.

Длинный шлейф голливудских ассоциаций, тянущийся за доброй половиной актеров (а тут практически во все ролях — звезды первой величины), узнаваемые сюжетные схемы от душеспасительной «Поллианны» до сурового вестерна, циничного фильма нуар и крутого боевика, позволяют списать неразрешимость моральной коллизии на американский менталитет с его выспренним идеализмом, плавно переходящим в «культ культа». Но ведь давно ясно, что это менталитет глобальной деревни, и нестерпимый звон от сшибки стереотипов стоит в голове у каждого зрителя фильма независимо от культурной, национальной и конфессиональной принадлежности.

Ларс фон Триер повторяет во всех интервью, что сознательно, дабы подразнить гусей, снимает уже второй издевательский фильм про Америку, ни разу при этом не побывав в США. Его — европейца — смущает невиданная и безграничная власть, сосредоточенная в руках единственной оставшейся на Земле сверхдержавы, ибо страна эта, как и все прочие страны, населена обычными, вполне несовершенными людьми, а к чему приводит безграничная власть в руках несовершенных лю-

дей — наглядно демонстрирует фильм «Догвилль». Но ясно же, что дело не только в этом. Картина фон Триера удивительным образом репрезентирует «тупик в трех соснах», в котором оказалась ныне вся современная, а не только американская цивилизация. С наличным уровнем этики, давно подменившей коллективной порукой «политкорректно-цивилизованных норм» слабое трепетание персональной совести, с наличным уровнем эстетики, эксплуатирующей в рыночных целях ограниченный и стандартный набор «эмоциональных воздействий»; в условиях современной геополитической неопределенности, где сила, власть и безнаказанность — движители прогресса, — человечество оказывается не в силах справиться с самыми простыми вопросами, к примеру — найти место для запятой в нехитром предложении из трех слов.

Мы внутренне не готовы к тому, что с нами происходит. Мы в тупике или же — на краю бездны; и никто не выразил это замешательство цивилизации точнее, чем Триер в «Догвилле», где примитивные и однозначные плоскости свиты в загадочно-парадоксальную «ленту Мёбиуса», дразняще и провокационно мерцающую перед нашим взором:

Казнить нельзя помиловать казнить нельзя помиловать
казнить нельзя помиловать...

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

О спаме

Что такое спам. Сверимся по словарю **<http://lingvo.yandex.ru>.** *Spam:* сокр. от spiced ham — пикантная, приправленная специями ветчина. 1) *(Spam)* консервированный колбасный фарш (обычно свиной; запатентованное название); 2) сущ.; компьют. сленг *спам* (практически бесполезная информация (обычно — реклама), принудительно рассылаемая большому числу абонентов электронной почты). *Syn: junk e-mail* — электронный хлам.

Нас будет интересовать именно второе значение слова спам, которое давно уже адаптировано русским языком на полных правах склоняемого существительного. Что и не удивительно, поскольку со спамом сталкивался практически каждый пользователь электронной почты, а это самый распространенный интернет-сервис.

Происхождение термина обычно объясняется так: «Термин „спам" ведет свое происхождение от старого (1972) скетча английской комик-группы „Monty Python Flying Circus", в котором посетители ресторанчика, пытающиеся сделать заказ, вынуждены слушать хор викингов, воспевающий мясные консервы (SPAM).

Применительно к навязчивой сетевой рекламе термин „спам" стал употребляться несколько лет назад, когда рекламные компании начали публиковать в новостных конференциях Usenet свои рекламные объявления. На счастье подписчиков таких групп новостей, продолжалось это недолго, так как технология Usenet предусматривает любую фильтрацию сообщений, и администраторы конференций просто удаляли спам ранее, чем он достигал большого числа людей. Потерпев здесь неудачу, спамеры переключились на рассылку рекламы по группам адресатов» **<http://www.antispam.ru/spam.shtml>.**

У спама есть и другое, более строгое, определение, которое было ему дано Открытым форумом Интернет-сервис-провайдеров (ОФИСП) **<http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html>.**

В документе «Нормы пользования Сетью» в разделе «1. Ограничения на информационный шум (спам)», в частности, сказано:

«Развитие Сети привело к тому, что одной из основных проблем пользователей стал избыток информации. Поэтому сетевое сообщество выработало специальные правила, направленные на ограждение пользователя от ненужной/незапрошенной информации (спама). В частности, являются недопустимыми:

1.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю. Здесь и далее под электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.

1.2. Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы.

1.3. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.

1.4. Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или электронном списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.

1.5. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно...»

Хотя документы ОФИСП — это и не законы, но это де-факто документально зафиксированные «обычаи делового оборота» и в этом качестве могут рассматриваться судом при гражданском делопроизводстве. Впрочем, совершенно не исключено, что документы ОФИСП получат в недалеком будущем законодательную силу.

Спам — это плохо. На сервере **www.antispam.ru** приводятся такие соображения по поводу вредоносности спама: «Зачастую пользователи просто не обращают внимания на сетевую рекламу, удаляя такие сообщения из своих почтовых ящиков. На самом деле пагубность таких рассылок заключается в том, что спамеру это практически ничего не стоит, зато дорого обходится всем остальным — как получателю спама, так и его провайдеру. Большое количество рекламной корреспонденции может привести к излишней нагрузке на каналы и почтовые серверы провайдера, из-за чего обычная почта, которую, возможно, очень ждут получатели, будет проходить значительно медленнее. Спамер практически ничего не платит за то, что передает почту. За все расплачивается получатель спама, оплачивающий своему провайдеру время в Сети, затрачиваемое на получение незапрошенной корреспонденции с почтового сервера».

По оценке фирмы «Brightmail», которая специализируется на средствах фильтрации спама в сетях интернет-провайдеров, уже к декабрю 2003 года доля спама в почтовом трафике может вырасти до 50 процентов. Между тем в 2001 году она составляла всего 7 процентов. По оценке фирмы, в год спам наносит американскому бизнесу ущерб в размере $ 10 млрд. «Электронная почта коренным образом изменила характер нашего общения, — подтверждает председатель сенатского комитета по торговле, науке и транспорту Джон Маккейн, — но усиливающиеся потоки спама грозят свести на нет все преимущества новой среды».

Два слова о том, как делаются оценки: берется среднее время, которое тратит американский «белый воротничок» на чтение и удаление одного спамового письма, и умножается на его среднюю зарплату. Это — главная затратная статья. Зарплата у него большая, а руки кривые: удаляет он долго. Если бы этот служащий зарабатывал раз в десять или сто меньше, и затраты были бы соответствующими. Но все равно получается очень много.

Спам — это еще вторжение в нашу личную жизнь. Письмо ведь падает в мой почтовый ящик, и я никак не могу согласиться с тем, что какой-то неведомый мне субъект вторгается ко мне безо всякого с моей стороны разрешения.

Откуда дровишки, или Причины возникновения спама. Лучше всего о том, откуда берется спам, может рассказать, конечно, сам спамер. И хотя обычно они не балуют интересующихся публичными заявлениями, иногда бывает и такое.

Я приведу отрывок из интервью, которое дал радио «Свобода» **<http://www.svoboda.org/programs/sc/2003/sc.012103.asp>** Дмитрий Новгородцев. Он уже несколько лет совершенствует свою технологию массовых рассылок. В 1997 году он основал компанию «DEMETRIUS Software». Вопросы спамеру задавали ведущий программы «Седьмой континент» Александр Костинский и эксперт Александр Сергеев.

«Дмитрий Новгородцев: Количество заказов очень большое. И стоит человеку обратиться к нам раз, он становится постоянным клиентом и рассылает через нас постоянно. Могу даже больше сказать: из-за большого количества заказов мы сейчас открываем второй офис, набираем народ. То есть реклама на самом деле очень действенная, очень хорошая, и эффективность у нее намного больше, чем у баннерной и любой другой рекламы...

Сейчас рассылки делаются только массовые, и единственное разделение — это организации либо частные лица. И Россия, Москва или Питер. Вот, например, разослать по всей России, по всем четырем миллионам адресов (это объем используемой Новгородцевым базы e-mail-адресов. — *В. Г.*) стоит 600 — 700 долларов.

Александр Сергеев: С ростом количества клиентов и заказов нет ли опасности испортить рынок? Пока я получаю в почтовый ящик пять писем в день, я даже могу их читать. Если я получаю двадцать, то чаще всего удаляю их не глядя. Если я буду получать пятьдесят, я настрою фильтры и буду резать их по возможности автоматически, а остальное удалять не глядя...

Дмитрий Новгородцев: Ну, фильтры вы вряд ли настроите, потому что каждое письмо, по крайней мере от нашей компании, приходит уникальное. Случайным образом выбираются все поля — и в заголовках писем, и от кого. А вообще у нас есть некоторые уловки по этому вопросу...

Один клиент обслуживается часа три-четыре. Много мелких только-только образовавшихся фирм приходит к нам за помощью. Приходят даже фирмы, у которых нет в рекламном бюджете 600 — 700 долларов. Приходят с просьбой выделить какое-то количество адресов долларов на сто, на двести. Мы, естественно, помогаем этим фирмам, и после первой-второй рассылки они приходят и платят по полной, то есть за полную рассылку. Это говорит о том, что они получили отдачу от рассылки и набрали необходимую сумму для дальнейшего продвижения своего товара или услуг и опять же становятся постоянными клиентами...

Есть 10 — 15 довольно крупных клиентов, есть и банки, которые рассылают через нас дайджесты своим клиентам, есть ночные клубы, есть клиники. Довольно-таки крупные фирмы, серьезные люди, и делают очень качественные рассылки. Мы разрабатываем для них ряд макетов, макеты выполняют профессиональные дизайнеры, они выбирают, и мы рассылаем. Это получается уже имиджевая реклама, то есть у них свой стиль. Когда вы открываете такое письмо в своем почтовом ящике, оно отличается от любого спама».

Итак, заказчики есть. Они довольны эффективностью спамовой рекламы, и спамер вполне доволен состоянием своих дел. Солидный мужчина Дмитрий Новгородцев. И у него солидный бизнес. И как с ним бороться?

А как-то бороться со спамом надо, если вы не хотите каждый день получать на свой адрес груду совершенно не нужной вам корреспонденции.

И во-первых. Куда смотрит правительство? Эй, правительство!

Законы против спама <http://www.dni.ru/news/web/2003/7/7/23879.html>. Сообщение от 07.07.2003: «...недавно специальным комитетом американского Сената был одобрен законопроект Кевина Мюррея. Этот законопроект, поддержанный несколькими компаниями, в том числе и компанией „Microsoft", предусматривает максимальный штраф в размере 1000 долларов США за каждое рекламное сообщение или 1 миллион долларов за каждый случай массовой рассылки.

Согласно законопроекту Мюррея, передает „Компьюлента", пользователи, пострадавшие от спамеров, могут требовать компенсации за ущерб в размере не более 200 тысяч долларов за каждый день получения непрошеных электронных писем.

В октябре этого года в Европейском союзе вступит в силу закон, запрещающий массовую безадресную рассылку рекламы по электронной почте. Сообщения могут рассылаться только с предварительного согласия получателя».

Это у них. А что у нас?

<http://comnews.ru/index.cfm?id=6899>. Сообщение от 28.07.2003:

«Российская Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ) намерена под эгидой Минсвязи подготовить законодательные предложения по борьбе со спамом. Параллельно группа крупных игроков IT-рынка создает собственную антиспамерскую коалицию.

На прошлой неделе АДЭ направила в Минсвязи проект меморандума „О противодействии распространению вредоносных программ и спама", в котором непрошеные рассылки фактически приравнены к компьютерным вирусам. „Задача меморандума — довести до Минсвязи точку зрения всех заинтересованных организаций и описать наше видение проблем борьбы со спамом", — поясняет один из разработчиков меморандума, представитель корпорации „Microsoft" по связям с госорганами Михаил Якушев.

В написании этого документа участвовали представители более двух десятков крупнейших IT-компаний, Минсвязи и отраслевых институтов. „Эта проблема сплотила всех участников рынка, поскольку она представляет серьезную угрозу функционированию информационных систем", — говорит замгендиректора холдинга Rambler Иван Засурский».

Провайдеры. Спам не только причиняет неудобства рядовым пользователям, но и создает реальные проблемы для IT-компаний. «Распространение спама — прямая угроза для нашего бизнеса, — говорит вице-президент Mail.ru Татьяна Желонкина. — Из-за спамеров мы теряем пользователей, поскольку наши клиенты вынуждены заводить больше ящиков, что приводит к росту трафика и неэффективному использованию мощностей». «Спам не дает возможности нормально работать всем — и пользователям Интернета, и операторам, предоставляющим доступ», — соглашается представитель крупнейшего альтернативного оператора «Golden Telecom».

Как же борются со спамом провайдеры? Самое трудное в этой борьбе — найти источник спама. Спамеры никогда не дают точных обратных адресов. И хотя проследить всю цепочку, по которой шло письмо, принципиально можно, используя логи (файлы, сохраняющие, в частности, информацию об источнике письма, пришедшего на почтовый сервер), это иногда бывает сделать крайне трудно, поскольку цепочка может быть очень длинной, и иногда она рвется. Разрывы этой цепочки — там, где провайдеры либо не сохраняют логи, либо по каким-то причинам не желают сотрудничать с другими провайдерами.

Таких «черных» провайдеров ищут и находят и спамеры, и легальные провайдеры. Как только такой провайдер обнаружен, он может быть включен в черный список и, например, прекращен прием почты от него. Существует несколько открытых списков таких «черных» провайдеров, самый известный среди них: MAPS RBL — Realtime Blackhole List — список IP-адресов, которые активно используются для рассылки спама, а администраторы, ответственные за поддержку этих IP-адресов или целых сетей, не принимают мер, несмотря на жалобы пострадавших от спама.

Кроме того, многие почтовые серверы используют программы фильтрации спама. Yandex утверждает: «Защита от непрошеных писем, которую обеспечивают наши алгоритмы распознавания спама! Вчера было отклонено 46,49 процента писем, из оставшихся 46,76 процента писем отложено в папку „Рассылки" (это специальная папка для сомнительной почты)». Проверить эту информацию трудно. Приходится верить на слово.

Но последним рубежом обороны от спама является ваш почтовый клиент. То есть программа, которая установлена на вашей машине, — «Outlook Express» или «The Bat!».

Моя крепость. Первое правило, которое прописано во всех рекомендациях по борьбе со спамом: дорожите своим адресом. Не сорите им, не оставляйте где ни

попадя, в сомнительных чатах, новостных конференциях, анкетах непонятных. Если это совершенно необходимо, заведите себе временный бесплатный адрес, который вы можете безболезненно удалить.

Это, конечно, правильно, но, к сожалению, не всегда осуществимо. Иногда вы просто вынуждены объявлять свой адрес и вынуждены привязываться к нему. Это касается любой организации, выходящей в Интернет и заинтересованной в получении обратной связи от своих клиентов или пользователей.

Всех наших почтовых корреспондентов можно условно разделить на три группы.

1. Те, которых мы знаем и любим. Мы заинтересованы в том, чтобы все письма от них приходили к нам вовремя и без искажений. Их почтовые адреса, как правило, есть в нашей адресной книге.

2. Те, которых мы знаем и не любим. Поскольку мы их знаем — то есть нам известны их адреса, мы можем для защиты от нежелательной корреспонденции, приходящей от них, использовать очень простую систему фильтрации, которая встроена в любой почтовый клиент или реализована на многих бесплатных почтовых серверах. Например, в Outlook Express мы можем создать Правило (Сервис —> Правила для сообщений —> Почта), которое позволит нам удалять нежелательную почту прямо на почтовом сервере, не пересылая ее на нашу машину.

3. Те, которых мы не знаем. И вот среди них есть и новые покупатели или новые друзья, и тот самый спам. Как быть с этими адресами? Нам нужно как-то перевести новый адрес в один из тех классов, с которыми мы умеем работать — в 1-й или 2-й.

Ну, в первый-то он попадет и безо всяких действий с нашей стороны. А вот как этого избежать? Во-первых, можно попробовать настроить почтовый клиент с помощью Правил. Но это не всегда просто, а иногда даже невозможно. Чтобы как-то идентифицировать новый адрес, нужно иметь его опознавательные знаки. Скажем, номер телефона осточертевшей нам рассылки (спама).

Я в течение довольно длительного срока получал письма от Центра американского английского. Ребята меня буквально радовали. Они практически не повторялись. Например, на первый взгляд номер контактного телефона должен повторяться из письма в письмо, и по нему можно фильтровать входящую почту, но не тутто было: 105- 51 -86, 1 0 5 — 5 1 — 8 6, 105- 51 — 86. Для человека — это один и тот же номер, а для программы — три разных. Точно так же варьировались и другие поля: *Кому, От, Тема* — причем вариации все были одного и того же свойства — количество пробелов в словах. Варьировались и скрытые поля — *Received*, *Sender* и т. д. Outlook не умеет фильтровать по скрытым полям, но, скажем, фильтры Yandex вполне справляются с такой задачей. Но здесь и это не помогало. Как тут не вспомнить Дмитрия Новгородцева: «Ну, фильтры вы вряд ли настроите».

В конце концов с помощью программы фильтрации спама результат был достигнут. Но я вовсе не уверен, что это окончательная победа.

Здесь-то все понятно более-менее — это явный спам. Но как поступить в общем случае? Одна из очевидных идей — автоматически запросить подтверждение у отправителя письма. Авторы спама второго письма не пришлют, даже если они ваш ответ получат, но, вероятнее всего, и этого не случится, потому что обратный адрес наверняка фиктивный. Например, такой: grgfhfq@mail.ru Именно на идее запроса адреса строится большинство антиспамовых программ.

Скажем, можно настроить «The Bat!», чтобы он сам проделывал всю положенную работу **<http://www.antispam.ru/sh?act=msg&id=1056374703>.**

Автор статьи «Убийство спама в „The Bat!"» пишет:

«Идея сортировки спама очень простая:

используем адресную книгу „The Bat!" как доверительный список — если письмо пришло от адресата, имеющегося в адресной книге, пропускаем его на свой компьютер;

пропускаем на свой компьютер также те письма, в теме которых указано заданное нами ключевое слово;

если письмо пришло от неизвестного адресата, удаляем его на сервере, а отправителю шлем автоответ (уведомление), в котором информируем об удалении письма и сообщаем ключевое слово, которое отправитель добавит в тему письма-дубликата, чтобы оно прошло на наш компьютер.

Итак, если Вам некто впервые написал письмо, то ему вернется уведомление с предложением продублировать письмо и указать в теме письма ключевое слово. Человек так и сделает, если он заинтересован в переписке с Вами».

Фильтр подробно описан — его действительно можно использовать. Этот способ интересен тем, что вам ничего не нужно ставить дополнительно, достаточно возможностей почтового клиента.

На этой же идее — запроса адреса отправителя — построена программа WinAntiSPAM **<http://www.winantispam.com/ru/antispam.html>.**

Но в обоих случаях вы сначала получаете письмо, а уже потом его обрабатываете. А нельзя как-то не пропускать письмо в ваш почтовый ящик или даже на сервер вашего провайдера? Можно. **Vstopspam.com** предоставляет вам такую возможность. Но в этом случае вы абонируете дополнительный почтовый ящик на указанном сервере, и он выполняет роль жесткого фильтра от спама. Это платная услуга — до $ 10 в месяц. Разработчики так описывают принципы работы:

«Когда вам послано новое сообщение, VStopSpam.com проверяет, авторизован ли отправитель письма.

Если авторизован, то письмо немедленно пересылается в ваш почтовый ящик.

Если отправитель блокирован, письмо удаляется.

Если это письмо от неизвестного отправителя, оно сохраняется во временной области на веб-сайте VStopSpam.com, и отправитель получает письмо с верификационной „кнопочкой" (линком), которую он должен нажать. Как только он нажмет на нее, и его первое письмо, и все будущие будут беспрепятственно попадать в ваш почтовый ящик.

Помните, что 95 процентов спамеров никогда не нажмут верификационной кнопочки и вы никогда не увидите их писем.

А если все-таки спамер подтвердит получение, вы всегда сможете заблокировать его адрес» (перевод с английского).

Ну что, мы победили спам на корню? Увы, если бы все было так хорошо. Все это славно и гладко, пока вы переписываетесь с человеком, который очень хочет до вас достучаться, который имеет постоянный адрес, который попросту сидит и ждет, когда вы его переспросите. А если он пишет вам впервые (а как раз для такого случая и предусмотрены все антиспамовые фильтры), ваш корреспондент не знает, что мало отправить вам письмо, нужно еще дать подтверждение. Если он не очень хочет добиться вашего внимания, то ваше требование подтверждения он сочтет именно спамом, чем оно, собственно, и является, и пошлет вас куда подальше.

Если вы переписываетесь с почтовым роботом, который, например, присылает вам подтверждение о регистрации на каком-либо сайте (что есть обычная практика), то вам либо придется поторопиться и внести его адрес в доверительный список (если вы знаете его адрес!), либо вы это сообщение никогда не получите. Робот не знает, куда нужно вписать ключевое слово, не знает, зачем нужно повторять письмо, и наверняка не умеет давить на кнопочку подтверждения.

Антон Москаль в статье «Снова о спаме» **<http://www.russ.ru/netcult/20030728_antonmoskal.html>** утверждает: «Со спамом можно эффективно бороться техническими методами», — и предлагает использовать антиспамовые фильтры, в частности, доступные на страничке Пола Грэма **<http://www.paulgraham.com/filters.html>.** При некотором навыке фильтры (программы, которые можно «обучать» распознавать спам) удается использовать довольно эффективно. В этом случае вы принимаете удар на себя, но заведомо ничего не потеряете — вы получите все письма, а программа классифицирует некоторые из них как спам.

Вероятно, если вас окончательно одолели спамеры, следует жестко закрыть свой самый известный адрес одним из предложенных способов и завести себе один или несколько тайных, но открытых адресов.

Заключение. Проблема спама — совсем не такая простая, как это может показаться. И главная загадка здесь: что́ есть спам. И кто имеет право принять такое решение. И четкого формального ответа здесь нет. Если спам — это любое письмо с незнакомого адреса, то представьте себе систему, где никто не хочет получать письма от незнакомцев. Все стоят насмерть, как пуговицы. Такая система парализована еще до старта.

Александр Костинский так завершил свое интервью со спамером **<http://www.svoboda.org/programs/sc/2003/sc.012103.asp>:**

«Конечно, спамеры наполняют рекламой электронную почту. Это приносит небольшие убытки в виде расходов на трафик и отнимает время. Поэтому позиция провайдеров кажется почти безупречной. Если бы они не блокировали спам, то пользоваться электронной почтой стало бы трудно.

Но крайняя антиспамерская позиция также имеет серьезные изъяны. Большая часть мероприятий по борьбе со спамом так или иначе нарушает действующее законодательство. Отказ принимать почту от узлов и сетей, внесенных в черные списки, нарушает связность общественных сетей, что противоречит действующему закону „О связи". Фильтрация спама означает, что провайдер анализирует содержание всей почты клиентов, то есть нарушает тайну переписки. Право государственных спецслужб на подобную деятельность вызывает оправданное противодействие правозащитников. Однако коммерческие фирмы — провайдеры — давно уже занимаются такой перлюстрацией.

То же самое относится и к закрытию сайтов, рекламируемых спамерскими рассылками. Достаточно разослать спам с адресом сайта конкурирующей фирмы, и он будет закрыт.

Все это не оправдывает спамеров, а показывает сложность проблемы. Пока обе стороны — и спамеры, и антиспамеры — не хотят договариваться. Одни делают ставку на силу, другие — на находчивость.

А тем временем 18 января в Массачусетском технологическом институте проходила конференция по борьбе со спамом. Ее участники отметили, что пока, несмотря на все усилия разработчиков почтовых фильтров, спамеры быстро обходят установленную защиту **<http://www.lenta.ru/internet/2003/01/18/spam/>**. Видимо, договариваться все-таки придется».

Конечно, договориться — это хорошо, только я не очень понимаю, кто будет договариваться и с кем. Спамеры, во всяком случае, ни с кем пока договариваться не намерены, а провайдеры слишком уверены в своих силах (в том числе в лоббировании нужных законов), чтобы они до таких переговоров снизошли. Так что стройте пока свою собственную крепость, и понадежнее: по всем прогнозам, в ближайший год количество спама будет расти, а по некоторым прогнозам — расти лавинообразно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ

*

Сергей Бирюков. РОКУ УКОР. Поэтические начала. М., Российский государственный гуманитарный университет, 2003, 510 стр., 2500 экз.

Изданием этой книги поэт и стиховед Сергей Бирюков продолжает свое исследование «нестандартного и экспериментального мира поэзии», начатое в книге «Поэзия русского авангарда» (см. «Библиографические листки» — «Новый мир», 2002, № 1). Новая книга, сочетающая признаки исследования и поэтической антологии, представляет историю и своеобразие русского акростиха, месостиха, лабиринта, «одинокой строки» (однострочного стихотворения), анаграмматизмов и переразложения слова, палиндромии, фигуральных стихов и различных визуальных систем, центонных форм, тавтограммы и брахиколона, музыкально-поэтических экспериментов, заумной поэзии. Использован материал за четыре века русской поэзии от стихов поэта-книжника Справщика Савватия, творившего в XVII веке, от Сумарокова и Державина до наших современников: Дмитрия Авалиани, Д. А. Пригова, Ры Никоновой и других.

Михаил Булгаков. «Страшно жить, когда падают царства...» Подготовка текста и вступительная статья («Над схваткой») В. И. Лосева. Сочинения в четырех томах. Том 1. М., «Вагриус», 2003, 526 стр., 5000 экз.

«Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Бег», «Необыкновенные приключения доктора», «Красная корона», «Налет», «Я убил», «Ханский огонь», «Грядущие перспективы».

Михаил Булгаков. «За что ты гонишь меня, судьба?!» Подготовка текста и вступительная статья («Противостояние») В. И. Лосева. Сочинения в четырех томах. Том 2. М., «Вагриус», 2003, 478 стр., 5000 экз.

«Жизнь господина де Мольера», «Кабала святош», «Александр Пушкин», «Записки покойника».

Михаил Булгаков. «Наука еще не знает способа обращать зверей в людей...» Подготовка текста и вступительная статья («Зловещая операция») В. И. Лосева. Сочинения в четырех томах. Том 3. М., «Вагриус», 2003, 318 стр., 5000 экз.

«Записки юного врача», «Морфий», «Собачье сердце»», «Роковые яйца».

Михаил Булгаков. «А дьявола тоже нет?» Подготовка текста и вступительная статья («Таинственный „лукавый”») В. И. Лосева. Сочинения в четырех томах. Том 4. М., «Вагриус», 2003, 478 стр., 5000 экз.

«Похождения Чичикова», «Дьяволиада», «Мастер и Маргарита».

Четырехтомное, не претендующее на полноту собрание сочинений, подготовленное В. И. Лосевым, в котором произведения располагаются не по жанрам и не в хронологическом порядке, а как бы составляют тематические сборники, где могут соседствовать и художественная проза, и документальная, и драматургия, и эссеистика, написанные в самые разные периоды творчества. Сборники должны, по замыслу составителя, представлять «ключевые тематические направления» творчества Булгакова. Ключевые мотивы определяются не логикой внутреннего развития Булгакова-художника и соответственно мыслителя, а по чисто внешним, как в школьном учебнике, социально-историческим и социально-психологическим признакам. Первый том посвящен «белогвардейской теме», второй — теме «художник и власть», третий — «врачебной теме» в творчестве писателя, четвертый — «бесовской теме». Каждый том озаглавлен подходящей к теме цитатой из Булгакова, в стилистике названия для сочинения на выпускном экзамене. Отсутствие справочного аппарата, в частности исторического и филологического комментария, должно, видимо, компенсироваться сведениями из вступительных статей В. И. Лосева. Перед нами, так сказать, «авторское» (составительское) собрание сочинений М. Булгакова.

Алексей Варламов. Пришвин. М., «Молодая гвардия», 2003, 848 стр.

Жизнеописание Михаила Пришвина, вышедшее в серии «Жизнь замечательных людей», принадлежит перу одного из ведущих современных прозаиков; журнальный вариант публиковался в «Октябре» (2002, № 1, 2).

Евгений Евтушенко. Первое собрание сочинений в восьми томах. Том 6. 1983 — 1995. Составление и комментарии Евгения Евтушенко. Составление, подготовка текста, «Пунктир» и научная редакция Юрия Нехорошева. М., «Издательство АСТ», 2003, 3000 экз.

Поэмы «Непрядва» и «Фуку», стихотворения. В «Пунктире» — собрании извлечений из писем и воспоминаний современников и друзей Евтушенко — прослеживается история его взаимоотношений с властью, с друзьями и коллегами, особо подробно — об отношениях с Бродским; цитируемые документы сопровождаются написанным специально для этого издания развернутым комментарием самого Евтушенко.

Валентина Иванова. Записки литературного раба. М., «Советский писатель», 2003, 270 стр., 1100 экз.

Основную часть книги составила автобиографическая повесть «Болезнь», отрывки из которой под тем же названием публиковались «Новым миром» (1998, № 11). Завершающие книгу мемуарные очерки «Записки литературного раба» посвящены работе автора как кинокритика и рассказывают о встречах с Шукшиным, Губенко, Черкасовым, Ладыниной, Бондарчуком, Герасимовым, Тихоновым и другими.

Кирилл Ковальджи. Обратный отсчет. Новая книга. Стихи и проза. М., «Книжный сад», 2003, 416 стр., 2000 экз.

В отличие от предыдущих, основу этой книги составила проза: «Моментальные снимки», «Короткие рассказы» и — главный раздел новой книги — «Литературные заметки, зарисовки, портреты», продолженные эссеистическими миниатюрами, из которых составлена «Моя мозаика» (персонажи: Светлов, Луговской, Чичибабин, Солженицын, Леонид Мартынов, В. Катаев, Окуджава, Нина Искренко, дьякон Андрей Кураев, Зоя Крахмальникова, Лев Разгон, Иосиф Бродский и другие). Ковальджи пишет хронику литературной, культурной, идеологической и общественной жизни СССР — России второй половины XX века, которую можно читать и как мемуары литератора, и как лирическую прозу («В русской поэзии полно всего и без меня. Эта книга для тех, кому интересен я...»), и как предварительные итоги размышлений над прожитым и увиденным («Если „царство Божие внутри вас", то почему полагаете, что дьявол — вне вас?»). Завершают книгу подборка стихов «из старых и новых тетрадей» и переводы с молдавского и румынского.

Роман Сенчин. Нубук. Роман. М., «Эксмо», 2003, 352 стр., 3100 экз.

Третья (первой была «Афинские ночи» — М., «ПИК», 2001; второй — «Минус» — М., «Эксмо-Пресс», 2002) книга молодого прозаика; первая публикация этого романа в «Новом мире» (2002, № 12).

Энтони Хект. Стихи. Нью-Йорк, «Ars-Interpress», 2003, 120 стр.

Двуязычное издание избранных стихотворений современного американского поэта. В качестве предисловия помещено эссе Бродского, начинающееся словами: «Энтони Хект — безусловно лучший поэт, пишущий в наше время по-английски. И если я не склонен расточать ему дифирамбы, то это не из соображений хорошего тона и не потому, что иностранцу приличествует сдержанность в употреблении эпитетов, а просто потому, что на высотах, где этот поэт обитает, иерархии не существует». Переводы для книги сделаны Г. Стариковским, М. Эскиной, В. Гандельсманом, А. Найманом и другими.

Сергей Юрский. Попытка думать. М., «Вагриус», 2003, 238 стр., 5000 экз.

Сергей Юрский. Все время жанра. М., «Вагриус», 2003, 206 стр., 5000 экз.

Собрание лирико-автобиографической и культурологической эссеистики Юрского (журнальные публикации вошедших в эту книгу текстов рецензировались Павлом Рудневым в № 10 «Нового мира» за 2002 год).

Ю. М. Галенович. Россия — Китай. Шесть договоров. М., «Муравей», 2003, 408 стр., 1000 экз.

О содержании и истории подписания шести договоров между Россией — СССР — Россией и Китаем, определявших принципы взаимоотношений между державами чуть более чем за сто лет (1896, 1924, 1936, 1945, 1950 и 2001), — ситуация в международных отношениях уникальная. Автор — доктор исторических наук, специалист по Китаю, около 25 лет занимавшийся практической работой в качестве переводчика и дипломата. Накопленный опыт и знания Ю. М. Галенович обобщил в книгах, изданных в последние годы: «Цзян Чжунчжэн, или Неизвестный Чан Кайши» (М., «Муравей», 2000, 358 стр.); «Самоутверждение сыновей Тайваня» (М., «Муравей», 2000, 200 стр.); «Россия и Китай в XX веке: граница» (М., «Изограф», 2001, 336 стр.); «Заметки китаеведа» (М., «Мура-

вей», 2002, 328 стр.); «Москва — Пекин, Москва — Тайбей» (М., «Изограф», 2002, 656 стр.); «Китай и сентябрьская трагедия Америки» (М., 2002, 168 стр.); «Призрак Мао» (М., «Время», 2002, 208 стр.); «Китайское чудо или китайский тупик?» (М., «Муравей», 2002, 144 стр.); «Путешествие на родину Дэн Сяопина» (М., Институт Дальнего Востока РАН, 2002, 154 стр.).

А. Н. Горбанева. Проза Виталия Семина. Махачкала, Дагестанский государственный университет, 2003, 120 стр.

Компактная монография о творческом пути Виталия Семина (1927 — 1978), об истории создания и поэтике его произведений, рассматриваемых в контексте литературного движения 60 — 70-х годов.

Русский Журнал. 2003. Война и школа. Сборник статей. М., «Русский институт», 2003, 328 стр., 1000 экз.

От редакции «Русского Журнала», подготовившего этот сборник: «Ежегодно публикуя около двух тысяч эссе, аналитических статей, рецензий и обзоров, журнал аккумулировал архивы образованного класса России». Нынешний дайджест «„Русского Журнала" в отличие от прошлых» — «самоучитель. Здесь не подводят итогов проекта, а намечают перспективы его пересмотра. Читатель помнит, что кроме „РЖ" Русский институт выпускает квартальники „Интеллектуального форума", знакомящие публику с сюжетами англо-американских дискуссий. В сборнике 2003 года бумаги портфеля „ИФ" на равных перемешаны с файлами „РЖ". Такая смесь покажется гремучей, но не пора ли нашему автору пересмотреть свой удобный аутизм? Мир, если вдруг сохранится, будет „англо-русским" миром. „РЖ" берет новый след». Вот этот след и черты «самоучителя» — уже в рубрикации, обозначающей, чему учиться: «Учить войну», «Учить Америку», «Учить политику», «Учить себя».

Тематическим подборкам в сборнике предпослано что-то вроде увертюры, состоящей из трех статей.

Начинает ее Михаил Ремизов, в своем темпераментном эссе «Быть ястребами» призывающий отказаться от «гуманитарных традиций» во взаимоотношениях с современной жизнью, — сегодня, по мнению автора, следует ориентироваться на модели поведения военного времени, стать «ястребами» и начать с отказа от понятия «мировой терроризм» как самостоятельного зла, увидеть за терроризмом реального врага, «социально, идеологически, организационно, экзистенциально опознать его», как было, например, во время Второй мировой войны, когда русские воевали не с фашизмом, а с немцами. Так следует и сегодня, со всеми вытекающими...

В следующем же тексте, «Current music», уже два гуманиста-либерала, Роман Лейбов и Евгений Горный, размышляют о музыке, которую мы выбираем, то есть речь — о ценностях внутреннего (живущего полноценной, а не оскопленной военной моралью) мира человека.

И третья статья, обзор Лоуренса Осборна «Путь пирата. Как морской разбойник превратился в мультикультурного героя», — это описание характерного для сегодняшних умонастроений явления: попыток нынешних левых историков опровергнуть закрепившееся к началу XX века отношение к пиратам и разбою (обозначенное у Борхеса в устаревших гуманистических традициях названием его цикла «Всемирная история бесчестия») — пират из душегуба и грабителя превращается в радикала-революционера, носителя благотворных для жизни общества начал.

Собственно тематические разделы открывает беседа Глеба Павловского, размышляющего о нашей сегодняшней реальности, которую многие начали открывать для себя только после трагедии «Норд-Оста»; публикация названа «Бог вразумляет человека, как воблу»: «Тот, кто пробуждается, часто обнаруживает себя в таких омерзительных обстоятельствах, что заснуть нельзя, даже крепко зажмурившись, даже повернувшись на другой бок... Я думаю, сегодня никто не может сказать, ни президент Путин, ни Усама бен Ладен, ни господин Буш, что у нас есть и на сколько. И то, что есть у России, — эти ресурсы нашего спасения, не будут ли они применены не вовремя либо с передозировкой?» «Убежать больше некуда. Внутри глобальной — глобализирующейся и недоглобализированной — среды ты уже не можешь сбежать, тебя настигнет встречный вал и либо сомнет, либо рекрутирует, что верней. Идеальный побег — это побег Бараева, Усамы бен Ладена и т. д. Беглецы возвращаются убийцами и вламываются на отвратительный мюзикл, от которого сбежали. Бараев в Москве уже не чеченец. Никакой тейп на его поведение никак не влияет. И не повлияет никакое урегулирование в Чечне. Даже если Чечня получит независимость, войдет в ОБСЕ и сам лорд Джадд будет ее президентом, Бараеву пофиг. Он продолжает буденновское ноу-хау Басаева... Басаев ехал в Буденновск еще как солдат, комбатант и сепаратист. Но из Буденновска вернулась мировая звезда террора — обладатель военно-политического ноу-хау, которое дальше развивалось в рейдах Радуева и после „захвата Грозного" приобрело большую коммерчески-политическую ценность, капитализировалось. Кстати, имитация захвата Грозного — та же „стратегия трех 'КАМАЗов'", военно-медийный минимализм, а в ре-

зультате? Верховный Главнокомандующий России подписывает договор с человеком в папахе, а за ними следом волокут ядерный чемоданчик, уже никчемный. *Возможность „нагнуть" ядерную сверхдержаву дешевыми силами.* Силами кого? 50 — 100 человек! Даже если брать со всей системой обеспечения, с консультантами, наводчиками, изменниками в милиции, с изменниками в местных структурах, с изменниками в Чечне — все равно больше полутора сотен не наберется. И такими силами есть шанс создать силовой субъект мирового класса. В каком-то смысле возникает теневой постоянный член Совета Безопасности ООН. Три „КАМАЗа" дорастают до оружия, какого не было ни у США, ни у СССР во время „холодной войны". <...>

А Бараев — это уже не Чечня. Вернись он из Москвы, как Басаев из Буденновска, Бараев становился бы государством. Носителем другого суверенитета, по отношению к которому старый ичкерийский — так, мелочь, райцентр <...> Большая игра только начинается. Чечня для нее — транзит, VIP-зал».

Среди других авторов сборника — Модест Колеров, Николай Плотников, Фрэнсис Фукуяма, Михаил Кордонский, Леонид Бызов, Ярослав Шимов, Марк Печерский, Михаил Эдельштейн.

Владимир Шилейко. Последняя любовь. Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой и другие материалы. Составление, предисловие, указатель имен и названий Алексея и Тамары Шилейко. Вступительная статья Вячеслава Вс. Иванова. М., «Вагриус», 2003, 320 стр., 1000 экз.

Кроме перечисленного в названии книги содержание ее составили дневниковые записи и выдержки из писем П. Н. Лукницкого, П. В. Ернштедт, А. П. Рифтина, С. Ф. Данской, М. И. Максимовой и других. «Здесь собраны документы, относящиеся к жизни трех людей, связанных друг с другом сложным узлом эмоциональных, поэтических, научных и житейских отношений. Это великий русский поэт Анна Андреевна Ахматова, замечательный востоковед Владимир Шилейко (второй муж Ахматовой, к тому времени с ней расставшийся или, скорее, расстававшийся) и последняя жена Шилейко — специалист по истории западноевропейского искусства Вера Андреева. В конце развертывающейся в книге трагедии Шилейко совсем молодым — тридцати девяти лет от роду — умирает от чахотки, после чего его ненапечатанные рукописи постепенно пропадают...» (из вступительной статьи).

Составитель **Сергей Костырко.**

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке библиографического раздела Книжной галерее «Нина» (ул. Большая Якиманка, дом 6, часы работы: 10.00 — 20.00, тел. 238-02-69).

ПЕРИОДИКА

*

«Арба», «АртХроника», «Вестник профсоюза в погонах», «Время MN», «Время новостей», «Вышгород», «Газета», «GlobalRus.ru», «Дальний Восток», «День литературы», «Завтра», «Заметки по еврейской истории», «Известия», «Иностранная литература», «Истина и Жизнь», «Итоги», «Книжное обозрение», «Критическая масса», «Лебедь», «Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Москва», «Московские новости», «Московский литератор», «Народ Книги в мире книг», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новое время», «Новый Журнал», «Огонек», «Простор», «Pulse», «Росбалт», «Русский Журнал», «Русский курьер», «Собеседник», «Солнечное сплетение», «Спецназ России», «Страна.Ru», «Топос», «Урал», «Уральская новь»

Александр Агеев. Голод 81. Практическая гастроэнтерология чтения. – «Русский Журнал», 2003, 24 июля **<http://www.russ.ru/krug>.**

«А у [Романа] Сенчина и градус мизантропии повыше, и глубина цинизма повнушительнее, чем у наивного во многом [Олега] Павлова. То, что у Павлова на подсозна-

тельном уровне существует, Сенчин четко отрефлектировал, осознал и превратил в ходкий товар».

Василий Аксенов. «Если закрутят гайки, возникнет новая литературная эмиграция». Беседу вел Юрий Коваленко. — «Русский курьер», 2003, № 59, 2 августа **<http://www.ruskur.ru>.**

«Скажем, жанр романа вообще находится под большой угрозой. Поэзия всегда будет жива, пока существует человек, она не требует больших затрат. Роман же — это индустрия своего рода, и он в ходе своего развития достиг своего пика в области самовыражения, то есть романа элитарного. Но нынешний рынок категорически его отвергает, он склоняется к потреблению романа как развлечения, то есть идет возвращение к его истокам. <...> В конце концов роман задавят. Он будет совсем не тем, что нам представлялось, когда мы входили в литературу».

«Вы, кажется, считаете Берию реформатором, перестройщиком, предтечей Горбачева? — Во всяком случае, у него были планы очень похожие. И он, конечно, был не большевик по своей натуре. Он бандит, но не такой фанатик, как, скажем, Андропов или Хрущев».

См. также: «Для меня он [Берия] далеко не ненавистный персонаж. <...> Он был бандит. Настоящий бандит. А бандиты все-таки лучше, чем большевики. Потому что большевик — и бандит, и большевик, а тот просто бандит. И потом, Берия задумал перестройку. <...> Он хотел изменить советский строй почти на 40 лет раньше, чем это сделал Горбачев», — говорит **Василий Аксенов** в беседе с Ольгой Ларионовой: «Собеседник», 2003, № 192 **<http://www.sobesednik.ru/weekly/192>.**

См. также беседу **Василия Аксенова** с Верой Цветковой — «НГ Ex libris», 2003, № 25, 24 июля **<http://exlibris.ng.ru>.**

См. также: **Яков Этингер,** «Берия: палач в роли „реформатора". К 50-летию первой схватки в борьбе за власть после смерти Сталина» — «Время MN», 2003, 26 июня **<http://www.vremyamn.ru>.**

Юрий Аммосов. Поттер *must die.* Детская книга была эпосом, а эпос обернулся трагедией. — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 28 июля **<http://www.globalrus.ru/impressions>.**

«Но до сих пор никто не заметил, что на самом деле „Гарри Поттер" отнюдь не вариация на тему „Давида Копперфильда". На самом деле четыре первых книги были классическим эпосом».

«Через череду выборов, которые Гарри уже сделал и которые ему еще предстоит сделать, его толкают к главному выбору: выбору смерти. Это не выбор для эпического героя. Это выбор для трагического героя».

«Успех книги Роулинг — это свидетельство кризиса постмодернизма. <...> Романы Роулинг и идейно и стилистически стали провозвестниками литературы нового времени, где на смену побегу от реальности придет желание встречать ее грудью, а темный и вялый слог сменит живая и звучная речь».

См. также: **Диакон Андрей Кураев,** «„Гарри Поттер" в церкви: между анафемой и улыбкой» (СПб., Издательский дом «Нева», 2003).

Антология современной уральской поэзии. Составитель Виталий Кальпиди. — «Уральская новь», Челябинск, 2003, № 16 **<http://magazines.russ.ru/urnov>.**

Аврех Юрий Леонидович, Аргутина Ирина Марковна, Банников Дмитрий Сергеевич, Болдырев Николай Федорович и так далее по алфавиту. *От составителя*: «В 1996 году в свет вышла „Антология современной уральской поэзии" [Челябинск, Фонд „Галерея"], где были собраны авторы трех поколений, сместившие некий традиционный поэтический спектр, существовавший на Урале до того, как... И вот теперь, по прошествии семи лет, настало время — продолжить начатый труд. <...> На вооружении у составителя была примитивная личная градация: удивление — любопытство — интерес. И все, что попало внутрь периметра, охраняемого этой трехглавой гидрой, вошло в книгу. Если бы у самопровозглашенного цензора, то бишь — составителя, то бишь — меня, хватило воли, то в этот том вошли бы не 60 авторов, а, скажем, 600».

См. также: «Антология современной уральской поэзии. Том второй» — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 7 **<http://magazines.russ.ru/ural>.**

Электронную версию первого тома антологии см.: **http://poetry.rema.ru/ural.htm**

Панко Анчев (Варна). Может ли иностранец понять Есенина? Перевод с болгарского Христины Цанковой. — «Литературная учеба», 2003, № 3, май — июнь.

Болгарин может.

Александр Архангельский. Словарь как вызов. Сергей Чупринин пересчитал всех современных писателей. — «Известия», 2003, № 129, 23 июля **<http://www.izvestia.ru>.**

«Наверняка Чупринину укажут на ошибки [словаря „Новая Россия: мир литературы"], упрекнут в неполноте информации. <...> Но разница между отыскивающими и создающими примерно такая же, как между полководцами и маркитантами. Одни дают распоряжения, среди прочего — о необходимости закупок съестного, другие подсчитывают убытки, понесенные от поставщиков».

«На самом деле Чупринин действует заговором: пересчитав наличный состав действующей литературной армии, он как бы провоцирует русскую жизнь на возврат к литературоцентричности. Что верно. Потому что никакой другой центричности у нас все равно нет».

Здесь же: **Юлия Рахаева,** «Словарь как Атлантида».

Ср.: **Вячеслав Огрызко,** «Каша от профессора. Не всякий доктор наук — энциклопедист» — «Литературная Россия», 2003, № 24-25, 20 июня **<http://www.litrossia.ru>;** *очень критический разбор.*

См. также беседу **Сергея Чупринина** с Александром Вознесенским: «Памятник эпохи Гутенберга» — «НГ Ex libris», 2003, № 28, 14 августа **<http://exlibris.ng.ru>;** «Я это знаю лучше многих и буду благодарен всем, кто мне на них [на пропуски и ошибки] укажет, потому что я продолжаю работу и теперь, когда словарь уже вышел. Было бы хорошо, если бы ко мне обращались, к примеру, по электронной почте **chuprinin@mtu-net.ru**».

Ср.: «<...> справочного издания без ошибок и без авторской субъективности не бывает, тем более нелепо требовать совершенства от словаря, призванного отразить и запечатлеть современную литературу, то есть объект по определению текучий, подвижный, не имеющий четких границ», — пишет **Михаил Эдельштейн** («Писателей пересчитали по головам» — «Русский Журнал», 2003, 12 августа **<http://www.russ.ru/krug/kniga>**) и — от имени энциклопедистов XXI и всех последующих столетий — говорит Чупринину *спасибо.*

Василий Афонин. Поморский крест. — «Дальний Восток», Хабаровск, 2003, № 4, июль — август.

«Впервые о [Юрии] Казакове услышал я в ранней юности».

Дмитрий Бавильский. Все романы Уэльбека доступны по-русски. — «Время MN», 2003, 30 июля **<http://www.vremyamn.ru>**

«Я убежден, что Уэльбек — плохой писатель, скучный и однообразный».

См. также: **Елена Гальцова,** «Плоское письмо Мишеля Уэльбека» — «Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>.**

Ирина Баканова. Литература как поведение. — «Литература», 2003, № 29, 1 — 7 августа **<http://www.1september.ru>.**

Павел Лукницкий. Николай Гумилев. Анна Ахматова.

Думитру Балан (Бухарест). «Тихая», «почвенная», или «славянофильская», поэзия. — «Литературная учеба», 2003, № 2, март — апрель.

«Мне и другим коллегам, живущим в студенческом общежитии на Стромынке в одной комнате со Стасиком Куняевым, памятны как [его] поэтические начинания (любил писать стихи в тетрадочках в клеточку), так и спортивные достижения».

Виктор Бараков. Семь уроков Александра Яшина. — «Москва», 2003, № 7 **<http://www.moskvam.ru>.**

«Умирал он тяжело <...>».

В. И. Баранов, Ю. И. Круглов. Еще один опыт литературного киллерства. — «Литературная газета», 2003, № 31, 30 июля — 5 августа **<http://www.lgz.ru>.**

Полемика со статьей Н. Журавлева «Они писали за Шолохова. Самый грандиозный проект XX века» («Новая газета», 2003, № 44, 23 — 25 июня **<http://www.novayagazeta.ru>**). «Вся статья Н. Журавлева — проявление наивного и вовсе не безвредного дилетантизма». Внимание привлекает — остающаяся без объяснения — фраза В. И. Баранова и Ю. И. Круглова: «Через несколько месяцев (! — *А. В.*) 100-летний юбилей писателя, лауреата Нобелевской премии...» До сих пор было принято считать, что Шолохов родился в мае 1905 года.

См. также: «Юбилей („столетие") намечено отпраздновать в 2005 г., хотя давно документально установлено, что возраст Шолохова в 1922 году был уменьшен, чтобы „отмазать" (как говорят сегодня) молодого „налогового инспектора" от тюрьмы, которая грозила ему за участие в махинациях. Заметим, кстати, что на могильной плите в Вешенской ни даты рождения Шолохова, ни даты рождения его жены вы не прочтете —

их там нет», — читаем в статье **Андрея** и **Светланы Макаровых** «Шолохов начал писать „Тихий Дон" в семь лет?» («Новая газета», 2003, № 44, 23 — 25 июня **<http://www.novayagazeta.ru>**).

См. также: **Мария Сидорова** (г. Мирный, Архангельская обл.), «„С кровью и потом" — или? Заметки учителя-словесника на полях „Поднятой целины" М. Шолохова» — «Литература», 2003, № 30, 8 — 15 августа **<http://www.1september.ru>**.

См. также: **Андрей Воронцов,** «Огонь в степи» — «Наш современник», 2003, № 4, 5, 6, 7 **<http://nashsovr.aihs.net>**; книжный вариант этого романа называется «Шолохов» (издательство ИТРК).

Арье Барац. Иудейская трактовка «Мастера и Маргариты». Из книги «Лики Торы». — «Заметки по еврейской истории». Интернет-журнал еврейской истории, традиции, культуры. Главный редактор Евгений Беркович. 2002, № 9 **<http://www.berkovich-zametki.com/Nomer9/baraz3.htm>**.

«То, что Булгаков иудаизировал Евангелие, то, что в форме романа он расправился с „Христом керигмы", — знаменательно, но не ново. Множество авторов христианского мира уже проделали это до него. Новым явилось то, что он иудаизировал также и Сатану».

«Остается только удивляться тому, как и Булгаков и Лакшин, по всей видимости имеющие весьма отдаленные, чтобы не сказать превратные представления об иудаизме, воспроизводят целыми блоками его ключевые концепции!»

См. также: **Михаил Голубков,** «М. А. Булгаков» — «Литературная учеба», 2003, № 2, март — апрель.

Татьяна Бек. Чем дальше в лес, тем больше лис. Мелочи жизни, литературной и около. — «НГ Ex libris», 2003, № 27, 7 августа **<http://exlibris.ng.ru>**.

«Когда мне было лет десять, папа [Александр Бек] подобрал возле углового магазина „Комсомолец" заблудившегося Твардовского (тот шел куда глаза глядят после долгого возлияния у Светлова), взял его под руку, привел к себе домой, уложил на кушетку. Потом призвал меня в свой кабинет и с умилением говорит: „Дочка, запомни этого человека, перед тобою великий поэт..." Я запомнила».

См. также: «„Твардовский — так себе поэт, в нем нет тайны" — весьма глупые слова [Ахматовой], между прочим», — читаем в изданных ныне записях **Георгия Свиридова** («Наш современник», 2003, № 8 **<http://nashsovr.aihs.net>**).

Татьяна Бек. О поединках роковых и гендерных. — «НГ Ex libris», 2003, № 25, 24 июля.

«Проза Ольги Новиковой всегда ярко беллетристична, и легкомысленна, и мудра».

См. также: **Ольга Тимофеева,** «Чего хочет женщина» — «Время MN», 2003, 17 июля **<http://www.vremyamn.ru>**.

Александр Бренер, Барбара Шульц. Фашистская планета. Сборник рассказов. — «Арба». Всемирный Независимый Казах/стан/ский Журнал. 2003, 22 июля **<http://www.arba.ru>**.

«Это — фашистская планета. Фашистская планета. Да. Да».

Дмитрий Быков. Апология застоя. Стоит ли выходить на площадь? — «Независимая газета», 2003, № 167, 13 августа **<http://www.ng.ru>**.

«Я просто пытаюсь — возможно, что и в аутотерапевтических целях, — предостеречь от ужаса при слове „застой". <...> начать наконец относиться к смене общественного климата как к явлению природы, со стоической готовностью не общественный строй менять, а душу свою спасать».

«<...> так плохо, как сейчас, в России писали только при старом Сталине, в конце 40-х — начале 50-х». А хорошо — в 70-е.

См. также рецензию **Алексея Балакина** на сборник статей Дмитрия Быкова «Блуд труда» (СПб., «Лимбус-Пресс», 2002) — «Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>**; «<...> именно политика — конек Быкова. Он, подобно персонажу старого анекдота, „только о ней и думает". Пишет ли он о новых фильмах, об острове Капри, о Честертоне, Чуковском или Блоке — все равно так и норовит ввернуть то о крахе либерализма, то о победе нового консерватизма. В малых дозах это ничуть не раздражает, иногда выходит даже мило. Если же читать „Блуд труда" подряд, то концентрация политиканства становится критической и начинает отравлять удовольствие от чтения. <...> Хоть сам Быков и аттестует себя как „сноба, гурмана, смакователя", в это верится с трудом. Скорее его можно отнести к критикам тенденциозным, вроде Писарева или Михайловского».

См. также: **Илья Кириллов,** «В огороде бузина, в Крыму дядька» — «День литературы», 2003, № 7, июль **<http://www.zavtra.ru>**; «По-видимому, в лице Дм. Быкова мы

имеем тот тип художника, который как рыба в воде чувствует себя в живописании идейной борьбы, политических и философских концепций и полемики вокруг них. Если бы он задумал написать роман из жизни идей, разумеется, найдя для этого соответствующую форму, его достижения, вероятно, были бы впечатляющими. Зачатки подобного произведения мы видим и в „Орфографии", но, поскольку жанровый замысел у автора другой, они остаются блестящим фрагментом, в значительной степени чужеродным повествованию в целом. В послесловии к роману он признается — а читателю это становится ясным задолго до финальной части романа, — что при написании им руководило желание „возродить традиции отечественного эпоса". Любителей иронии, уже растягивающих в улыбке губы, я разочарую. По прочтении „Орфографии" можно с уверенностью сказать, что автор обладает „романным дыханием", способностью выдержать длительные дистанции. Неоправданное в большинстве случаев многословие, бесчисленные повторы преодолеваются общим течением повествования, чувством времени, чутким авторским ощущением его медлительной непрерывной работы над всем и вся. Но это, пожалуй, единственная предпосылка для создания эпического произведения, которое на самом деле требует всеобъемлющих изобразительных возможностей, чего автор лишен».

«<...> описания природы всегда играют роль своеобразной лакмусовой бумажки в отношении языка писателя. В этом смысле они Дм. Быкова скорее компрометируют».

«Если судить, согласно Пушкину, по тем законам, которые произведение над собою выстраивает, новый роман Дм. Быкова есть прикровенная неудача».

См. также: **Дмитрий Бавильский,** «Сумбур вместо музыки» — «Топос», 2003, 4 августа **<http://www.topos.ru>**; «История для романиста — материал приятный и податливый. Потому что романист-историк знает, чем закончатся описываемые события, следовательно, какой финал будет и у его фабулы тоже. А для Быкова это очень существенно — управлять ситуацией и для этого знать развязку. Поэтому (предположим рабочую гипотезу) он не пишет романы про современность. Текущий момент слишком непредсказуем — сочиняя книгу о современности, ты рискуешь ошибиться. А кому хочется ошибаться? <...> Необходимость подстраховки выдает концептуальную неуверенность. Именно поэтому из романа где только можно убирается авторское отношение к происходящему: в „Орфографии", перенаселенной десятками персонажей, большинство из которых имеет исторических прототипов, сложно определить, как Быков относится к тем или иным персонажам (за некоторыми, немногими, исключениями). Неуверенность Быкова зиждется на том, что все остальные (читатели, критики, „литературная общественность") тоже ведь знают, чем закончится всё и какая в финале большой истории пребудет мораль. <...> Вот в публицистических своих выступлениях Дмитрий Быков бывает куда как более категоричен — потому что здесь он, наравне со всеми, движется в неизведанное завтра и не знает, чем сердце успокоится».

Об «Орфографии» Дмитрия Быкова см. также рецензию **Владимира Шухмина** — «Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>**; «<...> помесь "Приключений Буратино" с "Хождением по мукам"».

См. также: **Павел Басинский,** «Великолепный провал» — «Литературная газета», 2003, № 25, 18 — 24 июня **<http://www.lgz.ru>.**

См. также: **Никита Елисеев,** «Теплый вечер холодного дня» — «Русский Журнал», 2003, 1 июля **<http://www.russ.ru/krug/kniga>.**

См. также: **Елена Дьякова,** «Люди, упраздненные, как буквы» — «Новая газета», 2003, № 37, 26 мая **<http://www.novayagazeta.ru>.**

См. также: **Андрей Немзер,** «Благие намерения» — «Время новостей», 2003, № 69, 17 апреля **<http://www.vremya.ru>.**

См. также: **Сергей Кузнецов,** «Быков *slowly*» — «Русский Журнал», 2003, 17 апреля **<http://www.russ.ru/krug>.**

См. также рецензии **М. Кронгауза** и **М. Эдельштейна** в следующем номере «Нового мира».

Дмитрий Быков. Я пришел сшить вам брюки. Ода вольности. — «Огонек», 2003, № 26, июль **<http://www.ropnet.ru/ogonyok>.**

«В это самое время Лимонова готовили к выходу [из тюрьмы], подбирали ему костюм, он выслушал множество советов о том, как именно гладить рубашку, а один из офицеров, выглянув в окно, ему сообщил:

— Ну и люди тебя там ждут! Один весь большой, кудлатый, в шортах и в майке с Че Геварой.

Лимонов сначала подумал, что это иностранец, но потом сообразил, что это я, и сказал: „Этот на все способен. Выпускайте быстрей"».

См. также беседу **Эдуарда Лимонова** с Александром Вознесенским, Олегом Головиным, Сергеем Шаргуновым в офисе НБП: «Со скепсисом к литературе» — «НГ Ex libris», 2003, № 24, 17 июля **<http://exlibris.ng.ru>**; «К литературным занятиям я сегодня отно-

шусь скептически. <...> С падением господства буржуазии (а она всего-то полтора века правила) умирают и все буржуазные жанры. Так же, как был помпезный абсолютистский балет — тоже неживое искусство, или мертвая опера. А литература, роман выглядят буржуазным жанром...»

См. также беседу **Эдуарда Лимонова** с Владимиром Бондаренко «Наш народ достоин свободы»: «День литературы», 2003, № 7, июль **<http://www.zavtra.ru>**; «Я достаточно хорошо поработал как писатель — в тюрьме. И норму свою перевыполнил на много лет вперед. У меня не так много времени осталось, собираюсь заниматься только политической деятельностью».

См. также беседу **Эдуарда Лимонова** с Верой Хейфец («Мы будем во главе народного бунта. Но в рамках закона» — Информационное агентство «Росбалт», 2003, 9 августа **<http://www.rosbalt.ru>**); *Вопрос Лимонову:* «Нельзя же все у всех отнять и поделить поровну...» *Ответ Лимонова:* «Надо, безусловно, надо это сделать! Отнять и поделить! 77% нашего населения желает отнять и поделить, и мы, как верные исполнители воли народа, отвечаем — „да"!»

Алексей Варламов. Крейд. — «Литературная учеба», 2003, № 3, май — июнь.

Краткий, но выразительный мемуар о Вадиме Крейде, профессоре Айовского университета, редакторе «Нового Журнала». «<...> стал говорить, что на самом деле уехал из России не из-за КГБ, а из-за того, что она наскучила и он в ней все увидел и понял».

Николай Васильев. Бахтин и его соавторы. История вопроса об авторстве «спорных текстов» в российской бахтинистике. — «Литературная Россия», 2003, № 29, 18 июля **<http://www.litrossia.ru>.**

Газетный вариант доклада на бразильской Бахтинской конференции (Куритиба, июль 2003 года). Автор — профессор Мордовского университета.

Владимир Воропаев. Русская эмиграция о Гоголе. — «Литературная учеба», 2003, № 3, май — июнь.

Бем, Ходасевич, Франк и другие.

Все перепуталось... Беседовала Анастасия Сдвижкова. — «Время MN», 2003, 9 августа.

Говорит **Галина Щербакова:** «Одна моя знакомая, которая очень любила мои книги, однажды сказала, что теперь у нее новая любовь — Дарья Донцова, потому что, читая ее книги, она не замечает, как в метро доезжает от одной остановки до другой, а с моими книгами ей никогда не удавалось этого сделать».

См. также: **Михаил Золотоносов,** «Три грамма дигоксина. Дарью Донцову читают те, кому хочется верить, что их проблемы тоже решатся каким-нибудь фантастическим образом» — «Московские новости», 2003, № 31 **<http://www.mn.ru>.**

См. также: **Татьяна Сотникова,** «В заботах об успехе Донцовой» — «Русский Журнал», 2003, 7 мая **<http://www.russ.ru/krug>.**

См. также: **Оксана Козорог,** «„Золотой век" массовой литературы» — «Литературная учеба», 2003, № 4, июль — август; в этой статье о жанровых особенностях современного российского детектива Дарья Донцова даже не упоминается.

Александр Гаррос, Алексей Евдокимов. Лауреаты премии «Национальный бестселлер-2002» и их представления о тексте. Беседу вела Анна Сметанина. — «*Pulse.* Москва», 2003, июль **<http://www.pulse.ru/moscow.htm>.**

«<...> переувлечение собственным жизненным опытом часто выливается в графоманское „что видел, то пою". Как это случилось, например, с небесталанным [Ильей] Стоговым и бесталанной, на наш вкус, [Ириной] Денежкиной».

Алексей Герман. «Боюсь снять плохое кино». Беседу вела Юлия Кантор. — «Известия», 2003, № 127, 19 июля.

«Я по матери — еврей, но и мама, и бабушка, и дядья, весь род был православным. Я крестился давно, в советское время, и, естественно, полутайно. <...> Я долго выбирал для себя религию, конфессию. Выбрал православие, хотя до того колебался: тяготел к протестантизму. Я был знаком с замечательным женевским пастором. <...> Мне казалось, что протестантизм мне ближе. И все-таки выбрал православие. Я воспитан в русской среде и в русской культуре. А теперь мне страшно от нарастания клерикальности в нашей стране. Встал вопрос о „сокращении", то есть о закрытии, музея политкаторжан на Соловках, — куда же дальше?! Если это произойдет, для меня с Русской православной церковью все кончено. <...> — *С кем вы общаетесь, откуда черпаете информацию, если даже времени на телевизор у вас нет?* — От знакомых, иногда даже пользуюсь слухами, которые оказываются бредом. Меня вообще можно запросто купить. Я, как ни странно, очень доверчивый. <...> Мы живем в скверном государстве».

См. также: «Герман. Шесть с половиной» — «Время MN», 2003, 19 июля **<http://www.vremyamn.ru>**; *монологи Алексея Германа, записанные Мариной Токаревой в разное время.* Например: «Отец [Юрий Герман] все время где-то мотался, зарабатывал, крутил бешеные романы. Один из них, через всю их жизнь, был с Ольгой Берггольц. Не так давно ее сестра принесла мне папины записки. Берггольц их сохраняла, но на всякий случай (вдруг ГБ отыщет) тут же, на обороте комментировала. Во время войны он ей пишет что-то вроде: „Может, лучше, чтоб сюда вошли англичане, это единственный способ избавиться от этих нелюдей (имея в виду советскую власть)". Она отвечает: „Юра, тебе нужно лечиться!" В 49-м он пишет: „Пора ложиться на дно и тушить фонарики!» А она: «Юра! Ты сошел с ума. В то время, как наша страна..." и так далее». Алексей Герман — о своей молодости: «Девица, от которой в Выборге я подхватил триппер, на вид была абсолютная Гретхен».

См. также: **Наталья Серова,** «„Осенняя соната" Алексея Германа» — «Русский Журнал», 2003, 24 июля **<http://www.russ.ru/culture/cinema>**; «В общем, смотреть на все это [„Хрусталев, машину!"] почти невозможно не потому, что мера страдания превышает возможности нормального человека, а просто потому, что ничего не понятно — попросту и не видно, и очень плохо слышно. <...> Алексей Герман делал гениальный фильм о ненависти к культу, а сделал — о неприятии жизни вообще. Воронка ненависти к власти, закрученная в русской литературе со времен критического реализма XIX века, засосала его, и ненависть к проявлениям зла трансформировалась в неприязнь к жизни вообще тем вернее, чем меньше иллюзий и идеализма осталось у мастера. <...> Предваряя показ своего фильма на канале „Культура", Алексей Герман прямо сказал, что фильм направлен против культа, и добавил, что тем, кто не выдержит и переключит телевизор на другой канал, будет потом стыдно. Это, возможно, последняя иллюзия, оставшаяся у автора апологии пессимизма».

См. также: **Александр Ярчевский,** «Герман. *„DIVINA COMMEDIA"*» — «Русский Журнал», 2003, 24 июля **<http://www.russ.ru/culture/cinema>**; «„Хрусталев" — это уже не кино <...> в том устоявшемся, заскорузлом понимании, где для наличия признаков такового необходимы формальные приметы — сюжет, бюджет, яркая суперидея... Иначе говоря — „формат". Даже в этом кино Германа аморалистично — оно вне европейской гуманистической и поп-традиции. <...> Режиссером сделана попытка выйти за границы не только жанра, но и целого пласта искусства — кино. <...> Наверное, он знал, на что идет, и все же верил, что в этом задыхающемся от посредственной серости киномире его услышат. Его же только увидели».

Бенжамен Гишар. Цензоры и порнография в России сто лет назад. Авторизованный перевод с французского Екатерины Пичугиной. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2003, № 3 (29) **<http://magazines.russ.ru/nz>.**

«Споры по поводу репрезентации сексуальности, волновавшие Россию, в частности, в 1905 — 1917 годах, вписываются, таким образом, в общеевропейский контекст публичных дискуссий о необходимости контролировать распространение порнографической литературы во имя здоровья нации».

Здесь же: **Линда Уильямс,** «Жесткое порно. Власть, удовольствие и „неистовство визуального"»; печатается с сокращениями, полную версию см.: **<http://www.nz-online.ru>.**

Здесь же: **Вадим Михайлин,** «Древнегреческая „игривая" культура и европейская порнография Новейшего времени»; эту статью — *но без картинок* — см.: «ПОЛИТ.РУ», 2003, 4 июля **<http://www.polit.ru>.**

Михаил Глобачев. Меч в зеркале, фига в кармане. Роман-перевертыш Вячеслава Рыбакова прочли многие, да поняли мало. — «Новое время», 2003, № 30, 27 июля **<http://www.newtimes.ru>.**

Критический взгляд на утопии и антиутопии Вячеслава Рыбакова. Включая новую книгу — «На будущий год в Москве».

См. также: **Юлия Латынина,** «Россия, которую мы не теряли» — «Новый мир», 1994, № 5; о романе Вячеслава Рыбакова «Гравилёт „Цесаревич"».

См. также: **Вячеслав Рыбаков,** «Клеветникам Ордуси. Кому и почему мерещится „коричневая чума" в эпопее „Евразийская симфония"» — «Литературная газета», 2002, № 4, 30 января — 5 февраля **<http://www.lgz.ru>.**

См. также *ордусский* сайт: **http://www.orduss.ru**

Евгений Головин. «Русская вещь» Александра Дугина как противостояние Моря и Суши. Эссе об эссе. — «НГ Ex libris», 2003, № 25, 24 июля.

«Андрократия и гинекократия в России иррелевантны».

См. также: **Александр Дугин,** «*Auf, o Seele!* Эссе о Евгении Головине» — «НГ Ex libris», 2003, № 11, 27 марта **<http://exlibris.ng.ru>**; «Евгения Всеволодовича Головина можно только любить — безумно, абсолютно, отчаянно любить».

Владимир Голышев. Философия «простого человека». — «Русский Журнал», 2003, 4 августа **<http://www.russ.ru/politics>.**

«<...> очевидно, что „зачистка" правящего слоя 1937 — 38 гг. была „выполнением заказа населения", и сомневаться в искренности людей, требовавших смерти для „троцкистских собак", нет никаких оснований. <...> Народ, „давя снизу", вынудил, заставил Сталина исполнить его волю».

Ольга Григорьева. «Из рода Цветаевых...» — «Простор», Алма-Ата, 2003, № 6 **<http://prostor.samal.kz/texts/num0603>.**

«Закончив работу над очерком „Анастасия Цветаева в Павлодаре" (он был опубликован в „Просторе", № 7 за 1997 год), я не собиралась возвращаться к этой теме. Но жизнь вновь и вновь подбрасывала факты, встречи, книги о жизни этой удивительной семьи <...>».

Вл. Гусев. О литературном процессе. — «Московский литератор». Газета Московской городской организации Союза писателей России. 2003, № 14, июль.

«Лимонов морщится, но терпит! А как можно не терпеть Бондаренко? Ты морщись, как и Лимонов и Михалков, а он все равно будет стоять рядом с рюмкой в руке и улыбаться!»

См. также: **Алла Латынина,** «Старшая дочь короля Лира» — «Новый мир», 2003, № 10.

Михаил Денисов, Виктор Милитарев. Безвременные грезы российских либералов. — «Русский Журнал», 2003, 25 июля **<http://www.russ.ru/politics>.**

«Наибольший интерес [в „Отечественных записках", 2003, № 3 **<http://magazines.russ.ru/oz/2003/3>**] представляет интервью, которое Модест Колеров взял у Евгения Гонтмахера, так как последний давно работает в правительстве и в значительной мере отождествляет себя с тем выбором, который сделала верховная власть в России в 1991 — 93 годах. <...> Общее направление взглядов Гонтмахера можно охарактеризовать тезисом, предложенным Ходорковским: „выживание каждого есть личное дело каждого". Право человека на жизнь Гонтмахер трактует как право не быть убитым, а вот в праве на то, чтобы не умереть голодной смертью, он ему отказывает. Он считает, что человек, даже квалифицированный, вполне может работать всего лишь за кусок хлеба. <...> Но так или иначе, форма социал-дарвинизма у Гонтмахера еще не самая крайняя и для богатого в целом общества до какой-то степени приемлемая: в отличие от многих своих единомышленников, он не предлагает перестать платить пенсии, массово выселять людей из квартир и голодом приучать „этот народ" к труду и протестантской этике. Но применяет он свой социал-дарвинизм к современной России, в которой до 40 процентов населения по-настоящему бедны и в которой массовая бедность стала результатом реформ 1992 — 95 годов. <...> Если господин Гонтмахер и прочие российские либералы намерены определять ценность людей по критерию „вписанности в рынок", то чем они тогда отличаются от большевиков, по своему произволу назначавших „прогрессивные" общественные классы? Но даже если бы ученые, писатели, лучшие инженеры, врачи и т. д. реально вошли бы в те самые „зажиточные" 10 процентов, то и тогда согласие любого, попавшего в число „избранных", на продолжающуюся нищету десятков миллионов сограждан оставалось бы моральным преступлением. А активное отстаивание „справедливости" сложившегося положения дел есть уже преступление против человечества, которое, как известно, не имеет срока давности».

Гейдар Джемаль. Ислам и Россия накануне новой мировой войны. — «Завтра», 2003, № 33, 13 августа **<http://www.zavtra.ru>.**

«Дискредитация марксистского способа описывать общество и его проблемы привела к тому, что громадный потенциал мирового протеста остался без адекватного языка и тем самым без оперативного политического метода. <...> Именно политическая [исламская] теология должна стать базой новой интеллектуальной программы освобождения человечества, которую не смог, по ряду причин, внятно сформулировать марксизм».

Александр Дугин. *Dance*, Родина, *dance.* — «Литературная газета», 2003, № 33, 13 — 19 августа.

«Надо чаще вприсядку. Каждый из нас должен дать обет: плясать вприсядку хотя бы два раза в день, напевая себе под нос родной мотив...»

Борис Евсеев. Мост через бездну. Новая проза новой России на рубеже веков. — «Литературная учеба», 2003, № 3, май — июнь.

Пять потоков новой прозы.

Евгений Евтушенко. «Нам нужно джентльменское соревнование идей об улучшении общества». Беседу вела Ольга Кабанова. — «Известия», 2003, № 125, 17 июля.

«Я горжусь, что я шестидесятник».

«<...> я был первым человеком, который выступил против войны в Чечне».

«Вот Сахаров был идеальной моделью человека будущего».

См. также: **Евгений Евтушенко,** «Настоящие поэты начнут появляться один за другим» — «Время MN», 2003, 18 июля **<http://www.vremyamn.ru>**; «<...> хочу продолжить работу в кино. У меня есть сценарий. „Мосфильм" дает деньги. Это будет фильм о футболисте замечательных времен Боброва и Хомича. Возможно, я и сам снимусь там в главной роли, хотя быть режиссером и актером очень трудно. У героя будет два возраста — молодой и пожилой. Там будет много автобиографического. Я ведь случайно не стал футболистом. <...> Музыкальная тема Лары [из фильма „Доктор Живаго"] меня очень трогала, и еще лет десять назад я написал первый вариант слов к ней. В фильме же слов не было. Теперь вернулся к ним и дописал песню. Буду ее исполнять вместе с солисткой Мариинского театра Ларисой Юдиной».

См. также: **Дмитрий Бавильский,** «„Тому назад, тому назад смолою плакал паписад..." Евгению Евтушенко — 70» — «Время MN», 2003, 18 июля **<http://www.vremyamn.ru>**; «Евтушенко стал первым артистом среди поэтов. И первым поэтом среди артистов».

См. также: **Дмитрий Бавильский,** «Не умирай раньше смерти» — «Топос», 2003, 24 июля **<http://www.topos.ru>**; «<...> если выкинуть „злобу дня" и „нейтронную бомбу", выйдет чистый, проникновенный лирик, данный в помощь не одному поколению влюбленных. Я и сам, чего таить, объяснялся с милой возвышенными строками Евгения Евтушенко».

См. также: **Сергей Есин,** «Миф, созданный Евтушенко. После каждого своего бунта Е. А. ехал куда-нибудь не замаливать, а отрабатывать грехи» — «НГ Ex libris», 2003, № 24, 17 июля **<http://exlibris.ng.ru>**; «За собственную жизнь я встречал только трех людей, которые источали мощную витальную силу: Микояна, Ельцина и Евтушенко».

См. также: «Я познакомился с его творчеством. Оно вполне второразрядно. Он правоверный коммунист», — говорил о Евтушенко **Владимир Набоков** в одном из интервью 1962 года («Иностранная литература», 2003, № 7 **<http://magazines.russ.ru/inostran>**).

См. также: **Виктория Шохина,** «Считайте его коммунистом» — «НГ Ex libris», 2003, № 24, 17 июля; «Евтушенко всегда был „левым" — не только в том оригинальном смысле, в каком позиционировали себя фрондирующие члены Союза писателей. Но и в самом реальном — он находился под обаянием революционной романтики и верил в социализм с человеческим лицом. <...> Но самое интересное, что таким он и остался. <...> Считайте его коммунистом. И не плюйте ему вслед за это. Его душа чиста, как у Павки Корчагина, доживи тот до семидесяти».

См. также беседу **Юрия Кублановского** с Марией Свешниковой: «Евтушенко был, да и остается социалистом с человеческим лицом» — «Страна.Ru», 2003, 17 июля **<http://www.strana.ru>**; «Конечно, сейчас, в наши дни, те понятия о свободе выглядят наивно. Это была идеология мифического ленинизма, противостоящего сталинизму, идеология мифического большевизма 20-х годов. Говоря словами Окуджавы, „комиссаров в пыльных шлемах". Евтушенко был, да и остается социалистом с человеческим лицом. Он искал это человеческое лицо не только в образе Ленина, которого воспел в поэме „Казанский университет", но и в диктаторе-революционере Фиделе Кастро. <...> Сейчас его время во многом прошло, и он выглядит мастодонтом, культурным реликтом. Но тем не менее каждый, кто смолоду пережил увлечение поэзией Евтушенко, не может не быть ему благодарным». Он же рассказывает забавный эпизод: «Я помню, что в середине 70-х, когда я уже был лишен возможности работать по своей профессии искусствоведа, я проходил по Переделкину и увидел, что строится гигантская вилла, а рядом небольшой домик. И я подумал: наверняка этот домик для сторожа, вот куда бы мне работать устроиться. Спросил Беллу Ахмадулину, она сказала, что строится Надежда Леже. Я говорю: „А нельзя бы к ней сторожем?" Белла ответила: „Это подруга Евгения Евтушенко, ты обратись к нему". Я послал ему стихи, потом пришел к нему, так мы, собственно, и познакомились, это было наше первое свидание — примерно год 1976 или 1977. И, поговорив с ним, я его спросил: „Евгений Александрович, вы не можете помочь мне устроиться сторожем к Надежде Леже?" И Евтушенко мне ответил: „Надя возьмет только члена партии"».

См. также: **Глеб Кузьмин,** «Я сегодня человек одинокий...» — «Литературная Россия», 2003, № 30, 25 июля **<http://www.litrossia.ru>**; *мемуар о Евтушенко, основанный на записях четырнадцатилетней давности*: « — Ну что Горбачев, — уныло сказал Е. А., — средний политик...»

См. также беседу **Евгения Евтушенко** с Николаем Александровым «Я болел за „Динамо", а Аркадьев был мой любимый тренер» — «Газета», 2003, 17 июля **<http://www.gzt.ru>**; *о Грузии, Абхазии, а также — впечатляющая апология Шеварднадзе.*

См. также: **Инна Кулишова,** «Маленькие впечатления от большого юбилея» — «Русский Журнал», 2003, 7 августа **<http://www.russ.ru/culture>**; *юбиляр в Грузии.*

См. также: **Лев Аннинский,** «Без бантиков» — «Дружба народов», 2003, № 8 **<http://magazines.russ.ru/druzhba>;** *Евтушенко и Братская ГЭС.*

См. также: **Александр Архангельский,** «Поэзия и Непрядва. Евгений Евтушенко как зеркало самого себя» — «Известия», 2003, № 144, 13 августа **<http://www.izvestia.ru>.**

См. также: **Евгений Лесин,** «Иначе я не играю! Евгений Евтушенко как Пачкуля Пестренький русской литературы» — «НГ Ex libris», 2003, № 24, 17 июля.

См. также юбилейное стихотворение **Дмитрия Быкова** «Евтушенко» — «Собеседник», 2003, № 192 **<http://www.sobesednik.ru/weekly/192>.**

Светлана Ермолаева. ...И Астафьева светлый лик. — «Простор», Алма-Ата, 2003, № 3 **<http://prostor.samal.kz/texts/num0303>.**

«7 июля 1991 г., с. Овсянка. Дорогая Светлана! <...> Осенью я продолжу работу над [военным] романом, а пока сижу все еще в деревне, и, поскольку у нас каждый день льет дождь, довольно прохладно, ничего не осталось мне делать, как сесть за стол и завершить „Последний поклон". <...> Скажи и мужу своему спасибо за письмо. Спорить нам не о чем, поскольку главного предмета, о чем могли бы мы спорить, не было и нет, т. е. армии как таковой у нас не было и нет. Есть загнанная в казармы толпа рабов, пользующаяся, кстати, уставом, писанным еще для рабской армии Рима, и с тех пор на нем лишь корочки менялись. Всей дальнейшей работой в романе я как раз и покажу, как армия рабов воевала по-рабски, трупами заваливая врага и кровью заливая поля, отданные бездарным командованием тоже рабского свойства, — почти четыре миллиона пленных в один год никакая армия не выдержит, а рабы могут все, они скот бессловесный, и скот этот воспитывается сперва казарменной системой, а уж и доводится, окончательно, на колени ставится в самой казарме. Дедовщина так называемая нужна нашим дармоедам генералам, как когда-то в лагерях блатная рвань нужна была, чтобы, ничего не делая и даже свои полторы извилины не утруждая, можно было управлять ордой рабов, одетых в военную форму. <...> Кланяюсь — Виктор Петрович».

См. также: **Дмитрий Шеваров,** «У Астафьева» — «Новый мир», 2003, № 8.

Сергей Есин. Технология вымысла. Введение в литературу. — «НГ Ex libris», 2003, № 26, 31 июля.

«Ну естественно, говорить придется про некоего писателя Есина. Чтобы не множить тщеславие, будем называть его автор». Фрагмент книги «Технология вымысла. Маленькая монография о собственном творчестве. (Опыт литературной самоидентификации)».

См. также беседу с **Сергеем Есиным:** «Литературная Россия», 2003, № 27, 4 июля **<http://www.litrossia.ru>.**

Жизнь в живых свидетельствах. Беседовала Ада Горбачева. — «НГ Ex libris», 2003, № 26, 31 июля.

Говорит автор книги «Быт и Бытие Марины Цветаевой» **Виктория Швейцер:** «Добавлена [по сравнению с парижским изданием 1988 года] глава, которая, может быть, кого-то шокирует <...>. В первом варианте книги я тоже писала об отношениях юной Цветаевой с Софьей Парнок, о посвященном ей цикле стихов „Подруга". Кстати, когда-то я встретилась в одном доме с Анастасией Ивановной [Цветаевой] и задала ей вопрос о цикле „Подруга". Она всплеснула руками и воскликнула: „Как, они и до этого докопались?"».

См. также: «Стих ее [Цветаевой] — косноязычен, вторично-литературен, язык не совсем живой, книжный, иногда манерно-архаичный. Строй чувств — вздернутый, истеричный. Не совсем почему-то приятно, когда женщина открыто говорит о своей сексуальной жизни», — читаем в записях **Георгия Свиридова** («Наш современник», 2003, № 8 **<http://nashsovr.aihs.net>**); *он не успел прочесть Веру Павлову.*

Тамара Жирмунская. Андрей Белый: «Я сын эфира, Человек». — «Истина и Жизнь». Ежемесячный журнал о человеке, духовности, культуре. 2003, № 7-8, 9.

Главы из книги «Библия и русская поэзия XX века». См. также: «Истина и Жизнь»: 2002, № 7-8, 9; 2003, № 2-3.

Владимир Забалуев, Алексей Зензинов. Срывание башен как инструмент культурной модерации. — «Русский Журнал», 2003, 15 августа **<http://www.russ.ru/culture>.**

«<...> в начале 60-х годов крестный отец американского трэша Роджер Корман выпускал наши ленты перемонтированными и под новыми названиями — и шедевр великого режиссера-сказочника Александра Птушко „Садко" шел в американском прокате по категории „B" под названием „Волшебное путешествие Синдбада"». А вообще статья про издевательски переозвученные американские фильмы — „*Братва и кольцо*" и „*Две сорванные башни*" — работы питерского коллектива в составе видеопирата Гобли-

на (Дмитрий Пучков), Сидора Лютого и Дрона: «Найдено идеальное средство противодействия заокеанской культурной экспансии».

Павел Зайцев. Хорошо, что он есть! Рекомендуется людям, отравленным цивилизацией. — «НГ Ex libris», 2003, № 28, 14 августа.

«В контексте [русской] классики [Борис] Екимов, автор „Холюшина подворья" (достаточно ранний рассказ), „Фетисыча" и „Пиночета" (без сомнения, гениальные последние вещи), прописан прочно и навсегда. Это проза, родственная Тургеневу, отчасти Чехову, еще менее отчасти Бунину и очень прочно, кровно — Ивану Шмелеву, волшебнику русской литературной речи. Анализировать Екимова трудно, а точнее сказать — невозможно. Честно и глубоко попытавшаяся сделать это в „Новом мире" Ирина Роднянская вывела из прозы Екимова кучу социальных проблем, будто бы актуальных и животрепещущих, вроде проблемы колхозов и фермерского хозяйства и т. д., но к прозе Екимова они имеют такое же отношение, как культуртрегерство Горького или энтомологические увлечения Набокова. То есть все правильно, но ничего по сути не объясняет».

Здесь же — статья **Олега Павлова** «Поле Можаева», которая полностью публикуется в журнале «Октябрь» **<http://magazines.russ.ru/October>.**

Здесь же: **Лев Пирогов,** «Хлеба хочется».

Александр Иванов. Переосмысляя левизну. — «Русский Журнал», 2003, 23 июля **<www.russ.ru/politics/facts>.**

«Жижек прямо пишет о том, с чем мы еще не столкнулись в России и что на Западе действительно прочно существует, — о ситуации *левой номенклатуры.* Сложился огромный круг интеллектуалов, которые, как пишет Жижек, критикуют власть из расчета, что никакие идеи их критики никогда не реализуются». Это отклик на книгу Славоя Жижека «Добро пожаловать в пустыню Реального» (М., «Прагматика культуры», 2002).

См. также: **Славой Жижек,** «Тринадцать опытов о Ленине» — «Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>;** это две главы из книги «*Die Revolution steht bevor. Dreizehn Versuche über Lenin*» (*Frankfurt am Main,* 2002), выходящей по-русски в издательстве «*Ad Marginem*»; «Первая реакция публики на идею об актуальности Ленина — это, конечно, вспышка саркастического смеха. С Марксом все в порядке, сегодня даже на Уолл-стрит есть люди, которые любят его, Маркса, — поэта товаров, давшего совершенное описание динамики капитализма, Маркса, изобразившего отчуждение и овеществление нашей повседневной жизни. Но Ленин! Нет! Вы ведь не всерьез говорите об этом?!»

См. также беседу прозаика **Сергея Болмата** с Дмитрием Бавильским «Писатель и его утопия»: «Время MN», 2003, 29 июля **<http://www.vremyamn.ru>;** «Директор издательства „*Ad Marginem*" Александр Иванов говорил, что ты отказался публиковать второй роман в издательстве, публикующем Проханова...» — спрашивает Бавильский. «Не могу объяснить как, но мне действительно кажется, что от издания Деррида вполне логично перейти к изданию Проханова», — отвечает **Сергей Болмат.**

Вячеслав [Вс.] Иванов. Я встретил трех гениев. Беседу вел Сергей Лесков. — «Известия», 2003, № 137, 2 августа.

Гении — Борис Пастернак, Петр Капица, Андрей Колмогоров.

Среди прочего: «Сахаров принадлежал к тому же типу, что и Капица, но его здравому уму, мне кажется, не хватало оригинальности, что вовсе не означает ошибочности».

Ср.: «Я думаю, что мир будет разрушен „культурными идиотами" типа физика Сахарова», — читаем в одной из записей композитора **Георгия Свиридова,** датированной 12 января 1990 года («Наш современник», 2003, № 8 **<http://nashsovr.aihs.net>).**

Дюла Ийеш. Россия. Главы из книги. Вступительная статья, комментарий и перевод текстов Татьяны Воронкиной. — «Литературная учеба», 2003, № 4, июль — август.

В 1934 году Ийеш приехал в Москву на Первый съезд советских писателей. «Русские фильмы не так хороши, как их расхваливают». Интересна глава о посещении действующего храма в Палашовском переулке: «За время моего пребывания в России это было для меня самым потрясающим зрелищем».

Здесь же напечатаны три письма **Бориса Пастернака** к Дюле Ийешу. «С кем еще могу я поделиться, насколько я подавлен и угнетен тем, что вновь вспыхнула зверская жестокость, которую мы считали навечно канувшей в прошлое. О, сколь неисчерпаемы источники фальши, клеветы, трусливого раболепия!» (из письма от 24 июня 1958 года).

Елена Исаева. Моцарт, Хокусай и другая реальность. Беседу вел Александр Герасимов. — «Русский Журнал», 2003, 28 июля **<http://www.russ.ru/culture>.**

«Понимаете, хочется попробовать свои силы в новых условиях, поэтому я участвую в „Доке" [«Театр.*doc*»]. Мне кажется, это многообещающее направление. Хотя бы потому,

что в этом театре <...> большинство спектаклей на социально значимые темы, то есть болевые спектакли: истории раненых солдат, женщин-заключенных, бомжей... Все это поднимает в обществе вопросы: куда мы идем, что из себя представляем? Это важно, потому что у нас сейчас социальности в театре мало, ее почти нету (даже у современных авторов)». См. в настоящем номере «Нового мира» пьесу **Елены Исаевой** «Первый мужчина».

См. также: **Алена Солнцева,** «Новое погружение в реальность. „Театр.*doc*" начинает сезон с фестиваля-лаборатории» — «Время новостей», 2003, № 152, 19 августа **<http://www.vremya.ru>.**

См. также: **Алена Солнцева,** «Документальное тело. В „Театре.*doc*" рассказали о трагическом исходе „Войны молдаван за картонную коробку"» — «Время новостей», 2003, № 155, 22 августа.

См. также «Театральный дневник Григория Заславского»: «Новый мир», 2003, № 3.

Сергей Исаков. Голос с того света, или Из дырочки двуглавого орла. О поэтической школе русского дерптского студенчества 1810 — 1840-х гг. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 3 **<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>.**

«<...> вообще никогда не была предметом научного исследования». Автор — профессор Тартуского университета.

Александр Каменецкий. Восстание шуриковых. — «Топос». Литературно-философский журнал, 2003, 5 августа **<http://www. topos.ru>.**

«<...> единственной темой русской литературы ближайших лет десяти будет тема усталости от „буржуазного" (постиндустриального, потребительского и т. п.) общества, от его бессмысленности <...>».

Александр Каменецкий. Соединенные Штаты Америки как объект психотерапии. — «Топос», 2003, 15 июля **<http://www.topos.ru>.**

«Мы попытались проанализировать основные *заметные* тенденции коллективного бессознательного американского социума на основе наиболее *популярных* тем и сюжетов *массовой* кинематографической продукции исходя из мысли о том, что кино является наиболее доступным способом изучения этих тенденций».

См. также: «<...> например, фильм „Матрица" обязательным образом имеет двойную адресацию. С одной стороны, он должен выходить в массового зрителя и быть продуктом, а не просто феноменом массовой культуры. С другой стороны, он рассчитан на внимание интеллектуалов, на анализ с их стороны. И более того, предполагается, что по этому произведению интеллектуалами будет производиться определенное гадание, некое вычисление скрытых аспектов современной ситуации. <...> Современные западные философы, Жижек и многие другие, строят свой дискурс на анализе именно массового голливудского кино, а вовсе не на анализе фильмов Триера или других альтернативщиков», — говорит **Павел Пепперштейн** в беседе с Глебом Моревым («Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>**).

См. также большую статью **Юрия Гладильщикова** «Пик глобализма, или Ну вот мы и в Матрице» («Известия», 2003, № 145, 14 августа **<http://www.izvestia.ru>**): «Сильнее всего поражает при этом то, до какой степени похожи в деталях миры, выдуманные в разных фильмах — от „Гарри Поттера" до „Людей Икс-2". Похожие одежды, оружие, здания, монстры. Уже и в „Ларе Крофт" свои тролли, как в „Гарри" и „Властелине". Мы уже сказали, что новейшие хиты — это фактически один продолжающийся фильм. Но и их миры — фактически один мир. Не ряд новых мифологий (в каждом хите своя), а одна общая новая мифология. <...> Даже вполне здравым подросткам в какой-то момент западет в подсознание, что эти фильмы неким образом отражают реальность, не сегодняшнюю, так буквально завтрашнюю. Повторяемость деталей в фильмах и компьютерных играх тут особенно важна. Благодаря всемирным успехам Голливуда уже давно вышло так, что только культурно-социальная реальность США — та единственная, которая имеет значение для мира <...>. Теперь мы приходим к тому, что единственная реальность, которая имеет значение, — виртуальная. Мы говорили о том, что Голливуд приватизирует прошлое? Можно теперь добавить, что он параллельно производит культурную колонизацию будущего. По сути, происходит глобализация фантазий. Мы должны уже не только жить, но и фантазировать лишь так, а не иначе. Вся история перефантазируется в пользу Америки. Создается, повторим, новый, виртуальный мир, который более реален, нежели реальный. Фактически мы имеем — да-да, то самое: новосозданную виртуальную реальность, которая в сознании большей части мировой публики начинает подменять реальность реальную. Нас погружают в мир Матрицы. Матрица уже создана. Мы уже в ней обитаем».

Ср.: «Такие фильмы, как серии „Матрицы" и „Терминатора", вполне могут быть интерпретированы неподготовленным сознанием в качестве художественной легитима-

ции права на уничтожение "машинной цивилизации" всеми доступными средствами», — пишет **Игорь Джадан** («Голливудская улыбка террора» — «Русский Журнал», 2003, 5 августа **<http://www.russ.ru/politics/facts>**).

См. также: **Игорь Джадан,** «Политическая онкология для цивилизованного мира» — «Русский Журнал», 2003, 11 августа **<http://www.russ.ru/politics>**; «Цивилизованное человечество стало очень зависимым от той системы, которую оно само создало: от работы государственных и частных компаний, информационных сетей. Но контролирует ли человечество ту *„матрицу"*, в которой оно обитает? Появление таких фильмов, как вторая серия „Матрицы", в разгар кампании по борьбе с терроризмом указывает на то, что нет, не контролирует. <...> Головокружительный успех „Матрицы" можно рассматривать в качестве подтверждения мысли Бодрийяра, что человечество проникается подсознательной симпатией к мировым террористам».

См. также: **Аркадий Недель,** «„Матрица": удалить и запомнить» — «Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>**; «Научными людьми много писалось о том, что „Матрица" — модель будущего, причем не слишком далекого. <...> Идея матрицы как некоего состояния, в котором нет границ между иллюзией и действительностью, нет, следовательно, и времени истории. История перезаписывается в виде отдельных файлов, которые можно открыть в „любой момент" времени...»

См. также: «Некоторые из трехсот с лишним доказательств существования Бога. По материалам форумов интернет-безбожников» — «Русский Журнал», 2003, 10 августа **<http://www.russ.ru/netcult/gateway>**; *«доказательство» восьмидесятое* — «(1) Мы не можем доказать, что наш мир — не Матрица. (2) Следовательно, мы не знаем реального мира. (3) Если реальность условна, то все возможно. (4) Следовательно, Бог существует».

См. также: **Сергей Шаргунов,** «Орангутанги не пишут книг» — «НГ Ex libris», 2003, № 28, 14 августа **<http://exlibris.ng.ru>**; «Псалтырь как Матрица — скажу пошловато». *Да уж.*

Виктор Канавин. Вынести музу из избы. — «Итоги», 2003, № 32 **<http://www.itogi.ru>.**

Литературный скандал как маркетинг (Сорокин, Проханов и другие). Поверхностный обзор последних подобных событий, рассчитанный, видимо, на не очень внимательного читателя. Среди прочего: «<...> молодежные активисты [„Идущие вместе"] не только устроили перформанс с обменом книг авторов-постмодернистов на издания русских классиков, но и сочинили несколько манифестов, близких к жанру литературного доноса. Не обычного, который пишут в жандармерию, а именно литературного. Достаточно вспомнить доносы Фаддея Булгарина в III Отделение. Булгарин сам был человеком пишущим, поэтому его отчеты включали в себя взгляд на отечественную словесность и отчасти формировали литературные вкусы Николая I». *Публичный манифест и конфиденциальный отчет — вроде бы разные жанры, не правда ли?*

См. также: **Андрей Рогачевский,** «К портрету литературного скандалиста. „Димитрий Самозванец" (1830) и „Комары" (1842) Фаддея Булгарина» — «Солнечное сплетение», 2002, № 22-23 **<http://www.plexus.org.il/22_23.htm>.**

См. также: **Михаил Золотоносов,** «Старик Булгарин нас заметил...» — «Московские новости», 2002, № 24, 25 июня **<http://www.mn.ru>.**

См. также: **Алла Марченко,** «Фаддей (Тадеуш): суперагент»; **В. Э. Вацуро,** «„Видок Фиглярин". Заметки на полях „Писем и записок"» — «Новый мир», 1999, № 7.

См. также составленную А. Рейтблатом подборку «Булгарин и вокруг»: «Новое литературное обозрение», 1999, № 40 **<http://magazines.russ.ru/nlo>.**

Гай Валерий Катулл. Стихотворения. Вольный перевод с латинского Анри Волохонского. — «Солнечное сплетение», 2002, № 22-23 **<http://www.plexus.org.il/22_23.htm>.**

«О воробьюшенька моей печали! — / С кем она ку-ку, меж грудей нежа / Да клевать давая страсть как пылко <...>». Переводы **Анри Волохонского** см. также: **http://www.mitin.com/people/volohon/katul-new.shtml**

Лариса Качалова (Иваново). Возвращение Анны Барковой. — «Литература», 2003, № 29, 1 — 7 августа.

«На долгое время имя Барковой было просто „выключено" из литературного процесса, а ведь ее поэтический дебют [в 20-е годы] был блестящ».

Тут же печатаются несколько ранее не публиковавшихся стихотворений из архива А. А. Барковой, который в 1993 году Управлением КГБ по Ивановской области был передан в Литературный музей Ивановского университета.

Ср.: **Владимир Христофоров,** «Анна Баркова: стиха надтреснутого крик» — «Литературная Россия», 2002, № 49, 6 декабря **<http://www.litrossia.ru>**; «Неумеренная восторженность Луначарского личностью юной провинциальной поэтессы, по сути дела, ста-

ла началом медленной и верной гибели Барковой, хотя саморазрушаться она начала еще раньше».

Евгений Кириллов. Личный враг Сталина. Дело Рютина: новые версии. — «Дальний Восток», Хабаровск, 2003, № 4, июль — август.

«Не случайно для Сталина [Мартемьян] Рютин был личным врагом, как и Троцкий».

Оксана Киянская. «Русская Правда» П. И. Пестеля в политическом контексте эпохи. — «Солнечное сплетение», 2002, № 22-23 **<http://www.plexus.org.il/22_23.htm>.**

«Так, например, новое революционное правительство должно было „содействовать" евреям „к учреждению особенного отдельного государства в какой-либо части Малой Азии", „силою переселить во внутренность России" „буйные" кавказские народы, изгнать из страны цыган, которые не пожелают принять христианство, истребить древние татарские обычаи многоженства и содержания гаремов. В итоге подобных действий национальности, подобно сословиям, должны быть уничтожены, „все племена должны быть слиты в один народ"».

Книга правильных вопросов. Беседу вел Лев Айзенштат. — «Народ Книги в мире книг». Еврейское книжное обозрение. Санкт-Петербург, 2003, № 45, июнь.

Беседа с лингвистом-этимологом, *агностиком* **Александром Милитаревым** о его новой книге «Воплощенный миф. „Еврейская идея" в цивилизации» (М., «Наталис», 2003): «Друзья предупреждали меня, что я затеял небезопасное дело, написав книгу на скользкие и рискованные темы, тем более что некоторые мои соображения могут использовать и злокачественные юдофобы, и одержимые еврейские националисты». Среди прочего: «В книге [Солженицына] много личной боли и страсти, но антисемитского духа я не ощущаю».

Здесь же — полемическая рецензия **Александра Львова** «Невоплощенный миф» на книгу Александра Милитарева.

Надежда Кожевникова. Русский гроб-ковчег. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 335, 3 августа **<http://www.lebed.com>.**

«Если что и поражает в „Русском ковчеге" [Сокурова], так это полное равнодушие к стране, к людям да и к себе».

См. также: **Дмитрий Комм,** «Ковчег без потопа» — «Неприкосновенный запас», 2003, № 3.

См. также: «Кинообозрение Натальи Сиривли» — «Новый мир», 2002, № 11.

Григорий Козлов. Миф о Янтарной комнате. — «АртХроника». Журнал основан в апреле 1999 года Евгением Зябловым. Главный редактор Николай Молок. 2003, № 2.

«12 июня 1945 года комиссия из Москвы, проводившая раскопки в выгоревшем дотла Орденском зале Кёнигсбергского замка, признала факт гибели Янтарной комнаты».

«Никакой „тайны века" не существовало бы, если бы в марте 1946 года в Кёнигсберг не приехал сотрудник царскосельского музея Анатолий Кучумов. <...> благодаря пылкому музейному патриотизму ленинградца Кучумова, не доверявшего москвичам, и холодному расчету следователей МГБ родилась „тайна Янтарной комнаты"».

«Задним числом все стали списывать на нацистов».

Автор статьи — историк искусства, художественный критик (Кёльн). Здесь же напечатана его статья о так называемой «балдинской коллекции» — *конечно,* за реституцию.

Анатолий Королев. Мода на Россию заканчивается Чеховым. Обыкновенные приключения современной русской прозы в Париже. — «Новая газета», 2003, № 54, 28 июля.

«Тех, кто все-таки издает нашу прозу, можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну „Галлимар", ну „Акте Сюд", ну „Альбен Мишель" и, пожалуй, еще „Нуар е бланш" и „Шерш Миди". Последнее издательство только что выпустило в свет книгу Николая Кононова „Похороны кузнечика". Книга получила хорошие отзывы в прессе. Следом за „Кузнечиком" выходит в свет роман русского писателя из Германии Александра Иконникова „Новости из болота". <...> С грустной и гордой улыбкой [литературный агент] Светлана Рамон рассказала мне, что от романа "Свирель Вселенной" Олега Ермакова отказались восемь издательств, и вот девятое (!) принимает роман к изданию. А сколько раз отказано мне? Четыре издательства уже завернули мой роман „Человек-язык", но это только-только начало пути, утешает меня Рамон. <...> Картина русского рынка практически французами не учитывается, имена, громкие в Москве, здесь звучат тихо. <...> И хотя Маринина и Улицкая изданы, кислая реакция литературной критики отвела нашим гранд-дамам скромную нишу маргиналов, зато роман Аксенова „Москов-

ская сага", поруганный в отечестве, в Париже стал событием и на рынке продаж, и на страницах прессы».

См. также беседу прозаика **Сергея Болмата,** живущего в Дюссельдорфе, с Дмитрием Бавильским «Писатель и его утопия» — «Время MN», 2003, 29 июля <**http://www.vremyamn.ru**>; «Русские книжки выходят в Европе, русские авторы переводятся, в поле зрения всегда пять-шесть русских имен, а то и больше. Но у новой русской литературы пока нет такого авторитета, какой есть у американцев, англичан, французов, у местных авторов, у англоязычных или франкоязычных авторов из других стран. По большей части интерес к современной русской словесности носит этнографический характер: каково у них там? Они тоже слушают Перл Джем, оказывается... А где же духовность? Где живописные русские страдания? Это, конечно, не самый выгодный момент в истории русской словесности, даже мучительный, наверное... Всю русскую литературу, видимо, нужно заново изобретать».

См. также: «Если говорить о [русских] классиках XIX века, то у нас была хорошая ситуация с ними — переводов было очень много. Но сейчас спрос падает, молодые люди вообще перестают читать, особенно такую серьезную литературу, как русская классика. <...> Если же говорить о современной послевоенной литературе... У нас есть несколько переводов Аксенова, но совсем нет, например, Битова. Перевод в Японии русских писателей — область деятельности небольших издательств, так сказать, „малых предприятий". Здесь основную роль играет личная инициатива. Если кто-нибудь из русистов захочет что-то перевести и сможет договориться с издательством, то все получается. Если нет такого инициативного переводчика, то даже очень хороший писатель так и останется неизвестен японской публике. <...> Если же говорить о случае Сорокина, то по стечению обстоятельств, а точнее, по инициативе одного переводчика получилось так, что на японском языке вышли две книги Сорокина. Валентина Распутина, например, тоже две книги», — говорит японский русист **Мицуёси Нумано** («Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 232 <**http://magazines.russ.ru/nj**>).

См. также: «Моя самая большая гордость — это перевод всей художественной прозы Тынянова, который раньше был абсолютно неизвестен во Франции. <...> Когда мне предлагали Бунина, я отказалась. Не потому, что Бунин плохой писатель, не дай Бог! Он замечательный, но человек злой, и это чувствуется во всем, что он написал. <...> Именно Платонова, которого считаю одним из своих самых любимых писателей, я перевела — и, кажется, удачно, несмотря на все языковые трудности. Он пишет будто глиной, а не чернилами. И все растет из этой глины, на которой зиждется целый мир. <...> [Сочинения Пелевина] издали, но они не пошли. И я очень сожалею, что так случилось. Он действительно хороший автор, однако не нашел своего читателя. А вот Маринина — писатель не той категории, которой я интересуюсь. Спускаться к ней от Тынянова, конечно, нельзя. Акунина мне дали просто почитать, посмотреть, что это такое. И я его читаю без энтузиазма», — говорит известная французская переводчица **Лили Дени** в беседе с Юрием Коваленко («Русская мысль», Париж, 2003, № 4467, 31 июля <**http://www.rusmysl.ru**>).

См. также: «Мне кажется, русская литература незаслуженно игнорируется в мире — почему-то не входит в моду, как в свое время вошла испаноязычная, после „Ста лет одиночества"», — говорит **Василий Аксенов** («НГ Ex libris», 2003, № 25, 24 июля <**http://exlibris.ng.ru**>).

См. также: **Николай Александров,** «Хорошо быть писателем» — «Газета», 2003, 14 августа <**http://www.gzt.ru**>; «Один из последних примеров такого замаха — „Город палачей" Юрия Буйды [„Знамя", 2003, № 2, 3], и, между прочим, примеров вполне удачных, доказывающих, что российская земля может рождать таких Маркесов и Борхесов, какие Латинской Америке и не снились».

Леонид Костюков. Толстые журналы к 2003 году. — «Русский Журнал», 2003, 6 августа <**http://www.russ.ru/krug/period**>.

«Сейчас свежему человеку трудно оценить феномен „Нового мира" Твардовского, в первую очередь — из-за (за редким исключением) чрезвычайно низкого художественного уровня опубликованных там произведений. Хвост кометы, шлейф обсуждений, отсылок был много важнее ядра. Хрестоматийным в этом отношении стал пример „Оттепели" Эренбурга, давшей имя целой эпохе, но не вошедшей в живой круг чтения. Рассказы о деревне, заводе, НИИ были важны для понимания реальных процессов функционирования деревни, завода, НИИ, всего СССР, но не важны как рассказы. Этот *дискурс* (извините) определял господствующую роль туповатого реализма. Кто не верит — полистайте дневники Лакшина [в „Дружбе народов"]. Много ли там размышлений о художественности? Примерно столько же, сколько в учебнике по истории КПСС. Тихо и незаметно вошел в историю „Новый мир" Наровчатова начала 80-х. Он уже не отделял плохого сталина от хорошего ленина и еще не углубился в проблему поворота рек и прочую

perestroyku. Буквально в каждом наровчатовском номере дышала хорошая проза, случались стихи. Между тем сегодняшние студенты-филологи (историки, журналисты) тараторят на экзаменах про Твардовского и Кочетова, а начала 80-х не вспомнят».

Объясняю: повесть Ильи Эренбурга «Оттепель» была напечатана в журнале «Знамя» (1954, № 5), а Сергей Наровчатов был главным редактором «Нового мира» в 1974 — 1981 годах, в начале же 80-х — вплоть до 1986-го — редактировал журнал Владимир Карпов.

Настолько же приблизительны представления Л. Костюкова и о том, как делаются толстые ежемесячные литературные журналы.

Валерий Крапивин. Тайна Азии. Странствия героев Платонова между Ираном и Тураном. — «Литературная учеба», 2003, № 3, май — июнь.

«В прозе Платонова 1930-х годов арийская мифология достигла пикового усложнения».

Константин Крылов. Критика нечистого разума. Выпуски 2, 3. О покаянии. — «Русский Журнал», 2003, 25 июля и 1 августа **<http://www.russ.ru/politics/reflection>.**

«Это сознание своей вины и „наказанности ни за что" — неопределимой, непонятной, разлитой в воздухе — и составляет содержание „духовной жизни русского народа" в конце XX — начале XXI века. Для того чтобы это так и оставалось, в индустрию покаяния вкладываются все новые и новые средства. Собственно, это единственный вид массового духовного производства, который сейчас разрешен: индустрия вины и обиды, производство нежелания жить, провоцирование национального самоубийства как единственного выхода из безвыходного положения. Каковое и происходит: стремительное вымирание русского народа стало главным фактором, определяющим новейшую историю России. (Заметим, только русского: все остальные народы РФ, включая самые неблагополучные, плодятся и размножаются — иногда в поражающих воображение масштабах.)»

См. также: **Константин Крылов,** «Критика нечистого разума. Выпуск 1. О здравом смысле» — «Русский Журнал», 2003, 18 июля **<http://www.russ.ru/politics/reflection>.**

Борис Крячко. Убоец. Рассказ. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 1-2.

Хороший рассказ русского прозаика (1930 — 1998), жившего в Эстонии.

Анна Кузнецова. Вещи, о которых все же не. — «Русский Журнал», 2003, 11 августа **<http://www.russ.ru/krug>.**

«<...> в 5-м „Новом мире" Василий Голованов напечатал повесть „Танк", где реалистический и фантасмагорический сюжеты, сами по себе прописанные талантливо, напрочь уничтожают друг друга». Так же недовольна новомирской прозой Валерия Попова.

См. также: **Михаил Золотоносов,** «Дыхание Чейн-Стокса. Новая повесть Валерия Попова „Третье дыхание" продолжает алкогольный дискурс в современной литературе» — «Московские новости», 2003, № 28 **<http://www.mn.ru>;** *очень раздражен:* «[повесть —] явление примечательное и отчасти скандальное даже для современного кризисного состояния литературы».

Ср.: «Сейчас дочитываю в „Новом мире" роман Валерия Попова „Третье дыхание". Сначала читал с некоторым напряжением, но потом понял, что там литература настоящая», — говорил министр культуры **Михаил Швыдкой** на встрече с редакцией «Литературной газеты» («ЛГ», 2003, № 32, 6 — 12 августа **<http://www.lgz.ru>**).

Александр Куланов, Юлия Стоногина. Образ и реальность: Япония и Россия глазами друг друга. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 3 (29).

См. также: **Александр Куланов, Юлия Стоногина,** «Образ Японии в России: правда и вымысел» — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 231 **<http://magazines.russ.ru/nj>;** «Мы сами придумываем Японию, в которую потом начинаем верить. <...> Негативные стороны современной Японии в России почти неизвестны».

См. также: «Вы, наверно, сами знаете ответ: имидж России и русских в Японии сейчас очень плох, к сожалению. <...> Японцы не то чтобы не любят Россию, они ее просто не знают, не интересуются ею», — говорит японский русист **Мицуёси Нумано** («Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 232).

Валентин Курбатов. Как все... — «Литературная Россия», 2003, № 32, 8 августа.

«Я не знаю, надо ли подробно писать биографию Евгения Ивановича [Носова]. Он тут с Виктором Петровичем [Астафьевым] родня и тоже ничего в своей прозе не скрывает».

См. также мемориальную подборку материалов «Рядом с Евгением Носовым» — «Москва», 2003, № 6 **<http://www.moskvam.ru>.**

Вольфганг Ланге. *Such a bad ironi*. Ориентиры в сфере цинического. Перевела с немецкого Олеся Федорова. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 1-2.

Среди прочего приводятся критические высказывания Владимира Сорокина о современной Германии.

Весь этот номер «Вышгорода» посвящен немецкой культуре и русско-немецким культурным связям.

Пользуясь случаем, и составитель «Периодики» (= главный редактор «Нового мира», преподаватель Литературного института) хотел бы выразить искреннюю благодарность Литературному обществу города Марбурга (Германия) за гостеприимство и сотрудничество.

Самуил Лурье. Поэт Рыжий — синие облака. — «Русский Журнал», 2003, 21 июля **<http://www.russ.ru/krug>.**

«Вы сами увидите, как настойчиво учился он собственной речи; как научился — но в диапазоне одной-единственной темы; как эта тема задушила его, точней — удавила, — полагаю, из ревности».

См. также: **Владимир Бондаренко,** «Поэтическая интонация смерти» — «Литературная газета», 2003, № 29, 16 — 22 июля **<http://www.lgz.ru>;** «Борис Рыжий решил войти в русскую поэзию чисто по-русски».

См. также: **Юрий Казарин,** «Народный поэт Борис Рыжий. Необыкновенный и странный». — «НГ Ex libris», 2003, № 15, 24 апреля **<http://exlibris.ng.ru>.**

См. также: **Лариса Миллер,** «Переписка с Борисом Рыжим (12.03.2001 — 30.04.2001)» — «Русский Журнал», 2003, 24 апреля **<http://www.russ.ru/krug>.**

См. эту переписку также: «Урал», Екатеринбург, 2003, № 6 **<http://magazines.russ.ru/ural>.**

Рой Медведев. Русский вопрос по Солженицыну. — «Дальний Восток», Хабаровск, 2003, № 4, июль — август.

«Сам Солженицын неоднократно определял свою идеологию не как национализм, а как национальный патриотизм».

См. также: **Рой Медведев,** «Иосиф Сталин и Иосиф Апанасенко» — «Наш современник», 2003, № 8 **<http://nashsovr.aihs.net>;** глава из книги «Неизвестный Сталин».

См. также: **Р. А. Медведев,** «За кулисами августа. Загадки Фороса» — «Вопросы истории», 2003, № 7.

Владимир Новиков. «Маяковский актуален эстетически и человечески». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2003, № 127, 19 июля.

«Сегодня Маяковский абсолютно актуален эстетически и человечески и совершенно неактуален политически».

«Сегодня развивать тоталитарную риторику Маяковского — это духовное и политическое самоубийство».

«Лермонтов воспел сатрапа и убийцу Наполеона, но от этого мы не отвергаем „Воздушный корабль". Маяковский воспел недостойного Ленина, при этом поэма „Владимир Ильич Ленин" вполне хороша. Если иметь в виду, что Ленин — это просто условный персонаж, не имеющий к мавзолейному жителю никакого отношения».

См. также: «<...> Маяковский, несмотря на все заявления циников, антишестидесятников типа Виктора Ерофеева, которые называли Маяковского „лакеем большевиков" и другими гнусными терминами, — это великий поэт. <...> „Облако в штанах" находится на уровне Петрарки и Данте, с моей точки зрения. Он был всегда моим любимым поэтом. Это не означает, что я некритически к нему отношусь, но я его обожаю. Это величайший поэт. Даже (? — *А. В.*) Пастернак, и Ахматова, и Цветаева это признавали», — говорит **Евгений Евтушенко** в беседе с Николаем Александровым («Газета», 2003, 17 июля **<http://www.gzt.ru>**).

См. также: «Либералы дружно восхваляют поэта Владимира Маяковского и тут же топчутся на тех революционных святынях, которые он проповедовал», — пишет **Владимир Бондаренко** («Перелицовка Маяковского» — «Завтра», 2003, № 31, 29 июля **<http://www.zavtra.ru>.**

См. также: **Лев Соболев,** «Уважаемые товарищи потомки!» — «Русский Журнал», 2003, 23 июля **<http://www.russ.ru/krug>.**

См. также беседу **Елены Владимировны Маяковской (Патриции Томпсон)** с Ритой Болотской: «Своими слезами я искупила грехи отца» — «Собеседник», 2003, № 192 **<http://www.sobesednik.ru/weekly/192>.**

См. также: «Поэты-дегенераты: Хлебников и Маяковский, последние в роду (каждый). Акц<ионерное> общество Бурлюк-Брик и К° торговали ими, умело эксплуатируя их таланты и болезнь (несомненно свойственную обоим)», — читаем в записях **Георгия Свиридова** конца 80-х годов («Наш современник», 2003, № 8 **<http://nashsovr.aihs.net>).**

См. также: **Владимир Зуев,** «Роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме» — «Спецназ России», 2003, № 7 **<http://www.specnaz.ru>;** *о Бриках.*

Об учреждении Переходящего Черного Знамени Фимы Собак. Постановление редакции Лефт.ру. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2003, № 17 (93), 21 августа **<http://www.left.ru>**.

«Редакция Лефт.ру всегда рассматривала вопрос о языке как важную часть классовой борьбы в культуре <...>».

«<...> учредить Переходящее Черное Знамя Фимы Собак, чтобы отмечать им особо опасных врагов русского языка, наиболее оголтелых контрабандистов американизированного новояза, низкопоклонников империалистической культуры и знания».

Здесь же — украшенный выразительными цитатами список врагов, возглавляемый политологом Александром Неклессой, см.: **Тоша Гартен,** «Цивилизационный кластер как локомотив модернити».

Н-да... Неклесса... а что скажешь... злоупотребляет... да...

Он ошибался, но старался. Беседовал Александр Вознесенский. — «НГ Ex libris», 2003, № 27, 7 августа.

Говорит **Илья Стогов** (Стогоff): «<...> я считаю себя христианским писателем. Просто христианство — это ведь не церковно-славянский язык и не симпатия к монархии Николая Второго. Христианство — это жизнь в Присутствии. Есть Тот, для Кого ты дороже жизни. Теперь ты знаешь об этом. И как ты станешь жить дальше? <...> да, в моей жизни тоже были падения. <...> В романе „Мачо не плачут" о некоторых рассказано довольно подробно. Я о них жалею. Но, с другой стороны, именно благодаря этому экспириенсу я теперь точно знаю, в какую именно сторону ходить не следует».

Pavell. О свойствах Чебурашки. — «Топос», 2003, 1 августа **<http://www.topos.ru>**.

«Чебурашка — важная часть советского культурного кода. <...> Чебурашка напоминает Советскую власть».

Олег Павлов. Из дневника больничного охранника. — «Топос», 2003, 24 и 25 июля **<http://www.topos.ru>**.

«Это документ, свидетельство о реальных событиях, в чем-то о реальном дне жизни, тогда как дном жизни сегодня оказывается всякий пятачок земной тверди, где люди лишаются опоры в самих себе и не могут выкарабкаться».

Павел Пепперштейн. «Без постсоветского Голливуда не будет российской культуры». Беседу вел Глеб Морев. — «Критическая масса», 2003, № 2 **<http://magazines.russ.ru/km>**.

«Как ни странно, в ельцинском правлении, в фигуре Ельцина был более искренний патриотизм, чем в фигуре Путина. Он был более искренним, потому что он был более натуральный, особенно благодаря тому, что в нем были трагические и трагикомические черты, как в произведениях большой русской литературы. Я имею в виду классиков XIX века. Которые весьма патриотичны и при этом отнюдь не комплиментарны по отношению к России. <...> Настоящий патриотизм в нашей традиции должен быть критическим. Такой патриотизм приобрел в ельцинский период официозный характер. Это не обычная для истории России ситуация, когда критический патриотизм стал официальным, открытой позицией государства, официальной риторикой огромного государства — России. Критические высказывания о себе, о том, что мы говно, были пропитаны невероятной любовью к себе и нежностью. Причем любовью с большой буквы. Не просто самомнением, а религиозной, просветленной любовью. Это и есть достояние ельцинского периода. Сейчас патриотизм становится снова более нормативным <...>».

Виталий Петушков. В протуберанцах чудо-денег. Размышления под звон монет. — «Литературная Россия», 2003, № 32, 8 августа.

«Деньги, без сомнения, организм — вот главный вывод [прозаика Юрия] Козлова».

Юрий Поляков. Что им в нас не нравится? — «Литературная газета», 2003, № 32, 6 — 12 августа.

Им — это оппонентам «Литературной газеты». В названии перефразировано известное шульгинское «что нам в них не нравится». Один из оппонентов — Владимир Гусев, другой — Михаил Юдсон, писатель, живущий в Израиле.

См. также: **Михаил Юдсон,** «Портрет, или Молодчина ЮП. Юрий Поляков, МАССОЛИТ и „ЛГ-Завтра"» — «НГ Ex libris», 2003, № 22, 7 августа **<http://exlibris.ng.ru>**.

Представители российской интеллигенции, встревоженные планами пересмотра стандартов по литературе, обратились к министру образования Российской Федерации Владимиру Филиппову. — «Известия», 2003, № 127, 19 июля.

«Глубокоуважаемый Владимир Михайлович! Мы серьезно озабочены тревожным положением, в котором оказалось преподавание литературы в средней школе. Нас бес-

покоит опасное для формирования демократического и социально ответственного сознания новых поколений сползание к реставрации и консерватизму. Удар по будущему наносится силами прошлого. Советский канон по-прежнему теснит обретенное за последнее десятилетие подлинное историческое знание о репрессивном тоталитарном режиме и его тяжких последствиях для народа, страны, культуры. Страна переживает ответственный исторический момент, и каждый делает свой выбор. Усилившееся давление на общество, средства массовой информации имеет свои исторические аналогии, и чтобы сознательно оценить или игнорировать грозящие последствия, эту историю необходимо знать. <...> Сейчас активно обсуждаются стандарты, по которым ближайшее десятилетие будут учиться в школе наши дети. Но решения принимаются в основном авторами старых учебников, написанных еще в советские времена по советским лекалам. В преподавании гуманитарных наук, особенно литературы, отчетливо просматриваются консервативные тенденции. За последнее время из обязательного чтения в „рекомендованные" переведены такие важные для понимания трагической истории России в 20 веке произведения, как роман Б. Пастернака „Доктор Живаго", повесть А. Платонова „Котлован". Из обязательных списков исчезли „Колымские тетради" В. Шаламова; из всего наследия А. Ахматовой „рекомендованы" всего три „патриотических" стихотворения. Через перечисления, в общем списке (раньше это называли „братскими могилами"), дано наследие О. Мандельштама. Зато продолжают доминировать советские литературные приоритеты. Мы полагаем, что важнейшая цель школы — формирование свободолюбивой, критически мыслящей личности, любящей и знающей свою страну, а не „избранные места" из ее трудной истории. <...> С надеждой на Вашу поддержку. **Зоя Богуславская, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Леонид Жуховицкий, Фазиль Искандер, Римма Казакова, Андрей Макаревич, Николай Шмелев, Владимир Войнович, Андрей Волос, Олег Чухонцев, Асар Эппель, Олег Павлов».**

Среди откликов на это послание наиболее выразительны — несочувственные, критические.

См.: **Екатерина Барабаш,** «Буря в стакане без воды» — «Независимая газета», 2003, № 147, 21 июля **<http://www.ng.ru>**; «Возмущение интеллигенции похоже на искреннее удивление Марии-Антуанетты, которая недоумевала, почему люди не едят бисквиты, если у них нет хлеба. Действительно, все, что касается русской литературы XX в., в школьных программах сыро, скомкано и вызывает сомнения на каждом шагу. Я хоть и филолог по образованию, но никак не могу уложить в голове, зачем детям страны, в которой не только слуги народа, но и должное быть подкованным по части грамоты телевидение (оставим в стороне газеты, книги с десятью ошибками на каждой странице) говорит устрашающе неправильно, — так вот, зачем детям, растущим в неграмотных семьях, натыкающимся на неграмотную рекламу, читающим (если читают, конечно) книги с ошибками, досконально изучать то, чего они не в силах понять».

См. также: **Лев Пирогов,** «Учитесь слушать» — «Топос», 2003, 29 июля **<http://www.topos.ru>**; «Министру образования России направлено клеветническое письмо, подписанное несколькими мракобесами (Фазиль Искандер, Владимир Войнович etc.), одним комическим персонажем (Андрей Макаревич) и одним писателем (Олег Павлов). <...> Однако истинные мотивы подписантов, как кажется, состоят всего лишь в стремлении в очередной раз призвать путинское правительство <...> к присяге интеллигентским либеральным символам».

См. также: **Лев Пирогов,** «Накормите гадину!» — «НГ Ex libris», 2003, № 25, 24 июля **<http://exlibris.ng.ru>**; «Олег Павлов, чья подпись под письмом выглядит не менее дико, чем подпись Виктора Астафьева под известным Письмом 42-х с призывом раздавить гадину, в ответ на мой недоуменный вопрос сообщил: „Мне там все безразлично, кроме того, что Шаламова с Платоновым из школьной программы исключили. Поэтому я подписал". Вот, опять российские интеллигенты русского писателя обманули...»

См. также: **Евгений Сабуров,** «Вокруг и около стандарта по литературе» — «Независимая газета», 2003, № 157-158, 1 августа **<http://www.ng.ru>**; «Нельзя ставить целью воспитание всесторонне развитого человека из каждого школьника путем преподавания литературы. Это уже даже не красивая фраза, а чистой воды обман».

Владимир Рекшан. ЛЮ. Мужская повесть. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 6 **<http://magazines.russ.ru/neva>.**

Повесть-эссе. Любовь в России, сначала — ретроспектива, потом — перспектива. Ретроспектива: «Анна была страшна, Бирон был говнюк, ненавидевший русский народ, но их любовная история удалась». Перспектива: «<...> *России нужна новая любовная доктрина.* <...> Россия должна представиться миру своим женским лицом, своей нежностью и очарованием и просто обязана *влюбить в себя мужчину-Америку*».

Михаил Ремизов. К философии терроризма. Часть 1. Заглушки. — «Русский Журнал», 2003, 22 июля **<http://www.russ.ru/politics/reflection>.**

«<...> мы параноики? Разумеется. <...> *Адекватность* паранойи — в инстинктивном понимании того, что угроза вписана в структуру мира и не может быть комфортно

локализована. В случае террористической угрозы это обстоятельство столь же очевидно, сколь недооценено. Оценить его по достоинству значило бы истолковать терроризм как *функцию* от символического устройства выбранного нами мира. В тот момент, когда это понимание совершится (способствовать ему — основная цель предпринимаемой мной небольшой серии заметок), мы перестанем беспокоиться и начнем жить. „Жить, то есть серьезно, осознанно заниматься жизнью" (уточняет Ортега-и-Гасет), твердо зная, что худшее *уже произошло.* Что *дух национального поражения,* или, лучше сказать, *поражение национального духа,* является не маловероятным гипотетическим следствием террористических атак, а их системной предпосылкой. Худшее *уже произошло.* Это ви́дение будет первым шагом нашего национал-оптимизма. Шагом *в сторону* от деланного бодрического оптимизма сегодняшних энтузиастов административного контроля, твердящих, что „злоумышленники не достигнут своих целей, злоумышленники будут наказаны"...»

Вадим Руднев. Диалектика преследования. — «Солнечное сплетение», 2002, № 22-23.

«<...> универсальность идей преследования обусловлена тем, что вообще всякая душевная болезнь, всякая паранойя, всякая шизофрения универсальна, что человек тем и отличается от не-человека, что обладает возможностью время от времени сходить с ума (по формулировке Ю. М. Лотмана) или же что, согласно гипотезе современного английского психиатра, весь вид *homo sapiens* заплатил за свою исключительность тем, что шизофрения является его *differentia specifica,* отличающей его от других видов. Что же это за особенность? Это способность говорить — вербальный (конвенциональный) язык».

Маргарита Рюрикова. Внесемейный человек. — «Огонек», 2003, № 26, июль.

Варвара и **Кирилл Арбузовы** вспоминают о своем отце — драматурге Алексее Арбузове. «Но когда отец еще был здоров, он говорил: „Знаете, какая у меня мечта? Чтобы все мои жены, дети, их семьи жили вместе одной семьей". Как жаль, что он не увидел фильма Бергмана „Фанни и Александр", где в финальной сцене как бы осуществляется его мечта» **(К. А.).**

Ср.: «У меня все жены были редкие и замечательные. И у нас никогда с ними не было человеческих ссор, просто я вел кочевую жизнь, много ездил... Но все мои дети от разных браков знают друг друга и собираются вместе», — говорит **Евгений Евтушенко** («Известия», 2003, № 125, 17 июля **<http://www.izvestia.ru>).**

Людмила Сараскина. «Читать Достоевского — значит познавать свою душу». Не затихают страсти вокруг нового фильма «Идиот». Беседу вела Алла Боссарт. — «Новая газета», 2003, № 52, 21 июля **<http://www.novayagazeta.ru>.**

«Набоков был одним из тех художников, которые предпочитают выглядеть невежественными, чем признаться, что на них кто-то повлиял. <...> Ведь откуда взялась „Лолита"? Из опыта жгучих сладострастников Достоевского, из фантазий Свидригайлова... А когда наиболее въедливые критики спрашивали его: а не стоит ли в истоках того и этого Достоевский? — он просто свирепел».

«Новое в нем [Набокове] для Русской традиции идет от *М<арселя> Пруста.* Что у Пруста было следствием болезни, у Набокова — здорового, спортивного (теннис, шахматы) — приобретает налет снобизма, снобизма здорового, спортивного, в сущности, организма. Безлюбая душа, эгоистичная, холодная», — записал в свои ныне изданные тетради **Георгий Свиридов** в 1988 году («Наш современник», 2003, № 8 **<http://nashsovr.aihs.net>**).

«Сегодня у нас нет единства даже в осмыслении Дня Победы». Беседу вела Ольга Кабанова. — «Известия», 2003, № 138, 5 августа.

Говорит министр культуры **Михаил Швыдкой:** «Мы недооцениваем, что произошло в России в 90-е годы. <...> Но как больной освобождается от лишнего веса в процессе болезни, чтобы организм сконцентрировался на главном — выздоровлении, так и потеря территорий — тяжелейшая потеря для России — определила концентрацию духовных сил страны. Мы давно так много не говорили о русской истории, мы так много о себе не говорили, не пытались осмыслить свое место в ситуации, в стране. Потому что мы жили в другой стране, в другой ситуации. И дорогая цена потери территорий — это плата за какой-то очень важный шаг к самим себе. Это цена, за которую потом воздастся сполна. Эта концентрация пробудит огромную энергетику для развития России».

См. также запись встречи **Михаила Швыдкого** с редакцией «Литературной газеты»: «Литературная газета», 2003, № 32, 6 — 12 августа **<http://www.lgz.ru>.**

Анна Стрельцова. Как мыши кота хоронили. Букер-2002. Хроника литературных событий. — «День литературы», 2003, № 7, июль **<http://www.zavtra.ru>.**

Букеровская полемика с января по декабрь 2002 года: кот — Олег Павлов, мыши — литературная общественность. См. этот текст также на сайте «Русского переплета»: **http://www.pereplet.ru/text/strelcova.html**

Михаил Талалай. Ностальгия по истине. Тарковский в Италии. — «Истина и Жизнь», 2003, № 7-8.

Дневники Андрея Тарковского 1970 — 1986 годов опубликованы, но только на итальянском (Флоренция, 2002; под редакцией А. А. Тарковского-младшего). «Боже мой! Чувствую Твою руку на моем затылке» (10 февраля 1979 года). «Мне надоело жить» (25 сентября 1985 года).

См. также: **Ольга Балла,** «Вестник» — «Знание — сила», 2003, № 6 **<http://www.znanie-sila.ru>.**

Наталья Танкова (с. Мамонтово, Алтайский край). Мотив дома в романе Людмилы Улицкой «Медея и ее дети». — «Литература», 2003, № 29, 1 — 7 августа.

«Трудно читать „новую женскую прозу", наверное, потому, что она „выразила ощущение тотального неблагополучия современной России" (В. А. Чалмаев), но ловлю себя на мысли, что к роману Улицкой тянет вернуться, перечитать, насладиться...»

Михаил Успенский. «Будет престиж — будет и литература». Беседу вел Феликс Штирнер. — «Книжное обозрение», 2003, № 27-28, 14 июля **<http://www.knigoboz.ru>.**

«<...> когда ребята с НТВ кричали, что вы нас, коллеги, должны защитить, я написал статью „Их не надо жалеть, ведь они никого не жалели". Я не могу жалеть человека, который за одну передачу получает, сколько я за книгу, то есть за год-два труда. Ну никак — ни классово, ни по-человечески — не могу ему посочувствовать».

Егор Холмогоров. Выбор берега. — «Спецназ России». Газета Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». 2003, № 7, июль **<http://www.specnaz.ru>.**

«В стране, переживающей национальный раскол и вражду классов, быть правым и в то же время любить свой народ, быть в хорошем смысле националистом — невозможно. Потому что твое уважение Порядка означает на практике желание и намерение поддерживать национально чуждый <...> порядок, который прямо направлен против твоего народа. <...> Таким образом, быть сейчас „правым" — нельзя. Нельзя по национальным, этническим и этическим соображениям. Агитировать с правых позиций оказывается, де-факто, агитировать против русских. Можно и нужно вести правую пропаганду на историческом материале, доказывая, что для консолидированной нации правая политика предпочтительна и эффективна. А вот в реальной российской политике правая риторика ведет только к антинациональной практике. <...> Сначала национальная революция — только потом „правый поворот", „левый марш" и любые другие политические выборы. Именно в национальных целях нам нужно „декапсулирование" левой идеи, вывод ее из политического гетто и переориентация на национальные цели идеи правой. <...> Сначала „Россия для русских", потом гражданские свободы каждому. Сначала „Россия для русских"— потом „заплатите налоги", и без всяких „пожалуйста". Сначала „Россия для русских" — потом „собственность в руки эффективных менеджеров". Сначала „Россия для русских" — потом „профессиональная армия". Сначала „Россия для русских"— потом „диктатура закона". Сначала „Россия для русских"— потом любые иерархические, самоуправленческие и какие угодно еще, политтехнологические эксперименты. Лозунг русской национальной революции вполне прозрачен и прямо противоположен лозунгу революции мировой. Не „цель — ничто, движение — всё", а, напротив: „цель — всё, остальное — ничто"».

См. также беседу **Александра Ципко** с Федором Барминым «Русский протест»: «Спецназ России», 2003, № 5.

Сергей Шаргунов. Нуль с минусом. Теракт в Моздоке: серый цвет. — «НГ Ex libris», 2003, № 27, 7 августа.

«Самосвал с пыльными „недругами" наехал на лазарет с выздоравливающими „нашими"...»

Да — недругами. Да — нашими. Без кавычек.

См. также два коротких рассказа **Сергея Шаргунова:** «Литературная Россия», 2003, № 33, 15 августа **<http://www.litrossia.ru>.**

Лешек Шаруга. Выписки из культурной периодики. — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 6 (43), июнь.

Терроризм/Театр/«Норд-Ост». «Глядя телевизионный спектакль, сообщавший о событиях в Театральном центре на Дубровке, мы созерцали запоздалое банкротство некоторых идей великой театральной реформы. Бараев не столько рассказал нам о будущем театра, сколько соответствующим образом осветил его прошлое. Расширяя свои границы, театр в конце концов стал пространством войны и смерти. Я обвиняю посмертно Всеволода Мейерхольда и ему подобных в том, что они раскрутили театральную спи-

раль насилия, ибо верю, что не так важно, что сделает сам художник, как тот, кто ему в этом жесте подражает», — пишет польский критик **Лукаш Древняк.** Далее обозреватель приводит отклики других польских критиков на статью Л. Древняка.

Николай Шахмагонов. Грозный сына не убивал. — «Вестник профсоюза в погонах». Учредитель и издатель газеты — Профессиональный союз военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Московской области (ПСВ СПО МО). Главный редактор Н. Ф. Шахмагонов. 2003, № 1, июль.

Иностранцы оклеветали царя.

Олег Шишкин. Секретные эксперименты. — «Солнечное сплетение», 2002, № 22-23.

«В этой статье содержится часть моей книги „Секретные эксперименты". Здесь впервые представлены архивные документы, относящиеся к опытам по скрещиванию человека с обезьяной и некоторым другим. Эти исследования проводились советским ученым И. И. Ивановым в 1920-е гг. при финансовой поддержке Совнаркома СССР. Активное участие в них принимали научные учреждения Франции: Пастеровский институт и Леколь де Франс...»

Здесь же: **Майя Каганская,** «Смерть вождя».

Здесь же: **Н. А. Тэффи,** «Немножко о Ленине»; *фельетон из «Русского слова», июнь 1917 года.*

Здесь же: **Ефим Меламед,** «„Отрекись иудейской веры"... Новонайденные документы о еврейских предках Ленина».

Это критика. Выпуск 10. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2003, 18 июля **<http://www.russ.ru/krug>.**

Говорит **Александр Архангельский:** «<...> история не кончилась. Нас ждут очень серьезные испытания, от экономических кризисов до распада территорий и многофигурных локальных войн, нам угрожает более чем серьезный и более чем сильный враг. Назовите его исламским фундаментализмом, назовите его внеидеологическим террором, назовите его хоть горшком. Главное, что его невозможно технологически уничтожить <...>. Мы либо заново научимся идти до конца, отстаивая свои идеи, принципы и ценности, либо сдадимся на милость более сильному победителю. Сильному — потому что убежденному. Либо ты убежденный, либо ты побежденный. Тот, кто тасует литературные знаки, как карты, внушая менее образованным, менее самостоятельным и менее дальнозорким современникам мысль о необязательности каких бы то ни было принципов, соучаствует в нашем будущем поражении».

См. также: «<...> основной водораздел проходит сейчас не между консерваторами и радикалами, постмодернистами и массовиками-затейниками, а между теми, кто искренне верит в то, что делает, пишет и говорит (эти люди „старой парадигмы" все еще не перевелись), и теми, кто творит и говорит, руководствуясь емкой формулировкой Владимира Сорокина: литература (а вместе с ней и словесность в целом) — всего лишь черные значки на белой странице», — пишет **Марина Давыдова** («Искусный чупа-попс. Судьба искусства в эпоху всеобщей грамотности» — «Известия», 2003, № 144, 13 августа **<http://www.izvestia.ru>).**

Это критика. Выпуск 12. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2003, 15 августа **<http://www.russ.ru/krug>.**

Говорит **Дмитрий Бавильский:** «<...> одна из основных сегодняшних литературных проблем — это отсутствие романного мейнстрима. Большинство публикуемых текстов элементарно скучны для читателя, это такой бесконечный Маканин. <...> Занимательность — вежливость литератора».

«<...> многие молодые критики просто не знают контекста. Если Лев Данилкин восхищается „Кысью", значит, он не в курсе, что все это уже было сделано десять — двадцать лет назад, самыми разными людьми, начиная от Стругацких и заканчивая американскими антиутопистами. Тот, кто знает контекст, не может восхищаться такой второстепенной и выморочной вещью».

«Разве важно, что думают домохозяйки о реформе ЖКХ?»

Да, важно.

Михаил Юпп. Эстонская музыка. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 3.

Стихотворный цикл 1961 — 1971 годов. Здесь же — беседа **Михаила Юппа** с Александром Ананичевым «Я читал москвичам джазовые стихи...».

Составитель **Андрей Василевский (http://www.avas.da.ru).**

«Вопросы истории», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Октябрь»

Анатолий Азольский. Севастополь и далее. Рассказы о военно-морских людях. — «Дружба народов», 2003, № 6 <**http://magazines.russ.ru/druzhba**>

Замечательные и занимательные. Хотя мне для полного удовольствия хватило и первого — «Малая вероятность жизни» — о капитане-лейтенанте Кунине и его необычайных приключениях. Дважды в компании я пересказывал его — и дважды имел успех. Не вру.

Гилберт Докторов. Не стоило этого делать. Перевод с английского Ларисы Залесовой-Докторовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 6 <**http://magazines.russ.ru/zvezda**>.

Рубрика «Мнение». О книге В. Войновича «Портрет на фоне мифа» (2002).

«Так где же разоблачение? Читатель видит перед собой довольно искренние авторские размышления о собственной слабости и ограниченности. <...> Развенчатели мифов всегда существовали, и г-н Войнович имеет право свободно выразить свои мысли. Но даже если бы он и обнаружил какой-нибудь материал, дискредитирующий моральный статус его оппонента (Солженицына. — *П. К.*), оставалось бы непонятным, зачем выносить всю эту грязь на суд общественности, когда предмет нападения — не русский Вацлав Гавел, переменивший место за письменным столом на президентское кресло, а философ-затворник, единственная „вина" которого заключается в том, что его сочинения, адресованные потомкам, „скучны"».

Рекомендую почитать как возможное приложение к теме «социально-психологические комплексы (анти)советского писателя-шестидесятника».

Ксения Голубович. Сербские притчи. Путешествие в одиннадцати книгах. Избранные места. — «Дружба народов», 2003, № 7.

Цитировать этот текст, переплавивший в себе поэтическую, религиозную, философскую и историко-публицистическую прозу, очень трудно. Не хочется распускать эту дневниковую ткань, пусть и состоящую из плохо пригнанных друг к другу лоскутов.

Впрочем, «Из маленькой книги по медиафилософии»:

«Говорят, во время опроса в Швейцарии, какой национальности вы хотите быть, несколько человек смеха ради ответили: „Сербом. Эти вообще никого не слушаются". <...>

...Балканы — место труднейшего *самопротиворечия*, европейской неэвклидовой геометрии, первичного, какого-то монструозного совмещения несовместимого, видеть в котором чрезвычайно трудно, а „сербы" как главный народ, „цементировавший" Югославию, как народ, не менявший веры, как народ, действительно живущий между „западным" и „восточным" ареалами, — это, по сути, тот народ, который имеет большее, чем все остальные, право на *всю правду* Балкан, столь плохо конвертируемую на Запад, ибо никто не хочет покупать свои же собственные травмы. Сербы — в самом центре этой правды» (*«5б. Говорят... (отрывок)»*).

Следующий этюд называется «Кустурица».

Владимир Губайловский. Собеседник. — «Дружба народов», 2003, № 6.

«Я давно не встречал такого трепетного и неравнодушного отношения к научному познанию, как в стихах [Александра] Тимофеевского. Наука, причем наука второй половины двадцатого столетия, очень близка его поэтике. Не только потому, что рай он представляет как поток фотонов и вообще относится к этим частицам с удивлением и замиранием сердца, не только потому, что описывает цепную реакцию деления ядер урана, и не только потому, что пишет о „сжатии объектов Хойла", никогда прежде не встреченных мною в стихах. Он доверяет науке и ждет от нее помощи, потому что верит в ее мощь. Как это ни странно в начале XXI века».

Вадим Крейд. Георгий Иванов в Йере. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 6.

Глава из книги, готовящейся к изданию в серии «Жизнь замечательных людей».

Доверительно-ясное «погружение» и в душу, и в биографию своего героя.

«Удивительно, что даже в стихах, о которых многие говорили как о нигилистических, все эти повторяющиеся *не-не-не* включают несомненное *да*».

«В апреле 1928 года он пришел на очередное „воскресенье" Мережковских. Гиппиус сидела справа, в то время она уже была тугоуха и садилась справа, чтоб лучше слышать. По ходу разговора Иванов сказал ей:

„Да ведь вы меня, кажется, ни в каких смыслах не признаете".

„Признаю, — отвечала она, — но только в двух смыслах, и они столь важны, что ими можно удовлетвориться. Вы пишете хорошие стихи и верите, что Христос воскрес. Чего же еще..."»

См. также: **Алексей Варламов,** «Крейд» — «Литературная учеба», 2003, № 3, май — июнь.

Д. М. Легкий. Дмитрий Васильевич Стасов. — «Вопросы истории», 2003, № 7.

Рубрика «Исторические портреты». Объемный очерк историка из Казахстана посвящен выдающемуся правоведу и адвокату, председателю первого Совета присяжных поверенных и одновременно директору Русского музыкального общества, видному меценату, автору устава первой консерватории в России. В течение тридцати лет Стасов провел 821 судебное дело. Осуждая террор, он защищал революционеров и являлся деятельным участником «Общества помощи литераторам и ученым». Возглавлял *общество* «Помощь в чтении больным и бедным» (и не его одно). Раздражал и удивлял власти. О смерти ослепшего старика, не уставшего к концу жизни (1918) жадно интересоваться общественной и культурной жизнью России, написали *все* российские газеты, представляющие *все* политические направления. В 1928-м, к его 100-летию, хотели выпустить юбилейный сборник, но дело застопорилось, не помогли даже хлопоты ленинской помощницы Е. Д. Стасовой, дочери нашего правоведа. Так, кажется, и до сих пор стопорится.

Григорий Померанц. Догматы полемики и этнический мир. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 6.

Публикуется в рубрике «Мнения».

Речь тут идет в основном о труде А. Солженицына «Двести лет вместе», где, в частности, использованы давние не публиковавшиеся письма Г. П. — автору книги.

«Я действительно удерживаю в уме несколько параллельных (и не только параллельных) рассуждений и, скорее, даю *направление* к синтезу, чем простое однозначное решение. Я передаю читателю больше открытых вопросов, чем ответов. Александру Исаевичу это не нравится, и он берет в центр исследования текст, где чувство боли делало мысль прямолинейно реактивной: это ему понятнее и кажется моим без всяких выкрутасов; на самом деле в той мере, в которой Солженицын прав, он берет то, в чем я сгоряча уходил от своей глубины, поддавался толчку извне».

В самом начале статьи сообщается: суть многолетнего спора с А. С. в том, что тот «знает, как надо». В конце своего размышления Г. Померанц итожит: «Только Бог знает, как надо, но это знание не укладывается в простые идеи, принципы, лозунги, и приходится каждый день заново искать Божий след, след любви. Есть только две наибольшие заповеди, и обе — о любви. Все остальные заповеди — как не надо. И не надо чересчур надеяться на свои способности арбитра, пересчитывая чужие грехи».

А в середине — так: «Солженицын безусловно пытается быть объективным. Охотно это признаю и в „200 годах". Но то, что он глубоко пережил, излагается страстно, полемически. Например, почему-то врезалось в сознание, что Богров, убийца Столыпина, — еврей. А что до того было 8 покушений, когда действовали русские террористы, — остается в тени. <...> В сознание Солженицына врезались три еврея-теневика («на лагпункте, где Солженицын тянул срок». — *П. К.*) (они и сегодня врезались в народную память, затмив всех прочих евреев). Три еврея, уже использованные в пьесе „Олень и шалашовка", теперь попали в центр главы „Евреи в лагерях ГУЛАГа", и к этому личному переживанию подобран Монблан фактов, очень разношерстных». И далее, через абзац: «Солженицын видит только этническую солидарность и просто не замечает интеллигентской. В моем опыте этническая солидарность царила только у прибалтов и западных украинцев, а у нас, зеков из „старого" Советского Союза, интеллигенция была своего рода субэтносом».

Если, как подчеркивает Г. П., они с А. С. так «несовместимы по складу ума, по складу характера», то к кому обращено это мнение? Во многом, получается, — к именно не понявшему его (и соответственно выходит — всей тонкости «еврейского вопроса») Солженицыну. Но, прошу прощения, понимает ли — *для себя* — автор мнения, *почему* писатель взялся за очевидно *неблагодарную* книгу, в которой он, при всех замечаниях Г. П., «безусловно пытается быть объективным»? Честно говоря, хотелось бы узнать мнение и об этом.

См. также: **Валерий Каджая,** «Еврейский синдром советской пропаганды. И до какой степени верен оказался ему Александр Солженицын» — «НГ Ex libris», 2003, № 29, 21 августа <**http://exlibris.ng.ru**>; «О евреях пишут все, но только Солженицын — так, что всех задевает» (из редакционной врезки).

Мария Ремизова. ...Или ждать нам другого? — «Дружба народов», 2003, № 6.

Публикуется в блоке, названном «Между „верую!" и „не верю!". Современная русская проза в поисках Бога».

Разбираются многие сочинения последнего времени — от шаровского «Воскрешения Лазаря» до бабаяновского «Канона отца Михаила». «Напоследок остается отметить, что современная проза вырвалась-таки из крепких объятий замкнутого в своей материальности мира. И худо-бедно начала карабкаться по вертикали — вниз или вверх, уж кому как отпущено. Парадоксально, но на поверку выходит, что более чем вековой ате-

изм (мало кто возьмется спорить, что уже конец XIX века — эпоха богоотрицания, во всяком случае, с точки зрения догматического христианства) накопил на отечественной почве большое количество претензий к не чему иному, как к Всевышнему (включая разные Его ипостаси и в разных конфессиональных прочтениях)».

Примечателен финал статьи: «Что можно написать без любви?..» Это, я так понимаю, о тех, кто написал свой роман-рассказ-повесть *непонятно зачем.*

Геннадий Русаков. Как страстен этот мир, как солью саднит губы! Из книги «Стихи Татьяне». — «Дружба народов», 2003, № 8.

26 стихотворений. Оказывается, я очень соскучился по *такому* Русакову, снова вызывающему в памяти его давнюю, крепко любимую мной книгу «Время птицы» (1985).

Жизнь ты, жизнь, золотое сечение,
Горностаевых молей края,
Перестиранных листьев свечение...
Неужели ты вправду моя?
Дай-ка я тебя просто потрогаю,
Хоть рукой по тебе проведу.
Ишь какая ты фря длинноногая!
Все веснушки торчат на виду.
Или раньше заботы их застили?
До сих пор на душе волдыри...
Помнишь, как мы на время глазастили?
А теперь ты одна досмотри.
Пролетай, задевая мысочками
(я лишь зритель из первых рядов),
чтоб пропахнуть липучими почками
и касаток сгонять с проводов,
в дождь греметь безразмерными ботами,
зажимать мое сердце в горсти...
...На бессмертие мы наработали.
Нам теперь бы на быт наскрести.

См. также: **Геннадий Русаков,** «Стихи Татьяне» — «Знамя», 2003, № 8 **<http://magazines.russ.ru/znamia>.**

Давид Самойлов, Лидия Чуковская. «Мы живем в эпоху результатов...» Переписка. Подготовка текста, публикация и примечания Г. И. Медведевой-Самойловой, Е. Ц. Чуковской и Ж. О. Хавкиной. — «Знамя», 2003, № 5, 6, 7 **<http://magazines.russ.ru/znamia>.**

Эта переписка длилась почти двадцать лет — с начала 70-х и до смерти одного из собеседников, до 1990 года. Их объединяли любовь к словесности, общественные убеждения, взаимный интерес к сочинениям друг друга, общие близкие друзья и дальние знакомые, наконец, эпоха, в которой обоим выпало жить. Разъединяли, точнее, обостряли их отношения — некоторые несовпадения вкусов и пристрастий, несхожесть в восприятии себя (в жизни и в процессе работы) и еще, пожалуй, разное отношение к такому (безусловному для Лидии Чуковской) человеку и писателю, как Александр Солженицын.

Люди и события, составляющие важный душевный «фон» их жизненных судеб, непрерывно «переходят» из письма в письмо, по нескольку раз переживаются и проживаются в себе и к концу обмена посланиями превращаются в переживаемые сообща трагедии и победы. Из людей назову: поэта, переводчика, литературоведа и друга обоих корреспондентов Анатолия Якобсона (бесконечная боль Чуковской и Самойлова), писателей Льва Копелева и Л. Пантелеева, А. Д. Сахарова. Из локальных событий, «выпирающих» из декораций времени, — нелегкую судьбу самодеятельного дома-музея в Переделкине, созданного Л. К. Чуковской... Отмечу также, что в двух письмах Чуковской присутствует трагически-исчерпывающий портрет хозяина этого дома — Корнея Чуковского.

И само собой, временами явственно чувствуется понимание незримого присутствия перлюстраторов. Впрочем, о них оба собеседника задумываются, кажется, лишь когда появляется возможность *опасного для другого,* не для себя.

Вот некоторые темы, которые (весьма условно, конечно) можно «выбрать» из их эпистолярных бесед.

О творчестве друг друга:

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: «Никто из известных мне в наше время писателей не обладает лучшей „художественной памятью". Я думаю, что Вы не рассердитесь, — но у меня ощущение, что Вы пишете все прекраснее — свободнее. Хотелось бы, чтобы это продолжалось и максимальное число лиц было изображено Вами с той же мерой личного переживания и с доброжелательной беспощадностью — так, как на-

писана книга о Корнее Ивановиче («Памяти детства»; впервые по-русски была издана за границей. — *Л. К.*)» (26 июня 1972 года).

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «„Постепенно становится мной" — стихи Ваши давно уже стали мной, и я, перелистывая книгу, вспоминаю не только их, а где, когда, от кого, при ком услышали звук. Вот этот. И вот тот» (2 февраля 1973 года).

«А „Стареющий Дон Жуан" — нет, не нравится мне. Просто очень чужая мне мысль, а стихи верно хорошие. Не знаю. У меня нет способности чувствовать старость» (11 июня 1976 года).

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: «И проза и стихи (ее, Л. К. Чуковской. — *Л. К.*) производят огромное впечатление, сумма которого — художественность. Это литература особого рода. Ее можно назвать — поэзия личности. Ибо с личности здесь все начинается и ею кончается. Вы скажете, что в любой отрасли художества все начинается с личности. Это верно. Но обычно личность — начало, от нее идут лучи в разные стороны. У Вас — кольцо. Может быть, так можно сказать (с точки зрения читателя): обычно в персонажах или героях произведения ищешь сперва себя, потом автора. У Вас ищешь только Вас. У Вас во всем, во всей ткани прозы и стихов — автор и авторство. Вы — нечто противоположное фольклору» (27 ноября 1978 года).

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «<...> „Беатриче" — чудо. И как хорошо мне было вдруг, среди бестолкового, бесконечного, больного и тревожного дня (выслушав по телефону очередную распространяемую клевету: „наследники Чуковского цепляются за дачу из корыстных побуждений"), — каким благом был для меня этот внезапный поток — не знаю, как определить, чего — этот благодатный ливень! И как же Вы, дорогой Давид Самойлович, можете не *ощущать счастья,* создав такие стихи? Правда, счастливыми их не назовешь. Они — плод отчаянья. Но это то отчаяние, которое излучает свет» (23 декабря 1985 года).

О других литераторах и чужих сочинениях:

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «Вы мне рекомендовали [Валентина] Распутина. Мне многие рекомендовали Распутина, но именно Ваше слово подвигло меня на чтение. Правда, „Матеру" мне не достали. Но „Живи и помни" я — из-за Вас! — одолела. Жива осталась, помнить не буду. Да ведь это морковный кофе, фальшивка, с приправой дешевой достоевщины, неужели Вам это нравится? Я никогда не была на Ангаре, но чуть не на каждой странице мне хотелось кричать: „Не верю! не верю! " — по Станиславскому.

Разговоры баб совершенно на уровне панферовских „Давайте-ка, бабоньки, подмогнем нашим мужикам". Ну, ему известно, что в Сибири вместо „что" говорят „чо" и вместо „забора" — „заплот"; он и вставляет. А синтаксис вялый, безмускульный, боборыкинский. „Переживаниям" Настены нет конца и краю; читаешь через абзац, через страницу, через главу; все ждешь, когда она прямо скажет: „Ох, бабоньки, я так переживаю". Нет ведь, тянется тягомотина верстами, хотя схема и конец заданы с первого звука. Пейзане ломаются на сцене с фальшивыми монологами. Узнав, что жена забеременела, муж произносит длинный монолог на тему: „Это ж кровь моя дальше пошла". И Вы — верите? Он долго развивает эту тему: жил до сих пор зря, а теперь „кровь моя дальше пошла".

<...>Глубина основной мысли — вершковая.

Да, *всякое* дезертирство совершается не просто и притом непременно наказуется разложением души. Открытия тут нет. А исполнено тягуче, длинно, пейзанисто, малограмотно, некультурно.

Лишен ли автор таланта? Не знаю. Быть может, и не лишен. Иногда мелькает кое-где темперамент. Но бескультурье в языке (т. е. в мысли) полнейшее, смесь бюрократического с пейзанским... Посмотрю „Матеру"» (24 июля 1977 года).

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: «С высшей точки зрения Вы, как всегда, правы. Но мы живем в удивительное время, когда литература пребывает без высших понятий. Вместе с тем это не означает, что у нее нет высших целей.

Хотя Вы и сердитесь, я не жалею, что подвиг Вас на чтение Распутина. Он, пожалуй, самый талантливый из „деревенщиков", и в нем виднее всего достоинства и недостатки этого литературного направления. Это литература „полународа", как Вы правильно поняли. И она, может быть, не знает и не видит иного пути в формировании нравственности, кроме нравственной ретроспекции. Но жажда нравственности в ней истинная. И с этой точки зрения она правдива.

Для познания нашего времени ощущать эту литературу, по-моему, необходимо. Я много думал о „деревенской прозе". Кое-что записал. И готов Вам перечитать свои заметки при встрече. <...> Часть Вашего письма — о Распутине — читал нескольким друзьям. Они в восторге» (август 1977 года).

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «Читаю Белова „Кануны". Прекрасная, поэтическая, страшная книга. О Трифонове этого не скажешь. Интеллигентское (аэропортовское) чтиво, без языка, без поэзии... Главное — очень скучно читать» (25 — 27 июня 1978 года).

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: «Верно Вы пишете, что это аэропортовщина. Но „Старик" существует на фоне прозы совсем уже негодной. А читатель жаждет правды и пророчества (хоть полправды и четверть пророчества).

И потом, оказывается, есть нечто худшее — Катаев. Прочитал я его „Алмазный венец". Это набор низкопробных сплетен, зависти, цинизма, восторга перед славой и сладкой жизнью. А завернуто все в такие обертки, что закачаешься. Это, конечно, на первый взгляд. Выручает ассоциативный метод и дешевые парадоксы. Но ведь клюют и на это. Говорят: очаровательно. Оказывается — все сенсации наши — дрянь. И Глазунов туда же. Его открыли писатели (в том числе Слуцкий). А он всех перекрыл» (июль 1978 года).

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «Я решила ни в коем случае не читать двух книг: воспоминаний Ивинской и воспоминаний Катаева. (С меня хватит Н<адежды> Я<ковлевны> М<андельштам>.) Но читателям „интересно"» (26 июля 1978 г.).

«Насчет Катаева, кот<ор>ого Вы перечли, я считаю, что Ваше определение гениально. Я пыталась выразить свое чувство, но мне не удавалось. Я говорила: „Это очень талантливый мертвец". Когда же я прочла Вами созданное определение: „И фраза у него хороша, и сюжет хорош, и фигуры видны, но читаешь и чувствуешь, что где-то у него в душе издохла мышь", — я смеялась до слез, до судорог, сидя у себя в комнате одна. Какая у Вас точность удара!

У Пастернака же — и в его удачных и неудачных вещах — всегда благоухание. Благоухание — благоухание духа» (20 декабря 1982 года).

«<...> Эйдельмана я читать не могу. Он языка не знает, возраста слов не чувствует. Цитаты из документов начала XIX века совершенно противоречат одесскому жаргону самого автора. Книгу о тончайшем стилисте Лунине я не могла читать (вопреки восторгам „всех"). Эйд<ельман> прекрасный исследователь и ужасный писатель» (14 сентября 1981 года).

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: « <...> О корнях „Крокодила" (первой, дореволюционной сказочной поэмы Корнея Чуковского. — *П. К.)* я думал. Там есть ритмические реминисценции (не думаю, чтобы прямые заимствования) каких-то строк, строф из второй половины XIX в. Но главная стихия — народная поэзия: считалки, прибаутки, „скоморошины", частушки.

Выше, выше, выше,
Вот она на крыше...

Это считалка: „Дождик, дождик, пуще, дам тебе гущи... " Ритмические источники „Крокодила" те же, что и „Двенадцати" Блока» (февраль 1979 года).

Друг о друге и о себе:

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: «Вы знаете, в чем мы с Вами схожи? В каждом из нас есть шампур. Только в Вас — штык острый и сияющий, а во мне шампур, на который нанизано мясо разного качества. И я его, по гаргантюэлевскому устройству, съедаю, и не без удовольствия. Зато мне совершенно чуждо покаяние. Формула „не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься" — не моя. Я не считаю, что покаяние есть способ спасения. Я за грехи готов *отвечать.* А каяться не желаю. <...> Покаяние глубоко претит моему литературному вкусу» (июль 1979 года).

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «О шампуре. Между мною и Вами, увы! сходства нет, и не по причине разного к<акого>-н<ибудь> отношения к разным периодам истории, а гораздо глубже и, я сказала бы, „физиологичнее". Я — от природы, от рождения не люблю того, что условно называется „жизнь". Не та или другая; не — то или другое десятилетие, или тот или иной возраст — а вообще. У меня к ней аппетита нету — и не было ни в 7, ни в 17, ни в 27 и т. д. Объясняется это, наверное, чем-нибудь очень простым — пороком сердца с детства, базедовой с 8 лет, tbc с юности, а потом нарастающей слепотой и т. д. Бессонницей. Гаргантюаизма ни грана. Маяковский, жалуясь, писал:

В детстве может на самом дне
Сносных найду 10 дней.

Нет, я 10 сносных не найду. Мне ближе фраза Достоевского (кот<орого> я не очень люблю): „Целая *минута* блаженства — да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую". Да, вот минуты счастья за 72 года — они набрались. Ими жива.

Покаяние я признаю, но не как профессию и не как литер<атурный> прием — а как момент душевной жизни, краткий и пронзительный. Когда же начинают нянчиться со своим покаянием — тоже не люблю» (9 августа 1979 года).

Д. С. Самойлов — Л. К. Чуковской: «Я привержен удовольствиям жизни, я жизнь люблю „физически" гораздо больше, чем умом. В этом моя слабость, но это мое свойство, видимо, единственное, что позволяет мне считать себя поэтом. (По какому-то самому большому счету я себя поэтом не считаю — не хватает гениальности.)

Понимая эту мою слабость, я не лишен раскаяния и покаяния, но считаю это делом „унутренним", не для форума и не для литературного текста. Для меня это не тема литературы. Тут я с Вами совершенно согласен» (август 1979 года).

Л. К. Чуковская — Д. С. Самойлову: «По поводу Вас и старости. Мне кажется, старость не опасна людям, привыкшим к труду. Именно ***привыкшим,*** не то что „трудолюбивым". Мне, например, до тошноты надоело работать. И нужда меня не гонит, у меня ведь иждивенцев нет. А вот ведь — труд — единственная оставшаяся у меня способность (потребность). И это спасает. А это просто привычка» (7 ноября 1982 года).

«Вот уже второй раз я НЕ делаю то, что должна и чего хочу. Я не поехала в Л<енингра>д на открытие доски КИ на нашем доме — там, где Корней Иванович, я и все мы жили 20 лет.

Вот это и есть главное настоящее унижение старости, милый друг, — не делаешь ни для себя, ни для других того, что должно, и того, что хочешь. Что сознаешь должным и желанным» (6 октября 1983 года).

Вспоминаю, что последнее, печально-предсмертное, письмо Самойлова вскоре после его кончины напечатали в перестроечном «Огоньке». В этом письме собеседник Лидии Чуковской сообщает, в частности, о скором таллинском вечере памяти Пастернака. Во время этого действа ему и предстояло умереть. А начинает он свое послание с грустно-пророческого: «Хочется иногда пожаловаться кому-нибудь старшему. Но старших почти нет. Один только Бог. А молодым тоже хочется старшего. Вот и пишут мне, приезжают. Насчет стихов я им что-то могу сказать. А им знать хочется — как жить. Да я откуда знаю? Трудно радоваться тому, что „нас призвали всеблагие, как собеседников на пир"...» (10 февраля 1990 года).

Сейчас, когда я составляю этот обзор, вероятно, уже вышла весьма объемистая книга (155 писем с комментариями) и умножилось количество откликов на эти письма, опубликованные в pendant недавно изданному тому переписки Л. К. Ч. с отцом (М., «Новое литературное обозрение», 2003). Из уже появившихся откликов см., например: **Андрей Немзер,** «Такие разные люди. Лидия Чуковская и ее корреспонденты» — «Время новостей», 2003, № 125, 11 июля **<http://www.vremya.ru>.**

А. И. Спиридович. Охрана и антисемитизм в дореволюционной России. Публикация Дж. Дейли. — «Вопросы истории», 2003, № 8.

Нет-нет, сегодняшнему студенту-историку не понять, какое садистическое наслаждение испытываешь от такого вот зачина публикации: «Автор публикуемой записки А. И. Спиридович был одним из выдающихся жандармских офицеров царствования Николая II».

Из предисловия профессора Иллинойского университета: «Ранее не публиковавшиеся очерки Спиридовича о дореволюционном антисемитизме направлены на доказательство того, что высшая администрация и полицейские чины в России, как правило, не были антисемитами и что они прилагали значительные усилия, чтобы защитить евреев от стихийных проявлений вражды <...> Невозможно определить точно, когда были написаны эти очерки. По-видимому, Спиридович писал их в Париже в то время, когда Гитлер уже пришел к власти и развязал мировую войну; автору важно было показать, что волна антисемитизма, захватившая Европу, не была порождена ни царским двором, ни вообще русской бюрократией». Документ изготовлен как внятное повествование и, несмотря на множество фактов и фамилий, местами обнаруживает в себе (сам автор этого явно не ведает) изрядную дозу юмора.

Хранится рукопись, само собой, *там,* в Архиве Библиотеки Йельского университета (*box* 26, *envelope*).

Е. Л. Рудницкая. Чаадаев и Чернышевский: цивилизационное видение России. — «Вопросы истории», 2003, № 8.

«Чернышевский более западник, чем Чаадаев».

«Сходство их воззрений в плане этической, нравственной позиции человека дополнялось абсолютным исключением революционного начала».

Шеймас Хини. Стихи. С ирландского. Перевод и вступительная заметка Григория Кружкова. — «Дружба народов», 2003, № 6.

«Стихи Шеймаса Хини на смерть Бродского написаны той же строфой, которой когда-то Оден проводил в гроб Йейтса, а четверть века спустя сам Бродский оплакал смерть Элиота. Четырехстопный хорей, по обычному раскладу, считается размером детских стишков. Теперь же, после этих трех поэтических реквиемов (даже четырех, если вспомнить, что Оден заимствовал его из йейтсовского же стихотворения-завещания „В тени Бен-Балбена"), он будет ассоциироваться и с похоронным маршем» (Г. Кружков).

«<...> Как ты бешено пылил / На английском! Как любил / Гнать на нем аж миль под сто, / Как на угнанном авто! // Лишь язык боготворя, / Верил в слово ты. А зря. /

Копы времени, озлясь, / Лихача вдавили в грязь. // Так смирись, как Гильгамеш, / И лепешки праха ешь, / Помня Одена завет: / Только этим сыт поэт».

С. В. Холяев. Три февраля 1917 года. — «Вопросы истории», 2003, № 7.

«Несмотря на внешнюю противоречивость событий в феврале 1917 года, они развивались на редкость последовательно. Февраль мог состояться, победить, лишь при одном условии: вовлечении в него всех оппозиционных сил. При любом другом развитии ситуации его ждало поражение. Ни антивоенный, ни чисто социалистический Февраль не имел шансов на успех. Самые важные роли в этом удавшемся политическом действе достались либералам и умеренным социалистам. Либералы, и только они, сделали возможной мирную победу Февраля, обеспечили легкий переход власти от старых структур к новым. Без них драматическое столкновение самодержавия и социалистов было неизбежно. Умеренные социалисты (меньшевики и эсеры) выступили главными творцами Февраля и в результате его победы стали самой влиятельной силой в стране. Именно они в критический момент, когда поражение антивоенного восстания в Петрограде казалось неминуемым, привлекли либералов на свою сторону. Таким образом, передавая в феврале власть либералам, меньшевики и эсеры не предали восставший народ (как утверждали советские историки), а избрали оптимальное решение, позволившее предотвратить поражение революционных сил. И все же интересы политических сил, причастных к победе Февраля, совпали лишь на короткое время...»

Валентина Чемберджи. О Рихтере его словами. Фрагменты из книги. — «Дружба народов», 2003, № 7.

Новые материалы после книги В. Ч., изданной 10 лет назад. Азиатское путешествие с Рихтером, его «Воспоминания о детстве», нигде еще полностью не публиковавшиеся.

«Папа по вечерам всегда занимался, по два-три часа. Я сидел на коленях у мамы (чувство защищенности) — в этот период я привязался к маме по-настоящему. А папу я абсолютно не боялся, хотя очень уважал. Однажды на меня наябедничали. И мама велела, чтобы папа меня отдубасил.

Папа занимался, и вдруг у меня шелохнулась внутри эмоция, и мне показалось: начали распускаться на глазах цветы, мне и сейчас так кажется. Ноктюрн № 5, Fis-dur.

Так меня ударила музыка. До тех пор музыка не имела для меня большого значения.

Мамино признание: я очень старалась, когда ожидала тебя, читать, слушать и смотреть только самое красивое. Рафаэль. И вот какой результат».

Светлана Чураева. Последний апостол. Повесть о необычайных приключениях святого Павла. Вступление Владимира Маканина. — «Октябрь», 2003, № 6 **<http://magazines.russ.ru/October>.**

От предыдущего держателя этого номера журнала мне досталось подчеркивание шариковой ручкой в конце сочинения:

«Люди приходили к нему, когда им было плохо или тревожно, и он помогал разговором, часто ссылаясь на слова Иешуа-бен-Пандеры, Христа, распятого в Иерусалиме, которого Павел встретил потом по дороге в Дамаск.

Он любил людей и лечил их словом любви. А когда они, желая польстить, восхваляли его ученость, он отвечал обычно так:

„Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий".

Люди не понимали смысла этих слов, но им было приятно, и они улыбались».

Оставляя в стороне именные и событийные трактовки, созданные художественным талантом уфимской писательницы, участницы Второго форума молодых писателей в Липках, никак не комментируя оценок В. Маканина («оптимальная проза для читателя наших дней»), все-таки советую вам вникнуть в подзаголовок предложенной читателю повести. И надеюсь, что вдумчивые критики отзовутся на нее в очередном обзоре наподобие того, что был в «Дружбе народов» под названием «Современная русская проза в поисках Бога». Мне — слабо.

Составитель **Павел Крючков.**

●

АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным

воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

●

Составители «Библиографических листков» будут благодарны провинциальным/зарубежным издательствам и редакциям провинциальных/зарубежных литературных журналов, если те найдут возможность присылать образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России и Русского Зарубежья на страницах «Нового мира».

●

АДРЕСА: сайт журнала «Неприкосновенный запас»: **http://www.nz-online.ru**

●

ДАТЫ: 23 ноября (5 декабря) исполняется 200 лет со дня рождения Федора Ивановича **Тютчева** (1803 — 1873); 23 ноября (6 декабря) исполняется 100 лет со дня рождения Гайто Ивановича **Газданова** (1903 — 1971); 8 ноября исполняется 50 лет со дня смерти Ивана Алексеевича **Бунина** (1870 — 1953).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Ноябрь

10 лет назад — в № 11, 12 за 1993 год напечатаны воспоминания Эммы Герштейн «Лишняя любовь. Сцены из московской жизни».

45 лет назад — в № 11 за 1958 год было напечатано «Письмо членов редколлегии журнала „Новый мир" Б. Пастернаку».

50 лет назад — в № 11, 12 за 1953 год напечатан роман Веры Пановой «Времена года».

75 лет назад — в № 11 за 1928 год напечатаны «Две вставки в поэму „Высокая болезнь"» Бориса Пастернака.

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

ОТТЕПЕЛЬ

Оттепель после метели.
Только утихла пурга —
Разом сугробы осели
И потемнели снега.

В клочьях разорванной тучи
Блещет осколок луны.
Сосен тяжелые сучья
Мокрого снега полны.

Падают, плавятся, льются
Льдинки, втыкаясь в сугроб.
Лужи, как тонкие блюдца,
Светятся около троп.

Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля, —
Неизмеримой работой
Занята снова земля.

Скоро проснутся деревья,
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелетных кочевья
В трубы весны затрубят.

«Новый мир», 1953, № 10.

SUMMARY

*

This issue contains a story by Vladimir Makanin «Borjomi», a «verbatim» play by Yelena Isayeva «The First Man» as well as the ending of «expatriation essays» by Aleksander Solzhenitsyn «The Seed Got Between the Two Millstones». The poetic part of the issue is made up of the poems by Marina Boroditskaya, Yelena Ushakova, Anna Gedymin and Aleksey Reshetov.

The sectional offerings are as follows:

Philosophy. History. Politics: a historical essay by Nikolay and Anastasiya Litvinov «Antistate Terrorism Activity in Russian Empire».

Literary Critique: «Mandelstàm and Pushkin» — the second of the series of articles by Irina Surat highlighting the lyrical subjects in the work of both poets.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир"» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: **С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова**

Главный редактор **А. В. Василевский**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев**

Корректоры **Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина** Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова** Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.
Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru
Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир"».
Сдано в набор 20.07.2003 г. Подписано к печати 29.09.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9000 экз. Зак. 3495. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

15 НМ № 11 ЭО

Индекс для индивидуальных подписчиков и библиотек — 70636
Индекс для предприятий и организаций — 16410

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова, учрежденная журналом «Новый мир» и Благотворительным Резервным фондом, присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации. Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2003 года.

Состав жюри:

МИХАИЛ БУТОВ, прозаик, ответственный секретарь журнала «Новый мир»;
ДМИТРИЙ БЫКОВ, поэт, прозаик, литературный критик, публицист;
РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, президент АКБ «Национальный Резервный банк», президент Благотворительного Резервного фонда;
МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН, литературный критик, обозреватель «Русского Журнала».

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир» АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 $.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года.

Контактные телефоны: (095) 200-54-96, 209-91-81
E-mail: newworld@newtimes.ru

ISSN 0130 — 7673 Новый мир, 2003, № 11, 1 — 240